

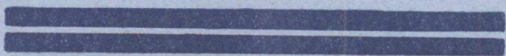
|| 4 ||

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

|| 1974 ||

4



1974

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 4

Апрель, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Восемь стихотворений	3
Ю. КРЕЛИН — Хирург, повесть	7
БОРИС МОЖАЕВ — Старые истории	61
ГЕВОРГ ЭМИН — Перо и мотыга, стихи. Перевела с армянского Елена Николаевская	96
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Горь, горь ясно, повесть. Окончание	100
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Из лирической поэзии немецкого барокко. (Новые переводы)	169

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
УМАТ-ГИРЕЙ НАУРБИЕВ — Красная наша земля	189
ИГОРЬ ДУЭЛЬ — Рыбацкая удача	198

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Ю. КАГРАМАНОВ — Юг США: спор о магволиях	210
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ — Глубина фронта. Этическая тема в лирике военного поколения	216
А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — «Долой теорию вдохновения!» Литературная политика маонистов	237

К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина

СТ. РАССАДИН — Невольник чести	247
--------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	260
Владимир Амлянский. Какая музыка была...— Феликс Бурташов. Молодая поэзия древнего континента.— Юрий Нагибин. Свидание не состоялось.	
<i>Политика и наука</i>	276
О. Орестов. Ленинским курсом мира.— С. М. Троицкий. Обобщающий труд по истории русской культуры.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Е. Полякова. — Александр Неверов. Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Александр Неверов. Гуси-лебеди. Рассказы, повести, роман. ♦ М. Хазин. — Дмитрий Кантемир. Описание Молдавии. ♦ Анна Илупина. — Каарел Ирд. Размышляя о театре... ♦ Л. Пустильник. — Е. Жукова. Когда настал XX век. ♦ А. Хорт. — Владлен Бахнов. Тайна, покрытая мраком. Юмористические рассказы	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

БАЛЛАДА О ПОСЫЛЬНОМ

Дождь. Дорога за село —
Как виток спирали.
Козырнул, взлетел в седло.
Вдалеке стреляли.

А немного погодя
В комьях красной глины
Он лежал на дне дождя,
Как на дне долины.

День осенний шел к концу
В свете рваной сбури.
Сильно били по лицу
Ледяные струи.

Над печалью мертвеца
Низких туч теченье.
Долго мытого лица
Слабое свеченье.

...Не увидит сына мать,
Изведется в горе —
Станет тихо угасать
И угаснет вскоре.

Будет ночи напролет
Тосковать невеста.
А потом другой займет
В сердце это место...

Изо всех небесных дыр
Льет — не видно света.
...«Не дождался командир
От меня пакета...»

ОТРАЖЕНИЕ

Не видно неба из окна
Моей каюты одноместной.
Весь день видна вода одна
С тревожащей небесной бездной.

Все вобрала в себя река —
 Гусей над плавнями своими,
 И перистые облака,
 И высь безмерную за ними.

Посмотришь — и на сердце страх.
 Так в зеркалах, у гардероба,
 Сверкает лестница в коврах
 И мрамор светит гололобо.

Не ошибиться — тяжело.
 И даже встретясь у колонны,
 В посеребренное стекло
 Здравуемся удивленно.

ЛИСТОПАД

Работал летний ресторан,
 Хотя уже стояла осень
 И среди парковых полян
 Шутя листву швыряла оземь.

Был ресторан еще открыт —
 Такому рады варианту,
 Но, сохранив бесстрастный вид,
 Прошествовали на веранду.

Пока несложный их заказ
 Официантка принимала,
 С шушанием за разом раз
 На лист валился лист устало.

И каждый веющий порыв,
 Пока они заказа ждали,
 Прокатывался, приоткрыв
 Еще один кусочек дали.

Вокруг — все более светла —
 Была особенная зона:
 Вблизи веранды и стола
 Висел неясный отзвук звона.

Конечно, дело было в том,
 Что за березовой колонной
 Планировал или винтом
 Закручивался лист каленый

И чуть звенел.

...Но кто вы, кто,

Перед бутылкой лимонада
 Сидящие, не сняв пальто,
 Посередине листопада?

.

После смерти великих поэтов
 Кто-нибудь из усердных живых,
 О неведомом миру поведав,
 Переписку печатает их.

Там вся жизнь — по годам ли, по суткам,
Но до смертного дня и одра.
Объяснения нелучшим поступкам,
Обещанья любви и добра.

Это письма друзьям и подругам
Иль читателю краткий ответ.
Раскрывается почва под плугом.
Исполняется ранний обет.

Жизни целой цвета и оттенки.
Мыслей пир и суждений парад.
Но особенно живы оценки,
Что давались без всяких преград.

Как бывает подчас у великих —
Молят слово, но слово само
На задумчивых лицах и ликах
Будет выжжено, будто клеймо,

Сразу став окончательно веским —
Ведь обиженным наверняка
Объясняться нелепо и не с кем, —
И к тому же оно — на века.

ГАРМОНИСТ

Мотивы подбирая,
Сбивался иногда,
Немного подвирая,
Но это не беда.

Как взятый на поруки,
Был крепко стиснут он —
Под локти две подруги
Держали с двух сторон.

Играл он до рассвета
И, улучив момент,
Щипал их, будто это
Щипковый инструмент.

Но так гармонь вздыхала
Протяжно и светло,
Что звание нахала
К нему никак не шло.

Так ставила дремота
В полях свою печать,
Что было неохота
Частушку прокричать.

В ГОРОДКЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Стадион в сиянье всём
И травы и граждан тоже.
Мальчик маленький с отцом —
Удивительно похожи.

К ним подходят без конца
(Тетя Маша... Тетя Рита...),
Мальчик смотрит на отца
Восхищенно и открыто.

У высокого отца
След свинца и дух винца
Сочетаются отлично.
А отсутствие венца
Тоже выглядит логично.

Повторишь его судьбу
Иль к иным придешь победам —
На ладони и на лбу
Не написано об этом.

* * *

Не все выживают стволы,
С невзгодой встречаясь впервые,—
Поэтому так и светлы
Бывают боры вековые.

Не все выживает зверье
И птица различной породы
В сражение за место свое —
Так прочно здоровье природы.

Естественный этот отбор
Обычно не гладит по шерстке.
Здесь каждый встречает отпор
И помнит: условия жестки.

Лишь те, что сильны и смелы,
Достойны добиться победы.
Не все выживают стволы,
Растения, птицы, поэты...

* * *

Осинка возле стога.
За речкою — дымок.
Нельзя же так жестоко,
Чтоб в горле встал комок.

Хоть проявите жалость,
Деревья и кусты,
А то ведь сердце сжалось
От вашей красоты.



Ю. КРЕЛИН

★

ХИРУРГ

Повесть

Запись первая

Евгений Львович сидел дома в кресле, вытянув свои очень длинные ноги, пытаясь из кресла загнать в угол собаку. Собака — прекрасный ирландский сеттер — увертывалась от его ног, а Мишкин, пытаясь до нее дотянуться, все больше сползал вниз, так что почти все его два метра висели в воздухе, выползая из кресла. Сын валялся на тахте и канючил:

- Пап, оставь его в покое, пап, не мучай собаку, пап.
- Да я не мучаю, ему тоже нравится. Мы ж играем.
- А вот тебя бы так.
- Если с любовью, то...

И это все длилось уже около получаса. Все участники этой игры были довольны.

Соседка позвала Евгения Львовича к телефону.

Мишкин встал, пошел к дверям. Собака, будто и не старалась увертываться от его ног, потянулась за ним. Она словно приклеилась к его штанине, но в общий коридор квартиры не вышла. Собака, по-видимому, понимала, что в общей квартире надо иметь письменное согласие всех жильцов на ее присутствие, а этого разрешения Мишкин не получил.

Рэд не выходил из комнаты, а оставался на пороге, даже когда дверь была раскрыта настежь.

— Я слушаю... В терапии?.. А почему вы думаете, что эмболия?.. Сколько времени прошло?.. Полтора часа! Могли бы и раньше позвонить... Синяя? Одышка есть?.. Кровь, значит, хоть немного, но проходит в легкие... Ладно. Готовьте операционную.

Рэд встретил Евгения Львовича в дверях, снова приклеился носом к штанине, но игры уже не было.

- Я уезжаю в больницу.

Особого впечатления это ни на кого не произвело. Евгений Львович одевался.

Галя спросила:

- А что там?
- Говорят, эмболия легочной артерии.
- У твоего больного? Оперировал?
- Нет, в терапии. Инфаркт. Третий месяц.
- Что ж ты будешь делать?
- Попробую.
- С ума сошел! А вдруг это не эмболия, а повторный инфаркт?
- Будут сомнения — не стану делать.

— Когда у тебя была последняя попытка?

— Четыре месяца уже. Но то был случай мертвый. Да и рак неоперабельный. Я как автомат был: вижу, умирает человек — давай спасать.

— А после на трупах делал?

— Раза два.

— Я с тобой поеду, ладно?

— Конечно. Там же наркоз дать некому. Хорошо, что ты у себя не дежуришь.

— А почему ты не торопишься, Жень?

— Разве?

По лестнице он спускался еще медленно. К такси они шли быстрее.

— А ты почему машину не просил прислать?

— Пока она придет. Да и они где-то должны просить. А им давать не будут. Так быстрее.

Галя была в длинном модном пальто, застегивающемся лишь у талии. С увеличением скорости пальто все больше и больше распахивалось, полы его превращались в огромные крылья.

На стоянке такси большая очередь.

— Жень, я сейчас попрошу разрешения у очереди.

— Да ты с ума сошла! Неудобно.

— Товарищи, нам надо срочно в больницу, на операцию вызвали. Никто не отвечал — не возражали и не предлагали.

Он прошипел, что надо уходить и искать такси в дороге. Она отмахнулась от него. Из-за очереди появился диспетчер с красной повязкой.

— Вот машина подходит. Садитесь.

Галя подошла к машине под защитой диспетчера. Из очереди кто-то робко сказал:

— А может, врут — ишь, пальто длинное надела и он длинный.

— Чем они недовольны? — спросил шофер, когда они уже отъехали.

— Мы без очереди, — охотно ответила Галя. — Нам в больницу. На операцию вызвали.

— А вы бы не спрашивали. Сказали б милиционеру — остановил бы любую машину. Положено.

— Нам диспетчер помог.

Они сидели сзади. Мишкин на самом краю сиденья, вытянув шею, упираясь коленями в спинку переднего диванчика. Видимое его спокойствие кончилось.

— Не забудут ли они долото для грудины положить?

— А ты сказал?

— Я сказал, чтоб все сосудистое положили... А может, и это не сказал.

— Положат, наверное.

— Ведь в случае удачи это на всю ночь, Галя. А ты дежуришь завтра.

— Что поделаешь. Лучше я дам наркоз, чем сестра. Вы знаете, — обратилась она к шоферу, — там к больнице объезд большой. Нет левого поворота. Вы либо должны нарушить, либо мы сойдем у перехода и добежим пешком. Там разворот километра четыре.

— Вообще-то можно нарушить. Да я опасаюсь. Он, если остановит, сначала права мои будет смотреть, потом свои права качать — ва расспрашивать. Время потеряем.

— Сойдем, сойдем, — отрывисто сказал Мишкин.

Выйдя из такси, они сразу же побежали.

В коридоре их встретила сестра:

— Больной в операционной. Все врачи там.

Мишкин стал осматривать больного.

Пульс относительно хорош. Давление держит. Уже что-то капают в вену.

— С больным говорили?

— Естественно.

— А с родственниками?

— Терапевты разговаривали.

— А что терапевты говорят? — Это уже Галя интересуется.

Она часто в этой формально чужой для нее больнице дает по ночам наркоз. Когда в тяжелых случаях вызывают Мишкина, едет и она, если не дежурит.

— А терапевты говорят: помирает больной и ничего сделать нельзя.

— Кардиограмма что?

— Считают, что эмболия.

— Когда инфаркт был?

— Срок большой. Ходил уже.

— Все равно. Другого-то выхода нет.

— А это, думаете, выход?

Доктор Онисов полон сомнений:

— Нет, вы уникамы. Это же безнадежно. Ничего не выйдет. Приехали! Сейчас работы на всю ночь. Силы все истратим. Лекарств уничтожим — спасу нет. Кровь по «скорой» со станции привезли — и ее истратим.

Мишкин уже переоделся в операционную пижаму.

— Кровь заказали?

— Уже привезли.

— Больной спит.

Быстро Галя работает. Впрочем, при чем тут Галя — слаб. Больной очень, сразу уснул.

— Галина Степановна, давление хорошо держит?

— Когда качаем в вену, держит, Евгений Львович. Мойтесь быстрее.

С Мишкиным моются дежурные хирурги Алексей Артамонович Онисов и Игорь Иванович Илющенко.

Онисов в своем репертуаре:

— Нет, ты, Мишкин, уникам. Ехать и затевать это...

Мишкин нетерпеливо топает ногой:

— Прекрати болтовню. Мойся. Зачем звонил тогда?

— Ну, а как не позвонить?! Ты же съешь, но я считаю, что напрасно все это.

Мишкин помылся быстрее, чем это предлагает инструкция.

— Не баня же, быстрее надо, быстрее. Есть случаи, когда все инструкции до конца не соблюдают.

Он мазал грудь больного йодом, но на месте спокойно не стоял. Притоптывал, издавал какие-то постанывающие звуки, его карие глаза над белой маской то казались совсем черными, то светлели. Он только накрыл больного простынями и, не дожидаясь закрепления их вокруг операционного поля, потянулся к инструментам.

— Евгений Львович, подождите. Сейчас давление померим.

— Раньше надо было, мне некогда, Галина Степановна.

— Женья, подожди. Перед разрезом надо же померить еще раз. Не кровотечение — такой экстренности нет.

— По молодости мы вам прощаем, Галина Степановна, мысль об отсутствии необходимости в спешке. — Хамство по отношению к же-

не, обычно сплывающее с него напряжение, на этот раз почти не успокоило, но скальпель он на стол положил.

Галя шепнула сестре-анестезисту:

— И сам понимает, что можно не торопиться, видишь, какими длинными оборотами говорит. Торопиться надо после вскрытия грудной клетки.

Онисов не унимается:

— Ты чего-то, Мишкин, нерешителен сегодня. Сомневаешься, да?

— А я всегда нерешителен. Это только убийцы бывают решительными. Гитлер перед началом войны был решительным. Дантес — перед выстрелом в Пушкина. Нерешительность заставляет задуматься. Зло растет само, а добро надо выращивать.

Болтает Евгений Львович — нервничает.

— Можно начинать.

Мишкин взял в руки нож. Он издал какой-то странный звук — то ли от нетерпения, то ли от волнения, то ли от сомнения.

Галя напряженно посмотрела на него.

Сколько бы я ни видел его в работе, в жизни, я всегда удивляюсь. Я смотрю на то, что он делает, и понимаю, что все могу делать так, как он, и понимаю я так же, как он; но почему-то он делает, а я нет. Я уже один раз слышал этот странный звук, подобный стону. Перед тяжелой, с неясной перспективой операцией. Откуда этот стон, когда он сам мне говорил о своей работе как об обыденном тяжелом труде?

Откуда этот стон?!

Может быть, он чуть по-другому относится к своему делу, чем все. Помню одну его речь, когда мы сидели и пили в хорошей — своей компании, то есть он и я: «Боже! Какой кретин я! Прочел в очерке: «Осторожно, словно кашмирскую шаль, хирург рассек сердечную сорочку»... Я считал, что это пошло, что сердечная сорочка все-таки дорожее и нежнее кашмирской шали, что хирурги будут смеяться и возмущаться... Я дурак! Оказывается, многие хирурги действительно считают это хорошим сравнением. По-видимому, они считают кашмирскую шаль действительно... Что говорить! Кретин я!»

Мишкин провел скальпелем вдоль грудины.

— Стернотом и шпатель.

Он взял грудинное долото, подsunул под грудину для защиты сердца металлическую дощечку шпателя и тремя ударами молотка раскрыл грудную клетку.

— Перикард, — шепнул он сам себе и вроде бы проглотил слюну. — У-у-уз-ы-ы... — И весь покрылся потом.

Может, это банальный человеческий страх.

Галя спокойно продолжала раздувать легкие, ритмически сдавливая мешок наркозного аппарата.

— У-у-у, — на вдохе. — Аэ-аэ, — на выдохе. — У тебя дышит?!

-- Дышит.

— Прекрати. Ты же видишь, мне это сейчас мешает. Прекрати дышать.

Галя на минутку остановила дыхание и наклонилась к сестре.

— Знаешь, Таня, он, по-моему...

— Перикард. Возьми на зажимы. Сейчас рассечем. Ножницы где? А, черт! Давай скальпелем. О-о-о-э! Сердце ранил! Отсос! Убери тряпки. Я загнул пальцем. Шить давай. Шелк четвертый. Как он?

— Все хорошо.

— Хорошо. После зашьем. Держи ты здесь палец. Смотри, а сердце стало лучше биться. Ведь мы разгрузили правое сердце! Так же лучше! Давай зажимы сосудистые на вены. Нет. Вот эти — бульдожки. Да эти. Положил. Следи за ними, страхуй. Пережмешь, когда скажу. Зажим Сатинского. Вот этот лучше. Разрез делаю. Держалки дай прошить. Нет. С атравматическими иглами.— Опять тихое, длинное, вибрирующее «ы», потом: — Хорошо, ребята.— Это почти шепотом и громко дальше: — Пережми вены! Снимаю Сатинского. Вот он, тромб! На, сохрани.— Это сестре сказал. Засунул обе руки в глубину грудной клетки, сдавил оба легких.— Вот еще тромбы! Опять кладу Сатинского. Зажал. Снимайте с вен. Открыли? Шелк четвертый — здесь на сердце двух швов хватит... Зашил... Теперь артерию. Не надо нитки. Я этой держалкой зашью... Все, зашил. Сюда еще шовчик — подсачивает. Все! Зашил все. Перикард остался. Как он? Дышите как следует!

— Не кричите, Евгений Львович. Все хорошо. Дышим. Давление восстанавливается.

— Вы что-то очень спокойны, Галина Степановна... Давай шелк зашивать. Сколько прошло от вскрытия грудной клетки?

— Пять минут до пуска кровотока.

— Это хорошо. Теперь можно не торопиться.

Мишкин замурлыкал любимую песню: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой...»

Когда грудину соединили, Мишкин сказал, чтоб кожу зашивали сами, и вышел в предоперационную.

Галя передала дыхательный мешок сестре и пошла следом.

Он стоял красный, она рядом бледная. Больше никого не было. Он стукнул ее по плечу, обнял, прижал к себе.

— Неужели удача, Галенька!

— Ты совершенно неприлично рычал, как Отелло в провинциальном театре прошлого века, и вечно эта детская песенка.

— Дура ты. Это же впервые. Теперь бы выходить его. Что ты льешь?

— Не вмешивайтесь не в свое дело, Евгений Львович. Что надо, то и лью.

— Гормоны делала?

— Я потом все напишу и распишу, что делала и что надо делать дальше.

Он скинул на пол халат, фартук, перчатки бросил в раковину.

В ординаторской он взял со стола булку, влез в холодильник, вынул пакет молока и стал пить, надорвав уголков.

— Оставь дежурным. У них больше нет ничего.

— Пусть идут домой. Я останусь.

— Люди принесли поесть из дома, а ты!

— Отстань.

Галя вернулась к больному в операционную.

Когда Онисов появился в ординаторской, Мишкин сидел в кресле и рассматривал какой-то журнал.

— Как он?

— Нормально. Ну, ты уникам, Женька.

— Ты смотри. Карикатурка. Жених и невеста. Оба длинноволосые, оба в очках, оба в брюках. Он, карикатурист, не поймет, кто из них кто. Вот что значит смотрит на форму, а не на существо.— Мишкин неестественно громко захохотал, что было ему несвойственно.

— Все равно не выдержит же.

— Пошел вон, дурак. Уходи с дежурства к чертовой матери. Сам с ним буду.

Днем на работе Галя рассказывала об их ночной семейной эскападе.

— И ты там всю ночь была?

— Ушла в семь купить им что-нибудь поесть.

— А чего ж вы оставались, когда все сделано?

— А он не уходит. Я ему говорила. Все расписала им в истории болезни. А он не уходит. Он как нависнет над больным своим телом громадным... И они у него выздоравливают, по-моему, не от лекарства, а от тепла его тела.

— А знаешь, может, он и прав.

— Так ведь выздоравливают не только у него. Мне-то каково!

— Такую операцию сделать!

— Надо позвонить ему... Женя! Ну как?.. Ну, ладно. Иди домой. Там же дом все-таки — сын, собака. А вечером опять приедешь... Ну, ладно. Еда есть в холодильнике. Подогрей только.

Галя повесила трубку, подошла к зеркалу, поправила прическу:

— Не подогреет, будет есть холодное, я его знаю.

Запись вторая

В большом кабинете главного врача на стульях и креслах сидят дежурные, заведующие отделениями, заместители главного врача. Эта административная пятиминутка должна закончиться к половине девятого, когда приходят все врачи и начинаются пятиминутки в отделениях.

Марина Васильевна. Давайте ваши сводки.

Дежурные сдают сводки движения больных. Главный врач подсчитывает, сверяет цифры с данными кухни и затем подписывает ведомость на питание больных.

Марина Васильевна. Так. Начинаем. Терапия.

Дежурный терапевт рассказывает, сколько больных было, сколько выписалось, сколько поступило, сколько сейчас, кто тяжелый и были или нет нарушения труддисциплины.

Затем отчитывается дежурный хирург.

Дежурный хирург. У нас белья не хватило. Пришлось девочкам после операций заниматься автоклавированием.

Марина Васильевна. Евгений Львович, кто виноват?

Мишкин. Да что вы, как с луны свалились! Кто виноват! В результате централизации, Марина Васильевна. Сначала сделали централизованную районную лабораторию, теперь прачечная централизованная. А она берет и дает белье раз в неделю. Будто не знаете.

Марина Васильевна. Ерунда все это. У нас на складе белья достаточно. Возьмите еще, чтобы у вас в отделении было столько, сколько надо для дела. Чтоб был запас. Что у нас, белья нет?!

Мишкин. Не знаю, может, и есть.

Марина Васильевна. Слава тебе господи, нам районные организации дали белья сверх завязки всякой. Берите.

Мишкин. Легкое дело! Это ж лишняя материальная ответственность на старшую сестру.

Марина Васильевна. Ну, знаешь! Без ответственности нигде ничего не бывает. Ты отвечаешь за операции — она за белье. В прошлом году плохо с бельем было, но сейчас грех жаловаться, Мишкин.

Мишкин. Это да, спасибо и на том, но все равно белье грязное лежит в ларях неделю, ждет очереди в прачечную. Оно ж гниет!

Марина Васильевна. А нельзя с ними договориться, чтобы чаще меняли?

З а м п о АХЧ. Централизованная не может чаще, учреждений очень много у нее.

М и ш к и н. Когда у нас была своя, проблем этих не было. А сейчас даже помещение прачечной пропадает, пустует. Надо ж знать, где можно! Было белье — кому это мешало?! Вы на медицине не эконьете.

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Ну, ладно шуметь. Тут же мы сами не можем ничего изменить — значит, надо делать то, что мы можем. Думать надо, как помочь делу. Вас мы, Евгений Львович, обяжем взять достаточное количество белья на складе и чтоб перебоев не было. Вот так. Ты уж, Женя, совсем распустился. Ты вспомни, как мы тут сами белье стирали. Забыл уже, сколько мучились? Так что слава богу, милый друг. А насчет одного раза в неделю я райком попрошу — они включатся, помогут. Ну совсем ты распустился.

М и ш к и н. Я?! Вы вот мне скажите, что делать мне с послеоперационной палатой. Ведь нехорошо получается. Я туда должен дать лучших сестер — надежнее. Так?

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Естественно.

М и ш к и н. В этой палате не присядешь иногда и за целые сутки. А на постах они ночью семьдесят процентов времени сидят за столом, а то и спят.

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Так что они хотят?

М и ш к и н. Хотят, чтоб по очереди все были в этой палате. А я не могу любого в эту палату поставить. И так самому приходится торчать там все свободное время.

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Вот и неправильно, что сами там торчите. Это вы плохой организатор.

М и ш к и н. Конечно, плохой. Но что делать! Жизнь-то послеоперационных дороже моих организаторских способностей.

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Воспитывать надо персонал. Должны понимать необходимость.

М и ш к и н. Они говорят: «Чем становишься лучше, тем тяжелее тебе работа. Лучше мы будем посредственными сестрами на легкой работе».

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Если заведующий это повторяет, о каком же воспитании может идти речь?

М и ш к и н. Опять воспитание! Дайте сестрам в этой палате хотя бы четверть ставки лишней — всего-то пятнадцать рублей. Ну, десятую часть — должен быть материальный стимул.

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Надо учиться морально стимулировать, Мишкин. Ох и надоел ты мне! Есть благодарности, грамоты, Доска почета, стенная газета, наконец!

М и ш к и н. Нет. За работу надо просто платить. У-пла-тить! Это же медицина.

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Вы, Евгений Львович, никогда не обращались к нам в местком. Мы бы включились, помогли.

М и ш к и н. А вы можете им денег прибавить?

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Прибавьте им смену. Пусть будет чуть больше часов — тогда можно оплатить.

М и ш к и н. Больше суток?

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Нет, этого охрана труда не позволит.

М и ш к и н. Приписать, может, часы?

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Что вы говорите! Обманывать нельзя.

М и ш к и н. Если бы нам разрешили в ведомости проставлять больше действительно проработанных часов...

М а р и н а В а с и л ь е в н а. Ну, ладно городить, Женя. Понимаешь, что городишь?

Мишкин. Вот увидите, у меня в конце концов катастрофа будет с сестрами в послеоперационной палате. Ну, хорошо, если уж пошел такой разговор: а почему мне нельзя дежурным ставить больше, чем две ставки в месяц?

Марина Васильевна. Не могу разрешить. Охрана труда не позволит.

Мишкин. У меня хирург с анестезиологом трое суток почти не отходили от Крылова. Хотели им оплатить — опять профсоюз не разрешает. Крылова-то выходили. Какого больного!

Марина Васильевна. Ну что ты, Мишкин, гоношишься? Что можем, то делаем. А рисковать я не хочу. Читал в газете фельетон «Волшебница»? Главный врач вот так делала: писала фиктивные часы, чтоб оплатить вот такие трехсуточные отсидки. Строителям там тоже чего-то дописывала. Из дежурств обеденные часы не вычитала...

Мишкин. Какие ж перерывы на дежурстве! Что-нибудь сожрем на ходу, что из дому принесем. Вы ж и еды дежурным не даете.

Марина Васильевна. Вот-вот, а надо вычитать обеденные часы.

Мишкин. А вы вычитаете?

Марина Васильевна. Из каждого дежурства по полчаса в середине и в конце.

Мишкин смеется.

Марина Васильевна. Ладно зубоскалить. Так этого главного врача судили. Правда, она и себе приписывала за время работы на строительстве. Она с ними все время работала. По вечерам, что ли. Строители были довольны — говорят, здорово она помогла им, вернее больнице.

Татьяна Васильевна. И чем кончилось?

Марина Васильевна. Чем! Получила год условно. Почитай, Мишкин, почитай. У меня газета есть. Может, поумнеешь. Ну, и хватит об этом. Что можно сделать — делаем, а чего нельзя... Сколько времени мы из-за тебя сегодня потеряли. А у нас еще дело есть. Пришел приказ. Прочтите, Семен Аркадьевич.

Зам по АХЧ вынимает бумагу, надевает очки.

— «О проведении месячника по завершению подготовки к зиме лечебно-профилактических учреждений. В целях завершения подготовки зданий и сооружений к зиме приказываю: главврачам лечпрофучреждений а) провести субботники и воскресники в лечпрофучреждениях; б) провести массово-разъяснительную и оргработу в коллективах; в) разработать конкретные мероприятия по подготовке лечучреждений к зиме, сосредоточив основное внимание на следующих вопросах: устранение недостатков в системе отопления: котельных, центральных тепловых пунктах водопровода, теплотрассе; ремонта крыш, водосточных труб, подъездов, остеклению и оклейке оконных переплетов, утеплению лестничных клеток, проверка работы вентиляционных систем, состояние средств пожаротушения, исправность водопровода, электрическо-лифтового хозяйства, электрооборудования, проверка работ очистительных сооружений, проведению работ по очистке подвальных и чердачных помещений от мусора и неустановленного оборудования, по благоустройству территории, ликвидации мест разрытий и разработки строений, подлежащих сносу, озеленению скверов, садов и парковых зон; г) создать для организации и руководства проведения месячника постоянные штабы в количестве 3—5 человек». Ну, и дальше подписи.

Марина Васильевна. Ясно? Все должны у себя в отделениях этим заняться.

Татьяна Васильевна. Да и местком в это включится. Мы выделим в штаб своего человека.

Мишкин. Как говорили древние индийцы: «Лучше не делать своего дела, чем делать чужие». Я пошел работать. У нас тяжелый кризис времени.

Марина Васильевна. Все пойдут работать, а ты останься на минутку, у меня дело к тебе.

Все ушли. Мишкин уселся в кресле поудобнее.

— Ругать будете?

— Да что тебя ругать. Я привыкла. Но я хочу тебя предупредить, что ты сходишь с катушек и я тебя защитить не смогу. Еще когда помоложе была, может, и смогла бы защитить. Ты как несносный ребенок. И меня подводишь. Если что можно сделать для твоих сестер и врачей, давай сядем, подумаем вдвоем. Ну что я могу тебе при всех сказать! А сейчас начни подготовку к субботнику. И я без тебя знаю, что хирургам не место ни на картошке, ни на другой подобной работе. Но надо — значит, будем.

В дверь ворвалась анестезиологическая сестра:

— Евгений Львович, кислорода нет. Не можем к наркозу готовить.

— Ну, вот видите, Марина Васильевна! Каждое утро я таскаю баллоны с кислородом, подключаю их. А если б заведующий отделением был у вас баба...

— У меня не может такого быть.— Марина Васильевна радостно засмеялась.

— А мне не смешно. Ну, скажем, если б я был бы, как Пушкин, чуть больше полутора метров от уровня моря?

— Это тоже исключено. Что не Пушкин — то не Пушкин. Иди, Мишкин, не грехи, подключай свои кислороды. Ведь два года назад и этого не было. Мы баллоны прямо в операционную таскали, помнишь? А теперь!.. А еще через год в новом корпусе будет кислородная разводка по всем этажам, а для операционного блока своя станция внутри. Что ты еще хочешь? Когда я от тебя избавлюсь?!

Уже в десятом часу Мишкин появился в ординаторской. Дежурные хирурги успели сдать смену. Шло обсуждение больного, подготовленного к операции.

Наталья Максимовна. Больной пятидесяти четырех лет. Почувствовал себя плохо около двух месяцев назад. Появилась слабость, недомогание, неопределенные боли, на которые он вначале не обращал внимания. Около недели назад появилась желтуха. Обследование никаких особенностей не выявило, кроме повышенного билирубина и ускоренного РОЭ.

Онисов. А рентген желчных путей делали? Что он показывает?

Мишкин. Ох, Онисов, Онисов. Сколько тебя учить надо? При желтухе ты не получишь на снимке желчных путей, не будут они контрастироваться. Тут желтуха, и надо просто рассуждать: что это за желтуха? Для операции ли она? Не гепатит ли? Раз механическая — значит, для операции. Это не гепатит, по-видимому, — два месяца человек болен. Функциональные пробы печени тоже хорошие. Стало быть, на цирроз тоже мало шансов. Приступов сильных не было — значит, камень маловероятен. Скорее всего опухоль. Правда, желчный пузырь не увеличен. Вероятно, это опухоль поджелудочной железы, головки ее. Короче, операция необходима и она все уточнит до конца. Возможно, предстоит большая операция — резекция поджелудочной железы и желудка с двенадцатиперстной кишкой. Противопоказаний к операции нет.

Илющенко. Значит, если радикальная, это панкреатодуоденальная резекция?

Мишкин. Да, наверное. Но, может быть, и тотальное удаление железы.

Илющенко. А можно разве?

Мишкин. Вы у нас недавно. Вообще это вроде бы и не делают. Считалось, что больной не выдержит отсутствия железы и умрет от диабета. Но есть обнадеживающие сообщения. У нас есть наблюдения над тремя больными. Одну больную мы наблюдаем уже около четырех лет. Да и технически она, пожалуй, легче резекции. Не надо соединять культю железы с кишкой. Ну, ладно, анестезиологическая служба, берите больного и начинайте наркоз. Сегодня тяжелая работа. Крови достаточно заготовлено? Мне кажется, что здесь безусловно рак и, помимо, будет вполне операбельный. Игорь, дай закурить, пожалуйста.

Онисов. Ты думаешь ему делать радикальную операцию?

Мишкин. Если удастся — конечно.

Онисов. Эта операция больше чем в половине случаев кончается смертью. И мужик неприятный. Бандит. Несколько раз сидел за воровство и бандитизм. До этого сам работал в охране, убил кого-то, за что и сел первый раз. Нигде не работает. Сейчас в отделении со всеми скандалит — и с больными и с сестрами. Родственники к нему почти не ходят, а когда придут, тоже ругаются и с сестрами и с врачом. Зачем тебе надо? Нет, ты уникам!

Мишкин. У тебя «уникум» звучит как «идиот». Но если так, то уникам ты, безнравственное чучело. Подумай, что ты говоришь! Он больной! Каждый должен заниматься своим делом. А ты все время решаешь проблемы его и его родственников. Не всякий человек достоин уважения, но сострадания — всякий. Он больной. Это ж элементарно. Иди лучше оперируй, занимайся только своим делом.

В операционной Мишкин посмотрел на лицо спящего больного. Лицо как лицо. Татуировка на руках, на ногах. Живот чистый — по татуировке резать не придется. Операция началась и приблизительно часов через пять закончилась.

— Ну, сделал радикально? — спросил Онисов.

Мишкин. Удалось. Опухоль занимала только ткань головки. Тело не затронуто. Метастазов тоже не было.

В операционной больной лежал по-прежнему с трубкой в горле, по-прежнему продолжалось искусственное дыхание.

— Что, не раздышится никак?

— Плохо что-то, Евгений Львович.

Мишкин взял трубку и стал слушать легкие. Долго слушал.

— Справа в нижних отделах плохо прослушивается. Ослабленное дыхание. А попробуйте снять спонтанное дыхание. Переведите на кислородную, искусственную вентиляцию легких.

— Уже пробовали. Да и давление поднимается. Кислородная недостаточность.

Евгений Львович посмотрел на плечо больного. Из-под манжетки аппарата для измерения давления вылезал могильный холм и надпись: «Не забуду мать родную».

— Ну давайте, еще раз попробую. Валя, сделай еще листенон. Дыхание прекратилось. Начинаю вентилировать.

Мишкин стал слушать.

— Нет, все равно справа плохо. Давайте полчаса подышим за него, потом посмотрим. А вы отсосали из легких?

— Конечно.

— Может, еще раз?

— Только что отсасывали, перед самым вашим приходом. Мишкин опять вышел из операционной.

— Евгений Львович, вас главный врач вызывает.

— Вот черт! Ну что еще там?

Мишкин опять в операционной.

— Ну как?

— Так же.

— Сколько вы его еще собираетесь вентилировать?

— Часа полтора, наверное.

— Вера Сергеевна, я сейчас в райздрав минут на тридцать — и приеду. Хорошо?

Побежал переодеваться. В коридоре встретился Онисов.

— Тебе звонили из поликлиники. Илющенко сказал, что ты на операции и на прием не успеешь.

Мишкин одобрительно кивнул.

В соседней поликлинике он был по совместительству на трети ставки. К полутора ставкам в больнице прибавка этих сорока рублей играла существенную роль. Но иногда, когда у него бывали длительные операции или тяжелые больные, он предупреждал, что на приеме не будет. Это было неудобно поликлинике, но это был Мишкин, в нем, конечно, были заинтересованы, а потому терпели, хотя за неотработанные часы из этой ставки вычитали.

Когда он вернулся, легкое дышало плохо.

К вечеру они наложили трахеостому, то есть сделали отверстие в трахее, и оставили больного на искусственном дыхании.

Надо было дышать за больного. Автоматического дыхательного аппарата в больнице не было. Все по очереди становились в головах больного и дышали за него: сжимали и разжимали дыхательный мяч, от которого отходила резиновая гофрированная трубка к аппарату, а от него другая трубка шла к дыхательному горлу больного. Все работало по очереди.

Мишкин. Наташа, иди домой. С ребятами кто?

Наталья Максимовна. Кто! Свекровь и муж. Не пропадут.

Мишкин. Иди, иди. Нет, я вам скажу, что в отделении должны работать мужики. Ну, иди, говорят. Хорошо у вас нет детей, Вера Сергеевна.

Вера Сергеевна. Чего ж хорошего?

Мишкин. Да-а. И вы идите, Вера Сергеевна. Не бабское это дело — медицина. Взяли сразу и пустили столько баб в медицину. Это надо было постепенно. Потихоньку. Это как большую рану зашивать. Хочется сразу наложить посередине швы. Сведешь края, а потом, думаешь, легко будет. Ан нет. Надо маленькими стежочками, тогда больше шансов, что зашьется ровненько, без натяжения, и заживет хорошо. А тут сразу хоп! — и столько баб в медицину.

Вера Сергеевна. По-моему, вы устали, Евгений Львович. Идите в ординаторскую, отдохните.

Мишкин. Нет. Идите домой. Так и жизнь пройдет! А это что за жизнь: семь дней — сняты швы, семь дней — сняты швы. Идите домой, Вера Сергеевна, идите. Слушайте меня, не возражайте.

Запись третья

Кабинет главного врача. Рядом стоит женщина, которая что-то горячо объясняет главному врачу. Послушаем.

— Марина Васильевна, но он же опять сегодня не пришел на утреннюю конференцию. Так же нельзя.

— Вы, Татьяна Васильевна, хоть и председатель месткома, но должны понимать, что Мишкину я это простить могу. Он здесь и днем и ночью, его вызывают когда угодно. Он не отходит от больных сутками. Он делает операции, которые делают честь нашей больнице. И если мы дисциплину требуем от кого угодно, в том числе и от себя, то Мишкину мы это можем и должны прощать.

— Но ведь остальные видят. Каков пример!

— Не это пример, Татьяна Васильевна. Если бы все работали, как он, я согласилась бы и на некоторый подрыв нашей дисциплины и порядка.

— Как хотите, Марина Васильевна, но я считаю своим долгом вам это сказать. У нас порядок не для отдельных гениев, а для всех, и у всех должны быть условия для проявления своей гениальности. Всем одинаково.

— Всем все одинаково. Ну, хорошо, спасибо, Татьяна Васильевна. Я учту.

Марина Васильевна, оставшись одна, хватает телефонную трубку.

— Кто?.. Мишкин в отделении?.. Срочно ко мне.

Через некоторое время открывается дверь и где-то у притолоки повисает голова Мишкина. Он улыбается.

— Здравствуйте. Ругать будете?

— А ты думал. До каких пор это будет продолжаться?! Почему одни и те же разговоры длятся столько времени уже?

— Марина Васильевна, да я только ночью ушел отсюда.

— А я вам говорила, что время вашего ухода — ваше личное дело и вашей совести. Хоть вообще не уходите. Но ничто не снимает с вас обязанности приходиться на работу вовремя. И никто вам не позволит манкировать утренней конференцией.

— Сашку накормить надо? Надо. Собаку прогулять надо? Надо. А Галя на дежурстве.

— Ох Мишкин, Мишкин! Вот тут ты мне уже.— Показала, где он у нее — в области шеи.— Когда ж ты станешь человеком?

— Каким еще человеком? Нет уж, Марина Васильевна...

— Ну, ладно. Как больной?

— Вы знаете, получше. Положительная динамика. Уже появились шансы. Но я вам скажу, Марина Васильевна, так дальше невозможно. Уже четвертый день все отделение по очереди качает мешок. Все уже без сил.

— Что ты это мне говоришь каждый раз! Мы же маленькая больница сейчас. Кто же даст нам? Вот достроят корпус, тогда все будет, все обещают нам. Ну нет у меня возможности помочь вам сейчас. Каждый день, что ли, звонить туда надо?

— Конечно. А вы когда последний раз звонили? Ну позвоните сейчас.

— Пожалуйста.— Снимает трубку, набирает телефон.— Адам Адамыч? Здравствуйте, дорогой. Как живете-можете? Что нам подкинете ценного?.. Как ничего нет? Ну уж бросьте... Адам Адамыч, хирурги у меня уж просто падают... Да. Опять насчет РО. Нельзя работать при сегодняшнем уровне медицины без дыхательных автоматических аппаратов... Да как это можно потерпеть! Четыре дня назад они сделали большую операцию — резекцию поджелудочной железы. Вы понимаете, Адамыч, что это за операция?! И после операции начались неполадки с легкими. Они перевели больного на искусственное дыхание и вот уже четвертый день дышат за него руками. Руками четвертый день! Все отделение занято. Все по очереди: сестры, врачи.

И Мишкин, конечно, со всеми... Как, как?.. Не могут же они прекратить, если есть хоть маленький шанс спасти. Вдруг удастся спасти. Кстати, это им, кажется, удастся. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Ты подумай, Адамыч, каково это руками, без передышки, а? Может, можно все-таки достать дыхательный аппарат? Ведь это какой раз уже все отделение отключается на качание мешком... Да брось ты мне рассказывать, что будет когда-то. За это тоже по головке не гладят... А что Мишкин, мы, в конце концов, не о его личной усталости говорим. Дело, Адамыч, дело страдает. Поезжай в центр, стучи кулаком... Ну, новый когда это будет! Конец года хоть и не за горами, а все ж думать надо о сегодняшних больных и сегодняшних врачах... Кому ехать? Мишкину? Как районному хирургу? А с кем?.. Договорились, Адамыч. Так я тебя прошу... Ну вот, Женя. Что из этого получится, не ясно пока. Тебе надо ехать насчет оборудования нового корпуса.

— Да что это за дело для хирурга — заниматься оборудованием?

— Господи! Ну давай все сначала. Ты хочешь, чтобы у тебя в новом корпусе были твои дыхательные аппараты? Если хочешь, тебе сегодня надо ехать.

— Да у меня больные!

— Когда ты уйдешь на пенсию? Или я. Ну не могу я больше с тобой. А ты еще и сына родил. Будет такой же сумасшедший.

Они засмеялись.

— Иди ты к черту. Не морочь мне голову. Мне еще вон табеля на зарплату проверять надо. Считать тут не пересчитать.

— Каждый занимается не своим делом. Отдайте бухгалтеру. Не доверяете небось — будете наказаны.

— Ты что?! С луны свалился?! Не знаешь, что ли, что бухгалтерию нам уже год как ликвидировали?

— Как? Всю разве?

— Как это всю? Половину. Ну, мудрец ты, парень.

— Я думал, зарплату только централизованно дают, а бухгалтера все-таки оставили. А счета кто ж составляет, проверяет?

— Ты как будто не здесь работаешь. Кто! Я. Зам по АХЧ. Аптекарь. Старшая сестра. Диетсестра. Все делают. Поэтому я проверяю все сама, сию, считаю лишний раз. Еще одна проверка, чтобы не ошибиться.

— А зачем?

— Централизованно чтоб все было. Экономия на штате, на аппарате. Теперь у них машина есть электронно-счетная, считает. А разве одна больница может нанять ЭВМ?

— Как единоличник, который не может нанять комбайн.— Мишкин засмеялся.

В дверь постучали:

— Мишкина нет здесь?

— Я здесь.

— Вас срочно вызывают в рентгеновский кабинет.

— Господи! Наконец-то меня избавили от этого длинного выродка.

В рентгеновском кабинете травматолог Василий Николаевич Банкин пытается удержать у экрана пьяного. Тот все время заваливается.

— Евгений Львович, рентгенолога нет. Посмотри его под экраном. Нет ли воздуха и крови в плевральной полости. А я его подержу пока.

— Давай. Да это ж наш дворник. Алле, милый, ну подержись немного. Вот черт, нажрался как. Дайте мне полотенце. Хоть вытру его немного. Вот так. Ну, ставь его. И к темноте уже немного привык. Что, тяжелый? Удержишь?

— Удержу. С утра уже набираются.
 — Вася, поедем со мной сегодня в контору насчет оборудования говорить.
 — Поедем. Ну как, видно?
 — Видно. Постой, постой. Куда вы оба делись?
 — Сползает он. Ну совсем не держится.
 — Да у него вроде ничего нет. Брось его. Встань сам. У тебя что-то есть.

— Потом, Женя, посмотрим. Давай с ним закончим... Ну смотри. Что там? Опухоль?

— Хватит шутить. Действительно какая-то тень. Надо бы исследоваться.

— Опухоль, наверное, у меня, опухоль, Женя.
 — Но маленькая, краевая, периферическая. Типа кисты.
 — Ничего, Женя, сделаем операцию — и все будет в ажуре.
 — Чего ты зубоскалишь? Сдай хотя бы кровь.
 — Да ты не волнуйся. Это у меня с детства. Ранение было в детстве, в войну, а потом вот такое заживление. Это рубец такой. Меня уже тысячу раз хватало с этим.

Мишкин поднялся на второй этаж в послеоперационную палату. Около больного сидит девочка, сестра-анестезист, и равномерно, раз так восемнадцать — двадцать в минуту сжимает и отпускает мяч дыхательного аппарата.

— Давно сидишь так?

— Часа полтора.

— Ну и как он?

— Все хорошо, Евгений Львович.

— Хм. Хорошо. Устала, наверное?

— Немножко. Давно не меняли что-то.

— Сейчас я тебя сменю.

Он накапал жидкость в отверстие трахеи. Затарахтел мотор отсоса. Трубочкой стали отсасывать из трахеи.

— Смотри, сколько там всего. Каждые полчаса надо так делать. Сразу и легче должно стать. Ну как, легче сейчас? — почему-то почти на крике обратился он к больному.

Больной кивнул, вернее шевельнул головой и верхними веками. Сказать ничего не может, трахеостомия — голосовые связки отключены.

Мишкин пощупал пульс, померил давление, снова подключил аппарат.

— Иди занимайся своими делами. Я подышу.

Он сел и стал с той же периодичностью сжимать и отпускать мяч. Сжал мешок — вдох, отпустил мешок — выдох. Сжал мешок — отпустил мешок. Сжал — отпустил. Вдох — выдох.

О чем он думал? Может быть, о том, что эта вот нудная механическая работа, несмотря на отсутствие автоматов, все-таки иногда помогает — удается спасти больного, казалось бы, в самых безнадежных случаях.

Они, наверное, сейчас смеются надо мной, думал Мишкин, говорят, наверное, что лечить надо методиками и лекарствами, а не теплом своего тела. Это Галка придумала про меня так говорить. Все равно без тепла нашего тела они не поправляются. Что бы там ни говорили, как бы там ни смеялись.

И совсем я не сокращаю себе жизнь. Это Галка зря.

А ведь все могло быть иначе у меня. Все могло пойти совсем по другому пути. Я тогда как раз псориазом заболел.

— Как дела?

Больной успокоительно моргнул: мол, вас понял, все в порядке. Мишкин снова стал думать про прежнее.

Когда я работал в клинике, делал успехи по службе, меньше тепла этого уходило.

Надо позвонить Галке, пусть тоже с нами поедет. Я ничего не понимаю в этих анестезиологических, реанимационных, дыхательных аппаратах. Зря я ругаю наших снабженцев, наверно. Где-то, у Марка Аврелия кажется, написано, что если ты на кого-то сердиться, представь себе этого человека в гробу — и ты сразу простишь его. Вот именно.

Хорошо, что я ушел оттуда.

Первый раз, помню, на груди я обнаружил одну бляшку псориаза. Я вспомнил тогда, что псориаз связывают с различными нервными и аллергическими моментами. Лечить его трудно, а точнее, невозможно. Он может быть одиночными бляшками, может тотально распространяться по телу и даже уродовать суставы, и чаще всего это бывает на руках ниже локтей.

Я посмотрел на руки. Они были чистые.

Единичные бляшки — ерунда. Не надо нервничать. Я тогда успокоился, потому что хоть псориаз и кожная болезнь, но вполне благоприятная и связана с нервными переживаниями, а на опасных местах у меня ничего нет и, главное, у меня нет на руках, значит, ничто не угрожает моей профессии, а дело превыше всего.

А через несколько дней у меня случилась неприятность на работе. Большую операцию, которую я делал первый раз в жизни, шеф почему-то назначил на понедельник, 13 числа. Я просил его перенести ее на другой день и объяснил, что — понедельник, 13-е. Шеф обругал меня и прогнал.

День операции приближался.

У больного была резус-отрицательная кровь, а она не всегда бывает в запасе, я не тормозил особенно станцию переливания крови в надежде, что крови к назначенному дню не будет. Так и случилось. Операцию я делал 14-го, во вторник.

А потом, я помню, было собрание, посвященное трудовой дисциплине, и меня поносили за недостойное советского врача суеверие, сломавшее порядок операционного расписания.

Я сказал, что просто не было нужной крови в достаточном количестве, что я также осуждаю суеверие у советского врача и даже у английского или немецкого врача, что я тоже против всяких суеверий, но человеческая жизнь мне дороже.

Когда после этого собрания я пришел домой, то обнаружил бляшки псориаза и на животе и на голове. У меня было очень маленькое зеркало, и неудобно разглядывать, где у меня бляшки есть, а где их нет. Поэтому на следующий день я купил большое зеркало и приделал его к двери.

Когда я обнаруживал у себя новые бляшки, начинал нервничать и, к сожалению, иногда, особо разозлившись, говорил шефу о своем коллеге то, чего лучше было бы ему не знать, это вызывало гнев его и неприятные последствия для всех вокруг.

А от этого я еще больше нервничал, и у меня появлялись новые бляшки, и я старался выгораживать перед самим собой свое право на то, что я уже сделал. Я начинал думать о человеке, про которого сказал гадость, что человек этот действительно вполне заслуживает этой гадости. Мы ведь вообще очень часто не любим тех, кому принесли зло.

Я все чаще и чаще запирался в ванной и изучал свои бляшки, совершенно не отдавая отчета, отчего они появляются.

— Валя, давай еще раз его промоем.

Промыли.

— Может, сменить вас, Евгений Львович?

— Нет. Я лучше посижу.

И снова: сжимает — отпускает. Вдох — выдох. Вдох — выдох.

И в результате всех передрыг псориаз мой сильно ухудшился, и в основном на голове. Затылок мой был словно закован в гипс, и мысли не уходили дальше этой преграды.

Мысли были скованы. Мысли были псориазическими. Иногда я пытался сбросить этот ощутимый нимб скудоумия и все равно замыкался в нем — не в состоянии говорить о чем-то другом.

О чем мне было говорить, когда я весь был в путах этой болезни, ограничивающих живую мысль?

И лишь во время операции я отвлекался и целиком уходил в жизнь. От этого я еще больше привязывался к хирургии. Она мне стала необходима, она для меня стала воздухом. Мне казалось, что, если я больше оперирую, болезнь уменьшается. Но в клинике так накалилась обстановка, что в результате я стал меньше оперировать.

В конце концов псориаз распространился и на руки.

Так бы и ушел совсем из хирургии. Но, слава богу, ушел я только из этой клиники. И перешел в другую клинику. Но виновата была не клиника — виноват был я сам. Сначала я это понял, а потом уже нашел свое место, свою жизнь.

А псориаз сейчас остался только на голове. Что же это было — этот странный период в моей жизни? Назвать его пропащим временем нельзя. Наверное...

— Сколько времени?

— Два часа.

— Уже! Мне ж, наверное, ехать надо сейчас. Эй! Как дела? Легче? Большой благодарно ответил верхними веками.

Мишкин махнул рукой:

— Ну, работайте.

Из ординаторской он позвонил Гале и назначил ей свидание у входа в контору по снабжению медоборудованием.

Пришли делегацией: он — хирург, Банкин — травматолог и Галя представляла собой анестезиологов. Около четырех часов их всех и принял начальник конторы Петр Игнатьевич Бояров.

Б о я р о в. Ну что, виден конец стройки?

А д а м ы ч. Ну, не так чтобы близко, но уже пора думать о внутренних.

М и ш к и н. Да знать хотя бы, что положено и что дадите.

Б о я р о в. Семизэтажка?

М и ш к и н. Угу.

Б о я р о в. Шесть операционных?

М и ш к и н. К сожалению.

Б о я р о в. Почему к сожалению?

Б а н к и н. Вы подумайте — триста пятьдесят коек. Разве нам хватит шести операционных мест?

Б о я р о в. У вас как распределятся койки?

А д а м ы ч. Пять отделений по семьдесят коек. Сто сорок — чи-

стой хирургии, сто сорок — травмы, семьдесят — оперативной гинекологии.

Б о я р о в. А как же вы столы распределите?

М и ш к и н. И не знаем даже. На хирургию один экстренный стол как минимум? Так?

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. Один на травму?

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. По два плановых стола на каждое хирургическое отделение и по одному на травму. Так?

Б о я р о в. Почему по два на каждую хирургию?

М и ш к и н. Если в отделении семьдесят коек, то в среднем в день будет одна-две большие операции с наркозом и несколько мелких операций под местной анестезией. Так?

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. Под местной, как правило, операции почище. Это грыжи, вены, всякие маленькие опухоли поверхностные. Значит, если один стол, то сначала надо делать под местной, а потом переходить к большим операциям. Значит, операции на желудках, скажем, на желчных путях, на кишечнике, лицеводе, легких — все это будет начинаться после двенадцати. Так?

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. Значит, надо два стола на одно хирургическое отделение.

Б а н к и н. Итого: четыре хирургам, два травматологам, два экстренных стола и один для гинекологии — девять, стало быть.

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. Что «ну»?

Б о я р о в. Ну, мало. Как же вы выйдете из положения?

Б а н к и н. Плохо выходим из положения. Решили по три стола травме и хирургии. А в гинекологическом отделении сделали из перевязочной еще одну операционную. Все равно два стола еще нужно.

Б о я р о в. А два стола в одну операционную нельзя?

А д а м ы ч. По метражу можно. Но строители не разрешают светильники перемещать. В потолочных блоках у них какие-то коммуникации проходят.

М и ш к и н. Вообще проект устарелый. Реанимация и послеоперационное отделение не предусмотрены начисто. Что-нибудь ломать и перестраивать придется. Больница спроектирована пятнадцать лет назад. А строится только сейчас.

Б о я р о в. Есть уже другой проект. Современный. Еще год будут строить по этому проекту, а через полтора года уже по новому проекту. Тогда вам будет хорошо. Потерпите.

Г а л я. Потерпите! Нам уже не будет хорошо.

Б о я р о в. Ну, вашим друзьям и потомкам. (Смеется.) Ну, хорошо, останавливаемся на семи столах. Больше не дам. Хоть это плохо, но сами говорите, что проект устарел. За вашими требованиями не угонишься.

М и ш к и н. Если догонять со скоростью сто километров за пятнадцать лет. А мы все перестраиваем и перестраиваем. По методе Тришкиного кафтана. Так что вы нам дадите? Сколько столов?

Б о я р о в. Ну ладно, девять дам.

М и ш к и н. А какие?

Б о я р о в. А вот эти. (Показывает проспект и картинки.)

М и ш к и н. Да это разве операционные — это перевязочные. Таких нам отдельно надо, по крайней мере, двенадцать. По два на этаж и в приемное отделение и в реанимацию.

Б о я р о в. Вот и договорились. Выпиши им, Маркин, двенадцать. В углу комнаты за столом сидел человек, на которого они вначале не обратили внимания.

Б а н к и н. Из этих девяти нам два ортопедических стола надо. Каждому травматологическому отделению.

Б о я р о в. Да они больше трех тысяч стоят! Деньги есть?

А д а м ы ч. На новый корпус денег-то дали. Да что толку от них, когда не знаешь, как реализовать. Ведь вы ничего не даете.

Б о я р о в. Ну.

А д а м ы ч. Что «ну»?

Б о я р о в. Как же не даем? Два ортопедических стола хотите?

Б а н к и н. Да.

Б о я р о в. Маркин, выпиши один стол.

М и ш к и н. Хоть один. Ну, а универсальные операционные столы?

Б о я р о в. Нету.

М и ш к и н. Да как же нет! Ведь не можем же мы открыть без них хирургическое отделение.

Б о я р о в. Ну хорошо. Маркин, выпиши им два стола.

М и ш к и н. Как же два! В каждый операционный зал надо поставить по столу как минимум. Вы же планировали корпус. Как же можно корпус хирургический планировать, а столов к нему нет! Абсурд. Мы не откроем корпус.

Б о я р о в. Откроете. Обяжут.

Б а н к и н. А оперировать на чем?! На каталках, что ли?!

Б о я р о в. Найдем на чем. Разберемся. Дальше что?

А д а м ы ч. Наркозные аппараты.

Б о я р о в. «Наркон» хотите?

Б а н к и н. Это типа аппарата Макинтоша, что ли?

Б о я р о в. Ну.

М и ш к и н. Так они для полевых только условий годятся да в перевязочные. А для больших операций... На каждый этаж в перевязочные пять штук, пригодятся.

Б о я р о в. Маркин, выпиши пять «Нарконов». А для больших операций дадим венгерский «Хирана-шесть» и наш УНАП-два.

Г а л я. А «Полинаркона» нашего нет?

Б о я р о в. Ни одного.

Г а л я. Завод-то работает, производство налажено — куда ж они делись?

Б о я р о в. У нас, кроме вашей больницы, ничего нет, да? У нас институты, у нас госпитали, у нас все! А тут ваша больница вдруг.

Г а л я. Но два аппарата на триста хирургических коек — это смешно, это преступно, в конце концов!

Б о я р о в. Ну-ну.

М и ш к и н (толкает Галю под столом ногой). Петр Игнатьевич, но это же действительно мало.

Б о я р о в. Пока так. А там разберемся. Что еще?

М и ш к и н. Думаете, чего забудем? (Улыбается. И все улыбаются.) Еще дыхательная аппаратура.

Б о я р о в. Один РО-два.

Г а л я. Он же давно устарел. Сейчас пользуются РО-три или РО-пять.

Б о я р о в. Оформите приказом по горздраву реанимационное отделение — дам РО-пять.

М и ш к и н. Светильники над столами.

Б о я р о в. Маркин, выпиши что есть.

Б а н к и н. А что есть?

Б о я р о в. А что есть, то и есть. Осветите.

А дамыч. Насчет кроватей как?

Бояров. Каких?

Мишкин. Вестимо каких. Нам функциональные нужны. Чтоб тяжелые больные лежали.

Бояров. Сколько?

Мишкин. Мы бы хотели все. Чтоб как в институтах.

Бояров. Серьезно давай.

Мишкин. Пятнадцать в послеоперационное отделение и реанимацию и по десять, пожалуй, на каждый этаж.

Бояров. Был договор у нас с зарубежной фирмой. По сто сорок рублей кровать. А они, подлецы, на сто сорок семь сделали. Дам десять. Маркин, выпиши. И все. Время. Конец рабочего дня. Смотрите, сколько времени убили.

Гая. Было бы у вас все что надо! Дел-то на десять минут.

Бояров. Вам все тяп-ляп. Сегодня день такой, что пообедать не успел.

Мишкин. Мы тоже, Петр Игнатьевич. Может, пойдём пообедаем вместе?

Бояров. Когда? Сейчас?

Мишкин. Ну.

Бояров. Вы, ребята, насчет оборудования больше, чем надо, не суетитесь. Все будет. Подождите. Москва тоже не враз диаметром сорок километров стала. Все будет, это я вам говорю.

А дамыч (ликующе). Ну!

Порой я смотрел на Мишкина в его многообразной деятельности и дивился этой непостижимой разносторонности в такой конкретной службе. Да, службе.

Нравилась ли ему его околохирургическая деятельность? Получал ли он удовольствие и от этого? Или это только лишняя обременительная нагрузка, как казалось мне с моими ординарными представлениями о бытии и работе?

Сам он говорил, что все это ему обрыдло, что он хочет заниматься только хирургией, и никак ни администрацией, ни организацией, ни снабжением, ничем прочим...

Но его большое тело, большой организм имел такой запас жизненной энергии, которую он прикрывал иногда, якобы флегматичностью, якобы усталой ленью, что начинало казаться, мне начинали видаться радость, спортивный задор, честолюбивое желание добиться успеха и в этом.

Рак поджелудочной железы! — а ну-ка замахнемся. Нет дыхательного аппарата! — а ну-ка поиграем. Надо ждать грузчиков! — а ну-ка потешимся. Это невозможно, нельзя, рано, подождите — посмотрим, поторопимся, поторопим. Пусть ждут те, которые думают, что жизнь длится века.

Мое ординарное мышление оказывалось в тупике, когда я пытался оценить, расценить, судить его жизнь, его работу во всех направлениях.

Надо подходить с другой меркой.

Запись четвертая

Как-то Мишкин сидел с друзьями у телевизора в ожидании матча Англия — Бразилия, но перед самым началом позвонили из больницы и срочно вызвали. Пришлось ехать.

МИШКИН:

И я поехал в больницу. Я не посмотрел, как играл Пеле. Не ви-

дал в этот раз игру Мура, Чарльтона. Привезли тяжелую травму. Я позвонил Гале, но ее не было, а наш анестезиолог был в отпуске.

Кто ж даст наркоз? — думал я в такси. Интересно, что за травма. Сказали, черепная. Я поехал, даже не расспросив. Может, зря. А не помчался ли я, ничего не выяснив, из чистого пижонства? Не хотел ли я самодовольно показать ребятам, что работа наша требует служения, а не службы или обслуживания? Вот вы, мол, остаетесь получать удовольствие, а я вынужден... А они там, наверное, рассуждают о моей работе. Ведь каждый в чужом понимает больше и с большим удовольствием говорит не о своем, как только представляется возможность. Напрасно я не расспросил как следует. Такой футбол пропустил. Теперь уже поздно. Этому пижонству полтора рубля. От Вовки до больницы. А если зря и побегу обратно ко второму тайму, то и все три рубля. Дорого мне это пижонство встанет. А вдруг оперировать придется? Кто же наркоз даст? Конечно, Агейкин правильно вызвал. Может, привезли какого-нибудь, как шахматная фигура, — без рук, без ног. Молодец — не постеснялся. И от гордыни можно иногда не вызвать.

В больнице мне ничего не рассказывали, а просто показали человека, у которого из лица торчал сектор циркулярной пилы. Как древняя секира, этот сектор врубился прямо в середину лица, рассекая лоб, нос, верхнюю челюсть и нижнюю губу. Зубчатый край пилы был во рту. Больной был в сознании, кричал: «Спасите меня, доктора!» На снимке видно, что пила входила вглубь больше чем на половину черепа.

— Как он живет?

— Непонятно. И в сознании.

— Перестаньте кричать. Помолчите. Вы же хуже делаете. Как его зовут?

— Василий Петрович.

— Помогите!

— Ты смотри! Перестаньте! Вы же хуже делаете.

— Он не понимает. Он пьяный.

— Надо дать наркоз.

— Здесь сложный наркоз. Сестра не даст. Вера в отпуске, и Гали дома нет.

— Налаживайте пока капельницу и введите сразу фентанил и дроперидол.

— Да вы что, Евгений Львович! Откуда это у нас? Не выговорю даже. Это из той больницы невропатолог приносил. А своего нет. Тот кончился.

— Я по одному флакончику спрятал у себя в кабинете. Сейчас принесу.

Я взял у себя в запаснике снадобья и отдал сестре. Тут мне пришла в голову идея:

— Группу крови определили?

— Третья.

Я побежал к телефону.

— Лев Палыч! — Я стукнулего по плечу, может быть, сильнее, чем надо. — Идея! Идея, коллега Агейкин!

— Что это вы так обрадовались?

— Есть у нас телефон выездной бригады пересадок органов?

— Вы думаете, не вытянет? Я тоже так думаю.

— Дурак ты. Падыч. — Я был, конечно, в излишнем восторге от идеи. — Давай телефон.

— Пожалуйста. Вот записан он.

— Алло! Здравствуйте. Трансплантация? У нас есть очень тяжелый черепной больной.

- Бесперспективный для вас?
- Знаете ли, пока живет — всякий перспективный. Как вам сказать. Очень тяжелый.
- Какая группа?
- Третья.
- Ох, это нам очень нужно. А что с ним?
- Кусок циркулярной пилы расколол череп пополам.
- А так-то он здоровый был? Сколько лет?
- Тридцать четыре года.
- Вошла сестра.
- Евгений Львович, ввели. Молчит. Вроде бы загрузился. Я кивнул и махнул рукой, чтобы шла к больному.
- Сейчас приедем. У нас больной лежит на искусственной почке. Третья группа позарез нужна.
- Позарез!
- Теперь я им самое главное скажу:
- Только у меня, знаете, какая просьба к вам. Тут для операции наркоз очень сложный нужен, а у нас анестезиолога нет, только сестра. Захватите вашу реанимационную бригаду. Поможете, а уж если не выйдет, будете брать.
- Договорились. Как проехать? Какая больница?
- Минут через пятнадцать они уже были у нас в больнице.
- Когда я кончил говорить по телефону, в ординаторскую вошел мужчина.
- Вы Евгений Львович?
- Да.
- Я начальник техники безопасности с завода, где произошло это несчастье.
- А-а. Слушаю вас.
- Скажите, Евгений Львович, есть надежда?
- Надежда всегда есть. Но он очень тяжелый. Может, и удастся спасти. Сейчас начинают наркоз.
- Что жене-то мне сказать?
- Да так и скажите. А дети есть?
- Один. А через четыре месяца второй должен быть. Простите, Евгений Львович, вы как считаете, он пьяный?
- Кажется, пьяный.
- Вы понимаете, это тоже очень важно. Уж как с Васей будет, это, как говорится, бог даст, а вот ответственный за технику, так сказать, безопасности по тому участку, как говорится, под суд может загреметь.
- А он виноват?
- А кто ж его знает. Кто-нибудь всегда должен быть виноват. Работал Вася без экрана, а это нельзя. Но если он пьян, как говорится, тогда тот не виноват, так сказать. А если не пьян и погибнет — под суд. Этот техник по безопасности только что прошел, как говорится, курс лечения от алкоголизма. Сейчас не пьет. А уж теперь сорвется, точно. Он как услышал про это, сразу с места сорвался и исчез. Неизвестно где.
- Ничего вам сейчас не могу сказать.
- И у этого двое детей, так сказать. А звонить вам можно, узнавать, как дела?
- Конечно. Запишите телефон.
- Он записал.
- Агейкин кому-то по телефону ответил, что не может сейчас позвать сестру... И я, как запрограммированный, порезонерствовал по поводу хамства. Ну ведь действительно же нетрудно позвать сестру.

Но Агейкин всегда точно знал, что и кому и как положено, какой должен быть порядок! Он все знает — и что ему не за то деньги платят, чтобы он ходил сестру к телефону звать, и личные разговоры — это нарушение труддисциплины. И наконец, главный его аргумент: «Сегодня одну позовешь, а завтра всем звонить будут».

Я пошел в операционную. Вася лежал, глаза закрыты, но на оклик открывал их. Просто загружен лекарствами. Это хорошо.

Реанимационная бригада осмотрела больного и занялась налаживанием наркоза. А я в ожидании разрешения мыться болтал с их доктором. Перед операциями, при чужих, на меня иногда нападает болтливость. Вот и сейчас.

— Хоть вы приехали и, как вороны, за органами, но сначала должны попытаться справиться функции голубей со святой водой, живительной.

Это я вместо благодарности.

А их анестезиолог мне кидает:

— Не бойтесь, коллега, ворон ворону глаз не выклюет.

И поделом мне.

— Это я так, пошутил. У нас с вами не вороньи отношения. Ведь именно они-то, воронье, собравшись, не могут столкнуться. Они-то, наверное, и клюют друг друга. Это они, воронье, себя успокаивают, что не выклюют.

Усмехнулась:

— Доктор, мойтесь.

Началась операция. Нам удалось довольно легко удалить эту секиру. Я боялся кровотечения из венозного синуса, но он, по-видимому, как это ни странно для локализации раны, не был поврежден. Пилу убрали — ничего не случилось. Показатели больного оставались стабильны.

Анестезиолог из бригады, ждавшей возможности забрать почку, все время успокаивала меня и поддерживала:

— Все хорошо, доктор, все хорошо. Он стабилен. Работайте спокойно.

В конце операции анестезиолог сказала:

— А больной-то ваших перспектив, не наших.

— Что поделаешь.

— Просто прекрасно. Мне, конечно, жалко того, с уремией, на искусственной почке. Но дай бог вашему здоровью, а вам с ним удачи. А мы найдем кого-нибудь. Таких травм относительно много, к сожалению.

Мы кончили операцию. Вася был вполне приличен. После выведения из наркоза глаза открыл, даже что-то сказал. Сознание есть! Это главное. Пока все прекрасно. Если выживет, наши травматологи могут показать его на своем травматологическом обществе. Шутка! — голова пополам. Наверное, не дошла секира до места связи между полушариями.

Хорошо провели наркоз ребята. Да и сама анестезиолог очень приятная женщина. Длинноногая блондинка. Жалко, я ее не разглядел как следует, пока она маску не надела.

Почему я так возбуждаюсь после сложных операций? Говорят, что некие диссертанты в каких-то странных и страшных единицах ухитрились измерить количество сил, уходящих у хирургов за время операции. Не знаю, не знаю. У меня совсем не так.

А анестезиолог. Я его подержу на столе и, если все будет так же, переведу в палату. Привезите кровать сюда.

Сестра. А каталку нельзя?

А анестезиолог. Можно. Но переключать два раза для него все-таки тяжело. Со стола на каталку, а потом с каталки на кровать.

Сестра. У нас кровать без колесиков.

А анестезиолог. А специальных подставок-подкатов с колесиками нет?

Сестра. Нет.

А анестезиолог (засмеялась). А в институтах, в академической системе, и кровати функциональных полно и подкаты есть.

Я. Доктор, а у вас нельзя чем-нибудь поживиться? Какими-нибудь лекарствами, дефицитными для нас?

А анестезиолог. Надо посмотреть, чего у вас нет. Нам ведь много чего дают для клинической апробации, так сказать, экспериментально, что не пошло еще в общую больничную сеть.

Я. Вот и я про то. Ну, вы кончайте заниматься больным, станет еще, вы говорите, стабильнее — приходите в ординаторскую. К тому же и записать надо.

А анестезиолог. Идите. Я иду следом.

Определенно хорошая девочка. Зачем ей работать в ожидании трупа? Пусть бы к нам приходила. Но там она научный сотрудник, получает больше. Жаль.

Я. Как вы думаете, Лев Павлович, — убывают силы хирурга во время операции или увеличиваются?

Агейкин. Смотря на что. (Хихикает.)

Я. Так и я могу ответить.

Агейкин хихикает.

Агейкин. А вот в институте одну работенку делают. Определяют степень вредности хирургической работы.

Я. Хиработы.

Агейкин. Что?

Я не стал повторять.

Агейкин. Обвешали хирурга во время операции всякими датчиками, как космонавта, и стали наблюдать за кардиограммой и давлением. Резекция желудка была. Когда лигатура с артерии сорвалась, на кардиограмме прединфарктное состояние, а давление свыше двухсот. Перевязал — и все в норму вошло. Представляю, сколько раз за операцию. И сброс веса за операцию — три кгэ.

Я. Сколько ни взвешивался до и после операции, у меня вес сохранялся. Но это-то ладно, ты скажи: за вредность начнут платить рублей пятнадцать — тридцать, хоть десятку, как за степень, или нет?

Этого он, конечно, не знал, а всякие легенды собирает по сусекам. Я хотел пойти к больному. А он мне:

— Да пойдете, Евгений Львович. Запишем лучше. Прав Онисов — уникум вы.

Я. Может, сам запишешь? Чего там особенного.

— Нет, тут сложно. Я боюсь. Давайте вместе.

— Ну ладно.

Я пошел к анестезиологу. Больной совсем хорош. Дай-то бог.

Мы не успели договориться, чем бы эта милая анестезиологиня могла нам помочь. Им пришлось срочно уезжать. Где-то им снова замаячила почка с третьей группой крови. Решили созвониться.

А футбол я так и прозевал. Да и вообще было уже два часа ночи. Гале я позвонить не мог — квартира-то общая, — но она, говорят, звонила и ей все рассказали.

После операции позвонил начальник техники безопасности. Я его успокоил.

Потом позвонила жена больного. Тоже успокоил.

В первый день Вася был очень тяжелый. На третий день Вася по непонятной причине потерял ненадолго сознание. Что это было, почему, мы так и не поняли. А помню, как он в коридор первый раз вышел. Его вели жена и наша сестра. Он очень быстро поправлялся. Сфотографировали его. Сфотографировали рентгеновские снимки. Травматологи решили показать его на своем обществе.

Но что нас серьезно угнетало — это непрерывные звонки начальника техники безопасности. Он звонил ночью, днем, утром. Врачи ругались. Он будил сразу, как только врачи засыпали под утро после какой-нибудь тяжелой операции. Иногда казалось, что ему сообщали: мол, легли, можно звонить — и тогда он начинал звонить. Он нашел мой домашний телефон и позвонил как-то поздно очень — его обругала соседка, а мне пришлось извиняться. Соседка не ругалась, а я не извинялся, когда звонили из больницы. А это не больница, он звонил даже Марине Васильевне домой.

В ординаторской по телефону первым его обругал, конечно, Агейкин около четырех утра. Потом Онисов. Опять мне пришлось извиняться. В конце концов, ведь и его судьба решается. И уволить могут, и суд. А тот-то, на участке которого случилось несчастье, снова запил. Сейчас начальник звонит только мне. Не звонить уже не может. И я каждый раз иду к телефону. Жалко его мне. Ну, не каждый раз. Иногда я прошу сказать, что меня нет.

Короче говоря; жизнь идет, Вася поправляется.

— Евгений Львович, вас к телефону.

— Я слушаю.

— Евгений Львович, здравствуйте. С вами говорит анестезиолог из «пересадки органов». Помните?

— Конечно. Здравствуйте.

— Евгений Львович, у вас достала и лекарства, которых у вас нет, и трубки трахеостомические — вы жаловались, что у вас плохие.

— Большое спасибо. А как это практически получить?

— Вы к половине пятого подойдите к вашей автобусной остановке, а я подъеду, у меня машина.

— Да мне неудобно, мало того что вы нас облагодетельствовали...

— Ну, ладно. Я ж говорю, у меня машина. Договорились? Да? Все.

И гудки в трубке.

В половине пятого я уже стоял на автобусной остановке. Подъехала машина.

— Уж не знаю, Евгений Львович, поместитесь ли вы.

Я и в «Запорожце» помещался, а уж в «Жигулях» и вовсе устроился с комфортом.

— Поехали. Вон сзади лежат ваши бебехи... Евгений Львович, я существенно моложе вас, простите, так что зовите меня, пожалуйста, просто Ниной.

— Слушаюсь, просто Нина.

— Что ж, мы вам больше не нужны? Никогда нас не вызываете.

— Так вас же для нашего дела не вызовешь. Только когда вы схватить что-то можете.

— Ну, положим. Мы же тогда вам помогли. Все как раз наоборот. Как он, кстати?

— Хорошо, но тогда был случай экзвизитный.

— Эх, Евгений Львович, Евгений Львович, экзвизитные случаи валяются на каждом шагу, мы ходим по ним.

Мы поехали с ней в гости к моим приятелям.

Возвращались поздно. Сзади сидел несколько захмелевший мой товарищ, Володя. Немного больше, чем надо для водителя, выпила и Нина. Я держался ничего. Это и естественно: если алкоголь распределяется на килограмм веса, то мне надо больше, чем им, чтобы сильно опьянеть.

Сначала отвезли Володьку. Прощаясь, он долго целовал ручки Нине и причитал:

— Не могу в тысячный раз не поцеловать ручки такому очаровательному реаниматору.—Целует ручку.—Если буду умирать,—целует ручку,—вызывать только вас буду,—целует ручку,—а если не буду умирать,—целует ручку,—вызывать буду вас с еще большим удовольствием.

Ушел.

— А теперь к тебе, Нина. Одна ты пьяная ехать не должна.

— Ну, другая бы спорила, а я пожалуйста. Ох, муж и будет ругаться, что я пьяная за рулем. Но ты ж мне помочь не можешь. Ты водишь машину? Нет. Ну и поехали.

Постепенно Нина пьянела все больше и больше. Она теряла дорогу, машина сбивалась на сторону. Хорошо еще, что на набережной не было ни пешеходов, ни машин, ни милиционеров.

Время от времени машина явно уходила к тротуару, и я брался за руль двумя пальцами и поворачивал его немного влево. Получалось. Когда машина уходила слишком влево, я тем же способом брал руль и крутил чуть к себе. Опять получалось — гордость моя росла с каждой новой опасностью.

Когда мы благополучно доехали, я считал, что лучшего водителя, чем пара Женя — Нина, и не сыщешь, что им бы только ездить да ездить.

Доехали благополучно до ее дома. И до своего дома я тоже добрался благополучно. И еще с собакой погулял.

А Вася выжил и выписался домой. Я позвонил — сказал об этом Нине. Для всей больницы это была большая радость. Мы его провожали с цветами. Сестры провожали его до ворот. Смешно, да? Больного провожали с цветами... Ну, не смешно, но, во всяком случае, как-то сусально. За ним пришли жена и его шестилетний сын. Всему семейству и Васе объяснили, что пить ему никак нельзя. Да он и не хотел пить.

Мы решили не отдавать его в поликлинику. Вася приходил к нам раз в неделю, мы его смотрели и продлевали ему больничный листок. Боллисток, как некоторые у нас говорят. Делали снимки. Показывали невропатологам.

Однажды Вася пришел и сказал:

— А ведь дней через пять-шесть ей рожать.

Мы стали проявлять свое понимание и восторг.

— Я не управлюсь с ней сейчас один. Да сын еще.

Мы согласились.

— А не лучше ли ее отправить к моим родителям и мне с ней — это всего пятьдесят километров.

Мы опять согласились. Мы не понимали, почему он спрашивает с заискивающим сомнением. Но Вася, по-видимому, лучше нас знал все правила оформления больничного листка. Мы иной раз подписываем их, не оформляя по всей букве инструкций. Позволяем себе. Так легче.

Я сказал не подумав:

— Езжай, конечно. А больничный мы сейчас оформим.

И выписал ему больничный лист с 1-го по 10-е, с 11-го по 20-е и с 21-го по 30-е. Поставил свою подпись и вторую подпись врача, под-вернувшегося под руку.

— Ну, Вася, желаем тебе... Кого хочешь, мальчика или девочку?

— А все хорошо.

— Ты сообщи, как родится. А дней через пятнадцать покажись. Тебе с тридцатого уже на инвалидность надо. Бумаги надо заготов-лять, анализы сделать, снимки. Обязательно приходи раньше. На преж-нюю работу тебе нельзя.

Мы поговорили, и Вася уехал.

А 16-го Марине Васильевне позвонили из следственного отдела и сообщили, что к ним поступил больничный лист этого Васи с заяв-лением от администрации завода, что врачи, лечившие Васю, не на-блюдая, незаконно выдали ему больничный лист на целый месяц вперед и незаконно разрешили ему уехать к родителям в область, что у него 7-го родился сын, а 13-го (я думаю, как раз когда заби-рал жену из роддома, седьмой день) он умер и что администрация завода просит привлечь к ответственности врачей, столь грубо нару-шивших и финансовые правила (это они больничный лист имеют в виду), и врачебный контроль за здоровьем. Врачи полностью пусти-ли лечение на самотек, нарушив и законы и элементарную врачеб-ную этику — и так далее и так далее.

Марина Васильевна просила принести историю болезни и амбу-латорную карту. Историю болезни я принес, а амбулаторной карты никакой не было. Я ничего не записывал после выписки Васи из больницы. Я смотрел, делал назначения, консультировал — лечил, но никаких записей не делал.

Тут же приехали из городской экспертизы трудоспособности — и не увидели амбулаторной карты при больничном листке, он был до 30-го, а смерть 13-го... Что дальше рассказывать?

Эксперт по трудоспособности потребовал, чтобы меня перевели в фельдшеры до суда. Крик был по всем инстанциям.

Все спрашивали: «Где же ваши записи?! Что вы нам ссылаетесь на лечение? Ваше лечение — это ваше личное дело. Вы покажите запись о вашем лечении. Мы студентов учим с колыбели: пишите, пишите — это ваш единственный юридический документ. Не словам верят, а документам. Где ваши документы? Что вы покажете проку-рору?» — все инстанции шумели, бушевали, угрожали. И действи-тельно, вдруг я за деньги дал больничный лист, вдруг я по сговору не стал лечить больного, вдруг я у здорового отнял почку, сердце или мозги для кого-то другого.

А я ведь врач! Смешно. Потом все же дали право главному вра-чу решать и казнить в рамках больницы до суда. «А уж после суда нам (инстанциям то есть) делать будет нечего».

Так и решили.

Марина Васильевна орала на меня по-другому. Она не плакала, но в крике ее я слышал слезы:

— Что ж ты наделал! Ведь сейчас плевать на все твои операции, на уровень смертности, на успехи твои, наши. Сколько я тебе гово-рила, предупреждала... Дам сейчас в приказе строгий выговор, и бу-дем ждать, что скажет следствие.

Дали выговор, район утвердил. Ждали суда. Я работал. Там еще бабушка надвое сказала, а я пока оперировал. А больше я ничего не умею.

Я продолжал оперировать. Я продолжал жить как всегда.

Наконец вызвали к следователю. История болезни и заключение медицинской экспертизы уже были у него.

— Садитесь. Курите? — А потом: — Лечение ваше правильное. Эксперт мне сказала, что вы сделали больше чем возможно. И даже сказала: посмотреть бы мне на этих ребят. Чем-то вы ей понравились.

Я мычал. А что мне сказать?

Следователь продолжал:

— А как вы думаете, почему столь резкое заявление от завода? Вы что, с ними ругались?

— Нет. Все было хорошо. Сгоряча, наверное. Да и не знали, как с больничным поступить. Такого у них, наверное, не было.

— Угу. Может. Может. Нет, доктор. Шкуру свою спасают. За это несчастье техника безопасности должна пойти под суд.

— Почему? Он же пьяный был. Это снимает с них, по-моему, обвинения.

— Пьяный! Во-первых, нельзя пьяного до работы допускать. Во-вторых, надо смотреть, когда на пиле работают без экрана. И техник по безопасности пил-то с покойным.

— Так что ж, в тюрьму его, что ли?

— Не знаю. Может, условный срок дадут. И принудление от алкоголизма. Они хотели на вас спихнуть и на этом выехать.

— Но я ж действительно виноват. Больничный лист я неправильно выписывал.

— Конечно, безобразие. За это выговор вам нужно дать. Премии лишить.

— Выговор есть, а премий у нас не бывает. Потом, у меня нет амбулаторной карты, где записывают осмотры, консультации, назначения, рекомендации.

— А где она?

— Не завел, не писал. Лечил, смотрел, а не писал. Больничный давал.

— Один смотрел?

— Нет, смотрели и другие доктора. Нам же было всем интересно. Кроме хирургов и травматологов, еще и невропатолог смотрел, еще анестезиолог приезжал, который наркоз давал.

— А они подтвердят, что с вами смотрели?

— Естественно. Они ж смотрели.

— Тогда какое имеют значение ваши записи?

— Но это ж единственный документ.

— Да что нам ваши документы! Свидетели есть? Есть. Экспертизы решение есть? Есть. Можем еще очные ставки провести. А бумага... знаете ли.

— А нам говорят, что вы словам не верите, только документам.

— Это только ваши инстанции решают по документам. Они незнакомы с элементарными нормами права. В этом отношении вы невоспитанны и безграмотны. Если хотите найти правду, ищите ее в суде. Мы на страже законов, а не ваших циркуляров. Если ваши медицинские инстанции нам не мешают, мы всегда строго придерживаемся буквы закона.

— Буквы или духа? — глупо спросил я, поскольку не знал, что говорить.

— Конечно, прежде всего буквы закона. Дух, знаете ли, все могут понимать по-разному... — Усмехнулся. — В законе важна буква, а ваши медики трактуют дух то циркуляра, то инструкции. И вот результат. Хирургам портят нервы.

Позвонил и все рассказал анестезиологу — она ведь тоже участник этой эпопеи.

Запись пятая

— Вы, Евгений Львович, расскажите, как это произошло. Все-таки во врачебной семье.— Консультант положил историю болезни на стол.

— Она шесть дней, Захар Борисович, никому дома не говорила. Лишь на шестой день сказала бабушке, и та привезла ее к нам.

— Как же она терпела?

— А бог ее знает. Девочка чуждая, терпеливая, вежливая. Очень рассудительная и, наконец, красивая. У меня... когда я смотрю на нее... Это я виноват. Надо было сразу. А я сомневался, сомневался...

— Конечно. На шестой-то день поставь сразу диагноз? Засомневаешься. Шесть суток. Нет уж, вы, Евгений Львович, не зарывайтесь, больше, чем надо, не кайтесь. Это уж гордыня. А что на операции нашли?

— Сам аппендикс был как деревяшка — плотный, покрыт фибрином, на кончике маленькое отверстие. Купол слепой кишки тоже плотный. Вокруг инфильтрат, гной в центре и общий разлитой перитонит.

— И что сделали?

— Отросток убрали. Как мог залатал купол и подшил его к брюшине, а то ненадежно было. Потом часа два протирал, полоскал, промывал живот. Поставил дренажи в четырех местах. А теперь в вены лью все что могу. Спасибо реаниматорам из центра. Возим кровь туда на анализы: солевой баланс наша лаборатория не определяет.

— Плохая лаборатория?

— У нас теперь районная лаборатория, централизованная, не при больнице. Все равно возить приходится, так мы уж туда. А в центре реанимационном нам делают. Балансируем солями — то это льем, то другое. Сами увидите — все записано.

— Я не уверен, что могу вам чем-нибудь помочь; но, знаете, родственники волнуются, естественно, просили — я и приехал.

— Да что вы, Захар Борисович, я так рад, что вы приехали. Вместе подумаем. Может, что подскажете? Четырнадцать лет! Вот посмотрите ее анализы.

Захар Борисович приблизительно такого же возраста, как и Мишкин, почти такого же роста и тоже очень удачливый хирург, но оперировал чуть меньше, ему пришлось тратить время на аспирантство, на написание сначала кандидатской диссертации, потом докторской. Зато теперь оперирует много, доктор наук, профессор... Родственники девочки пригласили его на консультацию. Профессор опять взял историю болезни в руки и стал ее листать.

Мишкин сидел рядом и курил. Впечатление было, что он ни о чем, кроме сигареты, не думал и смотрел только на дым.

Временами он захватывал подбородок большим и указательным пальцами, потирал его, а потом смотрел на пальцы, будто отросшие на подбородке волосы могут остаться на руках. Досадливо поморщился — вспомнил Галину забывчивость: «Галя каждый день сюда приезжает, помогает нам с девочкой. Но бритву-то можно было привезти!»

Он опустил голову на руки, прикрыл на минутку глаза и потер веки.

— А здесь, Захар Борисович, на этом листе,— что мы лили и сколько.

— Вижу. Пойдемте посмотрим девочку. Потом думать начнем. И, сделав вид, что они еще не думали, вышли из кабинета.

Смешно было смотреть на них сзади, когда присоединились к

ним и другие врачи отделения. Впереди двигались два почти двухметровых ферзя, а сзади пешки обычного размера.

После общей дискуссии в ординаторской зашли опять в кабинет к Мишкину.

— Ну, что я вам могу посоветовать, Евгений Львович? Все правильно. Конечно, если бы вы могли достать аминазол и интралипид. Это сильно бы поддержало ее силы. Не ест же ничего. В данном случае это было бы очень полезно.

— Да где взять...

Дальше пошел пустой светский разговор, завершающий консилиум. Захар Борисович думал о чем-то своем, а Евгений Львович вернулся в мыслях к девочке, временами выплевывая вслух свое любимое «вестимо», безличные «дескать», «отнюдь» и все прочее.

Наконец они расстались около машины и Мишкин пошел в палату к девочке.

Посчитал пульс.

Затем посмотрел язык.

Потом проверил капельницу — с какой скоростью капает, как стоит игла в вене.

Стал щупать живот. Сначала легонько, поверхностно.

Затем нажимал сильнее, одновременно наблюдая за лицом.

Стал щупать около самой раны, отвлекая девочку разговором.

Наконец перестал ее осматривать и заговорил с бабушкой-доктором. Сказал ей об аминазоле и интралипиде:

— По четыре флакончика хорошо бы того и другого.

— Не мало будет, Евгений Львович?

— Хватит, наверно, пока. Они дорогие, Дарья Гавриловна.

— Вы уж наши деньги не экономьте, пожалуйста, Евгений Львович. Нам сейчас не до этого. Пойду звонить.

И опять к девочке:

— Ну все ж как тебе сегодня, а?

— Я ж сказала, Евгений Львович. Хорошо. Лучше, чем вчера.

— Пить хочется? Трудно не пить?

— Нет.

— И язык у тебя влажный.— К сестре: — Какая хорошая девочка. Вот бы я ее себе в невестки взял.— И к девочке: — Только жалко тебя.— И к сестре: — Он ей в подметки не годится.

Зашел к дежурным.

Один ел. Другой спал.

— Хорошо вам — не везут никого. Вы за девочкой смотрите. Сейчас ей капает калий. Там все написано, что капать и когда. Если привезут аминазол и липид этот, позвоните. Как бы не перелить ей жидкостей больше чем надо.

— Уже семь часов, Евгений Львович. Идите домой. Если что — позвоним.

— Да, позвоните. Иду. Дай закурить. Покурю и пойду.

Сел — как провис.

В восемь часов он все же из больницы вышел.

Поначалу Мишкин шел медленно и размышления его носили размеренный характер.

«Мне бы сейчас несколько молодых ребят. И чтоб мужики. С мужиками легче. Каторги домашней нет у них. Ну, Наташа, например, хороший хирург, но дети, магазины, муж. Нет, ребят мне нужно. Вот выстроили нам новый корпус — кому работать? Набрать бы ребят — и девочку было бы на кого оставить. А так, когда их несколько человек, — где взять? Вон автобус. Не побегу. Пройдусь еще. Медлен-

но. Дежурств на каждого тоже приходится много. Правда, заинтересованы — подработка. А много не разрешают. Вдруг доктор переработает. Охрана труда зорко следит. А если недоест — не важно. Охрана еды — нет такого сектора в месткоме. Пожалуй, девочке надо еще гамма-глобулин завтра дать. Надо сказать аптеке, чтобы достали. И Нина обещала какой-то новый антибиотик привезти: из экспериментальных, тех, что на апробацию дают. Сейчас бы она была — с машиной быстрее. И где же хирургов брать для нового корпуса? Говорят, в институте на последнем распределении студенты отказывались идти в хирургию. В психиатры идут, в рентгенологи идут. И даже, поработав немного, некоторые уходят из хирургии. Вредности или трудностей не боятся. Деньги нужны. А там и за вредность прибавка, и отпуск больше, чем у хирургов. Сейчас хорошо хоть в анестезиологи повалили. Им теперь тоже отпуск увеличили и прибавку дали. Нам же — моральное удовлетворение. А его нет, когда хорошо. Вот моральное неудовлетворение — это бывает, когда плохо. Пройду еще останковку пешком, а то устал что-то. И псориаз опять обострился. Это после той черепной травмы. Конечно, консультанты нужны. Да и на себя одного ответственность брать страшно. Еще неизвестно, чем кончится. Гнойный процесс идет — конечно, есть смысл сделать гамма-глобулин. В новом корпусе, если разрешат проект немного переделать, надо будет выделить послеоперационно-реанимационное отделение. И девочке там было бы лучше. Станет лучше ей — тьфу-тьфу — надо будет перевести в отдельную палату. В новом корпусе будут такие. Невестка, хм. Таковую девочку, конечно, жалко Сашке давать — хамит, грубит. Впрочем, возраст такой. Да от меня, кстати, не зависит, кому ее давать и даже кого он будет брать. А Галя ему и замечание сделать боится. Он-то с ней как с матерью. Не знает ведь. А у нее все время в голове — не мать. Ему ж не объяснишь. И не надо. Сколько она ему сил отдала, а он грубит. И молтает она сверх меры. И у себя на работе, и ко мне приезжает. И с девочкой этой тоже возится. Совсем умучилась. Похудела. Девочка-то за несколько дней вон какая стала. Господи, хоть бы поправились. Все бы отдал. Но обеты лучше не давать. Как эта легенда в библии: дал обет перед битвой в случае победы отдать в жертву первое, что увидит дома, — пришлось дочерью пожертвовать. Лучше обетов не давать. — Мишкин увидел автобус и пошел быстрее. — Чаю хочу. Крепкого. Не кофе. Вот он. Автобус».

Галя встретила его в дверях. Помогла раздеться. Пиджак повесила в шкаф. Сашка лежал на диване. Приветствовал отца с юношеским, вернее, с детским полухамским самомнением и покровительственным пренебрежением:

— Привет. Ну, как там твои умирающие габонцы, Швейцер?

— Этим не шутят. У меня тяжелая девочка лежит, которой ты и в подметки не годишься.

— А ты кому годишься в подметки? Разве что маме.

— Что ты хамишь?

— А что ты приходишь с видом умученного святого? Сам выбрал себе свой путь.

— У тебя двойка, что ли?

— Проницателен больно. Насквозь видишь — тебе в рентгенологи надо, а не в хирургию. И платят больше.

— Как ты с отцом разговариваешь? — Это включилась в разговор Галя. — Ты только представь себе, каково ему сейчас. Ты же знаешь! Ты только попытайся понять его работу. Дурачок.

— Ты умная. Понять его работу!

— И шутки твои — не твои. И насчет рентгенолога и насчет оплаты. Видишь, Женя, при нем еще многое нельзя говорить.

Сашка повернулся, показал им свою полную оппозиции спину, приставил к стене «Швейцера» из серии «Жизнь замечательных людей» и стал читать или делать вид, что читает.

Галя ушла на кухню. Мишкин опять стал мечтать, если только мысли эти можно назвать мечтой. «И чего я напал на Сашку? Хотя это он на меня напал. Но у него возраст. И нечего серьезно к этому относиться. Наверно, в этом возрасте часто рвется контакт между детьми и родителями. И уж потом на всю жизнь. Надо сдержаннее быть. Дети, конечно, критерий полноты и правильности жизни родителей. Конечно, это так. Если Сашка окажется нулем — значит, я был нулем. А все, что есть, только кажется. И я в этом возрасте был тяжким крестом своим старикам. Где-то во мне, наверное, истоки Сашкиного хамства».

Галя вернулась из кухни, и он попытался есть. Казалось, есть хотелось, а начал — и не пошло.

— А острого ничего нет?

— Нет, Женечка, не купила.

— Ну вот. Всегда так. Не могла в магазин сбежать. Ты же знаешь, я люблю острое. — Мишкин отпихнул тарелку.

— Женя, но когда же я могла успеть? С работы я заехала к вам. Обед у меня был готов. До Сашкиного прихода только и успела за хлебом зайти.

— Ты же знаешь, что острое для меня важнее хлеба. Обошлись бы без хлеба. И сладкого, конечно, нет ничего?

— И сладкого нет. — У Гали в глазах появились слезы, и она от-вернулась к шкафу.

Сашка продолжал читать.

Мишкин посмотрел сначала на сына, затем на Галя, потом в окно, наконец встал.

— Потом поем.

Прошелся по комнате. Галя возилась в шкафу. Сашка продолжал читать. В коридор не выйдешь — ругаются соседи. Здесь ходить — места мало. Но он ходил. Семь шагов — разворот. Семь шагов — разворот. Семь шагов...

— Саш, сходил бы купил конфет, а?

— Ну вот! То почему мало читаешь, то иди в магазин. Я...

— А, ладно. — Мишкин махнул рукой и лег на тахту.

Заснул он, казалось, еще на пути к подушке. После Галя пыталась его разбудить, чтоб разделся на ночь. Ничего не вышло. Не проснулся даже позвонить вечером в больницу.

Почему-то на дежурстве просыпаясь за секунду до того, как сестра войдет тебя будить. Еще ничего не слышно, еще никого нет, еще никто к тебе не обратился, а уже что-то почему-то тебя поднимает. Как собака, которая чувствует землетрясение чуть раньше появления понятных нам симптомов.

Мишкин проснулся не на дежурстве, а у себя дома. Посмотрел на часы. Без четверти пять. Обнаружил, что он одет. Удивить его это не могло. И тут же раздался звонок в дверь. Побежал к двери. Из своей комнаты заворчала соседка.

— Кто?

— Простите, пожалуйста. У вас тут доктор живет? Откройте.

Открыл. В дверях стояла женщина в халате. Она должна бы удивиться, что доктор одет. Но она не обратила на это внимания. В глазах у нее ужас.

— Простите, пожалуйста. Не поглядите вы моего мужа? У него

был припадок какой-то с судорогами, а потом он замолчал.. Уже минут тридцать молчит...

Она продолжала что-то говорить.

— Я сейчас. Трубку возьму.— И побежал в комнату.

Галя проснулась.

— Я сейчас приду. К соседям. Просят.

— Если я нужна буду, скажи. Приду.

— Ладно.

Когда он подошел к постели, сосед был мертв. И уже давно. Как сказать?.. Он держался за пульс. Стал слушать сердце. Хотя слушать уже было нечего — думал, как сказать. В коридоре металась жена.

Мишкин вышел и сказал:

— Надо вызвать неотложку. У меня нет шприца, лекарств.

Жена кинулась к телефону. А он стал ходить по коридору. Закурил. Вдова вызвала неотложку. Он продолжал оставаться в коридоре, надеясь, что соседка поймет: не может же врач оставить больного и ходить с сигаретой по коридору. Она надела пальто:

— Пойду встречу. Чтоб не искали.

— Дойдут сами. Не торопитесь.

— Нет, нет. Долго искать будут. Простите меня, доктор. Извините, как вас зовут?

Он сказал. Она ушла.

Потом привела врача.

Вместе они прошли в комнату.

— Да он умер! Уже больше часа, наверное.

— Скажите ей. А что делать нам?

— В милицию позвоните — смерть скоропостижная. Передайте, что мы были и смерть констатировали. Сейчас напишу.

— Он скончался. Уже с час, наверное.

Женщина... Впрочем, что описывать...

Мишкин позвонил в милицию. Затем остался ждать. Не мог же он ее бросить одну. Она кидалась ему на шею, плакала. Она называла его уже Женей. Рассказывала про своего покойного мужа. Какой он был хороший, как был уверен, что жить будет еще долго, и вот на тебе, едва достиг пятидесяти лет. И что ей делать теперь! И что живет он у нее не очень давно. Ушел он из семьи. У него двое взрослых детей. Они, наверное, будут ее винить. И никого у нее нет. Некого позвать даже. И что она ушла с работы, когда он переехал к ней, чтобы ухаживать за ним. И как сказать его детям...

Приехали дежурные милиционеры. На руках повязки. Приложили руки к козырьку. Прошли в комнату. Сказали, что вызовут следователя. Предупредили, чтоб покойника не трогали. Чтоб лежал он, как лежит сейчас, поскольку «всякая внезапная смерть подлежит обязательному судебно-следственному обследованию». Посочувствовали горю и опять, приложив руки к козырьку, исчезли.

Мишкин оставался в коридоре. Потом она все же вспомнила, кому позвонить.

И они снова стали ходить по коридору и по кухне.

Пришел следователь. Осмотрел квартиру и, не обнаружив следов борьбы в доме, пошел искать следы насилия на трупе. Тоже не обнаружил. Составил акт, дал им расписаться и ушел, сказав, что пришлет машину.

Было уже восемь часов. Мишкин позвонил на работу, спросил про девочку и передал, что немного задержится.

И снова стал слушать, что детей его она никогда не видала, сейчас увидит их первый раз, а она этого боится, что сидеть около него она не может..

Пришли дети — парень и девушка. Они обняли ее, и все трое заплакали; пришедшая с детьми женщина плакала отдельно.

Потом соседка показала на Мишкина.

— А это доктор, который первый... Который..

Мишкин пробыл там еще около часа, потом забежал домой, поел и уехал на работу.

Операций в этот день не было.

Запись шестая

Мишкин закончил операцию. День сегодня должен быть нетяжелый. Больных особенных нет. Сегодня, можно сказать, день отдыха.

Мишкин вышел в коридор.

Коридор в отделении длинный и узкий. Если его просматривать из конца в конец около часа дня, можно увидеть несколько кучек больных. В самом конце коридора, около уборной, — курящие мужчины. Они мало курят, больше ведут бездымную беседу — обсуждают внутриведомственные события и комментируют происходящее. Многие из них ведут разговор, сидя на корточках. Иногда такие посиделки продолжаются часами.

Недалеко от операционной другая группка — ждут, когда вывезут их сопалатника, или просто ждут, когда вывезут хоть кого-нибудь. Очень любят ждать и смотреть на тех, кого везут с операции.

Они тоже беседуют, но более приглушенными голосами. Темы те же. Здесь еще происходит подсчет времени — сколько на кого уходит, и делаются выводы о качестве хирурга, успехе операции. Господи, когда наконец построят новый корпус! Операционная и послеоперационное отделение будут на других этажах, и тогда ликвидируются некоторые неприятности. Будут другие, правда. Но не будет вопросов: «Доктор, меня оперировали пятнадцать минут — у меня рак, да?», «Доктор, меня оперировали пять часов — плохи мои дела, да?»

Еще одна группа людей сидит около перевязочной. Эти в очереди. Ждут перевязки. Они больше молчат. Изредка говорят о чем-нибудь постороннем.

По коридору идет молодой, недавно окончивший институт доктор — интерн. Диплом он получит только после года работы в этой больнице. Здесь он совсем недавно. Из операционной выходит Мишкин.

— Евгений Львович, там в приемном поступает больной. Направлен с прободной язвой. Черт его знает, может, и есть прободная. Но уж больно он спокоен. Посмотрите, пожалуйста. И живот не очень напряжен, по-моему. А с другой стороны, действительно похоже. И анамнез: молодой, двадцать один год...

В это время открылась дверь лифта и из него вывезли каталку с больным.

— Этот?

— Да. Посмотрите, пожалуйста.

Мишкин прямо в коридоре стал осматривать больного.

— Надо вас оперировать.

Больной молчит.

— Везите прямо в операционную.

Больной молчит.

— Пусть начинают наркоз. Будешь оперировать, я тебе помогу. Здесь резекцию, наверное, не надо делать. Ушить язву — и все.

Молодой доктор доволен. Будет оперировать.

— А я не был уверен, что это прободная.

— Но ведь прошло сколько-то времени после твоего осмотра. Картина должна как-то измениться. Когда ты смотрел, еще не было ясно, а теперь ясно. Да ты и сам видел.

— Да. Видел. А Агейкин со мной смотрел, он высказал мнение, чтоб подождать, посмотреть, понаблюдать.

— Агейкин. У него есть мнение по каждому поводу.

— Евгений Львович, у меня еще одна просьба. В пятой палате больной с язвенным стенозом желудка отказывается от операции. Поговорите с ним, пожалуйста.

— В пятой? Это у окна? Блондин? Худой? Ладно, зайду.

Позвали:

— Евгений Львович, мыться на прободную можно.

— Иду, иду. Пусть пока открывает живот.

Так он и не успел дойти до ординаторской покурить хотя бы.

— Евгений Львович, вы будете Трошину перевязывать? Со сви-
щом.

— После операции. Дренажи приготовьте.

— Дренажей нет, Евгений Львович.

Вдруг пропали дренажи. Все время что-то пропадает. Почему? Производство их налажено давно. Куда же они пропали? Если бы не надо было что-то непрерывно доставать, создавать, организовывать, а только лечить, что бы делали администраторы? Нет дренажей! Что ж, порежем системы для переливания крови. Вот беда! Другой дефицит создается. Даже в «Комсомольской правде» писали, что у нас дренажей и катетеров нет.

Продолжая этот внутренний монолог, Мишкин вошел в операционную и как только сунул руки под струю воды и, по существу, уже включился в операционный настрой — все мысли о дренажах, дефицитах, администрации улетели вместе с водой в раковину.

Операция была недолгой. Свежая язва на практически здоровом желудке у молодого человека. Зашили дыру, осушили живот.

— Вы, наверное, без меня живот зашьете. Можно мне уйти?

— Да, конечно, спасибо, Евгений Львович.

Наконец-то Евгений Львович кинул, как он любил говорить, тело в кресло и закурил. Никого в ординаторской не было, и, наверное, он, как всегда, начал бы размышлять о чем-нибудь несущественном и непрактическом, вспоминать, как он чем-то стал или кем-то не стал. Вдруг почему-то вспомнил, как позавчера он сидел в компании старых приятелей и среди них был один солидный хирург, который упрекнул его, что он пьет накануне операции. Мишкин разозлился (хотя: «Юпитер, ты сердишься!..») и сказал, что некоторые считают, что пить накануне операций нельзя, а после дежурства оперировать почему-то можно: «Это, наверное, похуже питья — оперировать на тридцатом часу работы, но необходимо»; а тот ответил: «А вы не назначайте на этот день»; а Мишкин: «Как у вас все хорошо складывается — у меня отделение в семьдесят кроватей, то есть больных, и у нас не клиника, всего три врача, да еще я заведующий. Нельзя оперировать сегодняшнему дежурному, нельзя оперировать после дежурства». А дальше они вышли за всеобщее здоровье, и Мишкин предложил жить вообще без споров. Как будто он это умел. А хирург этот выпил еще (наверное, у него не было завтра ни дежурств, ни операций) и сказал, что главное — не ссориться, споры — это хорошо, так как в спорах рождается истина. А Мишкин ему: «В спорах

истина не рождается, она в них гибнет. В спорах нам суетно, интересно. В споре мы с вами ждем очередной возможности высказаться, и пока другой говорит, придумываем новые аргументы в свою пользу. В спорах мы не слушаем друг друга, мы вообще редко умеем слушать. А истины рождаются в тишине, а не в шуме спора». Евгений Львович продолжал бездумно вспоминать.

После он пошел в магазин, так как Галя дежурила. Он долго стоял в магазине перед автоматом и читал объявление: «Ув. покупатели. В автомат не бросайте следующие монеты: юбилейные, мокрые, гнутые». Потом вышел гулять с собакой, а дворник из соседнего дома, который недавно лежал у них в больнице и которого он даже изнутри видел, на рентгене, стал кричать, что он не обязан ходить за его собакой и что пора кончать с барскими замашками...

Тут вошла Наталья Максимовна, и он понял, что задремал в кресле, а сигарета проггла ему халат.

— Евгений Львович, у Игоря в палате мужик со стенозом от операции отказывается...

— Он мне говорил. Я зайду.

— Вон он стоит около столика сестры и настаивает, чтоб его сейчас выписали.

— Как его зовут, не знаешь?

— Сейчас посмотрим в истории болезни. Вот, Сергей Федорович Панин.

Он вышел в коридор.

— Сергей Федорович, прошу вас, зайдите ко мне в кабинет.

Зашел вместе с больным.

! — Садитесь, пожалуйста. Сергей Федорович, сколько лет у вас язва?

— Пятнадцать.

— Обострения часто были?

— Раз в год приблизительно.

— В больницах много лежали?

— Раза четыре.

— Помогало?

— С год после этого легче.

— А сейчас что изменилось?

— Сейчас рвота у меня.

— Каждый день? И боли?

— Нет. Болей нет. И рвота не каждый день.

— Отрыжка тухлым бывает?

— Это да.

— А при рвоте — еда вчерашняя, позавчерашняя?

— Вот что меня и удивляет...

— Значит, еда дальше не проходит, Сергей Федорович. А сколько это уже длится? Рвота?

— Около года.

— Вот видите. — Мишкин покачал головой. — Уже год. Похудели?

— За этот год похудел немного. Килограмм на пять.

— Это много. Прилягте, пожалуйста. Здесь щупаю — не болит?

— Нет.

— Ух какой плеск. Вы слышите, Сергей Федорович, как в желудке плещется?

— Ну, слышу.

— Это значит, что плохо у вас проходит пища. От голода умереть можно.

— Да я ем.

— Вы-то едите, а вот до тканей не доходит. Судорог не бывает? Руки, ноги по ночам не сводит?

— Вроде нет, Евгений Львович. А может?.. Нет. Пожалуй...

— А может начаться, Сергей Федорович. И по рентгену видно, что у вас плохо проходит. Через сутки почти половина бария в желудке остается. Бойтесь операции?

— Да не так чтобы очень боялся. Но я сейчас совсем ничего. И болей нет.

— Когда уже будет «не ничего», станет совсем плохо. Пойдемте со мной.

Они вышли из кабинета и вошли в ближайшую палату. На стуле у окна сидел мужчина и читал.

— Петр Николаевич, простите, мы вас потревожим на минутку.

— Что вы, Евгений Львович, всегда готов, всегда, Евгений Львович.

— Вы сидите, сидите. Петр Николаевич, скажите, как у вас болезнь шла, что чувствовали, расскажите все Сергею Федоровичу. У него сомнения кое-какие.

— Да нет у меня сомнений, Евгений Львович.

— Пожалуйста, послушайте.

— А чего тут особенно рассказывать. Как у всех. Язва у меня была десять лет. Часто в больницах лежал. Больше чем на год не снимались обострения. Потом появилась рвота без обострения. Пришел сюда, и Евгений Львович уговорил на операцию. Сейчас прошло только двенадцать дней — уже совсем другое дело. Ем хорошо, отрыжки нет, рвоты нет...

— Спасибо, Петр Николаевич. Вы поговорите с Сергеем Федоровичем. Я сейчас пойду, а завтра мы с вами все решим окончательно. Хорошо?

Мишкин вышел в коридор, удовлетворенно улыбаясь. Почти наверняка больной согласится.

Навстречу шла секретарша главного врача.

— Ой, Евгений Львович, а я вас ищу. Марина Васильевна очень просила спуститься к ней. Очень нужно.

— Женечка, выручай. Мне надо срочно ехать договариваться насчет лифтов. Не хотят пускать в новой поликлинике — лифтерши не обучены. А народный контроль говорит, что если не пустим — на меня денежный начет за разбазаривание государственных средств. Я тебя очень прошу — сегодня собирают главных врачей в горздраве. Съезди за меня. Там большое будет сборище. Ты отметишься и, если будет возможность, удирай.

— Очень надо?

— Очень, Женя. Это лично для меня сделай.

— В конце концов, день сегодня спокойный, можно и поехать.

— Ну вот и хорошо. Салют тебе, дорогой. Так не хочется обращаться к другим... Знаешь, пошла я вчера с главным бухгалтером деньги просить. Перегруз-то у нас какой! Квартальный план мы за два месяца выполнили. Денег на лекарства не хватает, говорю. А он мне говорит, что не надо перевыполнять. Вы, говорит, не берите больных больше чем надо. Я ему про «скорую», везут же, говорю. А он мне отвечает, что это его не касается.

— Надо попросить кого-нибудь, пусть помогут, а не злиться. А вы злитесь. Вот в английских наставлениях для потерпевших кораблекрушение сказано, что злость и нервозность уменьшают силу воли — скорее потонете, мол, ребята.

Главная посмотрела на Мишкина сочувственно и усомнилась в

способности потерпевшего кораблекрушение что-либо читать, даже если это и наставление утопающим. Она махнула рукой и переключилась на истории болезни умерших за прошедший месяц. Проверяла.

— Ну и интеллигентными вы стали, ребята. Раньше писали, что в таком-то часу больной скончался при явлениях падения сердечной деятельности. А теперь к вам не подступишься. Видал, всюду: «Реанимационные мероприятия были неэффективны».

Марина Васильевна посмотрела в окно:

— Вон приехала твоя анестезиологиня. Нина, что ли, ее зовут? Чего ездит? Надоела она мне.

— Так она, знаете, как помогает нам! С того самого раза.

— Ну ладно, ладно, беги к ней за помощью, она, по-моему, всем помогает, никому не отказывает.

— А чего ж отказывать, когда мы тоже помогаем выяснению клинической ценности лекарств.

— Ну, мудрец! Может, кстати, она тебя и довезет туда. Минут через пятнадцать—двадцать уже надо ехать.

Мишкин пошел к себе в отделение. Нина уже была там. Они поздоровались, стали перебрасываться словами. Слово — щелк. Щелк — слово. Слово — щелк. Ну чистый пинг-понг. А смысл выявится, когда счет объявят.

Поговорив о том, о сем, дошли до заседаний хирургического общества.

Мишкин пожаловался, что воя уж месяц как он подал в общество заявку на демонстрацию, а ему даже не позвонят, и он не знает, принята ли она.

— А ты ни с кем не поговорил предварительно?

— А с кем? Я подал заявку секретарю — и все.

— Чудак. Надо попросить кого-нибудь. Тогда быстро провернут. А так кому нужно-то!

— Да ну их. Сами должны понимать. Это ж интересно!

— Ну чудак! Как говорится, дома чудак, на работе чудак, в магазин пойдешь — тоже чудак, а на конкурсе чудачков тоже возьмешь только второе место — потому что чудак. Я поговорю с нашим — он ведь в правлении общества. Поможет.

— Да ну их с помощью.

Нина сняла трубку, заговорила, поговорила, договорилась — ей обещали.

И опять щелк, щелк — новый счет начался.

Нина вытащила из сумки дефицитные лекарства и отдала Мишкину.

Живешь как в вате — и вдруг пробилась сквозь эту мягкую густую пустоту помощь. И не просили, а просто у человека потребность помогать.

Щелк, щелк...

Прибежала опять секретарша Марины Васильевны.

— Евгений Львович, вам пора ехать. Не успеете отметиться.

— Бегу. Отметиться-то я успею всегда, а вот удрать, если опоздаю, уже не смогу.

Запись седьмая

— Здравствуйте, коллега. Вот попал к вам в руки.

— Здравствуйте. Бывает, что и нам приходится от себя терпеть. Обидно, конечно, хирургу оперироваться.— Мишкин улыбнулся, больной доктор усмехнулся.— Простите, вас Сергей Алексеевич, по-моему, зовут? Так, как говорится, на что вы жалуетесь, доктор?

— Да, да, Евгений Львович. Мне кажется, что у меня неострая толстокишечная непроходимость.

— Вы уж, Сергей Алексеевич, давайте, как неграмотный больной, все по порядку. Что болит. Как болит. Анамнез. Впрочем, пойдете ко мне в кабинет. Там расскажете. Могут же коллеги поговорить и наедине, а?

Сергей Алексеевич как-то убого улыбнулся, и они пошли.

Закурили.

— Вы давно в этом институте работаете?

— Лет восемь.

— А чего ж к нам легли? Вы ж не по «скорой» в больницу попали?

— Я живу рядом. Да и вообще, какая разница?

— Ну как! Там все же институт. И аппаратура, и инструментарий, и медикаменты дефицитные, наконец, специалисты — не чета нам.

— Все мы легко говорим о том, что хуже знаем. Вы говорите про наших специалистов, а я про вас слышан как о большом специалисте.

— Как можно сравнивать меня и моих товарищей с вашей профессурой! Да и обидеться могут на вас коллеги по институту.

— А,— доктор махнул рукой,— я думаю, что теперь это большого значения не имеет. А если обидятся, могу сказать, что «скорая» привезла. Да и не так уж они заинтересованы.

— При чем тут заинтересованность?

— А я вам скажу. Нас вот сейчас около десяти человек, чуть меньше, за последние два-три года защитивших докторские.

— Так вы доктор наук! Вот видите, а мы вообще никаких степеней не имеем.

— Вы ж понимаете, Евгений Львович, что когда болеешь, не о степенях думаешь. Но я не об этом.

— Да, простите. Я перебил вас.

— Я говорю — не заинтересованы, так как сейчас проходят сокращения всюду, и в институтах тоже. Так выгоднее сократить докторов наук, которые не завь, не на профессорских должностях.

— Почему? Какая логика? У вас плохие отношения?

— Да дело не во мне. Думают не об отношениях личных, а о деле.

— А доктор наук для дела хуже, что ли?

— Вы поймите, Евгений Львович. Мы, доктора, которые находимся на должностях старших научных сотрудников, получаем на сто рублей больше, чем кандидаты на тех же должностях. Зачем же институту платить лишние деньги? Два сокращенных доктора — старших научных сотрудника — это два кандидата наук старших, плюс один младший за те же деньги и плюс перспектива двух докторских диссертаций.

— Так директор не из своего кармана платит. А для государства все равно. Зачем директору института более ценного заменять менее ценным? Тут только деньги, а не польза государству.

— Все думать сейчас норовят проблемно и прежде всего денежно. А перспектива диссертаций — это выгодно институту и морально. Режим экономии опять же.

— Но процветание будет в вашем институте не от экономии, а от прибыли. А доктор наук больше даст, скажем, для больных. В общем, до конца я эту логику не уясню. А сейчас, кажется, новый приказ будет: платить не за степени, а за должности.

Мишкин на минуту замолчал.

— Но как же быть?

- Можно пойти в больницу, в конце концов.
- Это ж очень мало денег по сравнению с вашими институтскими окладами.
- Прибавка за докторскую степень будет.
- Двадцать рублей.
- Будем утешать себя тем, что у кандидата десять. Вы же живете. И мы проживем.
- Я не тратил столько времени на писание диссертации. Я от жизни в это время получал удовольствие.
- Мне говорили, что ваше удовольствие в основном в больнице. И днем и ночью.
- Хороший хирург сделал операцию и спокойно пошел домой. А ночами торчат у своих больных плохие хирурги. Как я. Неуверенные. А потом, это преувеличено. Я совсем, так сказать, не чужд раблезианских удовольствий. Знаете, сделаешь одну необычно удачную операцию, а люди в жажде чуда несут невесть что. Есть у людей жажда чуда, которая и порождает героев вот таких слухов. Ну, ладно. Что же болит у вас?
- Евгений Львович, давайте начистоту. Как мужик с мужиком. Я вам сейчас все выложу.
- Слушаю вас, Сергей Алексеевич.
- Я убежден, что у меня рак толстого кишечника.
- Уж так сразу.
- Вы послушайте, не прерывайте. Я знаю вашу святую обязанность утверждать обратное.
- Ну, ладно.
- Боли у меня давно. Носят они характер временами наступающей непроходимости. Симптомы ее классические. Прощупать ничего не удастся. И тем не менее если это рак, я думаю, что удалить уже его не удастся...
- Давно у вас болит?
- Около пяти лет.
- Ого! Рак! Так долго.
- Последнее время приступы чаще и все проявления непроходимости резче. В основном в последний год.
- Пять лет! Конечно, рак длится намного дольше, чем это себе представляя раньше, я в этом убежден. Но пять лет боли! А чем вы еще болели?
- Я здоровый человек, Евгений Львович. Только зубы.
- Каких-нибудь травм, операций не было?
- Лет семь назад аппендицит. И еще в детстве неудачно в воду прыгнул. Болел живот около двух недель, лежал в больнице, боялись разрыва печени подкапсульного. Вот и все.
- Вестимо, чего боялись. Прилягте, посмотрю.
- Доктор лег на диван. Мишкин присел на край.
- Не похудели?
- Последнее время немножко похудел.
- Вы смотрите, какая складка. Чтобы рак пять лет — и такая складка. Слева у вас ничего не прощупывается. А справа... справа слепая кишка немного переполнена.
- Она-то и болезненна.
- Вестимо, раз переполнена. А какой у вас был аппендицит?
- Тяжелый для меня и для хирурга, но не гнойный. Он располагался, отросток, под печенью, был в спайках. Пришлось наркоз дать.
- Так ведь болеть после этого может спаечный процесс. Ведь он был и до операции, как вы говорите, а уж после и подавно.

— Евгений Львович, будем говорить начистоту и дальше, вы позволяете?

— Мы договорились.

— Если у человека рак, особенно неоперабельный, так уж лучше его не лечить, пусть больной быстрее помрет. Так ведь?

— Никогда.

— Но для себя, не для меня, мы ж договорились, доктор, вы так думаете?

— Никогда я так не думал. Ни для кого. Если у больного непроходимость на почве рака, надо все равно оперировать и либо вывести кишку, либо обход сделать, если нельзя убрать опухоль. Мы должны выполнять работу по обету, взятому еще в юности. Мы уже не вольны. Мы не должны решать за рак, а должны делать, что умеем и можем.

— Вы действительно так думаете?

— Я не знаю, как я думаю,— я так делаю.

Доктор медленно одевался.

— Я-то уверен, что все доктора при раке неоперабельном ничего не делают. Это ж нецелесообразно — что-то делать, мучения проделывать.

— Нецелесообразно. Потому вы и не доверяете своим врачам в институте. Для вас нецелесообразно содержать доктора наук в институте. Нецелесообразно!

— Но у нас в институте думают, по-моему, так же. Мы...

— Целесообразно! Кто знает, что целесообразно. Просто каждый должен делать свое дело, которому обучен.

— Да. Но посмотрим. Посмотрим, Евгений Львович.

— Кроме того, я убежден, ну, не на сто процентов, а скажем, на девяносто пять, что никакого рака у вас нет. В конце концов, анализы-то хорошие. Нет никаких оснований думать о раке. Я думаю...

В дверь постучали, и вошел больной.

— Евгений Львович, я сегодня выписываюсь...

— Простите, я сейчас занят. Я потом к вам подойду.

— Евгений Львович, вот у меня несколько вопросов к вам. Прочтите, пожалуйста.

Мишкин взял исписанную бумажную салфетку и сказал:

— Я ему грыжу делал. Замучил меня. Странный очень. А во время операции ему больно было. Он стонал и извинялся, что вот он, мужчина, должен быть терпеливым, а не может сдержаться. Вам как доктору, наверное, тоже можно прочесть.— Он стал читать: — «1. Какова должна быть длина шва?» Я же говорил. Вот так. Посмотрим дальше. «2. Симметрично со швом другой стороны можно было сделать? Эстетика!» Интересно, что еще будет. «3. Когда можно половую жизнь?» Ну, это вопрос деловой. «4. Если почувствую себя плохо, к вам приходите? 5. Сколько кг можно тащить в сумке? 6. Можно ли купаться, плавать, грести, играть в большой теннис? 7. Можно ли через месяц ездить за грибами с большой корзиной и рюкзаком?»

— Ну что ж, имеет право. Вы знаете, Евгений Львович, французский невропатолог Шарко называл таких больных — больные с бумажкой в руке. Заберите, говорил он, бумажку, и пусть спрашивает наизусть. Важное не забудет. Забывается несущественное. С бумажкой больные — всегда ипохондрики.

— Кто ж знает, какими мы будем, когда заболеем.

— Я-то уже болен.

— Вы сейчас думаете, что вы не больной, а умирающий, вас ни-

что не интересует. А вот когда пойдет речь о выздоровлении и дальнейшей жизни — вот тогда посмотрим.

Вошла Наталья Максимовна.

— Извините, Евгений Львович, привезли больного, автотравма. Переломы, шок. Оперировать не надо. Нужно кровь переливать. Вторая группа — у нас одна ампула.

— Закажите быстренько по «скорой».

— Что-то случилось с телефонной линией. Если гнать машину в центр переливания, не скоро будет. Вторая группа. Я спросила, у кого из наших есть. Не возражаете? У нас-то с вами первая.

— Подумаешь. И первую можно. Пойдем в операционную.

— Подождите, Евгений Львович. Одноруппная лучше! А согласных сдать свою кровь полна коробочка.

— Простите, Сергей Алексеевич. Дела. Я еще увижу вас. Пойдем.

— Евгений Львович, у меня вторая группа, Евгений Львович, возьмите у меня.— Сергей Алексеевич испуганно и настороженно смотрел на коллег.

— Спасибо, Сергей Алексеевич. Возьмите у него тоже, Наталья Максимовна. Пошли быстрей.

В коридоре около операционной он остановился и сказал:

— Кровь у него возьмите, а переливать...

— Нам ему надо кровь перелить, а не то что брать у него. А может, там рак.

— Дурочка ты, Наташа, а еще перебиваешь. Он же проверяет нас. Если мы считаем, что рак,— значит, кровь не возьмем.

— Все понятно, но сам-то он должен понимать. Он ведь думает, что рак...

— А это его проблема. Кровь у него возьмем, а потом ему же и перельем ее.

— А у него рак?

— Кто его знает. Непохоже, но, может, и рак. Надо рентген сделать. А кровь возьми у меня. Нельзя брать у среднего персонала, если сам заведующий еще не дал. Неприлично.

— Что за глупости! Во-первых, все прекрасно знают, что вы свою кровь уже не раз давали. А во-вторых, Евгений Львович, вы сами говорили, что к людям надо хорошо относиться, доверять заведомо. А сейчас?..

— Ты права. Это я заразился от доктора. Он никому из докторов не доверяет. Он весь в целесообразности. Лечить неоперабельный рак он считает нецелесообразным и негуманным. А теперь всех врачей боится.

— А что он считает целесообразным — убивать, что ли?

— Он сейчас ничего не считает. Он в полном раздрызге чувств. По-моему, он путался, не понимая, кто врач, а кто палач, когда болезнь вступает в конфликт с целесообразностью. Ничего, мы его научим жить, а? Лишь бы не рак был. Молодой совсем парень. Доктор наук.

— Доктор!

— Ну да. Пойдем, Наташа, все же надо посмотреть больного.

Наступил вечер. Пока дежурство легкое. Все спокойно. Дежурные Мишкин и Наталья Максимовна вытащили из холодильника свои припасы, принесенные из дома. Наташа подогрела все на плитке, и, еще не очень усталые, но довольные, сели за стол.

МИШКИН:

Мы поели. Расселись в креслах. Стали ждать, отдыхать.

Телефонный звонок.

Наташа взяла трубку.

— Алло... Сейчас нельзя. Она занята больными.— Повесила трубку.

— Трудно позвать сестру к телефону? А завтра ей придется тебя звать. Уважения же больше, если доктор пошел звать к телефону сестру или санитарку. Ты хоть посчитай — и увидишь, что выгоднее. И зачем это: «Сейчас нельзя — она занята с больными». Фу. Мужики — те грубияны. Но ты...

И самой неприятно, что так сказала. А все равно оправдываться стала.

— Виновата, Евгений Львович. Но так все надоели. Покоя хочешь хоть какого. Ну, привезут больного, так это нормально, работаешь, устанешь, но нормально устанешь. А дома! Дома нет покоя. Ведь уже скоро сорок лет мне. А до сих пор в кошмаре живем. Муж, родители мужа, ребенок и я. Вы же видели. Кресла-кровати наши ставлю днем на родительскую тахту. От этой тесноты ругань все время. А с кем — со свекровью, конечно. Хотя я ей должна быть благодарна по гроб. Отношения с мужем портятся. Сын носится по комнате, голова шумит. В коридор выгнать нельзя — сосед больной ругается. Да и действительно больной. Уже два года болен. И до конца жизни болеть будет. Говорят, скоро дадут квартиру. Легко ли ждать-то! На кооперативную денег нет. А скоро сорок — жизнь-то кончается почти. Вот и бережешь покой ординаторской. Вы уж простите. Сама знаю, что плохо. Эх, Евгений Львович, дадут квартиру — заведу собаку, как вы. А вы тоже хороши. В общей квартире — собака. И, главное, все на Галю бросили, она с собакой возится. А здесь вы деликатный — для других. А ей какво? Так и ходим мы несчастливые за счастливчиками.

Перешла в наступление. Да бог с ней. К тому же и права. Опять телефонный звонок.

— Хирургическое отделение... Позвоните позже.— Бряк трубкой на рычаг.— Ой! Что же я! Я ведь решила сейчас всех подряд звать.

— Ох, кума, сглазишь ты наш покой... Скоро дадут тебе квартиру. На пятерых-то — трехкомнатную. Ох и заживешь ты. Буду приходить к тебе отдыхать. Пустишь?

Она засмеялась. Наталья Максимовна часто смеется. И сейчас. Белые волосы распушились. Под лампой сидит — волосы блестят, рот большой, я люблю, когда у женщины большой рот. Наташа такой молоденькой кажется! И не поверишь, что ей под сорок.

— А почему ты так молодо выглядишь?

— Какое молодо! Я за последние годы полнеть очень стала. Вот все, кто занимается спортом, как бросят, так полнеют.

— Я и говорю, что от спорта больше плохого, чем хорошего. Бросать-то всем приходится.

— Если бы знала, что так себя буду плохо чувствовать, никогда бы не отдавала баскетболу столько времени. А молодо выглядеть — спасибо двадцатому веку: век косметики и парфюмерии. Мы не ждем милостей от природы, взять их — наша задача.

— Тебе вроде и на милости жаловаться не приходится.

Вошла санитарка.

— Больного тяжелого из-под машины привезли.

— Ну вот тебе и покой.

Мы побежали в приемное отделение.

Больной тяжелый. Выяснить ничего нельзя — пьяный.

Возились с ним до утра. Картина была не совсем ясная, вроде бы операции и не нужно. Вывести из шока надо, а потом за переломан-

ные ноги можно будет приняться. Сделали мы ему блокаду, ноги в шины уложили, льем в него всякие жидкости, кровь, а дышит все равно плохо. Решил сделать ему пункцию грудной клетки слева. Потянул оттуда шприцем и получил прозрачную желтую жидкость. А что это, не пойму. Позвал Наташу. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Оказалось, один нос хорошо, а два лучше. Она понюхала лоток с жидкостью и спокойно сказала:

— Вино. Сухое вино.

Понюхал и я — точно. Мы посмеялись с нею. Благо ей много не надо для этого. Поговорили о том, что она крупный знаток, а меня в дегустаторы не возьмут.

Диагноз ясен: разрыв диафрагмы с выпадением желудка в грудную полость. Оперировать надо. А без вина бы не поняли. И от вина бывает иногда немалая польза.

Соперировали. К десяти больной стал немного получше.

Я вспомнил, что в одной нашей хирургической книге, посвященной ранениям живота, приводится анекдот-быль о поездке Бриана по французским госпиталям в первую мировую войну. В госпитале он увидел одного зуава, который был спасен во время штыкового боя от прямого удара в живот зашитыми в пояс золотыми монетами — штык, соскользнув с монет, лишь оцарапал живот. Бриан сказал: «Видите, как полезно всегда иметь при себе немножко денег».

Оказывается, полезно и немножко выпить. Но, конечно, только сухое вино, а то женщины-хирурги не разберутся. Впрочем, если бы ши, было б еще яснее.

После удачной операции и сил как будто больше. Или радость, что ли, распирает?

Смотрю на Наташу — постарела за ночь маленько. Не вышло с покоем на дежурстве. Краски сошли немного, а какие они, естественные или искусственные, не сказать. Мне не сказать. Вот Нина, на-верное, моложе, а кто из них краше...

В три часа подкрасилась, посвежела и пошла домой. Отдыхать будет. И я тоже. Так и ходим счастливые за несчастливыми. И все-таки мы счастливчики. Радость у нас есть после действия нашего. А смотрю я на других, на Сергея Алексеевича к примеру, — хорошо нам. И работа хорошая, счастливая. И решать мало надо — жизнь сама решает и заставляет нас что-то делать. Почти всегда единственно возможное. Свобода выбора, может, это и хорошо, но очень трудно. Нам легче.

Запись восьмая

— Саня, на птичий рынок поедем?

— Конечно. А мама?

— И маму возьмем. Собирайся. Галя! Ты поедешь с нами на птичий рынок?

— Вестимо.

— Тогда собирайся быстрее.

— Пап, а Рэда возьмем?

— С ума сошел. Да он сбесится от количества собак. А потом, из-за него придется брать такси. А так на метро. Галь, а как насчет поесть? Успеешь?

— Будет сделано, мой капитан.

— Пап, а что там, кроме собак?

— Рынок-то птичий, стало быть, птицы. А еще кошки. Корм для разной живности. Еще рыбы.

— Но собаки беспаспортные? Не через клуб, да? Нечистопородные?

— Это да. Но почему такое разочарование? Нечего в себе воспитывать собачий расизм. Кстати, дворняг некоторые считают самыми умными.

— Нет, я не про это. А насчет умных — вчера Мишка принес в класс собачий журнал — ревью собачье, ему из Москвы привезли, там написано, что самые умные — таксы. Там сказано — Мишка переводил нам...

— А сам ты еще не научился, что ли?

— Он же на перемене вслух всем. Там сказано, что если вы хотите иметь дома тирана — заведите таксу, они очень хорошо ориентируются в характере каждого члена семьи и к каждому подбирают свой ключ, пользуются слабостями каждого человека.

Вошла Галя.

— Сейчас уже все будет готово, а вы не одеты. Саша, почисть ботинки себе и папе. Женя, погладил бы брюки.

— Хлебом не корми — дай поруководить. И так сойдет.

— Кончится тем, что мне придется.

— И правильно. Я тебя для какой должности взял?

— Пошел! Иди, Саша, чисти. А ты хоть поставь тарелки на стол.

— Это можно.

Все занялись делами.

До метро шли пешком.

— Пап, я у тебя книгу о Швейцере взял, но не понял, кто он.

— Швейцер был такой, даже не знаю, как сказать — француз он или немец. Родился он в Эльзасе. Поэтому то француз, то немец. И говорил и писал он на том и на другом языке. Пожалуй, он все-таки больше немец. Он был крупный богослов-философ, крупный музыковед-баховед, крупный знаток строения органов и крупный музыкант, исполнитель Баха на органе. А в сорок лет он ко всему этому еще окончил медицинский факультет и уехал в самую глубину Африки, в Габон, людей лечить.

— А почему так поздно окончил медицинский?

— Он не собирался быть врачом, занимался совсем другими делами, но под сорок лет решил, что его нравственный долг — помогать тем людям, которым хуже всего. И пошел учиться на врача.

— А что, африканцам хуже всего?

— Он считал, что европейцы, не понимая жизни африканцев, своим присутствием разрушили их жизненный уклад, и он поехал за это платить, искупая, так сказать, вину европейцев.

— Он-то ведь тоже европеец.

— Потому и поехал.

— А он почему думал, что понимал их жизнь? Может, он тоже разрушал?

— Может. Но он так понимал свой нравственный долг. И более полувека провел в Африке, так как там очень много больных.

— А в Европе разве мало больных? Вот ты и дома не бываешь, говоришь, врачей не хватает. А Швейцер давно жил?

— Умер он в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году, а уехал в начале века.

— Ну вот, пап! Тогда врачей еще меньше было. А больных, наверное, больше здесь было, чем сейчас. Почему он туда поехал?

— Но в Европе были врачи, а там не было.

— А если бы выучить тех, которые знают их жизнь, негров выучить, и пусть там лечат? А, пап?

— На все вопросы не ответишь, во-первых. А во-вторых, сейчас так и делают — учат и они уезжают домой.

— Почему же Швейцер так не делал?

— Много сложностей на пути было. К тому же он миссионер, христианство распространял по белу свету.

— А он известен был как кто больше всего? Врач, музыкант, философ?

— Все вместе. Он получил Нобелевскую премию мира в основном как врач-подвижник.

— Да я не пойму, пап, за что он такой знаменитый. Он ведь не большой ученый как врач, а премию дали как врачу.

— Я ж тебе говорю. Он в Африке лечил, а не в крупном европейском городе, как я, например.

— Здесь вас много, а там один на виду. Так?

— Приблизительно так. Держи пятак — метро уже.

На птичьем рынке они пошли прямо к собакам. Галя, увидев сиамскую кошку (почему-то они продавались среди собак), сразу предложила купить. Но решили сначала осмотреть весь рынок. Тут же произошла трогательная встреча какого-то дога с Сашей. Они как будто искали друг друга. Саша подошел погладить, а дог в ответ приподнялся, положил Саше лапы на плечи. Саша тоже обнял его. Затем они долго стояли у коробки, по краю которой свисало около десятка головок маленьких боксерчиков. Одного щенка Саша вытащил из ящика. Щенок был весь в крупных складках, как будто кожа была рассчитана на десять таких объемов.

Битых три часа они ходили и смотрели. В какой-то момент Мишкин воскликнул:

— Господи, сколько живности-то!..

Сказал и вдруг остановился. Вернее, продолжал идти, а мысль остановилась, вернее двигалась, но на одном месте.

«Что? Что? А! Вчерашний разговор. Да и разговора-то почти не было, а только... «Да ведь в нем никакой живности не осталось. Совсем плох». (Какой живности? Почему? Что за странное слово? И почему — «не осталось»? Она хотела сказать — сил, наверное. Может быть, живого мяса? Он живой, и очень живой. Живность. Домашний скот. Да что она!) — Да а что в вы!.. (Может, она думает — раз мы хирурги, значит, вроде мясников. Может, она думает: больница — это бойня. Живность. И почему не осталось? Он совсем не плох. Он, вообще, выздоравливает) — ...Он совсем не плох, он выздоравливает... (Конечно, он здорово сдал после операции. Похудел. Ну а как иначе? Нельзя же оценивать его живность по весу. Опять живность. Почему я тоже это слово повторяю? Разве я измеряю его силы и здоровье в каких-то единицах жизнениности? Что за инженерный подход к людям! Но ведь инженерный подход — это подход с точки зрения точной науки. А живность? Тоже не годится. Человек не машина. А если бы человек был машина? Вот бы легко лечить было. Нет, не годится. После ремонта нет периода выздоровления, периода набирания сил. И вообще, машина не поправляется.) — ...Он же поправляется и скоро... (Конечно, она считает нас мясниками. Думает — мол, они-то, хирурги, всех нас за скотов держат, которых можно резать. Нет, она так, конечно, не думает. Но часто мы слышим: «Хирурги — мясники. Им бы только резать...» А зачем нам только резать? Чем меньше режем, тем меньше устаем, тем меньше нервничаем, тем раньше домой уходим) — ...И скоро домой уйдет. (И вообще, мы не режем. Противное слово — резать. Разве я режу? Я лечу. А то — режу. Что режу — говорят, а вот что шью — не скажут. Какое

ужасное и навязчивое слово — «живность»! Это что, принятый термин? Или сейчас родилось из глубин подсознания? Конечно, волнуется. Муж ведь) — ...Так что вы напрасно волнуетесь... (А как же не волноваться. А если умрет. А наверно, этот червяк в мозгу ползает. А если умрет, в глубинах этих самых уже давно ясно — «зарезали». Оно и легче. Отсюда и живность. Фу! Никакой живности! — все будет в порядке) — ...все будет в порядке.

— Да что вы! Он совсем не плох. Он выздоравливает. Он же поправляется и скоро домой уйдет. Так что вы напрасно волнуетесь — все будет в порядке.

Короткий был разговор. А так остался в памяти.

Мишкин посмотрел на Гаю, она заметно устала. А Саша по-прежнему оживлен и бегаёт от собаки к собаке. Того и гляди сейчас попросит «все завернуть».

Галя потихоньку:

— Пойдем, Женя, хватит. Оторви Сашку от живности этой.

— Почему живности?

— Что почему? — естественно, не поняла Галя.

— Слово странное.

— Да ты сам так сказал... Ну, животные — как хочешь.

Мишкин засмеялся.

— Ну ладно, давай извлекать его.

— Саша, кончай базар. Мы все осмотрели.

— Вот еще этих посмотрю, и пойдем. Еще только их.

— Сашок, надо идти. Мама уже, видишь...

— Иду, пап, иду. Вот только...

Мишкин понял, что нужен довод более сильный.

— Саша, я в это время уже обещал быть в больнице. Надо ехать, я уже опоздал.

— А-а! На такси, да?

— Давай на такси. И мама устала. Галя, санкционируешь такси? Вернее, финансируешь?

— Поехали на такси. А ты действительно хочешь в больницу?

— Что значит хочешь? Заехать-то надо. Сама понимаешь.

Галя вздохнула.

— Понимаю. А как другие?

— Ты ж не за другого выходила замуж. Чего зря говорить?

И действительно, чего зря говорить. Почти никогда он зря не приезжал.

В больницу они приехали все. Там и к этому привыкли. Если Евгений Львович решил свое время отдать семье, это значит, что он всю семью притащит в больницу.

И сегодня он оказался нужным.

В больницу поступил больной, которому сейчас делали операцию. Не такой уж тяжелый больной — прободная язва, но делать надо под наркозом. В воскресный день это всегда проблема. Дает наркоз сестра, так как по штату на такое маленькое отделение дежурный врач-анестезиолог не полагается. Одной сестре трудно — в помощь ей еще одна сестра снимается с поста в отделении. А два доктора оперируют. Такова расстановка сил в тот момент, когда во время дежурства кончается кислород. И сегодня так же.

Вызвали из коридора сестру с другого поста. А кислород подключается на улице. Сестра не знает, как это делать. Знает и умеет только сестра-анестезист, но она не может отойти от больного.

Неужели придется одному из хирургов отвлечься от операции и бежать к баллонам, гаечным ключам, манометрам, редукторам?..

Оперирующий Агейкин шумит на сестер, что не проверили. Сестра кричит, что перед операцией было сто атмосфер, этого всегда хватало и на большую операцию:

— Сколько же надо просить, чтоб приехали мастера, наверняка где-то утечка. Ведь было же сто атмосфер! Было!

А Агейкин все крикливо сетует, что никак не может их привести к порядку. А сестра все кричит про утечку.

Агейкин говорит:

— Что ж, я разрываюсь и иду заниматься баллонами.

Говорит он с вызовом, упреком, укоризной.

И в это время, как архангел, в операционную влывает Мишкин.

— Евгений Львович, хорошо-то как! Кислород!

— А у вас что?

— Прободная. Зашиваем.

— Сейчас подключу.

Мишкин меня всегда удивлял, вернее, не удивлял, а умилял — его никогда не волновали престижные проблемы. «Ну бог с ними, ну... Ну отодвинули мое кресло от стола... Ну так заняли мой кабинет... Ну попросили меня отнести заявку в аптеку... Нужен кислород? — пожалуйста, сбегая». Он не спрашивает, есть ли мастер по кислороду сейчас в больнице.

Ему совсем не надо никому доказывать, что он не мальчик. Он не может обидеться. Просто нет для него почти ничего обидного.

Но он может разозлиться — вот тогда он как танк и тогда мы можем услышать от него любые, самые дикие слова, не имеющие никакого отношения к существу.

А существо: «Нужен кислород? — сейчас сбегая».

Так было и в тот день.

Мишкин вышел на улицу. Притащил баллоны к кислородной распределительной установке. Подключил один. Потом заодно еще два пустых сменил и заменил новыми. Все закрутил. Уложил на место гаечные ключи и уже собирался закрывать ящик с кислородными баллонами, когда услышал за своей спиной:

— Бог в помощь, доктор.

За спиной стоял техник, который раньше занимался всем тем, что сейчас делал Мишкин.

— А-а. Здравствуйте.

— Не захотели меня. Теперь сами давайте. Давайте, давайте, а я посмотрю. Посмотрю.

— Смотрите, смотрите, — в тон ему ответил Мишкин. — У вас же выходной. Отдыхайте.

— Так вы ж не захотели меня, выгнали.

— Вы ходили пьяный на работу — вот и выгнали.

— А кто ж за тридцатку будет у вас работать трезвым?

Мишкин машинально, как всегда, вступил в дискуссию:

— Так вы ж у нас были совместитель. Это не весь ваш заработок.

Мишкин запер замок на кислородном ящике и собрался уходить.

— А между прочим, товарищ доктор, я вот чего... Я сына привез к вам, говорят, его сейчас оперируют. Так вы небось не оперируете его — с кислородом возитесь. Хорошо ли? — Пьяный почему-то засмеялся.

Мишкин остановился.

— Да вы не волнуйтесь. Там все в порядке. Язву уже зашили. Сейчас операцию кончают. Так что все в порядке.

— А я и не волнуюсь. Я знаю... — И смех его перешел в слезы. — А жить-то будет, товарищ доктор? Он у меня один. Я ведь другой раз из окошка, вон я живу где, напротив, смотрю из окошка... Ну, думаю, сам на месте, все в порядке в больнице, значит. И за кислород не беспокоюсь. Значит, будет жить? Будет? — И он опять заплакал.

— Да. Все в порядке. Уже зашивают.

— А то у него никого. Худой. Матка умерла наша. А жены еще нет.

— Все в порядке. Это язва. Идите домой, а завтра к нему придете.

— Ну спасибо, товарищ доктор, а то за тридцатку кто ж будет...

И он, наверно успокоенный, пошел куда-то, может домой.

А Мишкин пошел в больницу, а потом тоже домой.

Дома он играл с Рэдом, отвечал на Сашины вопросы. Часто не отвечал. Вопросов было много.

— Пап, а у Швейцера был кислород? Кто его подключал?.. А почему не было?.. А собака у него была?.. А что лучше — терапевт или хирург?.. А что важнее — сердце или легкие?.. А по русскому языку у тебя какая отметка была?.. А кто, кроме Швейцера, в Африке лечил?.. А сколько в Европе не хватает врачей?.. А что такое болезнь?.. А что такое здоровье?.. А собаки боль чувствуют?.. А можно оперировать без наркоза?.. А в театр со мной пойдешь ты или мама?

В театр пошел с ним Евгений Львович. Смотрели «Недоросля».

— Пап, а Фонвизин немец?

— Почему ты решил?

— А почему он фон?

— Я не знаю, кто предки у Фонвизина, но кровь его значения не имеет. Он писал на русском языке, думал о российских бедах — значит, русский.

— Пап, а если на такси ехать — географию тоже знать не надо? Пап, а мы придем домой — тебе из больницы будут звонить?

— Не знаю, Сашок. А ты не хочешь?

— Я не хочу, чтобы ты уезжал, а чтоб позвонили, хочу. Ведь ты им нужен.

Но в тот вечер из больницы не звонили, а когда Саша уснул, Мишкин позвонил туда сам.

Ему сказали, что в отделении все нормально, что он может продолжать спокойно отдыхать и что через десять часов они ждут его на работе.

— Галь, а ты мне карман в брюках зашьешь?.. Галь, а ты когда теперь дежуришь?.. А ты о Швейцере прочла книгу?.. Галь, а ты завтра когда приедешь?.. Галь, а кто из нас на родительское собрание пойдет?

— Ты мне, Женя, задаешь тысячу вопросов. Ну прямо как Сашка. А вот взял бы лучше паспорт завтра и пошел бы в милицию. Два года уже, как ты его просрочил.

— Вот не можешь ты без задания. У меня сегодня день отдыха — и паспорт. Да зачем он мне нужен?

— А вдруг перевод придет — не дадут.

— А я профбилет принесу. В энциклопедии сказано, что для идентификации личности профбилет годится.

— Карман зашить?

— Вестимо.

— А говоришь, день отдыха.

— Ну, не зашивай. Какая разница. Спать охота.

Запись девятая

МИШКИН:

Мелкий дождь идет мелкой сеточкой. Крупный снег стоит как решетка. Я шел все время сквозь решетку. В глазах зима, а под ногами осень. И все равно жарко. Из больницы я почти выбежал. Девчонка провела меня. Нет, не она провела, это я дурак. Думать надо больше, когда работаешь, а то как манекен.

В конце концов, мне уже пятый десяток скоро. Хватит. Наоперировался. Чего я достиг? Не так уж хорошо я оперирую. Ну, операции разные, ну, может быть, редкие иногда. Но я не стал виртуозом. Каждая операция моя и зрелищно должна быть хороша. Могу я сказать, что на мои операции приятно смотреть? Нет. А то, что смотрят, так это другого не видят. Уйду в поликлинику. Дадут мне отделение. Деньги будут такие же. А может, и больше — там врачебных ставок больше. Возьму себе еще полставки. Дежурств не будет, по ночам вызывать не будут. Растет сын, надо ему побольше времени отдавать. Растет прагматиком. Не может понять, в чем сила Швейцера. А кто виноват? Мне надо им заниматься. А я никакого внимания. Конечно, что понесло в Африку, когда в Европе дел полно, да и потруднее, народ попривередливее. И денег бы не было. В Африку-то со всего мира присылали. Там он виден всем, как на луне. Так легче, наверное. Но, с другой стороны, полсотни лет он там прожил. И не прожил, а проработал. Работал — лечил, строил. Не так все это просто. Все-таки он благой человек. Человек внутренних потребностей, а не внешних побуждений. Надо Сашку любить научить. Ненавидеть-то легче, чем любить. Особенно в юности. А где время взять? Уйду в поликлинику. Там своя тяжесть, но мне спокойнее будет.

Я шел все быстрее и быстрее. Я думал все быстрее. Мысли мои начали скакать с одной проблемы на другую. То о Швейцере. То об Опенгеймере. То уж совсем начинал абстрактно думать о смысле жизни. Зачем мы есть? Для чего существуем? Мы, врачи, существуем для того, чтобы существовал человек, получше и подольше. Прогресс — это борьба со смертью. Мы в какой-то степени и есть реальные носители прогресса.

На автобусной остановке ко мне подошел мужик лет тридцати.

— Слушай, ты как едешь? Куда?

— Не понял. Еду на автобусе, до метро.

— Вот и хорошо. Можно, я с тобой поеду?

— Пожалуйста. Никто не мешает.

— Ты понимаешь, я зарплату получил. Вот видишь. — Он похлопал по боковому карману. — Сто пятьдесят в эту полчку. Вот. Я пошел. А за мной, смотрю, идут двое парней. Они видели, как я расплачивался. И все деньги видели. Они меня прищучат и отнимут. А мне бы только до метро добраться. А там все. Там я их уже не боюсь. Понял?

— Чего уж тут не понять.

— Вот я и говорю, вроде ты парень здоровый. Вдвоем-то мы управимся. Да к тебе и не подойдут.

Он задрал голову и стал смотреть мне куда-то в лоб. Он меньше меня намного. Но уж так задирать голову не было никакой необходимости. Это для комплимента, так сказать. Мы вошли в автобус и сели рядом.

— Тебя как зовут? Меня Михаил.

— А меня Евгений.

— Вот, Женька, смотри. — Он достал из кармана пальто завернутую пачку фотографий и развернул ее у себя на коленях. — Вот смотри, Женька. Ничего баба?! Надо за такую бороться? Жена моя.

Я посмотрел и почему-то отнесся к этому разговору серьезно.

— Ничего. А зачем бороться?

— А вот это дочь ее. Не моя. Она старше меня.

— Дочь? — Это я шутил.

— Жена, конечно. А вот смотри, Женька, это я десять лет назад. В пионерлагере, вожатый. Ох и любил я ребят. В шесть утра вставал, чтобы приготовить им все. Всякие спортивные игры. Я здоровый был. За них пострадал. И они меня любили.

— А почему пострадал?

— Они как-то гуляли. Вот. А я в стороне шел. К ним какие-то местные ребята пристали. Я на них — здоровый был. Я врезал — здоровый был. Ну, слово за слово. Я еще врезал. А тут местные жители, милиция, протокол составили. Два года просидел. Здоровый был. А ребят я любил. Самое хорошее у меня в лагере в это время было. И в институте я тогда на первом курсе был. Учился плохо, но учился. Я не все любил. А здоровый был. Молчишь, Женька, слышишь?

— Слушаю.

— Вот пришел после двух лет. Работать стал. Вот она мне попала тогда. У нее дочь. Ну, я ее люблю, как тогда, понял, Женька? Правда, зашибать я стал. Не хочет со мной жить. Говорит — разводимся. И пришла поздно. Я говорю — где была? А она говорит — не твое дело, мол, разводимся. А я говорю — вот разведемся, тогда, а сейчас я за тебя в ответе. Ну и врезал. Поддавши был, конечно. А теперь со мной и не разговаривает. Понял, Женька? Вот как. Ну, я теперь что решил. Вот получка, да? Я пойду куплю костюмчик себе на все деньги. Да? Понял? Рубашка, галстучек. Шляпу и плащ купил в прошлую получку. С жратвой перекантуюсь как-нибудь. Потом договорился с одной девкой у нас. Красавица. Оденусь и с ней пойду, чтоб увидела она. Понял, да? Как думаешь, поможет?

— Нет, пожалуй. Попробуйте просто с ней поговорить.

— Нет. Я уже договорился. А Зойка говорит: куда я с тобой пойду — у меня парень. Я ей — не нужна и ты мне, пройдишь только. Пусть посмотрит. Тогда поговорим. Ну вот, приехали. А в метро я сам. Спасибо. В метро я не боюсь. Там я справлюсь. Здоровый. Да их и нету. Спасибо, Женька. Увидимся — выпьем.

На улице я продолжал бездумно представлять себе свое будущее, когда уйду из больницы, когда буду работать в поликлинике, когда не буду дежурить и не буду по вечерам ходить в больницу, когда буду все свое свободное время проводить с Сашкой. А потом я подумал, что еще год-другой — и Сашке со мной будет неинтересно, будет он ходить со своими друзьями. У них появятся иные проблемы, иные интересы. И то, что нам сейчас кажется неразрешимым, они просто не станут решать. В крайнем случае поступят бессмысленно, бездумно и очень эффективно, как Гордий со своим узлом. А я буду говорить о нравах современной молодежи, потому что в мои молодые годы эти проблемы были главными. А время наших молодых лет, как бы оно ни проходило, в старости нам будет казаться прекрасным, правильным и даже эталонным, потому что мы тогда были здоровыми, сильными, красивыми, как нам будет казаться в старости, нам тогда было легко, а впереди была вечность, конец которой в последнее время мы начали уже ощущать.

Мне казалось, что все я делал как надо. Но она меня провела, а я плохо думал. Откуда осложнение? С чего такое состояние! Пневмония! Ей не выбраться из пневмонии. Ничего не осталось от легкого. Нечем дышать. И искусственное дыхание не помогает.

Домой идти не хотелось. Я позвонил товарищу и отправился к нему. У него заканчивался ремонт, и плотник прибывал полки. Он пытался прибить гвоздем к стене деревянную планку. Гвоздем к современной стене! А рядом лежала дрель и все что надо для нормального прикрепления шурупом. Я спросил у него, почему он пытается эту стену долбить гвоздем. А он ответил, что несколько гвоздей испортит, но прибьет. А когда я ему предложил шуруп, он сказал, что алебаstra у него нет, а на деревянных пробках, ему кажется, держаться будет хуже. Я позволял себе говорить с ним на равных, так как и себя причислял к рабочему классу, к людям, умеющим работать руками. И я ему сказал, что, по-моему, он ошибается. На самом деле мне показалось, что у него был просто страх перед электродрелью, которая в руках дергалась и тряслась, как бормашина. Может, у него недавно зубы болели, а может, ему еще предстояло идти к врачу. Я сделал несколько дырок дрелью, поставил пробки, и он прикрепил полки.

В этой работе я был уверен — осложнений быть не должно. Но я не думал и там, что будет такое осложнение.

Мы втроем сели обедать. Я спросил у Вали — так звали плотника, — давно ли он на этой работе. Валя сказал, что совсем недавно. Раньше он жил совсем не здесь и занимался совсем не тем, а сейчас у него жена и он пошел работать на стройку. Я спросил, давно ли он стал плотником и где учился этому. А он нам сказал, что недавно и не учился нигде. Он просто пришел на стройку, у него спросили, кто он, он сказал — Валя, ему сказали — ну, хорошо, Валя, будешь плотником. И вот теперь он плотник. Зато теперь у него доски есть, он может ходить вот так, как сегодня, и учиться. Тут он сказал спасибо мне, потому что у меня чему-то научился. У Вали не было ни малейшего признака того, что называют профессиональной гордостью рабочего, да и вообще специалиста. В процессе обеда мы поняли, что отсутствие гордости и профессиональности он заменяет якобы рабочей амбицией, гипертрофированной амбицией. По-видимому, чем меньше гордости, тем больше амбиции, и наоборот.

Дома я узнал, что мне звонили из больницы, но звонить в ответ не стал. Зачем мне нужно узнавать, что она уже умерла? Я и без их звонков заранее все это знаю. Сегодня дежурят Наташа и Игорь — управятся и сами.

А впереди суббота и воскресенье — я не хочу знать, что там происходит.

Я стал подбивать Гаю и Сашку пойти с утра на лыжах. Подумаешь, погода неподходящая. Там посмотрим. А за городом, может, вполне подходящая и кататься можно. Зато меня не будет дома и я до самого понедельника не буду знать, что она умерла. Я просил говорить по телефону, что меня дома нет. Галя, конечно, удивилась, но промолчала. А то я бы ей ответил! А я-то знаю, что когда Сашка уснет, она начнет у меня все выпытывать. А вообще-то и Сашке надо бы рассказать. Пусть живет в атмосфере забот. Нет, я ей ничего не скажу — еще заставит поехать, а я не хочу. В понедельник пойду насчет поликлиники.

Утром мы пошли на лыжах. Конечно, за городом вполне можно было кататься. Я от них уходил все время. А потом мы остановились маленько передохнуть у какой-то горки, откуда Сашка все время скачивался. И тут я ей все рассказал. Я рассказал, как к нам привезли эту семнадцатилетнюю девочку, привезли ее из милиции, куда забрали за какое-то преступление и тунеядство. Малолетняя преступница

нигде не работала и не училась. А в милиции она на глазах у всех вытащила из кармана иголки и проглотила их. Медиционеры, конечно, испугались, привезли к нам. Мы поставили ее под экран и обнаружили только одну иголку. Оставили ее в больнице и наблюдали. Иголлка в кишках — это далеко не всегда так страшно, как кажется непосвященным. Обычно даешь каши, пюре картофельного, хлеба мягкого — и выходят иголки. Вот мы и начали кормить ее и каждый день смотреть на рентгене. А иголлка стоит в одном и том же месте, приблизительно в районе слепой кишки. Каждый день в разном положении, а не выходит. Крутится, значит. Еще проткнет кишку. Страшно стало оставлять ее там. Мы под экраном отмаркировали приблизительно место и пошли на операцию. Весь живот облазили — нет иголки. Зря мы во время операции рентгена не сделали. На следующий день опять взяли на рентген — стоит иголлка в том же месте. Не брать же второй раз на операцию. А тут и пневмония началась. Да какая! Все легкое почти поражено. Ну, все делаем, конечно, что положено. А тут еще появились симптомы перитонита. То ли просто от операции, то ли все же кишку проткнула оставленная нами иголлка. Ломаем голову — брать ее на повторную операцию, не брать. И тут вдруг девчонка говорит, что никаких она иголок не глотала, а просто перед рентгеном втыкала иголку в рубашку сзади. Ну, знаешь, я... Тут Галя меня единственный раз прервала:

— А как же она на операцию согласилась? Ведь знала, что ничего там нет.

Тоже вопрос! Я и сам не знаю, почему согласилась. Может, от психопатии, а может, решила, что операция спасет ее от кары. Больная все же будет. К мамочке отправят. Черт ее знает, что она думала. А вот сейчас...

Я не стал доканчивать, и так все ясно. Оперировали-то зря!

Бросил их всех там в отделении, а жива она там или...

Я побежал вперед. Им меня догнать трудно. Потом я остановился и стал поджидать. Наконец догнал меня Сашка и сказал, что мать поехала на станцию. Ей зачем-то нужно в город. Она что-то забыла. Велела нам ждать дома. А может, она и раньше приедет. И оставила Сашке точные инструкции, где что лежит, чтоб мы поели.

Я разозлился на нее. Так всегда бывает, достается тому, кто под рукой. Не помню сейчас за что, но обругал Сашку. Припомнил все, даже Швейцера. Парень обиделся. А детская обида — это много хуже и опасней взрослой. Она может на всю жизнь остаться, даже если в сознании забудется. И уж после этого мы отправились домой. К концу дороги я вроде и помирился с Сашкой, но все равно боюсь очень, что где-то у него отложится в мозгах, а мне воздастся. Вот ведь — за себя боюсь. А мне, конечно, воздастся, за все воздастся. Сколько раз я с Сашкой ругался несправедливо. Что-то запрещал ему, что можно было бы и разрешить. Для авторитета, так сказать. Сколько бед из-за этого. Начиная от мелких ссор и кончая вечными распрями, разводами и войнами... За все воздастся. Вот пусть только вырастет. Хорошо бы он вырос таким, каким я его вижу. Но он будет таким, каким будет он, каким будет время. Девочке семнадцать лет, а так меня провела. Меня! Себя. Оперировал зря. А теперь... Убил, значит...

Когда мы приехали домой, нам не пришлось возиться с обедом. Галя уже была дома, и стол накрыт был.

Я не спрашивал, куда и зачем она ездила. Сама скажет. Мы ели молча.

А потом она мне сказала, что девочке лучше, что и пневмония и перитонит разрешаются, что опасности для жизни сейчас нет, а в пневмониях она разбирается лучше, это ее работа.

Я, конечно, ее обругал. В конце концов, могла бы сразу сказать, понимать надо.

И поехал в больницу.

Запись десятая

— Да, да, да! Иду. Ну сейчас.

— Женя, ну я же специально заехала за тобой, чтоб мы не опоздали.

— Сейчас. Докурю. И пойдем. А кто ж у нас на завтра на операцию?

— Вот так ты и опаздываешь всюду. Просто сидишь.

— Да, да. Кажется, три грыжи, двое с расширением вен. Мало. Просто сижу. Я думаю. Обсуждаю сам с собой. Ну, конечно, я безалаберный. Вот докурю, и пойдем. Ты одевайся, а я пойду халат сниму.

Мишкин подошел к столу. Посмотрел чью-то историю болезни. Полистал ее. Хмыкнул.

— Ну Женя!

— Сейчас, Галочка. А где все врачи?

— Ушли все давно.

— А дежурные где?

— Сидят в ординаторской, едят.

— Ага. Посиди минуточку, Галочка. Я сейчас.

Мишкин пошел в ординаторскую.

Галя подождала его минут десять и пошла за ним.

Мишкин сидел на кровати и с Игорем Ивановичем играл в шахматы.

— Евгений Львович, я же жду вас.

— Галина Степановна, вы же видите, что я интеллект свой развиваю. Мы успеем, у нас еще полчаса... — Запел: — Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рождения поздравит и, наверно...

— Все, Евгений Львович, ферзь ваш пропал.

— А если я турой сюда? — Поет: — И, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо.

— А так мат. Я свою ладью сюда.

— Ну, ты как Бобби со всеми претендентами сразу. Пойдем, Галя. Все.

Они пошли по коридору.

На лестнице:

— Ой, совсем забыл. Галя, подожди меня в раздевалке. Я сейчас.

Мишкин забежал в палату к больной.

— Вера Сергеевна вас смотрела сегодня?

— Смотрела.

— Мы решили вас завтра оперировать. Договорились?

— Чем раньше, тем лучше. А кто будет оперировать, Евгений Львович?

— Все навалимся. Всем отделением.

— А вы будете?

— Конечно. И я буду. Значит, на завтра.

Мишкин нашел постовую сестру, сказал, чтоб больную готовили на завтра на операцию. Велел посмотреть по истории, какие сделала назначения анестезиолог. И наконец пошел в раздевалку.

Завтра на утренней конференции Мишкин будет извиняющимся голосом объяснять врачам, что он назначил еще одну операцию. Это сбивало их расписание, но все к этому привыкли. Потом надо будет операционным сестрам сказать. Тут уж шума побольше.

Он всем запутал день. Перед всеми извинялся. Всем говорил, что виноват, что он плохой заведующий.

Но сегодняшней день не пропал. Он чувствовал перед уходом — что-то надо сделать. Вспомнил все-таки...

Подумаешь, говорят — безалаберный.

(Окончание следует)



БОРИС МОЖАЕВ



СТАРЫЕ ИСТОРИИ

Просматривая записные книжки, я натолкнулся на эти рассказы, написанные лет десять назад. Это скорее не рассказы, а наброски с натуры, очерки, сценки. То, что было остропроблемным в те годы — пенсионное обеспечение, — теперь стало достоянием истории. Но следует ли забывать об этом? Зачем предавать забвению те сложные вопросы, вокруг которых еще не так давно бушевали страсти? Только потому, что они благотворно разрешились?! Но ведь каждое время рождает новые проблемы, они ждут, в свою очередь, новых решений. Это закономерно. Это так и должно быть. Но непростительным было бы при этом забывать о том, что уже сделано. Сопоставление с не столь уж давним прошлым помогает глубже осмыслить всю весомость, всю значимость наших сегодняшних достижений в деревне. Вот почему я решил предложить вниманию читателя эти старые истории.

Друзья

Как-то летним вечером сидели мы на бревнах возле палисадника — Филипп Самоченков, Петр Афанасиевич Булкин и я. Самоченкову решили дом новый построить всем колхозом. Ну и пригласил он отметить. Отказываться неудобно. Народу сошлось много, пели, веселились. Разошлись затемно. И только мы втроем засиделись. Вспомнили прежнее житье.

— Когда человек стареет, мозги у него разжижаются, — сказал Самоченков.

Булкин засмеялся, а я спросил:

— Что вы имеете в виду?

— Так, к слову пришлось. Старость моя, и больше ничего. Я крепкий на слезу был человек. А вот когда постановление вышло — дом мне построить, не вытерпел. Потекло у меня из обоих глаз... Семена Мотякова вспомнил.

— А где он теперь? — спросил я.

— В Касимове, на речной пристани грузчиком работает, тару возит, — ответил Филипп.

— Да он вроде бы кадрами заведовал у речников?

— Сняли, — сказал Булкин. — Намедни был я в Касимове. Сошли с пристани. Глядь — Мотяков! Лошадь его с повозкой завязла. Он орет на всю набережную и лупит ее чем ни попадя. И вот ведь какой дьявол — все промеж ушей норовит ударить.

— Самая притчина, — сказал Филипп. — Он и раньше в точку метил. Сколько лет при нем отработал! Семен Иванович, говорю, мне бы дом

построить. А он: «Тебе казенный обеспечен на старости лет. Все равно проворуешься». Да разве ж я с целью обогащения работал?

— У этого черта ноздрястого, бывало, и снега среди зимы не выпросишь,— отозвался Булкин.— И помудровал он над нами.

Я знавал Мотякова еще когда он председателем Тихановского рика был. Но в пятьдесят четвертом году район закрыли (временно), а Мотякова послали в захудалое управление речного пароходства кадрами заведовать. Не выдержал он такого унижения, сорвался окончательно. И вот докатился до грузчика.

Как много значил Мотяков в жизни моих собеседников, ясно хотя бы из одного того, что оба они побывали в свое время председателями Бреховского колхоза. Теперь же они работали в средней школе: Петр Афанасиевич Булкин числился завхозом, а Филипп Самоченков (по отчеству его никто не называл) конюхом. И тот и другой получали пенсию: Самоченкову платили сорок рублей в колхозе, Петр Афанасиевич получал шестьдесят рублей в райсобесе и назывался пенсионером областного значения. Это были разные люди во всех смыслах. Петр Афанасиевич хоть и имел нос пуговкой и тугие щеки, но мужчина был представительный, в хорошие дни надевал белый китель из чесучи, брюки диагональные, темно-синие галифе, сапоги опойковые и соломенную шляпу. Когда он появлялся в таком облачении, не то что ученики, учителя замирали перед ним. Недаром заврно, старушка Сёмкина, за военрука его приняла.

— А вы,— говорит,— товарищ подполковник, почему не на уроке?

— А я на часах,— ответил Булкин, поднес к ее уху звонок да, как ахнет! Она и присела.

И прозвище на селе дали ему солидное — Центнер.

Филипп же Самоченков был тощ, как уклейка по весне, но высок, погибист, с наклоном вперед, вроде бы кто его в спину толкает. И ходит с наклоном, ногами семенит, словно гонится за кем. Окликнешь его — он ответит, но остановится не сразу, пробежит еще несколько шагов, потом уж свернет к тебе. Будто бы пружина в нем какая работает — заведет ее и мчится напрямиком. Оттого он, видать, и худой всю жизнь. Не знаю, на чем и штаны у него держатся. Всей и славы — один нос большой, хоть локтем меряй.

При всей своей разности они были неразлучными друзьями и частенько то спорили, то перебивали друг друга, предаваясь воспоминаниям.

— Помудровать помудровал, но постанов Мотяков держал строго,— возразил Самоченков.

— Ты, Филипп, путаешь практику с теорией.

— Да нет. Это я к тому говорю, что жизнь у нас ноне пошла вроде бы самотеком: чем лучше живем, тем все больше отклоняемся.

— От чего отклоняемся? — спросил я.

— Как от чего? От линии.

— А как вы ее понимаете, линию-то?

— Да когда мне ее было понимать! — удивился Самоченков.— Жизнь раньше строилась не на понятии, да и занят я был по горло. Нынешний председатель с утра поехал в район, а в обед глядишь — дома распорядится. Я ж, бывало, поеду с утра, отзаседаю там, возвращаюсь на другой день, а тут уж телефонограмма — обратню вызывают. «Сашка! Перепрягай лошадей! Поехали!» Один вопрос заострили, второй ставят. И ты, бывало, идешь от вопроса к вопросу, как по столбовой дороге. Вот она и есть, линия. Тут и понимать нечего. Только линию держи. А ноне всяк по-своему норо-

вит. Все умные стали, академии пооканчивали. Возьми хоть нашего председателя. Как он премии выдает? Кто отличился, допустим, на косьбе, тут тебе и премию получай. А раньше? Хочешь премию выдать — согласуй сперва с Мотяковым да жди конца года...

— Это верно,— сказал Булкин.— Раньше постанов был строже. Бывало, Семен Мотяков соберет нас всех и задает вопрос: «Ну, что культивируется на сегодняшний период?» Допустим, наступление на клевера или глубокая весновспашка. Значит, кто пашет мельче, чем на двадцать два сантиметра, тот уклонист.

Я не выдержал и рассмеялся.

— Тебе смешно,— сказал Булкин,— а из меня масло пахтал. Дело было как раз после твоего снятия, Филипп. Заступил я на твое место... Пропаду, думаю. Колхоз в долгах, семена плохие... А меня с маслозавода перевели.— Он обернулся ко мне.— Директором был. Вот так повезло мне! Попал из кулька в рогожку... Но по совести сказать, напрасно я боялся председательской должности. Пронесло меня благополучно. И более того, жил я, скажу вам, не хуже, чем на маслозаводе. Оклад у меня две тысячи рублей, скотины полон двор. Маруська моя не дремала. А кони у меня были... Звери! — Он опять ко мне обернулся и больше все для меня старался: накося, мол, понюхай, как мы живали.— Кони, словом... Ну, как в той песне поется: «Устелю свои сани коврами, в гривы конские ленты вплету...» Воронье, как смоль. И подбор весь черный, с красным пюдоном — потники, кошвы, попоны... У коренника на хомуте воркуны серебряные. Ездил только на тугих вожжах. Запряжем, бывало, с первыми петухами... «Сашка, говорю, быть по-темному в Тиханове!» — «Есть по-темному!»

Лихой у меня был кучер. Сядет он в передок, на одно колено, второй валенок по воле летит, как у того мотоциклиста. Я в тулуп черной дубки залезу да в задок завалюсь, полостью прикроюсь от ископыти.

— Эй, царя возили!

И — гайда! Только нас и видели.

По петухам определялись... Первые петухи в Брехове кричат, вторых настигали в Богоявленском, а третьих, рассветных, в Тиханове. Тридцать пять верст за час пролетали. До Богоявленского перевоза цугом едем — дорога узкая, переметы... А как за реку выедем — впристьяжку и по накатной столбовой... Только стаканчики на столбах мелькают.

Однажды из-за этих коней попал я в переделку.

Вызывают меня после посевной в район. Куда семена дел? Почему изреженные всходы? Так и далее... Уполминзаг приезжал ко мне. Энтот силу большую имел. Шныряет, бывало, по сусекам, а ты ходишь за ним и молчишь.

Ну ладно. Оделся я чистенько: сапожки хромовые, китель из желтой чесучи, кепку набекрень. Полетели!

Доезжаем до перевоза — стоп! Шофер знакомый с Выселок.

— Ты куда?

— В район.

— И я в район.

Стакнулись мы с ним. Он вынул поллитровку.

— Давай,— говорит,— для начала эту распечатаем да речной водичкой запьем, освежимся. А уж в районе подкрепимся по-настоящему.

Раздавили мы эту бутылку на троих, а я и говорю Сашке:

— Ну чего ты в Тиханово поедешь? Оставайся с конями здесь, а я в кабине проедусь.

Сели мы в машину — поехали. Вот тебе, до Свистунова не дотянули — стоп наша машина. Раза три выстрельнула, будто наклейка треснула на телеге, и остановилась. Что такое?

— Это, — говорит, — свеча подгорела. Сейчас сообразим.

Открыл мой шофер капот, уткнулся в мотор, как в колодец, — один зад наружу — и притих. Уж я ждал, ждал, а он все не шевелится.

— Да ты что, в самом деле, смеешься надо мной? Я на совещание тороплюсь, а ты меня фотографировать? Некогда мне на твою сиделку любоваться.

— Сейчас, сейчас...

Тут он забежал вокруг машины: забежит спереди — посмотрит, посмотрит, хлопнет по ляжке руками, как кочет крыльями, назад побежит — опять смотрит.

— Ну, что такое?

— Не могу, — говорит, — определить.

Потом успокоился, сел в кабину и эдак даже с радостью говорит:

— Уяснил наконец.

— Ну?

— Бензин весь кончился.

Брат родной! Куда мне деваться? Назад бежать, к лошадям — и за час не добежишь. Вперед идти — пятнадцать километров — до обеда не дотопаешь. А совещание уже открылось по времени.

— Ну, — говорю, — душегубец ты проклятый! Что ты таперича мне присоветуешь?

— У меня травка в кузове. Ложись, Афанасич. Попутная машина пройдет — я тебя крикну. А я, — говорит, — за рулем вздремну. Дело привычное.

Где тут спать! Я как представляю заседание бюро районного комитета и выступление Семена Мотякова, у меня, как, бывало, говорили, прямо вши от страха мрут. Но что делать?

Встал, как суслик, возле дороги, стою — жду. Впору хоть засвететь от досады. И вот — катит грузовик. В кабинке рядом с шофером женщина, а в кузове стол и корова. Останавливаю:

— Дайте бензину.

— У самих еле-еле до Тиханова доехать.

— Возьмите тогда меня с собой.

— Пожалуйста, но только в кузов.

Я и полез к столу да к корове. Уселся на стол, за рога ухватился — поехали! Едем, а пыль, пыль на дороге — ну прямо коровы не видать. Меня так разукрасило, что китель из желтого в серый превратился. А на лице одни глаза остались.

И явился я на бюро в таком виде. Эх, меня и взял в оборот Семен Мотяков:

— Вот он, полюбуйте! Мельник с помола... И семена израсходовал, и на членов бюро наплевал.

— Я, — говорю, — в кузове ехал, на попутной.

— Нас дело не касается. Телефонограмму получил — изволь явиться вовремя.

И закатали мне строгача. Зашел я в столовую (раньше в Тиханове столовая с райкомом одним ходом сообщалась, вроде туннеля), выпил разведенного спирта — меня и хмель не берет. Доехал на попутной до перевоза — смотрю, Сашка здесь, и кони мои тут, на приколе травку щиплют. Встречает меня друг, объездчик луговой, однорукый Ленька Заливаев. И ружье на плече, и собака при нем, и две утки висят на поясе. Он хоть и об одной левой руке остался, но бьет

только влет, да так, что ты с обеими руками и ружья не успеешь вскинуть, а он уж с левого ствола вторую утку добывает.

— Ты чего,— говорит,— такой снулый? Или жара уморила?

— Я побывал в такой печке, где мозги запекают. Так что меня,— говорю,— жара не снаружи, а изнутри мучает.

— А против этого лекарство имеется,— подмигивает Ленька.— Клин клином вышибают. А у меня и закуска соответствует.— Он приподнял уток.

— Что ж,— говорю,— Сашка, запрягай! В Богоявленском поличимся.

— Там карантин объявлен,— говорит Сашка.— Нас не выпустят оттуда.

— А зачем туда ехать? Я сейчас обернусь,— сказал Ленька однорукий.— Здесь и расположимся. На вольном воздухе.

— А ты знаешь, сколько ее принести надо?— спрашиваю я Леньку.

— Дак прикинем...

— Все равно просчитаешься. Когда человек имеет сурьезные намерения, сроду не определишь, сколько ее понадобится. Поедем к ней сами.

Приезжаем в столовую — нет водки. Мы в магазин — нет! Только одно шампанское... Ну что делать? Бери, говорят, кисленькое. Дак от нее только утробу раздувает, а до головы она не достигает — вся крепость газом выходит. А Ленька мне в ответ замечание.

— Мы ее,— говорит,— заткнем, утробу-то. И забушует, как в хорошей бочке.

Ладно, взяли кисленького или сладенького, я уж не упомянул. По гранате на брата... Пробки в потолок — бах, бах! Прямо как стрельба по уткам — и дымок с конца ствола вьется. Выпили... Ни в одном глазу. Взяли еще по одной... Не берет! Тогда я вошел в магазин — дверь на крючок и говорю Ленке, продавщице:

— Пиши фактуру на магазин бреховский. Там рассчитаемся!

— Какую фактуру, Петр Афанасиевич?

— Ящик шампанского,— говорю.

Выписала. Я накладную в карман, ящик внесли в столовую речного пароходства, поставили под стол — и пошла стрельба.

Сколько бутылок выпили! И сами пили и другим давали. Ежели, к примеру, понравится нам компания за столом, мы в них выстрелим пробками, а бутылки им на стол. Пейте, ребята. А Ленька однорукий все в буфетчицу метил, стервец. Попадет в нее пробкой — бутылку вина отдаст. Она все хи-хи-хи да ха-ха-ха! А бутылку за бутылкой под прилавок прячет.

Одно неудобство есть в употреблении шампанского: иной раз дымок за пробкой вьется, а иной — такой водомет выхлестнет, что все рожу нам пообливало. Вышли мы из столовой, что из твоей бани. Лошади только дорогу почуяли — и понесли.

— Петр Афанасиевич! — кричит Сашка.— Впереди шламбалка.

— Преодолеть шламбалку! — приказываю.

Сашка встал во весь рост, шевельнул вожжами:

— Эй, царя возили!

А Ленька однорукий на колено поднялся, выхватил бутылку шампанского из кармана.

— Сейчас я этих коновалов,— кивает на ветеринаров,— гранатой накрою.

А я откинулся на спинку в тарантасе и думаю весело: «Ну попробуй таперича задержи нас...»

— Эй, ходи! Шагай, милые! Прочь с дороги!..

Помню, как хряснула шамбалка, бутылка зазвенела — это Ленька в сторожевое ружье угодил. Чего-то ветеринары кричали. А мы, соколики-чжики, как по воздуху пошли.

Ехали-ехали... Я хватя за голову — кепки на мне нет. Очнулся — оказывается, уже светает. Мы спим в тарантасе, а кони в овсах па-сутся.

Явился я наутро в свой магазин, подаю накладную и говорю:

— Сдаю фактуру — ящик шампанского.

— Пожалуйста, заносите, Петр Афанасиевич.

— Я уже занес... К себе в живот. Ну ничего, Яков Иванович ме-дом рассчитается.

Яков Иванович — это бухгалтер колхоза. Тонкий человек был. Так вел бумаги, что не одна ревизия с носом уходила.

А за то, что я шамбалку поломал, мне строгаца дали. Второй выговор за день заработал. Но нет худа без добра. Коней моих арестовали ветеринары на сорок суток: так что и для меня наступил отдых — больше месяца в район ни ногой. Меня и по телефону и де-пешей вызывают. Не еду! Не имею права. Арестованы лошади!

— Смех смехом, а сказать сурьезно — если бы Петя Долгий не нарушал мотяковские законы, он бы не поднял колхоз, — заметил Филипп Самоченков.

— Это что за мотяковские законы? — спросил я.

— А те самые: делай то, что прикажут; шагай туда, куда по-шлют, — сказал Булкин.

Петей Долгим прозывали последнего бреховского председателя Звонарева. Был он из тридцатитысячников, приехал в Брехово из ка-кого-то научного института. «Как тот студент, — говорили в дерев-не, — в легком костюме и в босоножках». Поселили его у бабки Бух-рячихи. «Бабушка, трусов у вас в магазине не продают?» — «Нет, го-ворит, до такой срамоты еще не доходили — мужики в подштанни-ках ходят». — «Как же мне быть? Белья-то я не взял с собой». А ста-руха ему вроде бы со смехом: «У меня есть Ванюшкины кальсоны. На!» И он принял. Надел, а они ему по колена. Долгий, как столб те-леграфный. С той поры и пошло гулять по селу это прозвище. «Вот так председатель! В Ванюшкиных кальсонах ходит». — «Поизносился, бедный, в дороге-то». — «Зато у нас оперится. Должность прибыль-ная». — «Мужики, не верьте ему. Он хитрит. Деньги у него есть. Он вроде бы из этих, тридцатитысячников. Ведь как-никак, а тридцать тысяч ему сунули для чего-то». — «Известно для чего. Завлекать начнет нас на работу этими тысячами».

— И вот он первым делом объявил, — толкает меня в колено Самоченков. — С нового года станем платить не трудовыми, а день-гами. А ему Корней Иванович Назаркин: «У бога новых годов мно-го». А Петя Долгий свое: «С января колхозники переходят на зар-плату. Каждый месяц аванс будете получать». Собрание проводили в школе; народу привалило полным-полно — и в классе, и в коридо-ре, и на крыльце. «А если дохода не будет, чем заплатите?» — спро-сил Дранкин. «Свиноферму продадим, а заплатим. Буря пшеницу по-ложит, вода кукурузу зальет, но ваша зарплата будет стоять... как у рабочего класса».

— А как быть с минимумом? — спросил его.

— А миним, — говорит, — отменяется.

Тут ему окончательно не поверили. Посмеиваются мужики. У нас ведь как было с трудовыми? Установлен миним в сто трид-цать пять трудовых. Ты его отработал — и делай что хочешь. Мож-но, к примеру, на лесозаготовки идти или кирпич бить в Тиханово. Но если у тебя минима нет, ты вроде бы в зависимости: во-первых,

никуда на заработки не пустят; во-вторых, могут обложить двойным налогом в размере одна тысяча семьсот рублей, как единоличника. Раньше брали налог с коровы, с овцы, даже с козы шерсть брали. Чего посеял, с каждой сотки — опять налог. А ежели минимума нет — все в двойном размере. Вот мужики и смеются: «Как же так? Ежели ты отменишь минимум, все на сторону уйдут».

А ежели он платить станет и в самом деле? Но чем? Денег на текущем счету ни копейки — одни долги. А что и появляется, все идет в погашение или в неделимый фонд.

— Я вам вот что скажу, мужики, — подмигивал Корней Иванович, — те тридцать тысяч, что ему дали в городе, он пустит в оборот. Половину из них он, поди, уж проездил да проел. А половину нам отдаст. Кто его проверит? Потом сядет да уедет. А у нас коров поведут. Нет, денег этих брать нельзя.

Упорный был старик этот Корней Иванович. Когда в январе и в самом деле платить стали на трудовни, он сперва послал в правление внука своего, Максимку: «Сходи-ка, сходи... Да посмотри, чем платят. Може, облигациями?»

— Но вопрос с закорюкой в том, как Петя Долгий изловчился. Откровенно сказать вам — ни за что не поверите, — вступился Булкин. — А дело было так. На нашей лесопилке заготовлены были доски на новый свинарник. Вот эти доски он и пустил в оборот. Вызвал пильщиков и говорит:

— Распилите мне все эти доски на штакетник.

Ваша команда — наше исполнение... Распилили. Вот тебе, он по радио объявление делает:

— Кому нужен штакетник, приходите в контору, покупайте за наличный расчет.

И народ валом повалил в правление. Огороды, пожалуй, с единоличной поры не огораживались, потому что равнение держали на общественный сектор. Пока мы темпы давали, бабы поразвели коз. У нас их еще прозвали — рога и копыта есть, а молока нет. Скотина эта нахальная и очень зловредная насчет огородов. Собака в дыру не проскочит, а эта пролезет. Дуры бабы! Не учли такого оборота. Сами же потом плакались.

Вот бабы и слетелись в правление за штакетником, как куры на просо. И такой гвалт устроили — прямо друг на дружку лезут, давят. Боялись, что всем не хватит. Тут к ним вышел Петя Долгий и говорит:

— Успокойтесь, дорогие хозяйюшки! Штакетнику всем хватит. А ежели вы хотите иметь новые заборы, записывайтесь в очередь у Якова Ивановича. Мы создадим бригаду строителей и все ваши огороды по шнурочку огородим. Деньги вносить сразу, по пятерке за погонный метр.

Бригаду такую создать — плевое дело. Кто не охочь до своих же огородов? Петя Долгий сам разбивку сделал; не успел как следует проверить, глядь — приезжает «газик». Уполномоченный из района!

— Хорош председатель! — кричит из кабинки. — Кампания по подъему идет, а он огороды городить. Наглядной агитацией заниматься надо.

А Петя Долгий ему:

— Вот я и занимаюсь наглядной агитацией.

— Нет! Это мы тебе покажем наглядную агитацию... на бюро!

— Это когда еще будет, а я вам сейчас покажу.

Петя Долгий подошел к машине и спросил:

— Вы зачем приехали?

— Как зачем? На помощь! — кричит уполномоченный.

— Тогда вылезай из машины, бери молоток, гвозди и прибывай штакетник.

— Вы что, издеваться? Ладно!..

Нашего уполномоченного только и видели.

— Ну, Петр Ермолаевич,— говорят ему мужики,— за этот самый забор они вас и упрячут.

— Вот и давайте поскорее огородимся. Навались, пока видно, чтоб другим было завидно! — посмеивается Петя Долгий.

И огородился! А к концу месяца колхозники деньги внесли за ограду. Он этими деньгами с ними же расплатился.

— Что ж это выходит, мужики? — говорит Корней Иванович.— Он нашим салом нам же по мусалам.

И скажи ты на милость! Пошли в феврале колхозники на работу... Интерес появился. А более все оттого, что хотелось знать: как же он вывернется вдругорядь? Подошел конец месяца, он вызывает бухгалтера:

— Яков Иванович, сколько у нас дохода поступило за молоко и мясо?

— Тысяч сто тридцать.

— Поезжайте в банк и все их снимите.

— Как все? Для чего?

— Зарплату будем выдавать колхозникам.

— Все деньги на зарплату? А неделимый фонд?

— Осенью у нас денег будет много, тогда и в неделимый фонд отчислим. А пока он сможет подождать.

Думали, на этот раз снимут нашего Петю Долгого. Но тут посевная приспичила, народ на работу валит — колхоз передом идет... Как тут снимать председателя! Ладно, строгача ему дали. Авось, мол, одумается.

А он опять за свое.

— Хлебобоб,— говорит,— у хлеба живет. Так пусть он о хлебе не думает. Дадим ему хлеба вволю!

И вот решили на правлении: ежели ты имеешь двадцать три выхода в месяц, то, кроме заработанных денег, дадут тебе по пуду хлеба на едока по государственной цене, то есть почти даром. А ежели ты вдова, то хлеб на всех твоих едоков идет бесплатно. Куда с добром! Повеселел народ. Прямо не работа пошла, а песня с пляской. Сочинять стали: музыка Глуховой, слова Хамова, так и далее.

— Это наши сочинители,— пояснил мне Булкин.

— Но не успел еще урожай созреть, нам бац! Из района новое задание: сдать три плана. Брат родной! Восемнадцать тысяч центнеров! Мы подсчитали: выходит тютельница в тютельную — сколько уберем, столько и сдадим. Под метелочку. Петя Долгий уперся: половину, говорит, сдам, а остальное колхозникам и на семена. Тут я должен сказать, он проявил политическую безграмотность. Настоящий активист как должен поступать? Ты за колхозников переживай, а государству все отдай сполна, что потребует. И правильно ему Мотяков сказал: «Ты колхозников ставишь на первое место, а государство на второе. Отстраним!»

Приехали в колхоз трое во главе с Мотяковым:

— Собери массу! Говорить будем.

Ладно, собрались на собрание.

— Товарищи! — выступает Мотяков.— Вы знаете, что все мы переживаем новую трудность?.. Засуху и недород.

— Она, засуха-то, больно чудная,— говорят мужики.— Вон через дорогу, в Прудках, засушило, а у нас нет. Вроде бы одна небесная канцелярия над нами.

— Небо одно, да молитвы другие! — крикнули с места, и все засмеялись.

— Товарищи, не будем ссылаться на объективные трудности. У вас уродилось лучше, вы и должны пример показать. Сдадим государству двадцать тысяч центнеров!

А кто-то из зала:

— Зачем двадцать тысяч? Давайте сдадим тридцать.

— Правильно! — Мотяков аж руками потер. — Вот это по-нашему. Не то некоторые маловеры и скептики отказываются. — Он покосился на Петю Долгого. — Ничего, трудовой народ поставит их на место враз и навсегда.

А Петя Долгий как бы ни в чем не бывало подымается и говорит:

— Ну что ж, товарищи колхозники, давайте считать — что у нас уродилось.

Считали хором — все поля наперечет знали, а Мотяков записывал. Считали, считали — и двадцать тысяч не набрали.

— Извините, — говорят Мотякову, — чего не можем, того не можем. Сами вы считали.

— Вы что? Посмешище из меня делать! — рывкнул Мотяков. — Не советую.

Вышел с собрания не попрощавшись. А на другой день актив у себя провел — снять, мол, Петю Долгого.

Резолюцию вынес. Но будто бы его не поддержали. «Без колхозного собрания не имеем права». У нас, говорят, демократия.

Ладно... Демократия демократией, но все ж таки привез Мотяков с собой на колхозное собрание и прокурора и начальника милиции. И даже милиционер Гвоздиков приехал. Правда, в зал его не пустили — он у входа стоял.

Мотяков сел в президиум. По правую руку посадил с собой начальника милиции Змиева, по левую — прокурора Абрамкина.

— Ну, кто говорить будет?

Тут ему устроили нашу бреховскую карусель. Как-то я уже говорил тебе — народ у нас дружный. Ежели сопрут чего — убей, не допытаешься... Мотяков, значит, требует обсуждать Петю Долгого, а конюх наш Матвей Глухов встал и говорит:

— Я вот насчет сбруи хочу сказать. Что ж это получается? Потник весь изопрел, а за тобой его числят как новый. Он не токмо что в упряжку, на подшивку валенок и то не годится.

Мотяков горячится:

— Вы мне бросьте эти прелые потники враз и навсегда! О руководстве говорить надо.

— Да и я про то же самое. Ведь сколько наш председатель одних прелых потников списал! А таперича возьмем старые хомуты. У иного не токмо что обшивка, клещи раскололись... А мы председателя менять?..

Ну, шире-дале. Такую чепуху все понесли, будто сговорились. До полночи молили. Абрамкин и Змиев не выдержали, шепчут Мотякову: «Ставь на голосование, не то мы все с голодудохнем». Я тоже в президиуме сидел. А чего тут голосовать? И так ясно — все за Петю Долгого. И соперника не было — я наотрез отказался. Легко было после Филиппа Самоченкова идти. А после Пети Долгого ну-ка сунься! Опозорят... Ворота дегтем вымажут не то по пьянке котел на голову наденут. Народ у нас отчаянный. Так Мотяков и уехал ни с чем.

А осенью колхоз наш в передовики вышел — больше всех зерна сдал. И убрался раньше всех. Тут уж Петя Долгий силу взял, круто пошел вверх. Оно, может быть, и его осадил бы, когда ку-

курузу толкали да луга распахивали. Но почему-то район наш закрыли; Мотякова пустили по речным кадрам, а нас в Пугасово отдали.

И оказались мы на отшибе. Кому на счастье, а кому и в горе. Колхоз наш таперича круглый миллионер. Хотя, по совести сказать, во многом и не по правилу хозяйство ведется. Но у председателя авторитет — он две машины легковых имеет и в депутаты вышел. Ему просто не укажешь...

А меня лишили последней руководящей должности с окладом. Укрупнили сельсовет, прислали нового председателя из города. Окончательно перестали ценить у нас местные кадры. Варяги в моду вошли.

— Им что... Они на готовое едут,— сказал Самоченков.— Фундамент заложили.

— То есть черновую работу для очередных достижений,— закончил Булкин.

Пенсионеры

— Кто очередной? — Минеевич вскидывает светлую сквозную бородавку и строго смотрит в зал.

Он сидит за кумачовым столом на сцене, справа от него председатель колхоза, слева — парторг, а где-то за его спиной бригадиры и сам председатель сельсовета. Шутка ли сказать! Минеевич руководит колхозным собранием впервые в жизни. От волнения нос и глаза у него покраснели, словно он только что луку наелся.

— Кто очередной?!

В середине зала качнулась чья-то голова в бараньем малахае, потом поднялась загорбина в рыжем полушубке, выплыла в проход и только тут разогнулась. Высоченный старик в шубных чембарах, которые отвисали на нем, как пустой курдюк у заморенного за зиму барана, снял малахай и, держа его, словно крест, у груди, степенно поклонился лысой головой сначала президиуму, потом залу.

— Граждане колхозники,— сказал он президиуму, затем, повернувшись в зал,— товарищи мужчины,— и, пошамкав беззубым ртом, добавил: — ...и прочие женщины. Поскольку, значит, я, как и всякий живой человек, должен кормиться, я и составил заявление.— Он вынул из кармана чембар тетрадный листок, развернул его и протянул к сцене, а сам — ни с места.— В котором и подаю прошение на пенсию. Прошу не отказать.

— Передайте заявление, Викул Андриянович! — Председатель колхоза кивнул, кто-то взял у Викула заявление и передал в президиум по рядам. Председатель уставился в тетрадный листок; его яркие сочные губы были чинно поджаты.

Минеевич все так же напряженно смотрел в зал, положив перед собой на столе сжатые кулаки, как пару гранат.

— Ну как, товарищи, решать будем? — спросил наконец председатель.

— А чего там решать! У него стажу колхозного нет. Какая может быть пенсия! — отозвался первым Минеевич.

— Ты, Викул, где был, пока не состарился? — спросили из зала.

— Дак вы же все знаете... где. Но меня это самое... — Викул пошамкал и добавил: — Восстановили, одним словом.

— Вот и ступай туда. Там и спрашивай себе пенсию. А на чужой каравай рот не разевай.

— Он у нас черствый... У тебя и зубов нету. Х-хе,— злорадно захохотал тот же голос.

— Куда ж я пойду... Поскольку инвалид, престарелый...— сказал Викул.

— Нет, старики... Вырешить мы должны,— поднялся древний, но все еще юркий, маленький Карпей, замуравевший какой-то землито-серой щетиной, как еж.— Викул, он человек с уважением.

— А что толку от его поклонов! Все равно на работу он не ходил и не ходит,— сказал кто-то из президиума.

Карпей быстро обернулся к президиуму:

— Совершенно правильные слова сказали... Я только насчет почтительности, стало быть... Викул, он, може, и пошел бы. Мужик он почтительный, отчего не сходить? А куда же он пойдет? Може, где он был, там теперь и нет никого. И начальников распустили. Не-е! Вырешить мы должны.

Карпей, торопливо дергая сухонькой головой в стороны, как гусь, заглотавший корку хлеба, победно сел.

— Нет, мы должны вырешить.

— Я грю, стажа у него нет...

— Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было!— загалдели со всех сторон.

— Да, стаж у него колхозный и в самом деле малый.— Председатель теребит заявление Викула и смотрит в него так, для порядка.— Значит, всего работал здесь шесть лет, а нужно двадцать пять...

— А что там работал, рази это не в зачет?— спрашивает Викул.

Председатель, совсем еще молодой человек, выпячивает красную, будто с мороза, нижнюю губу, подымает девичьи тонкие брови— силится взвесить Викуловы сроки— и наконец произносит, пожимая плечами:

— Конечно, все надо засчитывать. Но поскольку мы колхоз... у нас есть свой устав... Как собрание решит.

В зале опять заволновались:

— Он там и утром и в обед пайку хлеба получал...

— А мы деруны пекли...

— Хлеба-то не давали на трудодни...

— А ему пайку три раза в день!..

— Да-а-а, ведь я ж за эту пайку норму выколачивал!

— А мы что, не работали?

— Зачем все кричите?— приподнялся в президиуме сухопарый татарин с оголенной кирпичной шеей, вылезавшей из облезлой фуфайки.— Пускай Пешка скажет. Она, это самое, парторг.

— Жасеин! Я сколько раз говорил тебе: не Фешка, а Фетинья Петровна,— строго обрывает его председатель колхоза и косо смотрит на широкогрудую, широколицую Фетинью Петровну.

— Какой разница! Пускай будет Петинья Петровна.

Фетинья Петровна зарделась до ушей:

— Да-а, ежели каждый, кто вернулся, пойдет к нам в колхоз на пенсию, тогда чо же будет? На трудодни не хватит.

— Расшиби вас паралик!..

— Я в таком деле несогласная.

Бабы зашумели, заволновались.

— Цыц вы, проклятущие!— не вытерпел Парамон и встал с места спиной к президиуму, лицом к задним рядам, где на скамьях густо сидели колхозницы.— Вам какое равноправие дадено? Голосовать?! Вот и сидите— ждите. А тут мы и без вас разберемся.

— Ты уж помалкивай, Лотоха!— крикнула на него Фетинья

Петровна. — Ишь раскричался! Мы еще разберем тебя за домашнее самоуправство.

— Какое ишло самоуправство? — Парамон с вызовом обернулся и наклонил голову, словно бодаться решил.

— На жену кто руку подымал?

— А ежели за дело? Что ж это за порядок завели: бабу свою нельзя поучить? Да она тебе на шею сядет. — Он стукнул себя по сухой и морщинистой шее.

— Тебе сядешь на шею...

— Да на его шее ровно на суку воробей, может, и усядется.

Парамон азартно замахал руками, стараясь унять смеявшийся зал.

— Садись, садись, — кивнул ему председатель колхоза. — Дойдет и до тебя черед.

— Мы еще разберем его... Кто у Криволаповой опару хлебную выпил? — Фетинья Петровна погрозила пальцем.

— Может, мякину ишло съел? — огрызнулся Парамон, но сел быстро, как в воду нырнул.

А Викул, чуя, что его «пенсия» ускользает, поднял руку и помаhal шапкой.

— Я в колхоз вступал ай нет?

— Вступал, — ответил Минеевич.

— Чего я отнес туда? Значит, два хомута ездовых, два пахотных, три бороны, одну железную, — Викул загибал пальцы, — дроги на железном ходу...

— Все понятно, Викул Андриянович, — останавливает его председатель колхоза.

— А ты, председатель, не перебивай! Дай слово сказать человеку, — поднялся чернобородый, богатырского сложения кузнец Филат Олимпиевич. — Не то иной человек блоху привел на аркане в колхоз, а туда же за пенсией топает... За что, к примеру, Карпею Ивановичу выдали пенсию? Что он внес в колхозную кладовую накопления?

— Извиняем, извиняем... — с готовностью отозвался Карпей. — Я в Назаровке вступал в колхоз. Там я сдал поболе вашего.

— Вот и ступай в Назаровку за пенсией! Стаж свой где растерял?

— Товарищи, ведь он же самый старый у нас! — вступается за Карпея председатель. — Ему еще в то время, когда колхоз создавали, уже пенсию надо было платить.

— Совершенно справедливые слова говорите, — ввернул Карпей.

— Сколько вам лет, Карпей Иванович?

— Второй годок после сотни...

— Ну что ж вам еще! — Председатель махнул рукой, и те сели. Помедлив, сел и Викул.

— Значит, голосуем, — сказал Минеевич. — Кто за то, чтобы Викулу пенсию отказать?

Руки поднялись довольно густо.

— Пешка пусть считает...

— Жасеин, опять!

— Петинья Петровна, какой разница...

— Чего ж считать? И так все ясно, — говорит Фетинья Петровна. — Большинство против.

— Вот видите, Викул Андриянович, не получается у вас с колхозной пенсией, — обратился председатель колхоза к Викулу. — Придется вам ждать государственной пенсии.

Но Викул встает, тычет себя шапкой в грудь и заведенно произносит:

— Дак же обсудить надоть.

— Все уже, все!.. Голосование было...

— Одно дело — голосование, другое — обсудить надоть. Мне никак нельзя без пензии.— Он опять кланяется президиуму, потом по сторонам: — Товарищи правление! Товарищи мужчины и протчие женщины...

Но его никто не слушает. Председатель, косо поглядывая на листок с повесткой дня, лежащий перед Минеевичем, произносит:

— Разбирается заявление Черепенникова Федула Матвеевича.

— Очередной! — выкрикивает, опомнившись, Минеевич и смотрит в зал.

Встает Федул, плотный квадратный старик с лихо закрученными усами, краснощекий, черноглазый еще по-молодому. Браво расправив грудь, он рыкнул на Викула:

— Кого тебе ишшо надо? Вырешили старики — и надевай шапку. Садись!

— Поскольку кормильца лишен,— твердит свое Викул.

— Вам будут хлопотать пенсию через сельсовет, Викул Андриянович,— пояснил еще раз председатель колхоза и кивнул в сторону председателя сельсовета.

— Дадим ему что положено как одинокому. Но учтите, тогда его надо из колхоза выводить.— Председатель сельсовета сел, и стул под ним жалобно скрипнул.

— А у вас таких правов нету, чтобы выводить меня из колхоза. Два ездовых хомута сдал, три бороны, одну железную, да дроги на железном ходу, да плуг двухлемешный...

— Ясно, ясно, Викул Андриянович,— успокаивает его председатель колхоза.— Решили с вами... Садитесь. Похлопочем.

Викул наконец садится, но все еще бормочет про себя:

— Обсудить надоть... Я тоже закон знаю.

Федул держит руки по швам и с готовностью таращит глаза на президиум. Как только председатель колхоза обернулся к нему, он скороговоркой отчеканивает:

— Я тоже сдал в кладовую накопления: двух кобыл, одну жеребую, бричку на железном ходу, двенадцать метров пеньковой веревки для постромок...

— Ты лучше скажи, где ты работал? — перебивает его Фетинья Петровна.

— А где ж? В колхозе и работал...

— В колхозе? — весело переспрашивает Фетинья Петровна.— А кто ж тебя видел, как ты работал?

— Могут подтвердить свидетельским показанием Амос, Феоктист, Микиш...

— Это какой Микиш? — спрашивает Минеевич.

— А Черепенников!

— Дак он же второй год как помер.

— Ну тогда Симеон,— не сморгнув глазом отвечает Федул.

— Ты симулянт! — взрывается Минеевич.— Ты всю жизнь про- симулировал...

— А ты прорыбачил,— отбивается Федул.— На пасеке бабу оставишь, а сам на реку... Теперь ишшо на сцену залез. Слазь оттудова... Не заслужил!

— Да я тебя слова лишаю! — грохнул Минеевич кулаком по столу.

— Лишенцев тепер нету. Упоздал на сорок лет... Хватит...

— Ты как был подкулачником, так и остался! — крикнул, багровея, Минеевич.

— А ты раскулаченными холстинами торговал... — не сдавался Федул.

Минеевич заерзал на стуле и беспокойно озирался по сторонам, как бы ища поддержку в президиуме. А в зале смеялись и топали ногами.

— Федул Матвеевич, припомните все ж таки, где вы работали? В какой бригаде? — спрашивает Фетинья Петровна.

— Вот те раз! — пучит глаза Федул. — А кто вас всю войну дровами обвозил? Школу, сельсовет...

— Тять, это ж ты от райтопа работал, — дергает его за полу сидящий рядом сын-тракторист.

— А ты молчи! Тебя не спрашивают... — отымает полу Федул. — А кто в бойной работал?

— Бойная от сельпа была! — кричит Минеевич.

— Хорошо. Ладно... А кто десятиворкой по дорожному делу руководил? Кто вас выгонял с подводами на щебень, за песком? Это вы мне так теперь оплачиваете!.. Мстительность ваша, и больше ничего...

— Это общественная нагрузка...

— Не юлай... В какой бригаде работал?

— Садись, тятя, садись...

— А ты молчи! — Федул скидывает с себя полушубок, за который тянет его сын, и торопливо начинает выдергивать рубаху из-под пояса. — А теперь учтите такую прокламацию. Поскольку я награжденный Георгием и воевал в последнюю очередь в мировую... Ишшо в японскую на Цусиме, на «Цесаревиче» то есть. А в плен попадал!.. Это как можно отбросить? Что надо мной там японец исделал? — Он заголил по самую шею рубаху, обнажив синевато-белое брюхо и мускулистую, заросшую седыми волосами грудь. На его груди, размахнув крылья, парил татуированный орел; в когтях он нес женщину, у которой вместо головы приставлен был сморщенный Федулов пуп. — Вот какие протчие предметы оставил на моем теле плен, — торжественно произнес Федул в наступившей тишине, поворачиваясь во все стороны оголенным брюхом. — Спрашивается, когда ж мне было работать? Иль и это не в зачет?

— Ты нам пузо не показывай. Его в протокол не запишешь. И птицу твою мы видели. Опустит рубаху! — повышает голос председатель сельсовета. — Ты что, не знаешь, как отвечать надо? В какой бригаде работал, говори?!

Федул опустил рубаху и молча стал запихивать ее, оттягивая пояс штанов.

— А что его спрашивать? Голосовать надо, — сказала Фетинья Петровна.

— Поскольку Федул Черепенников стажу колхозного не подтвердил, ставим на голосование. Кто за то, чтобы пенсию Федулу не давать? — спросил Минеевич.

— Можно не считать. Картина ясная — почти единогласно. Опустите руки, — сказал председатель колхоза. — И последний вопрос: какую пенсию назначим Максиму Минеевичу Пустовалову? — Председатель взял со стола заявление Минеевича и прочел: — «Поскольку я создавал колхоз, был в активе и безотлучно выходил на работу, а не какой-нибудь тунядец, прошу назначить мне двадцать рублей в месяц». Кто имеет слово?

— Ты создавал колхоз!.. Как это так? — крикнули из зала.

Минеевич, опираясь на стол, встал:

— Которые молодые — не знают как раз... У Толоконцевой горы стояла Панфилова мельница. В тридцатом году ее растащили, а Панфила сослали, то есть вослед. Феоктист, не дай соврать! Помнишь, в двадцать девятом годе мы всемером у Панфила собрались на помол?

— Феоктист за дровами уехал,— ухнул кто-то басом из зала.

— Егор Иванович, не дай соврать... Ты ишшо маленьким был,— метнулся Минеевич к старшему конюху, сидевшему за его спиной в президиуме.

— Я не помню,— ответил Егор Иванович, краснея: весь президиум обернулся и смотрел на него.

— Да не с тобой, чудака человек... С отцом твоим ездили на помол... Значит, я, Иван, Феоктист...

— Ты не юляй! — кричат из зала.

Этот окрик точно подстегивает Минеевича, он передернул плечами, вскинул сердито бороденку и сам пошел в наступление:

— Как впервой назывался наш колхоз, ну? «Муравей»... Мураш то есть. А кто ему дал такое название? — сердито крикнул он в зал и, не дождавшись ответа, погрозил кому-то кулаком:— Я придумал! А через чего?.. Сидели мы в мельничном пристрое... Сговорились: артель создавать. А какое название? Смотрю я — по моим чембарам мураш ползет. Я его цоп — и кверху.— Минеевич вскинул щепоть, словно в пальцах у него был зажат этот самый муравей.— Мурашом, грю, и назовем. Так и вырешили... Магарыч рспили.— Минеевич почуял, что сказал лишнее, мотнул головой и добавил:— За помол то есть...

— Граждане колхозники, они тем разом перепились и Назарку заседали,— говорит Федул.— А Минеевич сел на него верхом и вокруг жернова ездил.

— Врет он! — покрывая хохот, срываясь на визг, кричит Минеевич.— Он симулянт!

— А кого за это выключили из артели? Кого? — распаляется и Федул.— Он всю жизнь бабу на пасеке продержал, а сам прорыбачил. За что ж ему двадцать рублей?

— Прямо не Минеевич, а как это... литературный инструктаж,— говорит на ухо председатель сельсовета председателю колхоза.

Тот снисходительно улыбается и поправляет:

— Не инструктаж, а персонаж.

— Какая разница!

— Тихо, товарищи! Хватит прений. Все ясно. Давайте голосовать: кто за то, чтобы Максиму Минеевичу Пустовалову назначить пенсию в двадцать рублей? — спросил, поднявшись, председатель колхоза.

Зал не колыхнулся, ни одна рука не вскинулась кверху.

— Понятно... Кто за пятнадцать?.. Как всем... Единогласно!

— А ежели как всем... — затрясся от негодования Минеевич,— сами и заседайте. В насмешку сидеть не желаем.

Он с грохотом отодвинул стул и вышел из президиума в зал.

— От дак вырешили!..

— Прямо как в лагун смотрели..

— Совершенно правильные слова..

— По первому вопросу все,— сказал председатель колхоза.— Шестнадцать пенсий выдали, две отказали. На второй вопрос — разное. Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович.

Федосей Иванович подошел к столу, раскрыл папку с делами, солидно откашлялся.

— Поступила жалоба от гражданки Криволаповой Евдокии Се-

меновны на Силантьева Парамона Ивановича и на Черепенникова Федула Матвеевича в том, что они, отперев замок, вошли в дом Криволаповой, выпили осадки от пива, хлебную опару и съели на закуску картошку для поросенка. Посему поросенок визжал, когда пришла хозяйка! Вопросы имеются?

— Судить их надо колхозным судом чести!

— Хорошенько их приструните! Они, как попы, по дворам ша-стают...

— В таком разе суд колхозной чести занимает свои места в составе председателя Фетиньи Петровны и заседатели — я и Егор Иванович.

— Подсудимые, встаньте! — приказывает Фетинья Петровна, глядя в папку Федосея Ивановича.

Федул и Парамон встали. Парамон в отличие от Федула сух, с бритым морщинистым лицом; впалые щеки придают ему мрачный аскетический вид, и смотрит он в пол, как заговорщик.

— Как вы проникли в избу Криволаповой?

— Подошли — замок висит... Ну, мы его шевельнули. Я шевельнул замочек ай ты, Федул? — спрашивает Парамон.

— Чего его шевелить? Это он от ветру.

— От ветру?! Эх, бесстыжие ваши глаза, — встает Криволапиха. — Небось палец-то об замок зашиб?

Парамон тычет в ее сторону обвязанным тряпицей большим пальцем:

— На, посмотри, на нем шкуры нет!

— А чо у тебя с пальцем-то? — спрашивает Фетинья Петровна.

— Чирьяка под ногтем. Фельдшер говорит: исделай ванную и помочи... Авось отмякнет. Я скипятил чугунок да сунул туда палец-то. Вся шкура и спустилась, как чулок.

— Не отвлекайтесь! Что в избе делали? — строго спрашивает председатель сельсовета.

— А что там делать? Чай не на работу мы ходили к Криволапихе, — огрызается Федул.

— Не рассуждать! Отвечайте согласно уставу... — повышает голос Федосей Иванович.

— Посмотрели, посмотрели — вроде никого и нет...

— А вы думали — там гостей застолица? — спрашивает ехидно Фетинья Петровна.

— Пускай Федул скажет.

— Я, значит, заглянул на шесток — лагун не лагун и чугуном не назовешь. Ну, вроде бидон... стоит. А в нем и пива-то нет, так — гушша.

— Одна видимость.

— Мы ее выпили...

— Так малость было... На доньшке.

— А больше ничего не брали?

— Боле ничего...

— Ах, совесть ваша! — восклицает Криволапиха. — И где ж на доньшке! Там более полбидона было. Опара хлебная в деже неделю стояла — и ее выжрали. А кто картошку съел? Поросенку стояла в чашке на скамье... Девки лапшу не доели — я ее тоже туда. Пришла я — поросенок визжит. Я хватъ чашку, а там и отчистков нету. Все подчистую стрескали. Хряки они, хряки и есть... — Криволапиха села под общий хохот.

— Что будем с ними делать? — спросила Фетинья Петровна.

— Выговор записать в дело.

— Пускай покаются.

— Граждане колхозники! — переждав шум, говорит Федул. — Ну чего с кем не бывает? Простить надобно. А мы боле не будем.

— А что Парамон?

— Что Парамон? Иль я чужих коров доил? — вскидывается он. — Не боле других пил...

— Хорошо, запиши им выговор, — сказала Фетинья Петровна.

В зале задвигали стульями.

— Подождите расходиться! Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович, — сказал председатель колхоза.

Федосей Иванович встал, полистал в папке свои дела, нашел нужную бумажку, стал зачитывать:

— Товарищи, весна свое показывает: мусор, тряпки, солома, на-зем и прочие отбросы из-под снега повылазили. От столовой зай-дешь в проулок... Тут тебе и собака, и кошка дохлая, и всякие живот-ные валяются до самой речки. А Егор Иванович наемни в речке пой-мал худые чембары. Протерты не в ходу, а на этом самом месте... На сиденье... Сразу видно — табунщик носил. И у кладовой Степана Ефимовича тоже... мусор и назем. Спрашивается, кто старые чемба-ры в речку кинул? Ведь из нее пьют лошади, скот, ребятёшки, под-ростки купаются с первесны. А что от старых чембар? Один волос исходит и дух чижолый. Куда такое дело годится... Учтите!

— Почему ты знаешь, что табунщик свои штаны бросил?.. — кри-чат с задних рядов.

— Так они ж протерты на сиденье, в седле то есть.

— А может, кто их в конторе просидел?

— Ты сначала установи!..

— Установим... И на следующем собрании сообщим. Все! — Пред-седатель сельсовета закрывает свою папку.

Народ расходится.

Шорник

Мы сидели в холодке на низеньком кособоком крылечке. Перед нами в заплоте разгуливали кони; одни подбирали раструженную ско-шенную траву, фыркали на нее, сдували пыль и лениво перебирали травинки губами; другие, равнодушные ко всему на свете, дремали, тяжело опустив голову, отвесив нижнюю губу. Жара...

Из шорной в открытую дверь обдавало нас сырым запахом зем-ляного пола и резким сладковатым духом прелых потников.

Дед Евсей, широконосый, лысый, но еще крепкий грудастый старик с выпуклыми, как у верблюда, подслеповато прищуренными глазами, чинил седло. Сидел он над нами на верхней ступеньке, как на престоле, широко расставив колени, ковырял шилом кожу, вытя-гивал обеими руками дратву, сипел от натуги, потом, пристукнув че-ренком шила по шву, смотрел на нас значительно и долго, как бы пытаясь что-то вспомнить и наказать; но, мотнув по-лошадиному го-ловой, снова колот шилом и опять с хрипом и свистом до красноты в отечных, дряблых щеках вытягивал дратву.

Васька, черноглазый остроплечий подросток, с благоговением за-стыл у его ног — дед чинил седло для бегунца, а Васька — главный колхозный наездник. Ему и читать недосуг, однако книгу он держал в руках.

Дед Евсей несколько раз подозрительно покосился на книгу и спросил:

— Это что ж у тебя за книжка такая?

Васька смутился, повертел книгу в руках:

— Дак ведь экзамены на носу. Химия.
 — А, удобрения, значит,— сделал вывод дед Евсей.— Химия.
 А раньше на куриный помет задание доводили.
 Он пристукнул черенком шила и строго поглядел на меня:
 — Я через этот куриный помет в упортунизм попал.
 — Не упортунизм, а оппортунизм,— поправил Васька.
 — Все может быть,— согласился шорник.— Я в грамоте не больно силен. Правда, текущую политику я знаю.

— А что такое оппортунизм?— спросил Васька.
 — Апортунизм— это течение. Рождается она не из чего, можно сказать. Вроде вон речки нашей, Таловки; так она— воробью по колена, а дожди пройдут— не суйся, закрутит и унесет черт-те куда! Ажно в море Каспийское... Вот так точен-в-точен и апортунизм. Все дело в том, в какое время угодишь.— Шорник постучал черенком, побряхтел и назидательно закончил:— Ежели не в ту струю попадешь, вот и станешь упортунистом.

Дед Евсей обращался к Ваське, однако я догадывался, что старался он больше для меня, человека заезжего, да еще из газеты. Вот, мол, мы какие... Не лыком шиты.

Я уже знал, что дед Евсей из шорников поднялся в бригадиры, потом в председатели сельсовета, затем пошел вниз— бригадир, сельский избач и опять шорник. Вернулся на круги своя.

Впрочем, в одном понижении его был повинен и я. Это случилось в пятьдесят четвертом году. Я приехал по заданию редакции обследовать культуру села. Время было такое, что на село впервые за много лет потянулся городской люд,— одни приглядывались к сельской жизни, к вольготности, справлялись насчет отмены налогов, какие ссуды дают на постройку, расспрашивали: «А правда ли, что теперь скота держи сколько хочешь?» Другие приезжали из города агитировать сельских жителей, чтобы работали лучше, потому что сентябрьский Пленум отменил всяческие препоны, разрешил главные проблемы, полностью развязал колхозникам руки— теперь дело только за вами, колхозниками.

Помню, в один день со мною приехал в Паньшино агитатор из какого-то столичного института, не то из мировой истории, не то из мировой литературы. В маленьком и тесном доме приезжих этот столичный гость, низенький, плотный, с тугими розовыми щеками, в начищенных ботиночках, в сером мохнатом пальто с поднятым воротником (время было осеннее, морозное), стоял у порога, растерянно и жалобно спрашивал:

— Простите, а где же тут уборная?

— Уборная на том конце села,— отвечал Евсей Петрович.

Он сидел за столом на месте дежурной и читал газету. Уборщица, она же и дежурная Дома приезжих, жена его Прасковья Павловна, ушла домой доить корову. Евсей Петрович остался за нее.

— Как это на том конце?— изумился агитатор.

— Ну, возле мэтэес... Бывшего райкома то есть,— пояснил Евсей Петрович.— Там и уборная есть. А здесь она повалилась в прошлом годе. Доски мужики растащили на дрова.

— Не может быть!— Лектор все еще недвижно стоял у порога.

— Район у нас закрыли. Теперь кто же ее поставит?— терпеливо втолковывал ему Евсей Петрович.

— А далеко это, на том конце?

— Да версты две будет...

Евсей Петрович снова взялся за газету.

Просидел я возле него в Доме приезжих почти полдня. На все мои просьбы открыть библиотеку он отвечал:

- Не подошло тому время.
- Что же, подождем.
- А чего тебе понадобилась эта библиотека? — вдруг подозрительно спрашивал он.
- Как для чего? Книги читать. Она должна быть открытой.
- Это для кого как... У тебя документы есть?
- Есть.
- Ну тогда сиди, жди.
- Почему?
- Порядок такой.

Попал я в его библиотеку, или по-паньшински в читалку, только поздним вечером, когда Прасковья Павловна подоила корову и убралась в доме.

Меня поразил тогда затхлый дух плесени, запах пыли и мышей... Книги валялись в полном беспорядке на грубо сколоченных полках, в окованных жестью старых сундуках с оторванными крышками и прямо на полу — в углу. Посреди читальни стоял непокрытый дощатый стол и четыре табуретки возле него. На стенках, густо усиденных мухами, висели плакаты и портреты, дощатый потолок был закопчен до черноты круглой чугунной времяяной.

- Хоть бы стены побелили, — сказал я.
- А зачем? Все равно мухи засидят.
- Я показал ему свой газетный мандат. Он и ухом не повел:
- Так бы сразу и сказал, что из газеты. Я б за Паранькой сбежал и читалку пораньше открыл. Она любит возиться дома... Баба она баба и есть.
- Не для меня читалку надо открывать, а для народа.
- Известно — для народа, — охотно согласился он. — А то для кого же?

- Каталог у вас составлен?
- Чего? — Он впервые насторожился.
- Ну, перепись книжек.
- Ах, перепись! А к чему она? Я и так все книжки наперечет знаю. Сам читал...
- А как же вы их учитываете?
- По ящикам... Столько-то ящиков, столько-то полок... Да вон остаток в углу. Чего же их считать?

Помню, на лекции в клубе Евсей Петрович сидел в первом ряду, и когда лектор, кончив читать, спросил: «Вопросы имеются?» — Евсей Петрович тотчас встал и задал вопрос:

- А вот вы скажите, как в Индонезии дела?
- В каком смысле? — переспросил лектор.
- Порядок там наведен? Помощь наша не нужна то есть?

После моего выступления в газете Евсея Петровича сняли. И как-то сразу все стали называть его просто дедом Евсеем. Но странно, он не обиделся на меня или делал вид, что не обиделся. При каждом моем наезде в Паньшино он непременно разыскивал меня, заговаривал со мной все по книжной части и, прощаясь, всегда напоминал одно и то же: «А тогда-то, после твоего наезда, меня сняли. Да...»

Вот и на этот раз дед Евсей увел меня из правления на конный двор, угощал холодным квасом, ну и под конец повел умную беседу. Я догадывался, что это была своеобразная месть — вот, мол, какого человека ты не у дел оставил. Не оценил...

О своей бывшей руководящей работе рассказывает дед Евсей как о веселой и не совсем понятной игре, в которую он бы и теперь не прочь поиграть.

- Раз попал я под течение... Меня и вызвали, — говорил дед Ев-

сей, постукивая черенком шила о кожу.— Спрашивают: тебе задание довели на куриный помет? Довели, отвечаю. А ты что делаешь? Собираем, говорю. Кто ж это собирает? Актив, отвечаю, по дворам ходит. Дурак! Твое дело спустить это задание дальше, понял? А ты по дворам, как поп, шатаешься. Мне бы надо согласиться... Но я не сообразил — опыта в тую пору у меня по руководящей линии, можно сказать, не было никакого. Я и ляпнул — руководитель, говорю, сам должен пример показать. Эх меня и почали молотить... Ты что же, самих руководителей на куриный помет хочешь бросить? Да?! Навоз зьвезить, поле пахать?! Да?! Может, ты и коммунизм хочешь построить одними руководителями? Это и есть отрыв от массы, понял? То есть упортунизм. То-то и оно.— Дед постучал шилом, помолчал...— А течение такое в то время было. Может быть, и я бы окончательно угодил тогда в него. Да, на счастье, народ в районе сидел с головой — разобрались что к чему. И оставили меня в руководителех.— Он покосился в мою сторону, мотнул головой и добавил укоризненно: — Так-то.

Ваське этот рассказ показался, должно быть, скучным, он раскрыл таблицу Менделеева и разложил ее на коленях.

— Это по какому же написано, по-немецки, что ли? — спросил дед Евсей.

— Это таблица Менделеева,— ответил Васька.

— Менделеева? — Дед Евсей поджал губы и задумался.— Нет, что-то не слышал. По текущей политике я разбираюсь, а вот в истории нет.

Он сделал несколько стежков, постучал, побряхтел:

— Она к чему ж дана, эта таблица, к умножению или к делению?

— Дед, это элементы... Классификация, понял?

— А чего ж не понять! Элементы — известное дело. Они бывают разные. Есть которые бабы получают: мужик сбежит — его цоп! И за элементы привлекают. А бывали и такие элементы, которых раскулачивали... Пережиток капитализма то есть.— Он поглядел на меня и спросил: — А у этого Менделеева про иностранные элементы написано, что ли?

— Дед, это химия! — ответил раздраженно Васька, ерзая по приступке.— А пережитки капитализма к истории относятся. Неужели это непонятно?

— А ты не елозий, а то занозишь сиделку-то,— обиделся дед Евсей.— Ишь какой образованный! Для тебя же, дурачка, стараюсь, седло чиню. А он и разговаривать не хочет.

— Да ты что, дедушка? — испугался Васька и снова прильнул к его коленям.— Я просто так... Химия мне надоела. А ты что подумал?

— Глупый ты, Васька. Ежли бы я, как ты вот, сызмальства грамоту постигал, я б теперь ого-го где был. Погладить не достал бы.

— А где ты учился? — спросил Васька.

— А в двадцать втором годе ликбез окончил. Ликвидировал безграмотность то есть. Потому как нельзя иначе: с одной стороны, кулаки нас донимали, а с другой — темнота. Ну мы, стало быть, уничтожили и тех и других. А потом колхоз построили.

→ Пстой, дед Евсей! — Васька хлопнул его по коленке.— А ликбез-то вы где проходили? В школе?

— А то где же! Утром ребятишки учатся, а вечером мы, дураки старые. Бывало, горит лампа-молонья, а мы, как сычи, глаза таращим на доску. Пока домой дойдешь, буквы позабудешь. А дома что в тую пору? Лучина! Потому как военный коммунизм. Я и теперь, как выпью, все про лучину пою: «Да-агарай, гари, мая лу-лучина...» А неко-

торые про это позабыли, между прочим.— Дед Евсей снова прищуркой, по-верблужьи, поглядел на меня.— Им что? Горя не видали, пришли на готовое, потому и критикуют. А ведь не все точен-в-точен приходит. Ровнять нельзя и говорить нельзя. Вон в магазине: один стоит в очереди, а другому через голову дадут. Ну и что? Скрычи возьми... Скрычишь — дураком и останешься: Потому как такой порядок установлен. Это понимать надо.

— Какие же вы предметы изучали, дед? — спросил Васька.

— А разные... То тебе буквы показывали, то на доске писать... Но больше все — чтение. Потом в тетрадь переписывали. Ба-альшие буквы писали, эдакие вот, с папирску каждая. Ну а потом — политграмоту. Когда политграмоту начали, сразу стало понятно что к чему. Жизнь наша была забитая. После чего началась революция. Интерес появился. А тут колхозы образовали. Иначе и нельзя. Но — тут война. Немец попер... А до немца были еще Врангель, Деникин и державы разные — все агенты мировой буржуазии. Но про гражданскую войну я вам говорить не стану, потому как вы оба не помните. А война кончилась — настала победа, и пошли мы восстанавливать. На коровах пахали. Тут у нас много председателей сменилось... А теперь наша жизнь идет вперед...

— Дед, а география у вас была? — спросил Васька.

— Географии вот не было. А почему, я не могу сказать. Да я, по совести сказать, и не люблю ее, географию. Где какая страна лежит — и так известно. Вот книжки — другое дело. Книжки я люблю. Какую ни прочтешь — в одной про одно, в другой про другое сказано. И главное, не знаешь, что же дальше будет. Только прочтешь книгу и думаешь: что дальше? — как проклятущая Паранька откуда ни возмись орет: «Евсей, корову напои! Евсей, дров накопи!..» Тьфу! Обидно.

Возле конного двора остановился «газик». Председатель открыл дверцу и махнул мне рукой. Я встал с крыльца. Дед Евсей отложил седло и прошел со мной до околицы. Здесь он чинно поклонился, подал мне руку и, глядя на меня своими выпуклыми, скорбно прищуренными глазами, сказал:

— А тогда-то, после твоего наезда, меня сняли. Да...

Степок и Степанида

— Борь, а Борь! Купи мне флакончик одеколona опохмелиться. Я тебе дровами заплачу,— клянчил Звонарь.

— Иди к черту!

— Ну что тебе стоит заплатить каких-нибудь несчастных шестьдесят копеек? А дрова у меня сухие, мелкие — швырок! Березовые...

— На что ему твой швырок? У него в Москве газом обходятся. И жарят, и парят,— сказал Федот.

— На газу-то?

— На газу.

— Не брещи. Отопление, может, и произведешь газом. Потому как по трубам. А жарить надо на вольном огне. Выпусти его, газ, на волю да подожги... Что ж получится? Во-первых, воспарение. Улетучится, значит. И вонь пойдет. Газ — он и есть газ. Ничтожность то есть.

— И дрова в ничтожность сгорают.

— Ну не скажи! А уголь откуда берется? Если б дрова сгорали в ничтожность, чем бы тогда самовары кипятили?

— Электричеством.

— Ты электричество не трогай. Для него есть приборы. А то самовар! Может быть, и золу из электричества делают? А! Так по-твоему! Зола из электричества? Нет, ты ответь, ответь!

— Зола есть продукт распада органического вещества. Деревяная,— ответил я.

— А я что ему говорю? Да как уперся в свое электричество. Как будто мы не знаем, из чего делается электричество. Когда из воды, а когда из нефти. Правильно я говорю, Борь?

— Истинно.

— А хочешь, я тебе сюда принесу дрова? Прямо к пристани... И на паровозик внесу... И расколю, Борь?

— Отстань.

— И за что меня так трясет? Будто кур чужих воровал.

— Ты бы еще нагишом лег.

— Трясет меня изнутри, чудак. А снаружи я ничего... Вот пальцы не посинели. Видишь, владают.

Мы лежали на высоком речном берегу, возле обрыва. Под нами притулилась к берегу игрушечная пристань, похожая на дощатый ящик с длинной самоварной трубой.

Нас трое: шкипер Федот, человек неопределенного возраста — старчески сух, но еще черноволос, в облезлой стеганой фуфайке и парусиновых туфлях, я и Степок Звонарь, мужик лет пятидесяти, с красным помятым лицом и босой. Несмотря на сильный свежий ветер, на нем всего лишь драная белая рубаха да пестренькие штаны, такие ветхие, что того и гляди грех наружу вывалится.

Чуть поодаль от нас сидела, укутавшись в клетчатую шаль, пожилая женщина — только глаза одни видны, блекло-голубенькие, как цветочки льна. В ногах у нее стояли две корзины: одна с ежевикой, другая с калиной.

Все ждали катера. Я ехал в город, женщина — до своего села, километров за десять, а Степок пришел жену встречать.

Небо хмурилось на дождь. Река взъерошилась сивыми мелкими гребешками, словно озябла; и прибрежные тальники посерели от перевернутых исподней стороной, рвущихся на ветру листьев.

— И с чего меня так трясет? Или съел чего холодного?

— Пить поменьше надо,— вступает в разговор женщина.— Да хоть бы куфайку надел. А то в одной рубахе. Прямо атлёт...

— Да кто ж это в сентябре куфайку носит?

— К примеру, я,— ответил Федот.

— Ты на службе, по необходимости, значит. А я куда хочу, туда пойду.

Степок встал, поддернул штаны.

— Пойду хоть чайку хлебну. У тебя там осталось немножко?

— Осталось. На вот ключ от каюты.— Федот подал ему ключ.

Тот запрыгал по глинистым ковлагам вниз, к пристани. Рубаха на спине его захлопала и вздулась пузырем.

— Господи, посмотришь на него — и то инда мурашки по коже ползут. Вот злыдарь-то! — сказала женщина, кутаясь плотнее в шаль.

— А что он делает?

Я прожил здесь полмесяца и каждый день видел его пьяным.

— Дурака валяет,— ответил Федот.

— Сколько же можно?

— Всею жизнь. Такая уж порода. У него отец сроду не работал. Найметя, бывало, стадо пасти — ребятешек с коровами отошлет, а сам на колокольню звонить. Ни один праздник без его звону не обходился. И руками и ногами дергает колокольные веревки. Только,

бывало, голова трясется. Их так и прозвали Звонарями. Все они вокруг церкви побирались.

— Но церковь уже лет тридцать как закрыли.

— Церковь закрыли — колхоз открылся. Степок сразу в бригады. Как же! Беднота... Почет и уважение. Он двадцать с лишним лет все командовал. Надо тебе за дровами съездить — бери поллитру и ступай к Степку. Или огород вспахать... Он вина-то выпил — озеро. Какая уж ему теперь работа?

— Что ж его, за пьянку сняли?

— Да ну! Колхоз объединили. Из нашего целого колхоза одну бригаду сделали. Трех бригадиров за штат.

— И все не работают?

— Зачем? Одного учетчиком на ферме устроили. Второй помер. Почка у него заблудилась. Резали его врачи, резали... Все почку искали.

— Не нашли? — спросила женщина.

— Так и не нашли, — ответил Федот.

— Это все невренность, — сказала женщина.

— А то что ж, — согласился Федот. — Только на неврах и живем.

— У нас тоже у одного жена была дальняя, из лесной стороны. Реки сроду не видела. Нонешней весной во время ледохода под ней берег просел. Она у воды была. Вытащили ее из воды честь честью. Но она померла через неделю. На нее повлияло.

— Через невры и жизни лишаются, — вздохнул Федот и, помолчав, добавил: — Внизу моет вода, а берег кусками хлыщит.

— А может, это от холоду? — спросила женщина.

— И холод действует на берега, и ветер, — философски заметил Федот. — Природа, одним словом. Тут что от чего зависит — не враз определишь. Вот скажи, отчего такой холод в бабье лето приключился? Отродясь такого не бывало, чтоб в начале сентября иней на траву ложился.

— А в Москве теплее, чем здесь. Передавали, будто там ночью не было заморозка, — сказал я. — А ведь Москва севернее!

— Ой нет! — оживилась женщина. — Мне вчера дочь написала из Москвы — по утрам у них тоже сурьезность.

— Борь, а Борь! — раздалось с пристани. — Купи мне одеколону в долг! Я же совсем позабыл — на катере придет Ваня Ромозанов. Он за пенсией поехал. Я возьму у него и тебе отдам.

— Ты чего пристал к человеку? Неужто он по твоей прихоти побежит в деревню за одеколоном? — сказал Федот.

— Дак я сам сбегая. Ты мне дай шестьдесят семь копеек, Борь?! А Ваня придет — я отдам тебе.

Он, как козел, в несколько прыжков поднялся на берег и, тяжело дыша, протянул руку.

Я дал ему рублевую бумажку. Он в момент сунул ее в карман.

— Я сейчас, мигом обернусь.

— А Степаниду встречать? — остановил его Федот. — Сейчас катер подойдет.

Степок в нерешительности остановился: бежать в деревню — жену опоздаешь встретить. Опасно! Оставаться здесь — рубль надо возвращать... Жаль!

— А сколько времени? — спросил он.

— Без десяти пять.

— Видишь, а в пять катер приходит, — сказал Федот.

— Ну, тогда я чайку еще выпью... Погреюсь. — Он снова спрыгнул с берега. — А Ваня Ромозанов придет — я верну тебе долг. Ты, Борь, не беспокойся.

— Вот совесть! — покачал головой Федот вслед Степку.

— А забоялся жену-то не встретить. Видать, строгая,— сказала женщина.

— Она бьет его. Намедни он у нее выручку стащил да пропил. Они с матерью ему всю голову разбили. Недели две, как турок, в чалме ходил.

— А он что, глупый, не пожалился? За такое и под статью угодить можно.

— Они сами на него же все и свалили. Сами дерут, сами же и орут... Я прибежал той ночью — он валяется на полу, а Степанида в сенях кричит: «Помогите! Задавил совсем, разбойник!» Я свет включил — у него из головы-то кровь розовыми пузырями. Прямо пеной пенится.

— А може, это мозговое окружение? Сукровь то есть.

— «Чем они тебя?» — спрашиваю. А он: «Рашпилем», — говорит. И рашпиль тут же у порога валяется. Здоровенный, как валец. А старуха на печи лежит и тоже орет: «Развода требую, развода!»

— Господи! Страсти-то, страсти какие... — торопливо приговаривает женщина. — А милицию вызывали?

— Приходил Кулек... Это прозвище нашего милиционера, — обернулся ко мне Федот. — Ну что он? «Протокол на вас каждый раз составлять — бумаги не хватит», — говорит. Но штраф у него взял пять рублей и квиток выдал. Потому как ночной скандал. Нарушение правил тишины. Теперь они днем дерутся.

— Что ж он не уйдет от них? Эдак уж тоже не житье.

— Куда уйти? Кому он нужен? Милиция и та от него отступилась.

— Ну да, безвыходное положение. Тунеяд, одним словом.

— А кто этот Ваня Ромозанов? Родственником Звонарю доводится, что ли? — спросил я.

— Ромозанов-то? Первым председателем был. Всю власть на себе держал в восемнадцатом годе. Матрос — на боку маузер и лента пулеметная поперек живота. Он на острове мужика кутуковского убил.

— За что?

— За луга. На том острове у нас с кутуковскими прямо сражения происходили.

— Но ведь Лещинное от вас километров за семь, не меньше, — сказал я.

— Ну так что? Поначалу мы тот остров захватили. Ваня Ромозанов сказал: «Теперь вся власть наша! Мы хозяева, сами и отмерим. Луга от Волчьего яра до самых лещинских осокорей — все теперь наши. И кто сунется на них — того за зебры и с Волчьего яра прямо в омут».

— И наши то же самое говорили, — сказала женщина. — Все на Лещинное зарились. — И, поглядев на меня, пояснила: — Там поместье Лещинина стяло. Дворы все каменные. А в доме зеркальные двери были... Разбили их на малые осколки и по избам растащили для поглядки.

— А на острове луга были, — ревниво перебил ее Федот. — Сено мелкое, как шерсть. Вот и бросились туда, на остров. Мы с одной стороны, а кутуковские — с другой. И пошла резня...

Неожиданно раздался низкий глухой рев сирены. Беленький приземистый катер выглянул из-за кривуна и, вытягивая по реке длинные косые волны, пошел к пристани. Мы спустились вниз.

Степок не выходил из каюты до самого подхода катера. Потом суетливо захлопотал возле Федота:

— Давай мне конец-то. Уж я прихвачу намертво. А ты сходни надежнее клади. Видишь, пассажиры с грузом.

Меня Степок теперь не замечал, все спиной ко мне поворачивался.

Первой с катера сошла сутулая морщинистая женщина в фуфайке и кирзовых сапогах. В руках она с трудом несла две корзины с помидорами.

— Стеша, Стеша, ну-к я помогу! — подлетел к ней Степок.

— Что ты как из Сибири бежамши? — устало и строго сказала Степанида. — Хоть бы людей постыдился, босяк!

— Да вроде бы солнушко проглянуло с обеда, — виновато ухмылялся Степок и вьюном вертелся вокруг хозяйки. — Давай, давай!

Одну корзину, кряхтя, взвалил на спину, вторую взял в руки.

— Что ж не продала помидоры-то? Ай не берут?

— Болгарских навезли... Не помидоры, а горох. Эдакие вот. — Степанида показала нам кончик пальца. — Но за полцены возьмут и такие. На язык нечего положить, но берут по дешевке. Подождем, говорят, пока и ты не пустишь свои по семьдесят копеек. Как болгарские. Уж нет! Меня политикой не возьмешь. Лучше с голоду сдохну, а не поддамся, чтоб за полцены. Ступай, Степа, ступай.

Федот тем временем помог сгрузиться семье — и мать, и дочь, и отец обвешаны были связками сушек и баранок с ног до головы. Мы сели с кутуковской женщиной, и катер отчалил.

— Стой, стой! — закричали с пристани и замахали руками. — Ромозанова-то куда повезли? — указывали на верхнюю палубу.

Там на белой скамеечке одиноко сидел старик в такой же выгоревшей, как на Федоте, фуфайке, в глубоком древнем картузе с лакированным козырьком и приветливо кивал головой.

Капитан катера выругался, сбавил газ и стал разворачиваться.

Высаживали Ромозанова прямо на глинистый берег. Сходней на катере не оказалось, но зато нашлась длинная широкая доска. Я сводил его по доске... Большие, черные от застарелой грязи, разбитые работой пальцы его мелко дрожали. Я держал его под мышки, и даже сквозь стеганку ощущалась жесткая сухость его тонких беспомощных рук.

— Как же это вы свою пристань проехали? — спросил я.

— Думал, окликнет кто... Ан никто не спохватился... Забыли, знать. А сам-то я плохо соображаю.

— Мешочек у меня там под скамейкой остался, — сказал он уже на берегу.

Я передал его тощий заплечный мешок в руки Федоту.

— Хоть бы кто из родственников встретил старика.

— Он один остался. В богадельню не хочет. Тридцать рублей пенсии получает. Чего ему не жить? Хлеб нам привозят раз в неделю, тепленький. Воздух бесплатный. Рыбы сколько хочешь — вон в воде плавает...

Федот говорил, улыбаясь, ласково помахивая капитану, и не поймешь — язвил он или в самом деле хвастался. А сверху, по краю обрывистого берега, шли Степок и Степанида, шли ровным мелким шагом, вытянув по-лошадиному шеи, тяжело опустив руки. На их спинах горбатились огромные черные кошелки, покрытые мешковиной.

Петька Барин

Как-то поздней осенью заехал я в Тиханово зайцев погонять по первой пороше. У Семена Семеновича Бородина, моего дальнего родственника, был отличный гонец костромской породы, а у Гладких, второго секретаря райкома, русская гончая, пегий кобель, рослый как

телок. Собаки давно спарились в работе и вдвоем куда хочешь выгоняли и зайца и лису.

Володя Гладких был моим приятелем, и я запросто зашел к нему в кабинет под вечер, чтобы договориться насчет завтрашней охоты. В приемной застал я директора совхоза «Мещерский», с которым был едва знаком. Мы поздоровались. Это был сухой, погибистый человек средних лет, с темным, сумрачным лицом и белыми залысинами, отчего выглядел каким-то болезненным.

— Что, очередь? — спросил я.

Он замешкался, потянул со стола к себе под мышку желтую кожаную папку и сказал уклончиво:

— У меня тут дело такое, что не к спеху... Так что давай проходи.— И как-то жалко улыбнулся.

— Я тоже вроде не тороплюсь.

— Нет, проходи ты,— настойчиво сказал директор.

Я прошел. В кабинете секретаря застал я какого-то тощего старого просителя в армейском зеленом пиджаке и в резиновых сапогах. Он держал в руках рыжую телячью шапку и упорно глядел на Гладких красными слезящимися глазками.

— Дак пенсию дадите мне, али как?

Гладких сидел за столом, скрестив руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, которое вызывает разве что затяжная зубная боль.

— Ну, милый мой! Я ж тебе десять раз говорил: не имею права. Не занимаюсь я начислением пенсий. На то райсобес имеется.

— Райсобес отказался.

— Я ж тебе пояснил почему... При тебе звонил туда. Говорят, что бумаг у тебя нет. Справок, которые подтверждают трудовой стаж. Понял?

— Дак бумаги Федька не дает.

— Не Федька, а Федор Иванович. А он говорит, что ты мало в колхозе работал.

— А колько позовут, столь и работал.

— Но откуда ж я знаю? Я-то не состоял в вашем колхозе.

— Ну да... Я вот состоял, а пенсию не дают.

— Тьфу ты, опять двадцать пять! — Володя громыхнул стулом.— Вот, поговори с ним.

Старик поглядел на меня, часто заморгал и зашмыгал носом.

— Бог с ними... Дадут — дадут, а не дадут — и не надо.— Он утер шапкой лицо и горестно вздохнул.

— Вы откуда будете? — спросил я его.

— Из Петуховки я... Самохвалов.

— Кто же поступил с вами несправедливо? На что вы жалуетесь?

— Мне не то обидно, что не работал, а то, что бумаг, говорит, нету.

— Так ведь только бумага подтверждает, что вы работали, а у него даже книжки колхозной нет,— повернулся ко мне Гладких.— Он, видишь, и в райтопе работал, и в лесничестве, и на кирпичном.

— Куда пошлют, там и работал. Получал колько дадут. Мало работал? Да я, брат родной, сидеть без работы не могу. На быке шкуры возил в войну. А мосты через Петравку развалились. Это как сказать? Телега без наклесток... Не телега — дроги. Шкуры с нее плывут... а я по реке их ловить. По брюхо в воде плавал. Бумаг, говорит, нету. Это не доказывает. У меня свидетели есть. Кто хочешь подпишет, что дядя Васька работал.

— Ну хорошо, пусть подпишут два человека. Понял? — пояснял Гладких.— Голошеин так сказал.

— Голошеин... Какой Голошеин? Федька, что ли? Да как он не хочет подписывать.

— Да что тебе дался Федька! — взорвался Гладких.— Пусть подпишут свидетели, которые знают, что ты работал.

— Ну да... Подпишут — подпишут, а не подпишут — и не надо. Мне больно то обидно, что бумаги, говорит, нет. Когда работать надо — бумаги не просят, ступай на работу, и все... а пенсию — дай бумагу. Охо-хо-хо...

Он натянул глубоко, по самым брови, шапку, расправил уши и пошел.

— Наконец-то,— с облегчением сказал Гладких и, дождавшись, пока тот вышел, спросил: — Как думаешь, бестолочь или придуривается? Если придуривается, то неплохо играет.

— Небось есть захочешь — заиграешь.

— Нет, ты чудной! Что у нас тут, богадельня, что ли? Кто ему велел бегать с места на место? Порастерял все... А теперь и штанов не соберет.

Володя был еще молодым человеком — чуть за тридцать перевалило,— судил обо всем строго. Я только вздохнул, как давешний проситель...

— Тебя там директор ждет, из «Мещерского» совхоза,— перевел я разговор.

Он вдруг рассмеялся с каким-то предвкушением потехи и даже руками потер.

— Пусть посидит.

— Да неудобно. Может, позвать?

— Он не войдет... При тебе ни за что не войдет.

— Что у вас за секрет?

Володя достал из ящика письменного стола склотую булавкой машинописную рукопись и кинул передо мной на стол:

— Читай.

Я прочитал заглавие: «Письмо директору совхоза «Мещерский» Петру Емельяновичу Пронину»...

— Личное письмо? — спросил я, отодвигая рукопись.

— Да ну, личное! Вроде вызова послал директору, как раньше на дуэль вызывали. Самым честным поступком вашим, говорит, было бы сейчас же написать заявление об уходе. Не ваше это дело — быть директором.— Володя рассмеялся.— А, каково выдал?

— Кто этот судья?

— Да есть у нас один строптивый... Рабочий совхоза... тракторист.

— Простой рабочий?

— Ну, не совсем простой. Наш изобретатель Ступин. Слышал?

— Это что в газетах пишет?

— Он. Съездил бы к нему. Интересный мужик...

— А что у него с директором?

— Как тебе сказать... Тут нашла коса на камень. Шерстит он директора и на собрании и в печати. А тот прижал Ступина на горячем. Приказал за пережог дизельного топлива удерживать со ступинского звена. Ну и высчитали по тонне с каждого. Ступин ему письмо: за что? Что у нас, трактора неисправны? Топливо течет? Или на свои нужды гоняем трактора? По чьей вине пережог? Да по вашей. Летом солому возим на санях, а зимой на телегах. Возле фермы непроходимые болота — за уши трактора таскаем... Мы и так мало зарабатываем по вашей милости, а вы с нас за пережог еще берете? Ну и пошла

писать губерния... Другой бы получил такое письмо — в сейф его запрятал... А этот в райком прислал: примите меры, говорит. Подрывают мой руководящий авторитет.

— Кто же из них виноват?

— Виноват тот, кто поставил бывшего коновала директором совхоза,— с обычной своей резкостью заметил Володя.— Был плохой ветеринар в районной ветлечебнице. Куда его девать? А пошлем-ка зоотехником в совхоз. Там единица... Послали... Проходит года два, умирает директор. Кого на место директора? А там же есть зоотехник... в заместителях ходит. Вот и пускай старается. Он с дипломом. Совхоз-то животноводческий. Ему и карты в руки... Да что там говорить...— Гладких поглядел на письмо, полистал страницы.— И ведь вот хитрец этот Ступин. Чует слабую струну и сечет прямо под самый корень. Вот послушай, что пишет: «Личное командование без совета и знания дела в наше время выглядит как уродливое шарлатанство и обыкновенная наглость...».— Гладких поглядел на меня с вызовом: — Каково? — Стал пояснять: — Этот машину конструировал по разбрасыванию удобрений. А директор запретил: «Нам не нужна такая машина!» А Ступин ему: «Кому это нам? Инженеру и агроному нужна. Мне, механизатору, тоже. Кому же нам? Очевидно, следует понимать — мне, директору. Вот это и есть, говорит, voluntаризм». Ха-ха-ха! Так и написал... вот смотри.— Он ткнул пальцем в строчку и прочел: — «Voluntаризм»!

— Ну и что ж ты скажешь директору?

— Что ему скажешь?.. Хочешь послушать? — Он озорно повел глазами и занес палец над кнопкой на торце стола.— Сейчас позову.

Я вспомнил, как директор при моем появлении поспешно взял со стола желтую папку (видно, там был второй экземпляр этого письма), с какой готовностью уступил мне очередь в кабинет, как услужливо кланялся, улыбался виновато: проходи, мол, ради бога... только не со мной... И не мог пересилить себя.

— Неловко,— ответил я.— Лучше съезжу к Ступину.

— Ну как знаешь.

* * *

Поездка моя в совхоз «Мещерский» случилась неожиданно скоро. На другой день с утра поднялась такая метель, что не видать было домов на том порядке улицы. За двое суток немислимой крутоверти намело-насугрбило столько снегу, что мой Семен Семенович забастовал:

— Куда в такую непогодь на охоту? В снегу вымокнешь по самую ширинку.

У Гладких открылся какой-то семинар, и ему не до охоты. Я было загрустил совсем.

— Ты, кажется, к Ступину хотел съездить? — спросил меня Гладких.— У нас подвода туда идет. Секретарь застрял в лесничестве. Поезжай.

И я поехал. Совхоз «Мещерский» лежит в лесной полосе, километров за двадцать от Тиханова. Туда и в обычную пору проехать было нелегко, а уж в распутье да в зимние заносы на автомобиле и не суйся.

Не доезжая до Еремеева, мы встретили странную подводу. Гусеничный трактор тянул грубо сколоченные сани, на которых стояли две железные бочки, валялись толстые оцинкованные тросы, лопаты и в самом задке прижались две бабы, закутанные в клетчатые шали, да мужик в тулупе.

— Куда они снарядились? — спросил я своего возницу.
 — В Пугасово за горючкой.
 — За пятьдесят верст на тракторе? — удивился я.
 — А на чем же еще? Грузовики не ходят: то ростепель, то заносы. Лошадей нет.
 — Но они же и за сутки не обернутся?!
 — По два дня ездят. С ночевой.
 — Какой смысл гонять трактора в такую даль?
 — Нужда... Горючка необходима для тракторов.
 — Они что, снег пашут?
 — За кормами ходят.
 — Куда?
 — На луга... километров за сорок. Как только путь установится, по пороше то есть.
 — Батюшки мои!

Возницу нисколько не трогало мое удивление. Он дергал вожжами, похлопывал шубными рукавицами, покрикивал на лошадь и как бы между делом пояснял мне, зачем нужна горючка к тракторам в такую пору, пояснял обстоятельно, терпеливо, как это делают неразумным детям.

— Поскольку совхоз откормочный, без сена никак нельзя.
 — А трактора вразнос пускать можно?
 — На то они и есть трактора. Не на себе ж таскать сено-то.
 — Трактора в пять раз дороже сена!
 — Мало ли что. В ином деле себя не бережешь. А то трактора.—
 Мой возница был неуязвим, сидел бочком, вполоборота, и смотрел куда-то в сторону.

Эта странная отрешенность, уклонение от существа дела озадачили меня и в разговоре с директором Прониным. Он также глядел куда-то в сторону, морщил лоб и сводил брови с тем выражением, которое передается вопросом: «Что вы, собственно, от меня хотите?»

— Как же это в лесной глухомани, вдали от лугов создали откормочный совхоз? — спрашивал я директора.
 — Очень просто. Был колхоз, перевели его в совхоз.
 — Зачем же?
 — Потому что слабый был колхоз... нерентабельный.
 — А совхоз крепкий?
 — И совхоз слабый.
 — Чего же добились? Неужели вы считаете разумным гонять трактора в эдакую даль за сеном?
 — А ближе нет его, сена-то.

Логическая фигура замыкалась, и выйти из этого заколдованного круга не было никакой возможности.

Мы сидели в бухгалтерии. На столе у бухгалтера лежал список. Трактористы и возчики, одетые в полушубки, ватные брюки, входили по очереди, расписывались, потом шумно дули на руки — с мороза пришли — и получали по три рубля на ночевку, «для сугреву».

— На сколько же хватает горючки, привезенной из Пугасова? — спросил я директора.
 — На один рейс.
 — А потом?
 — Все повторяем... Те идут за сеном, этот в Пугасово.
 — Весело живете. А Ступин ездит за сеном?
 — Сейчас нет... — ответил директор, помолчав.
 — Почему?
 Директор провел ладонью по лбу и поморщился:
 — Он свою долю перевез летом.

Я вышел на улицу, отпустил возницу в лесничество, а сам пошел искать Ступина. Возле колодца с журавлем я спросил старуху:

— Скажите, где Ступин живет?

— Какой Ступин? У нас, в Еремееве, полсела Ступиных.

— Который машины изобретает... Петр Александрович.

— А-а, Петька Барин! Ступай в конец села. Там стоит на отшибе новый дом под зеленой крышей. Увидишь. А нет — спросишь, где, мол, Барин живет.

Я сразу угадал дом Петьки Барина — он стоял на высоком берегу Петравки, в окружении старых лип и заломанной чахлой сирени, чуть вынесенный из общего порядка улицы. Дом большой, обшитый свежим тесом, на замшелом фундаменте из дикого камня. И крыша зеленая, и вертлюги на крыше.

Хозяин встретил меня на улице: он обносил забором эти раскояченные липы, да выщербленную сирень, да кое-где уцелевшие изуродованные яблони — жалкие остатки большого сада. Хозяин был видный мужчина, широкоплечий, рослый, с лицом народного артиста, полным собственного достоинства. На нем была черная стеганка, обнажившая его мощную, кирпичного цвета шею, высокие, за колено, валенки и серая армейская шапка. Мы поздоровались. Я назвал себя, сказал, что приехал из газеты, что наслышан о нем и хотел бы написать... Словом, обычное пристаивание газетчика, когда хочешь понаравиться человеку и выудить из него нужный «материал». Ступин вел себя не то чтобы просто, а величаво: протянул свою необъятную железную ладонь, чуть прикрыл большие сонные глаза и представился:

— Петр Александрович.

— Давно здесь поселились?

Он вскинул веки, повел крючковатым носом, как пробудившийся орел, и застыл в ожидании. Чего ради я спросил? — было написано на его крупном суровом лице.

— Поместье старое, а дом новый, — сказал я, кивая на черные липы.

Он поджал губы и насупил, видимо уловил намек на его прозвище — Барин.

— Здесь жили братья Потаповы, мельницу на Петравке держали. Вон там. Видите, железо торчит из камня? Была плотина. А под берегом... вон, где лозняк, питомник держали. Фруктовые деревья разводили... Торговали.

— А где же они?

— Сослали в тридцатом году.

Он пошел к изгороди, неторопливо сложил в деревянный ящик свой нехитрый инструмент и сказал коротко:

— Проходите в избу.

В доме нас встретила хозяйка, удивительно похожая на самого Ступина, такая же степенная, рослая, с большим и строгим лицом.

— Проходите в залу, — сказала она.

В чистом и светлом доме было четыре комнаты, отгороженные дощатыми перегородками. В дверных проемах висели шторы из красного бархата, в комнаты вели широкие ковровые дорожки. Мы разделись и прошли в просторную залу. Петр Александрович сел за свой письменный двухтумбовый стол, а меня усадил на широкую тахту под узбекским ковром. За стенкой гомонили, потревоженные моим приходом, дети, мальчик и девочка, лет по десять—двенадцать. Они сидели за столом, готовили уроки.

— Внуки? — спросил я, кивая на ту комнату.

— Дети, — ответил Петр Александрович.

Я с удивлением посмотрел на его седую голову:

- Сколько же вам лет?
- Сорок четыре.
- А я думал...— Я запнулся.
- Что я старше? — сказал Петр Александрович и улыбнулся.— Не стесняйтесь. Мне многие дают больше моих лет. Я еще в армии поседел... на сверхсрочной.
- И давно ушли из армии?
- На тридцатом году.
- И все здесь, в совхозе?
- Сперва в колхозе, а потом совхозом объявили нас.
- Чай, дорого стала вам постройка? — спросил я, оглядывая высокие потолки и чистого оструга сосновые стены.
- Нет... Я ведь все своими руками сделал.
- Как? И отопление?! — Я указал на крашенные радиаторы, висевшие под окнами.
- И отопление. И разводку и опрессовку — все сам делал.
- А котел?
- Котла нет. Змеевик сварил. Он в печке опрессован. Вон хозяйка обед варит, и система работает.
- На чертежной доске, лежавшей поверх книжного шкафа, был наколот большой лист ватмана с чертежным наброском.
- Это что за конструкция? — спросил я Ступина, указывая на ватман.
- Это пока в карандаше... Наброски,— нехотя ответил он.
- А что набрасываете? Простите, может быть, секрет?
- Да ну. Какие у нас секреты! Хочу машину сделать для разливки аммиачной воды. Заводские машины очень неудобны. Пока на ней поработаешь, сам весь провоняешь. Громоздкие и для здоровья вредные.
- А что ваш разбрасыватель удобрения? Тот, против которого директор возражал?
- Вы, должно быть, письмо мое читали? На имя директора?
- Мне стало так неловко под его пристальным взглядом, будто я запустил руку в чужой карман.
- Да как вам сказать... Специально не читал. Но мне суть пересказали.
- Там никаких секретов нет,— ободрил он меня.— А с разбрасывателем все в порядке.
- Он достал из ящика письменного стола информационный листок с синим клише научно-исследовательского института технической информации:
- Вот, институт рекомендует его в серийное производство. И авторское свидетельство выдали.
- Я развернул информационный листок: на развороте был снимок трактора с навешанным на раме огромным ковшом разбрасывателя. А внизу два чертежа — тот же ковш в разрезе.
- А скажите, в чем разница между вашей машиной и известными заводскими образцами?
- Заводские разбрасыватели надо загружать либо экскаватором, либо вручную. А мой сам черпает удобрения. И производительность у моего вдвое выше.
- Где ж вы научились всем этим премудростям?
- Да какое у меня учение? Так, приблизительно. У отца в кузнице баловался.
- Хозяйка принесла нам квашеную капусту, длинно и мелко порезанную, с изюмом, соленые помидоры и грибы.
- Вы что любите выпить? Покрепче или винца?

— Как вы желаете.

— Тогда вот этой помаленьку.— Он достал граненый графин со светлой жидкостью, налил в стопки.

Мы выпили. Водка не водка и спиртом не назовешь. Крепкая, и пахнет приятно, и чуть сладимая.

— Что это? — спросил я.

— Кальвадос,— сказал он, довольно ухмыляясь.— По-нашему сказать — яблочная водка. В книжке прочел про это и вот — сообразил.

— А вдруг аппарат у вас заметят? Не боитесь?

— Мой аппарат — вон кастрюля с тарелкой да еще конфорка от самовара.

После выпивки он оживился, поглядывал веселей:

— А что? Поди, директор жаловался на меня? От рук, мол, отбил-ся. Так приблизительно?

— Говорит, что вы отказались сено возить.

— А я свою долю перевез.

— Когда?

— Летом, на тележках. Мы звеном работаем, вчетвером. За нами и луга закреплены. Скосили, сгребли. Езжайте, мол, парь! парить. Ребята, говорю своим, пристегивай телеги! Ну, пристегнули... Весь свой пай навили да на скотные дворы отвезли попутно. За два рейса. А зимой гонять трактора отказался. Дураков, говорю, нет.

— А почему же другие так не сделали?

— Другие? А кто это другие? Работают скопом, кого куда пошлют. Они и тележки поломали да порастеряли. А кто заботится? Кому надо? Директора вы знаете. Он заботится только о собственной персоне, кабы его не обидели. Заведующий ремонтными мастерскими? Есть такой пост. А человек на посту, как чурка на мосту. Полдня может провалиться на полу в цехе, пока его кто-нибудь ногой не зацепит, не споткнется. Вот о ком написать надо. Хотите, расскажу?

Мы выпили еще по стопочке.

— У нас эти журналисты бегают по людям, передовиков ищут. Подойдет к тебе — расскажи, как жнешь, как пашешь. Метод ему открой... Так, приблизительно, а он передаст. Кому, зачем? Да разве по газете мастерству научишься? Ты вон гляди — одни пашут, а другие руками машут. Вот о чем писать надо. Так вот, есть у нас Сенька Горюнов, заведующий мастерскими. Когда-то мы вместе с ним начинали в эмтэесе. Еще на комбайнах «С-шесть» работали. Заснет, бывало, возле комбайна, подгоняй трактор, цепляй комбайн, гони куда хочешь — не проснется. Каждый день либо пьяный, либо с похмелья. А объяви любую кампанию — он тут как тут, передом лезет, хоть на четвереньках, но впереди. На трибуну не пустят — с места кричит. Мы, говорит, за все отвечаем, потому как на переднем краю стоим. Всем он в зубах навяз, как горькая редька. А тут из совхоза «Память Ильича» просят: дайте заведующего в мастерские. Побоевей кого. Ну, кто даст хорошего работника? Возьми, боже, что нам не гоже. Вот и дали Сеньку на память... Смеялись еще. А он и там не пропал. Смотрю, через десять лет к нам в совхоз переводят. Заведующим. И пошел шуровать. Тут кампания развернулась — металлолом сдавали. Так он все дворы очистил. Ему благодарность вынесли, в приказе. И только потом узнали, что он под шумок вместе с ломом отправил исправную коробку передач, дизельный двигатель, бетономешалку и риджерный снегопах... единственный в совхозе. И других же обвинил: не на месте лежал, говорит, бесхозяйственность! Поглядишь на него — рожа не мыта, не чесана, глаза блестят, как надраенные медные пуговицы... И что удивительно: так на ногах не стоит, языком не ворочает, а за

баранку сядет — куда хочешь уедет. Я, говорит, трезвею за рулем. Знаний никаких. Но апломба!.. Например, может глядеть вам в глаза и нагло доказывать, что балансиры кареток «ДТ — семьдесят пять» чугунные, а не стальные. А то начнет всасывающие окна искать на выхлопном коллекторе... Теперь вы меня спросите: а почему же, за что его держат? А я вам отвечу — запчасти умеет доставать. О! Тут десятерых отставь, а его приставь. Он знает, где взять и кому дать. Тому стакан, этому бутылку, а иному и бабину сунет. Потом спит... в металлोलом. Да что там говорить! И ведь понимают, что он за работник. Не все, конечно. Директор, к примеру, собой занят. А главный инженер у нас толковый. «Иван Тихонович, говорю, сколько ж мы Сеньку Горюнова терпеть будем?» — «А что, говорит, делать? Знаю, что хлюст, да запчасти доставать умеет. Кого поставишь вместо него? Нечего. А совхоз без запчастей — что телега без колес, с места не стронешься».

Ступин говорил без гнева, не повышая голоса и не подсмеиваясь, с той покойной ровностью, похожей на деловую обстоятельность, с которой он только что пояснял мне выгоды своей машины. И руки держал покойно, на коленях — широкие, обветренные запястья, узловатые пальцы в сбоях и темных отметинах металла.

— И вот что замечательно: на работе он шалопай, а домой к нему заглянешь — полный порядок. И постройка хорошая, и скотина накормлена. Значит, может работать, да не хочет. И он ведь не один такой залетный. Вон возьми управляющего вторым отделением, Федора Шмыгаткина. Технику от агротехники, как говорится, отличить не может. Помню, еще в эмтээсе тянули его, тянули... активист! А он выше заправщика тракторов, да и то на конной повозке, так и не поднялся. И на шофера посылали учиться и на комбайнера — не вытянул. Над ним смеялись: «Федька, шкворень от какого трактора?» — «От колесного». — «Дурак, от четырехногого». Так Шкворнем и прозвали его. Эмтээс ликвидировали, а его куда? Ведь штатная единица! Послали в колхоз бригадиром. Пошел. Отчего не идти? Оклад выше прежнего, и горючее возить не надо. Ходи по избам, агитируй насчет работы. Это он умеет. И теперь на одной агитации держится. Зато дома у него и свиньи, и овцы, и утки, и канки... И одной лихоманки только нет. И дрова ему пилят, и баню топят, и зерно везут. Оплата? По нарядам из совхозной кассы.

— Но, простите... Есть же, наверное, и толковые работники?

— Отчего же нет? Есть, конечно. Тот же главный инженер... Энтот шкворень с шатуном не перепутает. И агроном толковый. Но тут есть один вопрос-закорюка... Насчет техники да агротехники мы сообразили, что без науки нельзя к ним подходить. А насчет людей? А?! Тут у нас не наука впереди, а штатное расписание. Я извиняюсь, конечно, это не везде, а только у нас в совхозе. Вот почему мы и гоняем трактора по сугробам.

У дверной занавески неслышно выросла хозяйка:

— Петр Александрович, яишенка поспела.

— Очень приятно, — ласково отозвался хозяин. — Ставь ее на стол. Извините, закуска у нас простая. (Это ко мне.) Вы чай любите или кофей?

— Как вам лучше.

— Леля, свари кофей. Мы тут балуемся кофейком.

За яичницей да за «кофеем» Петр Александрович повел разговор о науке, и я с удивлением заметил, как он все более оживлялся, глаза его заблестели, руки беспокойно заметались по столу и все туманнее, велеречивее становилась его речь, хотя мы ни капли больше не выпили спиртного и были совершенно трезвыми.

— Что вы думаете насчет интеллектуальной перегрузки, о которой была статья Владилена Золотухина?

— Я, знаете, не помню такой статьи.

— Ну как же? Это писатель известный. Говорит, что много появилось различных предположений, гипотез, теорий и так далее. А системы не хватает, то есть противоречия и непоследовательность налицо.

Я еще не уловил, куда он клонит, и спросил:

— Что же вы предлагаете?

— Я предлагаю не загромождать все эти теории разными формулами, эдак немножечко упростить, сделать понятными для широкой народной массы и выпустить в виде популярной увлекательной серии научных брошюр наподобие Перельмана. Чтобы весь народ мог участвовать в объяснении и открытии новых гипотез. Кто знает, может быть, наиболее пытливым ум окажется не там, где его ждут, а в другом месте. Может быть, тот, кто не отвлечен рождением пар частиц и античастиц, кто вооружен только основами познания, то есть закономерностями развития, окажется ближе к истине необъяснимых гипотез.

Вон ты куда метишь, братец мой, подумал я. Ну что ж, знакомая замашка, знакомая. Видимо, уж так устроен русский человек, что мало ему кузнечного звона на все Еремеево, надо еще и науку по-нашенски причисать, по-еремеевски. Один писатель заметил, глядя на русского мужика, что Петр Первый был натурой типично русской, потому что, если надо, не прочь был себя поломать. Но Петр Первый и лики все стриг под одну гребенку. Сбрей бороду! Я ж не ношу бороды. Одевайся по-моему, молись по-моему, думай, как я. Буде ж у кого различие приключится, бить оногo кнутом до бесчувствия. Увы, и эта черта единообразности и единомыслия не чужда русскому мужику.

— А с чем же вы не согласны? Вернее, с кем?

— Да как вам сказать... Великий Эйнштейн был прав, конечно, что все в мире относительно. Хотя надо признаться— есть и абсолютное. Допустим, что свет обогнать нельзя, что скорость света не зависит от его источника... Это все возможно. Но объяснять тяготение, то есть гравитацию, искривлением пространства— это уж извините.

— А что, не допускаете?

— Никогда! Ну сами посудите, искривиться может что-то материальное. А пространство есть пустота, ничтожность то есть. Как же пустота может искривиться? Чепуха. Гравитация, видимо, имеет волновую природу. То есть все частицы Вселенной имеют стабильный и мощный ритм колебаний. Всякое удаление частиц друг от друга вызывает нарушение ритма, чему частицы сопротивляются. Например, как сопротивляется гироскоп попытке вывести его из плоскости вращения. Вот это объяснение понятно всем, а главное, имеет основу, почерпнутую прямо из материализма. И таким ходом можно объяснить многие загадки Вселенной.

Я просидел до позднего вечера у Ступина. Хозяин мне и погреб показал, и гараж с мотоциклом «Урал», и сад молодой фруктовый, посаженный им на склоне горы. А вот с хозяйкой так и не познакомил. Она появлялась всегда в нужную минуту, ставила что-нибудь на стол и исчезала совершенно, словно растворялась. И детей я больше не слышал и не видел.

— Петр Александрович, какие у вас дети тихие,— говорю.— Не стукнут, не грохнут.

— Обувь у нас снимают на веранде,— отвечивал он.— Домой входят только в тапочках. Подошвы валяные, оттого и стучу нет.

— Ну, дети есть дети. Играют, возятся...

— А для игрищ улица существует,— строго заметил Петр Александрович.

Когда я с ним прощался, он достал из письменного стола машинописную рукопись в четверть авторского листа и подал мне, слегка смущаясь:

— Может, у вас в газете напечатают... Тут мои главные мысли насчет учености... То есть чтобы наука не перегружала кругозора и не отводила в сторону.

Про свои машины он и не заикнулся и про совхозные порядки тоже — не это главное.



ГЕВОРТ ЭМИН

★

ПЕРО И МОТЫГА

С армянского

..*

Друг, протяни мне руку,
Мою — бери:
Это моя рука,
А я — Наири¹...
Веками оружия не признавала она,
Знала только мотыгу
И письмена.
Это — рука, что впервые на этой земле
Дикий камень тесала суровым днем
И, скорлупу легенд расщепив, на скале
Клинопись высекала о рождение моем.

Пальцы мои, разлучив с ладонью,
Враги отсекли,
Но рука моя,
Несмотря на увечье и кровь,
Тесала, писала
Во славу родной земли,
Пути торила,
Чудо творила
Вновь и вновь.

...Вы видели сны,
Которым не сбыться вовек?
Несбывшихся снов
Знакома ли вам тоска?
Но мог ли не сбыться он,
Светлый мой сон,
Когда его видел целый народ —
Не один человек,
И не одну лишь ночь, а века?
...В явь воплотилась злу вопреки
Мечта, затопленная в крови...
Вновь вместе

¹ На и р и — название древней Армении.

Пять пальцев моей руки,
 Как братья,—
 В ненависти и любви.

Это — моя рука,
 А я — Наиря,
 Захочу — раскрою ладонь:
 Смотри,
 Как снова перо и мотыгу беру...
 А если кто вынудит, не по добру
 Заставит,
 Все пальцы
 Сожму в железный кулак —
 Вот так! —
 Если вздумает кто-нибудь силой
 Меня от земли отлучить,
 От языка отучить...

..*

Стихи в грядущем подадут вам весть
 О том, что я когда-то жил на свете.
 Быть может, в том бессмертие и есть?
 Но это — половинное бессмертье!

А мне о вас расскажет ли хоть кто-то,
 Читатели моих грядущих лет,
 Грядущие друзья с других планет,
 Грядущие печаль, борьба, работа,

Грядущая любовь в грядущем дне,
 Грядущие неведомые люди,
 Грядущий мир, где уж меня не будет,—
 О, кто же, кто о вас расскажет мне?..

..*

Знак вопросительный...
 Жалкий,
 Согбенный,—
 Что же ты сгорбился так?
 Кто бы подумал,
 Что ты — тот надменный,
 Тот восклицательный знак,
 Что искривился, согнулся,
 Состарясь,—
 Только ль от лет?
 Иль от бед
 Трудного века
 Возваний, и здравец,
 И похорон, и побед?..
 Но у него и вопросов немало —
 У века утрат и атак...
 ...Знак вопросительный —
 Мудрый, усталый,
 Спрашивающий знак...

* * *

— В чем жизни смысл?..
 — Конечно, в ней самой:
 Чтоб цвел цветок,
 Чтоб падал снег зимой,
 Чтобы звезда горела неизменно,
 Чтоб ночь и день
 Друг другу шли на смену,
 То распускались,
 То слетали б листья...

И всё — без выгоды,
 Всё — без корысти...

Чтоб дерево, скалу пробив корнями,
 Огнем зеленым взмыло над камнями,
 Плоды прохожим под ноги кидало
 И тень дарило путникам усталым;
 Чтоб листик каждый,
 Даже самый жалкий,
 Вдруг напоследок
 Вспыхнул искрой жаркой..
 И не беда, что дерево погасло:
 Оно и обнаженное прекрасно.
 Пусть ветер пепел над землей развеет...
 О, только бы отдать
 Все, что имеет,
 Быть людям, камню
 И воде полезным...

Всё — без свидетелей,
 Всё — безвозмездно...

Чтоб снег растаял,
 Ручейком потек,
 Потом понесся б взбалмошный поток
 И обернулся быстринной реки,
 А та поила б корни и ростки,
 И старой мельнице шептала сказки,
 И, перед тем как рухнуть вниз, на скалы,
 Вдруг чудом, пеной, радугою стала
 И засверкали бы такие краски,
 Что дрогнули бы живописцев кисти!..
 И всё — без выгоды,
 Всё — без корысти
 И без бессмысленнейшего вопроса —
 О смысле жизни...

ЯБЛОКО

Пойми мое состояние!
 Чего только я не делал,
 Чтоб это заветное яблоко,
 Единственное мое яблоко,
 Румянилось бы и спело,
 Соком бы наливалось,
 Копило бы солнца жар

И человеку досталось
Как драгоценный дар...

Вот наконец сбываются
Надежды мои и чаяния:
Стало тяжелым и красным
Яблоко... Но когда
Решил я его разрезать,
Я окаменел от отчаянья:
Единственное мое яблоко
Червивым было, оказывается,
И покраснело, оказывается,
Пропусту от стыда.

А второго такого яблока
Не было в нашем саду...

Теперь ты, друг, понимаешь
Мою беду?

.

О труд поэта!.. Взлеты и крушенья..
Чего не испытаеть на веку,
Чтобы ценой страданий
И лишений
В мученьях породить одну строку.

И вздрогнуть через день,
Как от удара,
Поняв: ничто не ново под луной..
Открыть?.. Было, было в книге старой
Когда-то — незапамятной порой —
Во времена Нерона... И — исчезло
В пыли каких-то дел,
Каких-то книг.
Тобой открытый образ?
Он в безвестной
Старинной книге
Промелькнул на миг.
Увы, все было, было в мире этом —
Отенок краски,
Рифмы беглый звук...
О непосильно тяжкий труд поэта,
Призвание, исполненное мук!..

Перевела ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.



АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ

★

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО*

Повесть

В же стемнело. Электрические лампочки едва пробивали перенасыщенный влагой воздух, высвечивая железные ворота фабрики.

— В цех успеем еще. Пойдем сначала в мастерскую, — предложил Мокей Коломеев. — Посидим там, потолкуем. Я тебе бумажки покажу. Без бумажек, голубь мой, нигде не обойтись. Да ты не пугайся, сложного ничего нет. Как сказал Владимир Ильич, главное — это учет. Сколько кто выработал за смену, ты это вот сюда, на карандашик, в сводочку. Как смена, так сводочка, чтоб все чин чином. А к концу каждого месяца — наряд. Принес в бухгалтерию — вот вам, пожалуйста, на стол бах! Платите денежки, люди месяц работали. Тут механика простая: что заработал — человеку отдай. Сам получал зарплату, знаешь: даром деньги у нас никому не дают. Ну, бывает и такое, но не об этом сейчас речь. Ты на счетах считать умеешь?

— Когда-то щелкал.

— Если щелкал, то вспомнишь, не высшая математика. День потренируешься и будешь с закрытыми глазами косточки плюсовать и минусовать. Теперь вон молодые на этих... на линейках считают, раз, два — и готово! Если голова соображает, займись. А на мой век и счетов хватит.

Перед дверью мастерской, крохотной пристройки к фабричному корпусу, Мокей Коломеев придержал Парфена за локоток, точно собираясь поделиться секретом:

— Дело не в счетах да линейках, Тимофеич. Грамоте можно и медведя обучить, если постараться. А дело-то вот какое... Дело тут другого рода. Это поважнее бумажек. Бумажки эти что? И Тихон их составляет, а толку-то? А ты — другая категория. Ты рабочему, если хочешь знать, как мать родная. Дитя заплакало, она тут же к нему — отчего оно заплакало, может, у него пеленка подмокла, может, оно раскрылось или еще что. Это я по себе сужу. Начальникам выше тебя и так забот полон рот. Большому начальнику — большие заботы. А коснись чего, они в первую очередь к тебе идут, с тебя спрашивают, а ты обязан с рабочего спросить. А рабочему с кого спрашивать? С тебя первого! С тебя, голубь мой! Больше ему не с кого, потому что ты к нему ближе всех стоишь. Вот тут и начинается: на тебя сверху и снизу давят, а ты устоять должен. Должен, голубь мой! Ты и рабочего не обидь, и перед вышестоящим начальством дураком не будь. Сложная это штука, Тимофеич. Ох сложная! Тут голова во какая нужна! Ну да ученого учить — только портить...

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

Пусто и оголенно было в мастерской. Одни стены да стол, залепанный чернилами. Когда-то он в фабкоме стоял, Парфен его заприметил. Там этот стол покрывали красной материей, свисавшей до пола, и не видно было, какой он старый. Да сюда какой ни поставь, через день таким же будет. Как посидят мастера смену...

— Чего разглядываешь? — спросил Мокей Коломеев. — Не то что в курилке? Отсюда уж никто тебя не погонит.

— А меня и оттуда никто не гонял. Меня, Иваныч, гонять не надо.

— Ишь ты, обиделся! Одна богадельня...

— Богадельня, может, и одна, да для меня вот тут, — Парфен стукнул кулаком по сердцу, — не одно и то ж.

— Ну, этот твой барометр, знаю, тебя не подводил. Об этом я не волнуюсь. Я за другое: сладишь с хлопцами? Друзья друзьями, а работа работой. Особенно гляди за этим делом. — Мокей Коломеев изобразил нечто относящееся к выпивке. — Кто сейчас не пьет? Один телеграфный столб. И то потому, что у него чашки сверху дном. Однако держи ухо востро. С первого дня поставь себя на высоту и не давай никакого спуску.

— Ладно, Иваныч, — пообещал Парфен таким тоном, как бы говоря: «Сами с усами!». — Лучше покажи свои бумажки.

— Чего их показывать? Смена кончится, сядем и освоим эту науку в один присест.

— Ты мне пока на словах расскажи.

— Я тебе по дороге уже все рассказал.

— Ну, все так все. А я уж думал, что тут ты мне программу на двадцать лет дашь.

— Еще чего захотел!

Мокей Коломеев всплеснуто засмеялся, обнажая беззубый рот. Снял с плиты чайник, достал из ящика стола граненый стакан.

— Общественный, — пояснил он.

Ополоснул стакан кипятком, налил в него слабо заваренного чая. Потом разложил на газете кусочки колбасы, по виду не то домашней, не то «краковской». Разъединил два сдавленных ломтя черного хлеба с влипшими в них яблочными карамельками. Один ломоть протянул Парфену:

— Угощайся.

— Спасибо, Иваныч, я дома поужинал. С собой ничего не взял, думаю, к двенадцати все равно вернусь.

— Бери, бери, не оправдывайся! Жуй колбасу, мне она не по зубам. Говорю Анисье: «Не клади ты мне ее: жевать нечем». А она: «В чае размочишь, как-нибудь пережуеть деснами, колбаса ведь...». Я и согласился, чтоб не обиделась. Были бы зубы, как у молодого, а то...

Парфен по-дружески посоветовал:

— Вставь, Иваныч, железные.

— Канители много.

— Тогда мясорубку с собой носи, — пошутил Парфен. — Вынул из кармана, к столу приладил, прокрутил сразу все — и в рот.

— Шутки шутками, а дома мне Анисья так и делает. Раза три как промелет — мягче манки, ешь — и во рту тает. Ну, собирай остатки...

Когда Парфен доел колбасу и запил кипятком с конфетами, Мокей Коломеев предложил сходить в цех.

Они прошли вдоль станков плечом к плечу, как в строю, заглянули в слесарню.

Здесь их встретил Иван Колчин.

— Рад видеть любимое начальство! — с наигранной приподнятостью проговорил он, но при этом посмотрел на одного Парфена.

— Можешь не радоваться,— в тон ему ответил Парфен.

— Это почему же?

— Твое любимое начальство — вот оно.— Парфен кивнул на Мокея Коломеева.— При тебе было, при тебе и останется.

— Жаль! А я работаю и думаю: как хорошо иметь начальником лучшего дружка!

— Считай, что тебе не повезло.

— Ты прав. Чему только меня в техникуме учат!

Парфен понял намек. Значит, не врал ребята, правду сказали. И главный инженер деликатно дал об этом понять. Как ни прикрывался Иван, а выскочило наружу. Вот когда, а выскочило!

Мокей Коломеев увел Парфена подальше от греха. Когда поравнялись с дверью курилки, упредил:

— Сюда, я думаю, заглядывать не будем.

А у Парфена было свое на уме.

— Может, я в самом деле у Ивана хлеб перехватил? — удрученно проговорил он.— Жил я восемнадцать лет слесарем и еще столько прожил бы. Что я терял?

— Это ты брось, голубь мой! — Старый мастер помрачнел.— Я свою жизнь, считай, прожил, надеяться мне не на что. Но одно скажу тебе: твои бы мне годы!

— Ну, спасибо, Иваныч, спасибо...

— Ладно, заспасибкал! Хватишь ты еще со своим характером горя. Ну-ну, уж и нос повесил. Это я так, чтобы не шибко ты раскисал, когда тебя ласкать начнут.

В половине двенадцатого кончилась смена. Парфен просидел в мастерской минут десять после смены. Мокей Коломеев поучил его, как заполнять сводку. Потом сам занялся подсчетами, а Парфену сказал:

— Не все сразу, голубь мой. Ты иди, не задерживай автобус.

— Ну, будь здоров, Иваныч! Живи, не кашляй!

Парфен выскочил за проходную и глазам своим не поверил: автобус ушел. Обычно если кто-нибудь и задерживался в цехе, все ожидали его, без него не отъезжали. Так было изо дня в день, из года в год. Это стало неписанным законом.

Парфен еще раз пригляделся к грязи: вот свежий след от колес... А дальше только тусклые в водянистой мороси фонари на столбах до железнодорожного переезда, темные углы, закоулки.

На улицу вышел Мокей Коломеев — закончил писанину. Подошел к Парфену, понял все без слов. Закурил.

— Идем ко мне, переночуешь,— ободряюще предложил он.— Идем, места хватит, хата большая.

— Нет, Иваныч... Двину-ка я пешком.

— Куда ты на ночь глядя? В темноте вопреешься в грязь, что не вылезешь.

— Не-е, не уговаривай, Иваныч. Я обещал сегодня вернуться. Переживать будут...

— Ну, гляди. Но я бы тебе не советовал.

Они дошли вместе до железнодорожного переезда. Здесь Мокей Коломеев еще раз попытался уговорить Парфена:

— А то останься, переночуешь...

Но он заспешил к линии.

Когда Парфен вышел из Синезерок и поднялся на горку, забрыз-

гал дождь. Побрызгал немного и перестал. Потом забрызгал снова, и уже сильнее. Вскоре он шарил всюду, невидимо обрушиваясь из низко нависшей темноты.

Часа за два Парфен добрался до калитки. Отжал под навесом полы новой «москвички» — промокла насквозь не только она, но места и пиджак подмок.

Свет в доме был погашен. Парфен постучал в окно, возле которого спала Устиновна. Она не одеваясь открыла зятю, поспешила назад под одеяло. Когда теща укрылась, Парфен включил свет, ночью всегда такой яркий.

— Ужин на столе под газетой, — сказала Устиновна из кровати. — Чай подогрей сам.

Когда полежала, спросила:

— Чей-то ты поздно так?

— Да так... Пехом вот...

А жена не вышла к мужу, только скрипнула кроватью. Услышала, что пришел он, а подняться не соизволила.

Парфен снял с тарелки газету, поковырял вилкой в остывшей картошке, больше двух картошин в рот не взял. Не стал греть и чай. Пристроил мокрую обувь и одежду к печке, настелил на лежанке разного тряпья, чтобы не намять на кирпичках бока, под голову положил телогрейку, выключил свет и лег — к жене спать не пошел. Не скоро он согрелся и уснул: узко на лежанке, ни повернуться на ней, ни лечь, как на кровати, того и гляди свалишься на пол.

Вот и отстажировал Парфен у Мокея Коломеева. Две смены отходил с ним как на веревке привязанный. Кончились «сладкие» денечки, запомнятся ему пятница и суббота. Этот негодяй Виталька Анашкин и каких-то пяти минут не ждал. Как все сели в автобус, кроме мастера, так он когти рвать от фабрики. А ты, Парфен, пешком иди. Радуйся, что дорога малость подналадилась, бог морозец послал. Не каша, но и не такое уж сухопутье. Лужи прихватило, да не до самого же дна их выморозило. И грязь никто не прировнял. Как смерзлась она комьями, так и спотыкайся по ней три часа среди ночи. Чуть не так ступил, тут и покалечиться недолго. А куда ступать — ни черта не видать, что есть глаза, что их нету. Похолодание похолоданием, а на небе ни звездочки. Как не было их, так ни одной и не прорезалось. Тучи хотя и поднялись выше, поредели, но что толку? И свалилось же на голову несчастье!

Разве скажешь жене и теще? Они и без его жалоб эти два дня косо смотрят. Дождаться бы понедельника да в первую смену выйти, с утра. С понедельника и Эмме в первую. Хоть в одном повезло: разойдутся кто на час раньше, кто на час позже, день не будут видеть друг друга.

И вот понедельник. Вот Парфен и мастер! Чтоб больше Тихоном на фабрике и не пахло!

В цех вошел тихонечко, украдкой, с расчетом неожиданно встать перед станочницами и, как бывало, шаловливо сказать: «Здравствуйте, бабоньки! Полюбите меня грязеньким, а чистеньким вы всегда полюбите!» — да не сказал, язык отпал. То же «бабское производство», те же стены, те же станки, тот же гул и та же пыльная синь над головами — ничего не изменилось за одну ночь, а вот оробела душа, дрогнула. Пойми, чего ей надобно.

А когда у Мокея Коломеева стажировался, за спиной у него по цеху ходил, как комиссар, вроде бы ростом выше себя чувствовал. Как ни поглядит на кого, так все лица в сторону: мол, ты на нас

свысока, а мы на тебя исподтишка. И не тушевался, еще выше голову задираю: а как вы, бабоньки, хотели? Забывайте прежнего Парфена! Был он слесарем, да весь испарился. Слесарю — мочало, а мастеру — кресало!

Вот как он еще до понедельника думал, а самостоятельно мастером вышел — и растерялся. Ни при каких обстоятельствах жизни так не терялся, как сейчас растерялся. Нет, не годится, видно, он в командиры, в эти самые руководители. Не стоят ему над «бабским производством», не править. Слесарем работал — он им ровня, а они ему ровня. Другая атмосфера. Шутки отшутил — и в курилку. На лавку. Ни к тебе никто с претензиями, ни ты ни к кому.

И бочком, бочком да назад из цеха. Чего это он сразу полез всем на глаза? Пускай работают себе на здоровье, как работали, а его место в мастерской. Он их будто бы не заметил, а они его. Он не Тихон, чтоб как в цех, так на всех орать...

Но и полчаса в мастерской не просидел, глядь в окно — Милешин, начальник цеха, идет. Не успел войти — ошарашил:

— А твои бабы бунт подняли!

Вечно чем-то озабочен Милешин, все-то он напрягает лоб, куда бы ни шел и что бы ни делал, такой уж страдалец, и во сне, наверное, о производстве думает, а тут вдруг его на шутки потянуло: бунт! Первый день Парфен мастером работает, можно его, выходит, и на испуг взять. Не на того напал, Иннокентий Захарович!

— Как набунтуются, так пусть придут скажут.

Раз начальник цеха к нему с шуткой, то и он не упустит случая ответить ему тем же.

Но Милешин шутки свои на этом и кончил:

— Иди разберись, чего сидишь?

Как? Ошибся Парфен? Начальник цеха и не думал с ним шутить! Поднимайся и иди в цех, усмиряй «бунт». Только какой бунт? Все иносказательно. Нельзя нешто сказать прямо что и как? Да спроси ты у этого Милешина, догони уже его: он свое дело сделал и умчался из мастерской. И чего, вот так трезво если посмотреть, бегать как оглашенный? Что за характер?

Парфен нарочно с чрезвычайной медлительностью двинулся к цеху, войдя в него, никем не замеченный остановился в дверях. Толпа собралась возле станка Ксении Маркеловой, громче всех, как всегда, кричала Каролина Бабкова:

— Людечки! Чи ж вона виновата, что свалилась? Все мы сегодня ходим, а завтра сердце схватит — и ты туда, в больницу!

— Нехай на место ее другую ставят! — старалась переспорить ее Фаина Халявкина. — Ее станок месяц простоят, а план-то на него нам даден. Как не выполним, так во нам и прогрессивки и тринадцатой зарплаты! — сунула она кукиш Бабковой под нос. — Нехай начальство думает головой. Мы из-за нее не должны страдать.

— А где тебе начальство на место ее возьмет?

— Поставили его, так нехай где хочет берет. Наше дело маленькое. Захотел мастером работать, так не сиди в мастерской сиднем, а то и глаз сюда еще не показал!

Из курилки выглянул Аристарх Гребенников, привлеченный этим бабьим галдежем. Сзади на него напирала остальные слесари: Сенька Шадрин, Глеб Кершанок, Порфирий Плутархов, Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков.

— Что за шум, а драки нет? — первым врзаясь в толпу, проговорил Аристарх Гребенников.

— Тебя только, черта горластого, тут не хватало! — Проня Пончик

стала ему поперек дороги.— Твое дело гайку закрутил — и в курилку! Сиди там, хоть околей!

— Пардон! Пардон, мадам! Я вас спрашиваю, чего тут базар устроили! Ну-ка включайте станки да шуруйте на всю железку! Кому сказано?

— А ты что, мастер, что нас загонять будешь? У нас свой загоняла есть!

— А я его правая рука! Поняли?

Вот тут Парфен и подошел ко всем так, что никто и не заметил. Станочницы его и притихнуть не успели, а Гребенников уже дурашливо расшаркался перед мастером:

— Разрешите доложить, товарищ начальник? За время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло! Так, одно маленькое недоразумение... Сейчас мы его уладим.— Он быстро повернулся к станочницам: — Бабы! Слушайте меня! Кто хочет получить тринадцатую зарплату, два шага вперед!

Парфен насупленно засопел: не понравилась ему эта Аристархова выходка.

— Ну, хватит,— проговорил он, не скрывая своей сердитости.— Ты здесь не в цирке.

Но Аристарх Гребенников не принял это всерьез, не бросил панибратского тона:

— Будь спокоен, я беру руководство на себя!

— Обойдусь...

— Да ты что, Парфен!

— Ты, надеюсь, забыл еще, что моего отца Тимофеем зовут пока что.

Аристарх Гребенников, молниеносно сообразив что к чему, переметнул взгляд на слесарей, как бы говоря: «Вот так теперь с нашим братом слесарем обращаются! Портится народ со скоростью звука: еще вчера вместе с нами в курилке сидел, а сегодня он уже кум королю и сват министру!» Но по молчанию Жорки Матвеева и Филимона Меньшикова видно было, что они не одобряли его поведения. Глеб Кершанок вильнул за чужие спины — подальше от греха, и только Сенька Шадрин заодно переглянулся с Порфирием Плутарховым: дескать, не мешай, дай разгореться сыр-бору.

— Вот теперь до меня дошло,— увидев в Сеньке Шадрине поддержку, продолжал Гребенников.— Я, темный, и забыл, что вас по имени и отчеству с этого дня величать надо!

— Не ты ты ноту взял, Аристарх,— не сходя с места, проговорил Парфен.— Эти шутки ты побереги лучше для курилки. Когда я туда зайду, там ты мне и выложишь. А здесь кривляться забудь. И решать за меня производственные вопросы права тебе никто тоже не давал.

— Я же по-свойски... По старой дружбе,— стал оправдываться Аристарх Гребенников.

— Дружба была, дружба между нами и останется, а табачок будем теперь делить врозь. Я все слышал, что тут говорили. Правильно говорили: станок Маркеловой простаивает, а я об этом как-то не подумал... По правде сказать, пришел я сегодня на работу, заглянул в цех, увидел всех вас возле станков и сдрейфил.

Парфен замолчал, увидев у Сеньки Шадрина и Аристарха Гребенникова ухмылочки — и верят и не верят: чего тут было дрейфить, заливай! А станочницы, известно, женщины, посередобольнее, прислушались, ждут, что он дальше скажет.

— Испугался — и тягу,— продолжал Парфен, тряхнув головой, точно отгоняя от себя мух.— А куда от вас убежишь? В мастерскую за-

скачил, ну, думаю, смену эту как-нибудь отсижу в углу, а там видно будет.

— А чего, Парфен, нас бояться? — первой отозвалась Каролина Бабкова. — Чи у нас на лбу за ночь рога поросли?

— Я и сам так думал, да голова одно думает, а сердце другое. Подвел меня сегодня барометр... Ну, ладно. — Парфен обвел взглядом станочниц. — Так что будем со станком Маркеловой делать?

Ага, молчите! То все были на язык бойки, а то... сразу притихли.

— Ну, вот ты, Каролина Игнатьевна, что скажешь?

Раньше Парфен звал Бабкову только по имени, и это неожиданное «Игнатьевна» — вспомнил ведь, не забыл! — смутило ее.

— Не знаю, — ответила она, норовя отойти подальше.

— Ну как же ты не знаешь? А больше всех кричала.

— Что я кричала? Кто-сь первым начал, а я... Я ж не против кричала, а за Маркелову!

— Значит, ты ничего не можешь посоветовать?

— Ну что я посоветую? Что люди скажут, то и я...

— Понятно, на одного энтузиаста стало меньше, — Парфен поглядел на Фаину Халявкину. — А ты, соседка? Выручай хоть ты по-соседски, что ль.

— Вас выручи, а сама... Ты мастер, ты и решай.

Парфен не подал виду, что подвела его и соседка, и поскорее перевел взгляд на Проню Пончик. Он едва успел посмотреть на нее, как та ему бах в ответ:

— На двух же станках я не могу одна работать! У всех по две руки, а у меня их что, десять?

— Так, — даже повеселел Парфен. — Так, значит... Ни у кого больше нет предложений? Тогда у меня будет...

Получилось так, что он посмотрел на Нелли Юдину, а она посмотрела на него, как бы готовая выполнить любое его приказание.

— Я предлагаю... — Парфен сделал паузу. — Я предлагаю вот что... Юдина у нас работница новая, опыта у нее еще меньше, чем у других... Тут обижаться не надо, придет и к ней опыт... А пока... Она будет работать сегодня в две руки с Бабковой, а Пашаева станет за станок Маркеловой...

Проня Пончик и договорить Парфену не дала, вскинулась:

— А у меня что, больше всех опыта? Я в одну руку могу работать? Разорваться мне одной на весь станок? Нехай он лучше спорит, станок этот... Не надо мне ни прогрессивки, ни тринадцатой зарплаты! Мне с сыном и так, что заработаю, хватит. А начальство если хочет, чтоб план был, нехай на место Маркелихи человека ищет, а меня не троньте.

— Теть Пронь... — Это заговорила Нелли Юдина. То тихая была, а то вдруг заговорила. — Теть Пронь, где же сейчас человека найдешь? Пока побегаешь по Синезеркам, кого-нибудь упросишь, так и смена пройдет.

— Вы поглядите на нее, заступница нашлась! — вспыхнула Проня Пончик. — Больно рано за начальство заступаться стала! Так будешь делать, не успеешь оглянуться, как и в президиум изберут. Далеко, девка, пойдешь!

Станочницы снова загалдели, и Аристарх Гребенников, увидев возможность «реабилитироваться», опять вмешался не в свое дело:

— Что я вам, бабы, говорил! С вами разве кашу сварить! Вы еще до такой демократии, как тут Парфен развел, не доросли. Вам если приказ не напишешь, то ни один министр не уговорит за станки стать. Воду баламутить вы хороши, а работать за вас — дядя!

— Ты за нас работаешь, помело бесово! — отрезала Проня Пончик. — Ты гайку подкрутил и смену сидишь в курилке, а бабы план дай. У тебя голова не болит, что станок Маркелихи уже две недели простаивает, а у нас сердце кровью обливается...

— Видели, как оно у вас обливается! Языком только...

Аристарх Гребенников осекся, поняв по взгляду Парфена, что попался на слове, но было поздно. Уловили это и станочницы и уставились на него в ожидании чего-то такого, что должно было круто повернуть все дело.

А Парфен еще чуточку помедлил, затем вполголоса, что требовало ото всех особой тишины, проговорил:

— Хорошо, я нашел выход. Вот Гребенников и поработает сегодня на станке Маркеловой, а к завтраму я найду человека.

Стало еще тише, все ждали, что Аристарх Гребенников ответит на это. Ну и Парфен! Долго думал и придумал!

— А почему я? — наконец заговорил слесарь.

— Потому что ты мне больше всех понравился, — с улыбкой сказал Парфен.

— Это чем же?

— А это уж мой секрет.

— Ха, секрет! Знаю я твои секреты! Дурачка нашел! У меня своя работа есть. Если с моими станками что случится, ты, что ли, ремонтировать будешь?

— Хвалю за догадливость! Это я и хотел сказать. Думаю, что я не хуже за твоими станками присмотрю. Поди, ключ еще не разучился в руках держать.

— Губа не дура! Себе небось что полегче выбрал. Как же!

Никто не ожидал, что Парфен, ни слова не говоря, направится к станку Ксении Маркеловой, включит его и, как бы забыв обо всех, примется за работу. И конечно, тут же разойдутся по своим местам станочницы. Только слесари еще постоят немного своей кучкой, о чем-то советуясь, потом от них отделится Аристарх Гребенников и виноватой, крадущейся походкой направится к Парфену. Но так и не решится подойти к нему, а повернет назад, махнув рукой — мол, прогар так прогар, — и, оправдываясь, скажет: «Подумаешь, удивил! Мне за это медаль не дадут!» Такой уж у Аристарха Гребенникова характер: проиграл ведь, никуда не поперешь, а чтоб признаться в этом открыто, нет, ни за что в жизни. Это выше его достоинства!

А Парфен отработает смену за станком Маркеловой, потом еще полчаса просидит в мастерской над составлением сводки и опоздает на фабричный автобус. Снова вернется домой поздно.

На другой день Сенька Шадрин уже караулил его возле слесарни:

— Тебе надо личную машину покупать.

Понятно, куда он гнул. Нехитра уловка. Можно с ним и поиграть в кошки-мышки.

— А я, Сень, в принципе не против.

— Я без выкрутас.

— И я без выкрутас. Только больно долго этой машины мне придется ждать.

Сеньке Шадрину понравился такой поворот мысли: Парфен не изменился, как мастером стал, шутки свои не бросил, еще охотнее шутил.

— Тогда с «Ковровца» тебе не слезать! — продолжал загадками Сенька Шадрин. — А пока дорога не подсохнет, поползаешь ты на своих двоих с фабрички!

Тут Парфен и подловил его:

— Сень, кто?

— Иван.

— Ясно. Я так и догадывался. Но ты видел? Был свидетелем?

— Ха, свидетелем! Всему сам свидетелем не будешь! Вся смена — свидетель! Только не хотели тебе говорить, потому что ты для них человек временный, два дня постажировался у жалостливого Мокея и в свою смену перешел. А с Иваном они как работали, так им и работать до самой пенсии. Тот сказал: «Поехали, нечего всем одного ждать» — и все промолчали. А Виталька Анашкин у Ивана послушнее раба. Дал газу до отказа — и будь здоров! Ты и ему в чем-то дороге перешел, нешто забыл?

— Я-то, может, и забыл бы, да Анашкин долго помнит!

— Иди к главному инженеру, пусть приказ пишет!

— Не то, Сень, говоришь.

— Я говорю что надо. Плохому тебя не учу.

— Обойдусь без чужой грамоты.

— Хватил! Не рано ли?.. По бумажкам ты мастер, наше первое начальство, это законно. Ну, а так... Был Парфеном, Парфеном для нас и останешься. И мы за одну ночь не переделались, хуже не стали.

— А я стал хуже? Если хуже, скажи, Сень, я не обижусь.

— Поживем — увидим, что из тебя получится! А сейчас мое слово такое: иди к главному инженеру. У тебя что, сапоги казенные каждый день по восемь километров молотить? Или здоровье лишнее?

— Ладно, Сень, не волнуйся.

Как ни избегал Парфен главного инженера, а к концу смены натолкнулся на него возле мастерской. Так и проскочил бы мимо, если б инженер не остановил:

— Ну, как ваши дела, Парфен Тимофеевич? Все в порядке?

— Все вроде. Только вот...

Парфен покраснел: такой, если разобраться, пустяк, а он с ним к инженеру. И надоумил же его Сенька Шадрин! Да поздно идти на попятную. Сказал «а», говори и «б».

— И молчите, — рассердился главный инженер, выслушав Парфена. — Что еще?

— Все, Василий Степанович. Спасибо...

— Бросьте... Будут еще какие-нибудь неприятности, приходите прямо ко мне. Договорились?

— Договорились, Василий Степанович.

В этот раз Парфен задержался после смены из-за сводки на целых двадцать минут, и все это время автобус ожидал его у ворот фабрики. «Уже нажаловался!» — хмуро глянул Виталька Анашкин, когда Парфен пролез в автобус. Сидели надутые и станочницы. Даже самые первые его заступницы Фаина Халявкина и Проня Пончик не отозвались на шутку, которой Парфен попытался загладить свою «вину». Так и ехали всю дорогу «как неродные». А когда приехали, Каролина Бабкова без зазрения совести высказала:

— Парфе-ен, ты скрозь будешь так чи только седни? Коль скрозь, так у каждой из нас семьи. Нам время в хозяйстве дорого. Думай, Парфен, головой.

Остальные промолчали, но Парфен не без глаз, видел, что они согласны с Каролиной Бабковой.

Через неделю дорога на Синезерки совсем раскисла. Виталька Анашкин по разным переулкам и закоулкам выбирался на лесную просеку и по ней благополучно доезжал до городка. Парфена он, бывало, то подождет после смены, то не подождет, психанет, вспомнив старую

обиду, и укатит без него. Но вот скоро всем стало одинаково: и на смену и со смены несколько дней подряд ходили пешком: и лесная просека не выдержала, поплыла.

2 апреля Парфен выкатил из дровяника «Ковровца». Решил сделать первую вылазку — проскочить на работу на своем транспорте.

Попробовал завести — дудки. Полдня прокопался — наладил.

Улицу проехал по стежке под окнами домов осторожно, без разгона. Только бы прорваться к лесу, а там по кабаньим тропам до самых Синезерок газуй. Мотоцикл не автобус, меж деревьев крутить можно.

К фабрике Парфен подтарaxтел тюленька в тюленьку к началу смены. Пока вкатил мотоцикл на фабричный двор, пока вымыл в луже руки, еще несколько минут прошло. Когда показался в цехе, то смена уже началась.

— Хорошо бытть начальником! — встретил его Сенька Шадрин.

— Еще чего?

— Я тоже бы опаздывал!

— Начальство не опаздывает, а задерживается! — в тон Сеньке Шадрину проговорил Аристарх Гребенников.

— Ну, ладно, шутки в сторону! — Сенька Шадрин стал хитрее лица, это уж жди подвоха.— Идем-ка с нами!

Знал Парфен: упираться бесполезно, выиграть бы две-три минуты, разгадать, что он задумал.

— А куда?

— Идем, идем! Забыл свою слесарку?

— А зачем?

— Сейчас увидишь!

И Сенька Шадрин засеменял впереди мастера.

— Ну, вот теперь все в полном боевом! — торжественно объявил он, войдя в слесарню.

Парфен, став в дверях, оглядел слесарей. Порфирий Плутархов сидел на верстаке — с большой ногой стоять ему ни к чему. Жорка Матвеев и Филимон Меньшиков ожидали мастера стоя. Филимона Жорка выдвигал наперед как главную фигуру, из-за которой и затевал что-то Сенька Шадрин. Он уже взял Филимошу за руку, как берет судья спортсмена-победителя, чтобы представить его публике. Аристарх Гребенников с серьезным видом заговорщика стал с другой стороны Филимоши для подкрепления. Один Глеб Кершанок юлил так, как будто хотел сказать, что он тут ни при чем. На то он и Глеб Кершанок Пшеник!

— Как живете, кашляете? — поздоровался Парфен на свой манер.

Слесари хотя и ответили ему, но поз не изменили. Сенька Шадрин тут же ткнул пальцем в Филимона Меньшикова и напыщенно, пердразнивая Трушина, которому обычно предоставляли открывать все собрания, произнес:

— Товарищи! Мы счастливы сообщить вам, что сегодня одному из лучших членов нашего славного коллектива спичечников Филимону Филипповичу Меньшикову исполнилось...— Сенька Шадрин наклонился к юбиляру, вежливо уточнил:— Простите, Филимон Филиппович, сколько вам стукнуло? Тридцать? — И, распрямившись, продолжал: — Сегодня Филимону Филипповичу стукнуло тридцать лет. Дата, как видите, круглая. Тридцать лет, товарищи, это вам не фунт изюма!

Парфен посмотрел на Глеба Кершанка — этот мог бы выдать, что они задумали. Но Глеб Пшеник спрятался за спину Жорки Матвеева. Был непроницаем, как икона, и Жорка Матвеев. На рябом лице юбиляра, кроме жалостливого подергивания губ, тоже ничего нельзя было уловить.

— Мы собрались сюда, чтобы от всего сердца поздравить нашего

дорогого Филимона Филипповича,— накручивал слова Сенька Шадрин,— и пожелать ему от месткома, от парткома и себя лично...

— Сенья, не тяни kota за хвост! — выкрикнул Аристарх Гребенников.

— Критику снизу принимаю!

Сенька Шадрин вытянул к Парфену губы, как для поцелуя, и нарочитым шепотом проговорил:

— Парфен Тимофеевич, дай пластмассовый стаканчик!

Слесари притихли, ожидая, что ответит на это новый мастер из «своей среды», как они уже поговаривали в курилке.

— Такой случай бывает раз в тридцать лет,— добавил Сенька Шадрин, почти уверенный, что Парфен откажет.— Кто бы выдержал столько прозаикаться!

Парфен еще до «критики снизу» понял, куда метил Сенька Шадрин, и заранее решил, как поступить. Как бы особенно не раздумывая, он подошел к верстаку, достал из кармана «москвички» ключ, вставил в замочную скважину, повернул его, открыл дверцу и просунул руку в потайной уголок.

— Хорошо, что не выкинул.— Парфен протянул пластмассовый стаканчик Сеньке Шадрину, посмотрел на жалостливо поджатые губы Филимона Меньшикова.— Ради твоей тридцатки согрешим, а? Ну, наливай, Сень!

Сенька Шадрин лишь поморгал глазами, беззвучно задвигал ртом: не ожидал он такого оборота.

— Наливай, наливай,— наседал Парфен теперь на него.— Где же твоя бутылка? Что, сразу зажался?

— Вот паразит! — раскатисто засмеялся Аристарх Гребенников, видя, что фокус не удался.— Раскусил! Ну раскусил ты нас! Вот у кого нюх!

Тогда и Сенька Шадрин хохотнул:

— Не прорезал номер! Не прорезал! Хватайте, рвите меня на куски!.. Ну, думаю, даст нам теперь Парфен стаканчик или не даст? Даст или не даст, понял, мастер? Мы тебе проверочку устроили! Проверочку на сообразительность! Если бы не дал... А так тебе пять с плюсом! Видишь свой стаканчик?

— Ну, вижу.

Сенька Шадрин принялся проделывать какие-то манипуляции, похожие на те, что проделывает фокусник, стараясь отвлечь внимание публики.

— Так видишь? — еще раз спросил он, перед тем как спрятать стаканчик за спину.

— Вижу,— следя за Сенькиным трюкачеством, ответил Парфен.— Дальше-то что?

— А теперь не увидишь!

Сенька Шадрин резко взмахнул рукой, в которой держал пластмассовый стаканчик, и так же резко опустил ее к полу. Парфен лишь услышал, как под ногой слесаря что-то коротко хрустнуло.

Сенька Шадрин, выдохшись, сел на верстак: дескать, представление окончено.

— Жаль, на рыбалке бы еще пригодился,— проговорил Жорка Матвеев, глядя на белые кусочки пластмассы на цементном полу — все, что осталось от стаканчика.

— Филимоше без брехни сегодня тридцать стукнуло! — снова ораторствовал Сенька Шадрин.— После работы прошу всех в «Бабы слезы»! Правильно я предлагаю, Филимон Филиппович?

— Пппрр... Верно!

— Ну вот, все слышали? Явка для всех обязательна!

— Не для всех, Сень.— Парфен с сожалением поглядел на слесарей.— Производственное совещание сегодня... Я вон на мотоцикле приехал, чтобы назад пешком не идти. Спасибо, конечно, за приглашение...

— Был Парфен свободным человеком, так стал мастером!

Парфен заторопился из слесарни. Когда вошел в цех, Проня Пончик подозвала его к станку.

— Это правда, что Эмма в новый цех перешла? — спросила она на ухо, как выведывают секрет, хотя из-за шума станков никто, как ни кричи, дальше двух метров не услышит.

— Скажи, так и я знать буду.

— Она же с Софьей поругалась!

— Да ну! Приеду домой, выясню, тогда тебе уж обязательно доложу!

Проня Пончик задрала губу — обиделась. Ох и сарафанное радио. Родной муж ничего о жене не знает, а она знает! Или решила уколоть?

А в три часа пришла курьерша Лида и Парфена персонально позвала на производственное совещание. Не куда-нибудь, а к директору. Вот где собралось их, итээровцев! Не то что тогда в производственном отделе — одних мастеров увидел и с непривычки в дверях застрял. А здесь и из бухгалтерии сидели, и из конструкторского бюро, и начальники цехов, и сам директор в кресле за отдельным столом перед всеми, и новый главный инженер возле него прилепился. И у каждого своя примета, свой колер. Не спугаешь одного с другим ни оптом, ни в розницу. Это с первого взгляда они одинаковые, а приглядишь, сразу увидишь, у кого какая сила в руках. И расселись все своей кучкой: бухгалтерия — себе, конструкторское бюро — себе, начальники цехов — себе как равные с равными. Кто повыше должностью — поближе к директору, кто пониже — подальше от него. А Парфену куда сесть? Вот же и его место — среди мастеров. Подсаживайся к ним тихонько и не дыши. Везде найдется свой брат. Не один Парфен такой, прямо из цеха, самого котла производства. Вот их сколько, мастеров-то. И тоже своей группкой сбились в уголок, позади всех. Уставились на директора, ждут. А он сказал два слова, и то понимай как зачин, как некое позволение новому инженеру выступить. Не директор, а инженер и затеял это совещание. Небось досконально фабрику изучил, пора и выводы сделать.

Инженер только еще встал, не заговорил еще, только посмотрел на всех, а Парфен уже в него взглядом воткнулся. Совсем немного он знал этого человека, а вот ни к кому, под чьим руководством работал до сих пор, так не лежала теперь душа, как к нему. И говорил инженер незажигательно, вроде бы нарочно вставлял в свою речь такие слова, какие Парфен сам не раз употреблял с гоп-компанией в курилке, — «отколоть», «травить». Но инженер ставил их рядом с такими словами, что те высекали иной смысл, до которого не сразу и доберешься. Организацию производства, с которой он столкнулся на фабрике, инженер предложил «отколоть» и выбросить. Это Парфен еще понял. Но «травить гусей»... Так инженер назвал то, как администрация использует принцип материального стимулирования. Говорил он, говорил, а сам хотя бы одним глазом на Парфена посмотрел. Будто не видит, что и он здесь, как внимательно слушает его, как предан ему. Ведь если бы не новый инженер, сидеть бы Парфену в курилке и ничего этого не слышать. Когда инженер и о кадрах заговорил, о правильном их подборе и бережном выращивании, даже тогда не взглянул на Парфена. Тут бы ему обязательно посмотреть на него, может, пример привести:

вот, мол, вам, пожалуйста, был человек — не замечали... Сказал инженер, что будут и срывы с планом, пока фабрика не заработает так, как он хотел бы, и о премиальных придется забыть, зато потом все наверстаем за счет устойчивой, ритмичной работы. Сказал и на место сел. Задал разговоров на три часа. Не совещание, а драчка получилась. Так и разошлись, ни до чего не договорясь. Парфен что, новичок в этом деле, только слушал да на ус наматывал. Без него заядлых хватало. А он отсидел свое на стуле, но и не с пустой головой от директора вышел. Если надо, надо и потерпеть без премиальных...

Парфен выкатил мотоцикл за ворота фабрики, завел, сел на него и поехал вдоль тротуара по сухой стежке. Проехал памятник Ленину, весь фабричный сквер, столовую и клуб, повернул к железнодорожному переезду. Только взял на подъем к линии, как мотоцикл трах-бах — и заглох.

Давно Парфена настораживал стук в моторе, и вот то, чего он больше всего боялся, случилось: заклинило в цилиндре. Все, отъездився Парфен. Ставь новый мотор или старый полностью разбирай.

Парфен с измученным лицом поглядел по сторонам. Домой за восемь километров мотоцикл в руках не покатишь. Была бы дорога лучше, еще рискнул бы. Поставить его к кому-нибудь во двор, а самому пехом. Но к кому? Кто тут из знакомых поблизости живет? Глеб Пшеник. Чем к нему ставить, лучше два раза по восемь километров в руках прокатить.

Парфен развернул мотоцикл и двинулся к Мокею Коломееву. С ходу преодолел поперек песчаную улицу, без передышки добрался до «Бабьих слез». Возле закуской отдохнул, приняв запах жареного сала и лука, как будто за столом посидел, перекусил. Потом свернул в переулочек и уже переулком доплутал до двора Коломеевых. Прислушался: в доме ни звука. Парфен подергал за конец проволоки, протянутой во двор. Когда там, в глубине двора, протенькал колокольчик, кто-то выбежал на крыльцо, процокал каблуками по ступенькам и быстрым шагом направился к калитке. Кажется, Зинка — средняя дочь Мокея Коломеева — «Андрюшка». Так и есть, она, открыла калитку, радостно удивилась:

— Дядя Парфен!

— Он самый. — Парфен ласково улыбнулся, войдя во двор, окинул девушку взглядом. — Как жизнь молодая? На свадьбу скоро позовешь?

Зарделась Зинка как маков цвет — в самую точку попал Парфен. А чего ей не выйти замуж? Вон уже как налилась, когда что успелось. Такая красавица не засидится в девках. Только готовь отец приданое.

— Куда убегаешь? — остановил Парфен Зинку и сам посреди двора остановился. — Кто дома? Одна, что ль?

— Мамка дома.

— А еще кто?

— Наташка, Оксанка... Юлька еще дома. Все дома.

— И отец?

— Нет, отец на охоте.

— А говоришь, все.

— Он скоро придет. Он уток пошел на болото пострелять.

На крыльцо выкатилась полная жена Мокея Коломеева Анисья. Из-за ее спины выглянули Оксана и Юлька — им тоже интересно.

— Ой, кто к нам пришел! — всплеснула Анисья руками, спускаясь по ступенькам к гостю.

— Как живете-можете, Анисья батьковна? — Отчество Анисьи — Александровна, а батьковна... Понравилось Парфену, вот он и переиначил по-свойски.

— Ой, не спрашивай, Парфенушка! — отозвалась хозяйка. — Кручусь целый день, как конь на кругу, и работы моей не видно. То вари, то корми всех, то обстирывай. Материно дело такое, пока приглядишь за каждым, убьешься к ночи, как петух, рада до места.

— У вас же дочерей вот уже сколько взрослых, есть кому помогать.

Дочери совестливо потупились перед гостем.

— Давненько ты у нас не был, Парфенушка, — жалостливо вздохнула Анисья.

— Давненько.

— Уж и не припомню, сколько это... Годов пять, наверно, аль больше?

— Больше, Анисья батьковна.

— Ну, так проходи в хату.

— Да я на минутку.

— Чего ты так?

— Дома жена ждет. А я пока на совещании посидел... Мастером же я теперь.

— Слыхала, слыхала, Парфенушка! Мой говорил. Пришел домой довольный такой, рассказывает. Мы все радовались, что все так хорошо получилось. Молодец, Парфенушка, ой, молодец!

— Да ну, чё там...

— Ой не, Парфенушка, не! Что правда, то правда, ты мастером и родился. И в газетке вон на самом видном месте тебя посадили.

— Ну об этом тож... Чего говорить? Ладно, Анисья батьковна, газета и есть газета. Им только дай, надо же кого-то помещать.

— Ой не! Ой не, Парфен! Кого зря туда не поместят. Это заслужить надо. Мой сколько годов на фабрике проработал, а ни разу в газету не попал. Не выслужился, значит.

— Вот его туда и надо было, а не меня. Я и говорю, что Блюдину все равно кого щелкнуть. А подписать под снимком все можно.

— Так проходи, не стой на дворе, — снова пригласила Анисья. — Уж из-за этой минуты на гору ты не вскочишь. И Эмма твоя цела будет. Он вот-вот должен прийти. Я давно на часы поглядываю, не опоздал бы на работу. Узнает, что ты был да не подождал, обидится.

— Я у вас мотоцикл поставлю.

— Поставь, Парфенушка, поставь! — охотно согласилась Анисья. — Поставь, если тебе надо. У нас никто ничего не сделает. Хлопцев, сам знаешь, у нас нет, чтоб лазить...

Парфен помолчал, глядя в землю.

— Как же ты подъехал, что мы не слыхали? — спросила Анисья. — Вроде и сидели тихо.

— Не я на нем ехал, а он на мне.

— Ой, будь они прокляты, мотоциклы эти! На них не столько едешь, сколько угробляешься. Мой тож хотел купить на старости лет, хорошо, что раздумал. Нехай уж молодые носятся как оглашенные.

— Так я поставлю, Анисья батьковна?

— Чего много спрашивать? Девки, откройте двор!

Зинка и Оксанка кинулись к воротам. Зинка вынула засов, которым перекрывались створки ворот. Оксанка, налегая плечом, отвела сначала одну створку, затем другую, приподняла подворотню. Парфен с разгона катнул мотоцикл через горку песка, что намыло весенним паводком около подворотни.

— Кати в сарай. В сарай кати. В хозяйстве и пулемет пригодится.

Это за его спиной в открытые ворота входил Мокей Коломеев. Как тут не обернуться на такой голос, не откликнуться ответной шуткой:

— А где твои кряквы? В кусты сдыхать полетели?

Парфену одной рукой мотоцикл держи, а другой с хозяином здоровайся. Не подопри коленом, и грохнуться может, ногу отдавить. А Мокею Коломееву никаких трудностей: перебросил, как игрушку, ружье из правой руки в левую и тискай гостю пальцы. Налегке, распрямленный, пропахший болотной водой и порохом. На десять лет омолодила старого мастера прогулка с ружьем.

— Сережка! — позвал он.

На крыльцо выскочила Оксанка, которая было убежала от отца, когда он вошел во двор.

— Почисти ружье!

Та с радостью выхватила его из отцовских рук, по-мужски вскинула на худенькое плечико и мерным шагом, как ходят при оружии, направилась в сени.

— На охоту скоро буду брать. — Мокей Коломеев с грустью посмотрел вслед дочери. — Не веришь?

— Чего не верю? Верю.

— Я уже раз водил, увязалась — до слез дело. Пришли в лес, она просит: «Дай, папка, стренуть». — «Ну на, стрень». Даю ей ружье, а сам себе думаю: «Погляжу, как ты стренешь. Я таким мальцом первый раз стренул — чуть плеча не лишился». А она берет ружье, прицеливается и — бу-бух! Я и глазом моргнуть не успел. А она что? Стоит, только смеется. «А я, папка, уже стреляла!» У меня и язык ко рту присох. «Когда? — спрашиваю. — Где ты ружье взяла?» — «Твое взяла, в лес пошла и там стренула». Ну и девка, оторви да брось! В кого она удалась? И это в двенадцать-то лет! Ну, я не против, пусть побалуется, да мать: «Что ты ее приучаешь? Сделаешь из нее хлопца, никто замуж не возьмет!»

Мокей Коломеев замолчал.

— Ну, что несешь? — Парфен кивнул на охотничью сумку. — Стрелял-то хоть?

— Стрелял.

— Сколько?

— Три раза пальнул. Два раза по крыжным, далековато, правда, ушли, не покачнулись. Такие два селезня — красавцы! А раз по чирку выстрелил. Вот...

Мокей Коломеев подбросил добычу на руке: мол, сколько в ней веса? Ста граммов не будет. Это ли дичь! Крикнул в сторону крыльца:

— Васятка!

Из сеней выглянула Юлька.

— Ой, убил! — обрадовалась она.

А когда подбежала и взяла в руки чирка, близко рассмотрела этот неживой комочек перьев, вдруг вся увяла вместе с платицем, скорбно проговорила:

— Ты не дал ей подрасти... Таких нельзя убивать маленьких.

— Они больше не растут. Отнеси, отдай маме.

Мокей Коломеев дождался, когда дочь ушла к крыльцу, вздохнул:

— Эта жалостливая. Вроде же мое дитя, а вот, вишь, не Сережке чета. Ну да она и последняя...

Он вытащил из летника раздавленную пачку «Шипки». Закурил. Сплюнул попавший в рот табак.

— Так я, Иваныч, его поставлю. — Парфен показал на мотоцикл.

— А что с ним?

— Мертво. Цилиндр заклинило.

— Ладно, Тимофеич. Закатывай в сарай да пошли в хату.

Мокей Коломеев открыл дровяник, придержал дверь плечом, пока Парфен вкатил мотоцикл, ткнул его колесом в кучу щепок. По-

том неторопко поднялся на крыльцо, что-то шепнул жене на ухо. Та тут же полезла в кошелек.

— Андрюшка! — позвал он Зинку и, когда дочь подошла к нему, сунул ей в ладонь четыре рубля.— Сбегай.

Уж эти фокусы Парфену известны. Он их, как раскрытую книжку, читал. Такие у этих людей характеры. Не напоказ, а от чистого сердца, да так, чтобы и гость не догадался, кинутся за угощением — все выставляют, от своего рта оторвут, а ему лучший кусок отдадут, на последние деньги в магазин сбегают, но человека так за стол не посадят.

Зинка еще со ступенек не сошла, а Парфен уже, как шлагбаумом, пересек рукой ей дорогу. Взгляд уставил в хозяина:

— Не надо, Иваныч. Лишнее это...

А тот будто и не слышал, торопился подтолкнуть дочь:

— Сбегай, сбегай, Андрюшка.

— Иваныч! Анисья батьковна! Мне еще восемь километров по грязи топтать.

Но и Анисья батьковна с мужем заодно, не были бы они муж да жена — одна сатана:

— За столько годов раз зашел и то отказываешься. Кто так делает, Парфен? Чи мы такие чужие, что ты нас не уважишь? Когда учеником был, каждый день забегал, за один стол садился, ничем не гнушался. Что сами ели, то и тебе подавали. А сейчас ты вон каким стал! Посидеть минуточку с нами не хочешь.

— Анисья батьковна! Иваныч! Да разве я чужой вам? Изменился нешто? Просто... Было бы время, какой разговор! Пусть эти четыре рубля у вас еще полежат. Не последний день живем, Анисья батьковна! Спасибо большое, но... Иваныч!

— Ну, ладно, уговорил. Тебя сейчас чтоб на выпивку подбить, надо академию кончить.

Лишь после этих слов хозяина Парфен убрал руку-шлагбаум, отступил от крыльца.

— Так извиняйте. Я пошел.

Коломеевы всей семьей двинулись за гостем, вышли на улицу, столпились у калитки.

— Живите, не кашляйте! — крикнул им Парфен, отойдя на середину улицы.

Ноги сами несли Парфена домой, переставлялись быстро и часто, сбивая подсохшие комья грязи. Не ходьба, а сплошное спотыканье. Но оно подгоняло Парфена, горячило. Он шел скачкообразно, как бы короткими перебежками.

Выйдя из Синезерок, Парфен придержал шаг перед горкой, поднялся на нее. Добрался до леса, свернул на просеку. Здесь и песка не было такого, как там, на дороге, и грязи, которую часто надо было обходить по сырым обочинам. Да лесом и идти интереснее, веселее. Иди, любуйся деревьями. Одна сосна красивая, а другая еще красивее: шея заболит поворачивать голову. Не заметишь, как и дойдешь.

И вдруг на просеку вышла какая-то женщина с небольшим узелком в руке. Она шла медленно, как больная, глядя под ноги. Да это же Ксения, жена Валентина Маркелова!

Парфен готов был нырнуть в кусты, подождать, когда она пройдет. Но он, не сводя глаз с Ксении, продолжал идти ей навстречу, потихоньку прячась за деревья, и так подошел к ней совсем близко. Уже и кусты кончились, сосны стояли пореже, спрятаться негде. Вот он и попался ей, и во сне ему такое не снилось!

Под ногой у Парфена треснула валежина — не углядел, наступил. Ксения остановилась как вкопанная, подняла голову и уронила узелок. Подхватила, но тут же снова уронила.

— Ой, лишеньки! — воскликнула она. — Напугал же ты, креста на тебе нет! Думала, зверь какой!

— Нужна ты зверю... такая.

— Какая?

— Высохла вон, как щепка.

— Болезнь никого не красит.

— Долго ты там «отдыхала».

— Двадцать семь дней откачалась вот, надоело лежать. Еще на неделю оставляли, насилу выпросилась. Вышла из больницы, а ноги и не стоят, подкашиваются. Совсем ходить разучилась, хоть бери да сначала начинай. До автобусной остановки доползла, а они, паразиты, автобусы городские, еще не ходят. Так я потихоньку лесом, думаю, к вечеру добреду...

— Фабричного бы дождалась.

— По дому соскучилась, на детей скорей хочу глянуть. Может, они и голодные, и холодные, и разутые, и раздетые бегают. Какой ни хороший мужик, а к бабе не приравнять.

Ксения примолкла, что не к месту вспомнила о муже, задела душевную струну.

— Хотела как быстрее, а оно во... Сто метров пройду, сяду отдыхаю. Убилась уже, сил моих нет.

Оглянулась на солнечный бугорок, усыпанный золотистой хвоей.

— Сажусь на землю и думаю: сырая...

Парфен снял с себя плащ из кожзаменителя, кинул его на бугорок подкладкой наружу.

— Отдохни, коль устала.

Ксения беспрекословно села на край плаща, положила узелок у вытянутых ног. Парфен немного помедлил и сел чуток сзади Ксении. Он видел только мочку ее уха, которую просвечивало солнце. От этого мочка уха была бледно-розовой, и красивыми были светлые завитки волос возле нее. Вся Ксения на весеннем солнце была красивой, все ее выболевшее тело под зимней одеждой, теплым пальто с лисьим воротником, бордовым полушалком, сползшим на шею, — все это было как бы не из этого мира, который успел продвинуться вперед, пока Ксения лежала в больнице.

— Чего тебе Валентин легкой-то одежды не передал? — после молчания спросил Парфен.

— Он не знал, что меня сегодня выпишут. В пятницу побыл, я сказала, что врач не обещает, говорит: «Куда тебе торопиться? Полежи до хорошей погоды».

— Значит, Валентин тебя не ждет?

— Не ждет.

— Скажи ему, что я с этой полочки долг отдам.

— Какой долг? — Ксения повернулась лицом к Парфену, но Парфен не зевал — успел нагнуть голову, избежал ее взгляда.

— Брал я у него... В тот день, когда ты в больницу нашу легла. Он тебе не говорил?

— Не говорил.

— Так вот я тебе сейчас говорю. «Москвичку» мы вместе покупали.

— Какую «москвичку»?

— Такую вот... Полупальто такое есть.

— А-а...

— Я же мастером теперь.

— Слышала... Ну и хорошо, что мастером. Что хорошо, то хорошо. Ксения попрямее вытянула ноги. Ей, видно, приятно было сидеть лицом к солнцу после больничной палаты. Когда она заговорила снова, голос ее стал мягче, нежнее:

— Мне как Валентин сказал, что ты уже мастером работаешь, я каждый день лежала там, в больнице, и думала.

— О чем?

— Не скажу.

— Тогда не начинала бы.

— Как я догадывалась, так оно и вышло.

— Ты со мной в прятки играть будешь или толком мне скажешь? О чем догадывалась, Ксения?

Парфен уже сердился, а та, вроде бы не замечая этого, продолжала:

— Как увидела я тебя на просеке, так сердце мое и зашлось. Гляжу на тебя и думаю: «Мучишься ты, бедный...»

— Ты, Ксения, меня прямо живьем хоронишь.

— Знаю: тебе хоть и плохо когда, так не скажешь. Дома небось кривятся?

— Да есть... Но ты меня знаешь: я спокойный.

— Ой, лишеньки мои! Надолго ли хватит твоего спокойствия?

— Насколько хватит, настолько и ладно.

— Ой, Парфен, Парфен! Чует мое сердце...

— Что оно чует?

— Не знаю. Но болит моя душа...

— Ты, Ксения, это брось. Знаю, отчего она у тебя болит.

— Глупый ты, Парфен! Думаешь, по тебе сохну?

Ксения снова повернулась к Парфену лицом. На этот раз он не успел наклонить голову, выдержал ее ласковый взгляд. От этого Парфену стало даже легче.

— Ну-ну, ладно тебе... Все вы скорые на суд,— произнес он размягченнее. Взял в рот желтую хвоинку, пожевал.— Поди, упарилась в пальте своем с лисой?

— Упарилась. Как же не упариться? От одних твоих слов упарилась.

В верхушках сосен плотно прошумело, стихло в глубине тесно сомкнутых крон. Ветер пробежал снова, но уже понизу, окатил Ксению и Парфена торопким холодком. Взвихрясь, унес с солнечного пригорка несколько свежеепованных хвоинок, поколебал запах нагретой смолы.

— Расстегнулась бы, что ль,— проговорил Парфен.

— Просквозит всю... Мне же еще нельзя, ой, лишеньки!

— Ну, хоть оклемалась немного? Наверное, час сидим тут. Не пора ли нам двигать в разные стороны?

Как сказал, так и поднялся, отряхнул сзади штаны, хотя к ним ничто не прилипло: сидел он не на голой хвое, а на своем плаще, что подостлал Ксении. Но такая у людей привычка: посидел на земле — отряхнись.

А Ксения как будто еще больше приросла к нагретому месту, не ворохнулась даже. А чего сидеть, спрашивается? Посидели рядом, хватит. Не до ночи же им в лесу оставаться. Но не скажешь ей: «Вставай, отдай мой плащ». И не силком же вытаскивать из-под нее.

— Помог бы нешто подняться,— проговорила Ксения, словно бы она вдруг разболелась оттого, что посидела на бугорке.

Парфен не смог без натуги поднять ее, а только когда зажал Ксенину руку в своей и рывком потянул на себя, она встала на ноги. Встала, но тут же завалилась ему на грудь. Отступи он на шаг — и Ксения

не устояла бы, сползла к его ногам. Парфен не знал, что с ней делать, поддерживал ее, точно падающее дерево, которое и бросить нельзя, и подпирать собой было не под силу. Его груди уже было горячо и мокро. Ксения мягко, без содрогания плакала, уткнув лицо между бортами пиджака.

— Ну вот тебе на! Вот тебе на! — повторял Парфен, похлопывая и поглаживая ее по спине ниже лисьего воротника, точно стараясь выбить из нее этот плач.— Вот и в слезы... У вас что, у всех глаза на мокром месте?

— На мокром,— проговорила Ксения в пиджак.

— И так вон сыро.

— Сыро. А что ж, и будет сыро...

— Ну, не плачь.

— Буду плакать.

— Посмотри, весна какая! Птички поют... Скоро березка распустится, почки уже какие большие. А верба так отцвела...

Ксения приподняла голову, посмотрела влево, вправо.

— Где ты видишь березки? А вербы? Тут одни сосны... Выдумываешь! — И она снова квело ткнулась лицом в пиджак.— Мучитель ты мой... Сколько ты меня мучить будешь?

— Я что? Я ничего, Ксения... Весна, говорю, хорошая.

— На что мне твоя весна, когда ты холоднее осени.

— Ну-ну, критикуй. Может, легче станет... Сама, что ль, не понимаешь: худо это все, Ксения, худо. Ты из больницы, а я... Идем же, идем! Час сидели да час стоим... Все звери видят.

— Звери не люди, пускай видят.

— Ох, худо, Ксения... Идем, провожу, небось на дороге не брошу.

Не выпуская Ксению из рук, Парфен легонько повернул ее и повел по лесной просеке к Синезеркам. У Ксении заплетались ноги, и одной рукой она держалась за поясницу Парфена, а другая рука ее болталась вялая. Голову Ксения по-прежнему клонила ему на грудь.

Они прошли так почти к полю, которое светлело за деревьями полукружьем в конце просеки. Тут Парфен и остановил Ксению, сам стал спиной к Синезеркам, а ее повернул туда лицом. Поправил на голове ее полушалок, пригладил вымокший от слез лисий воротник. Но Ксения стояла потупясь, не уходила.

— Поцеловал бы хоть... Чай, с тебя не убавится. Когда еще в лесу стренемся так?

— Узелок забыли! Там, на горке...

— Ой, лишеньки! А если кто сейчас идти будет?

Ксения еще говорила это, а Парфен уже мотнулся назад по просеке. Сначала шагал как можно шире, срываясь на прыжки, и под конец побежал. Он чувствовал, что уже далеко отбежал от Ксении, но и до солнечного пригорка, где остался ее узелок, еще немало было бежать. А не проскочил ли он впопыхах? Парфен вдруг вспомнил, что и его плащ из кожзаменителя остался там, на горке... «Ксения, Ксения! Отшибла ты у меня всю память! Раскис я от твоих слез. А чего было раскисать? Своя вон с пузом ходит... Ох, Ксения, Ксения! Доведешь ты меня до веселой жизни!»

У Парфена сразу отлегло от сердца, когда он увидел между толстоствольных сосен знакомый солнечный пригорок, а на нем Ксений узелок и свой плащ.

Возвращался к Ксении теперь не торопясь. Узелок был легонек, непривычен для мужских рук. Парфен нес его, держа на одном мизинце, стараясь прикинуть, что в него завернуто. Женские тряпки, конечно. Что еще можно нести из больницы?

Ксения там же и стояла, где он ее оставил, одинокая на краю леса, лишь развернулась спиной к Синезеркам. Она не двинулась с места, не обрадовалась ему.

Парфен на расстоянии вытянутой руки подал Ксении узелок. Когда она приняла его, отшагнул задом от нее — не подошел ближе. Это чтобы не задерживаться больше. Ксения все поняла, но ничего не сказала, все чего-то ждала.

Парфен еще на шаг отступил от нее, проговорил сумно:

— Ну, Ксения, живи...

Но и после этого она еще с минуту постояла с узелком в руке, потом повернулась и медленно-медленно пошла в свою сторону.

Парфен, отойдя немного, остановился, поглядел ей вслед. Просека к полю выскакивала в горку, и Ксения все вырастала и вырастала на фоне светлевшей за лесом полосы неба. Когда она зашла за последние стволы сосен на границе с полем, он повернулся и пошел в глубь леса.

Солнце пряталось за огороды окраинной улицы, когда Парфен вышел из лесу. К дому подошел с задов, по меже. И сегодня он возвращался домой поздно. Никакие сэкономленные минуты его не спасали.

Усадьбу почти сплошь затопила вода, а там, где земля и вобрала лужи, оставалась вязкая пленка ила; ступи — и влипнешь по щиколотки. Солнце грело сегодня весь день, и ноздри щекотал парной запах прелой картофельной ботвы и неперегнившего навоза. Недели две такого тепла — и можно сажать картошку...

Двор Парфен прошел не останавливаясь, вытер возле крыльца о деревянную решетку ноги и вошел в хату.

Жена за кухонным столом помогала Наде решать задачку. Она даже не взглянула на мужа, хотя и видела, что он вернулся с работы, — первый признак того, что было уж тут ему авансом попреков. Вроде бы не заметила зятя и теща. Пришел — и черт с тобой, не шляйся до сих пор. Одна Любочка радостно выбежала навстречу отцу, обхватила руками его колени, провозгласила:

— Папка пришел!

— За сутки сыскался твой папка, — кольнула Эмма.

— Папка, а где твой мотоцикл? — спросила Любочка. — Где, папка? Я смотрела, смотрела в окно и не увидела.

— Сломался мой мотоцикл.

— Во, я так и знала, доездила! — Жена подняла голову и въелась взглядом в мужа. — Если бы ты по работам меньше ездил да берег, так и мотоцикл был бы как мотоцикл. Теперь, когда и надо куда, пешком иди.

— Где же ты его кинул? — поинтересовалась теща. — Может, прямо на дороге?

— Может, и на дороге. — Не так-то легко распалить Парфена. — К Мокею в двор закатил, не переживайте.

— И ты столько шел? — поразилась Эмма. — К вечеру только приперся?

— Я на совещании три часа отсидел.

Насчет трех часов Парфен приврал, приплюсовав сюда и то время, которое он провел в лесу с Ксенией.

— Ой, мамочки! Смотрите на моего мужа, каким он начальником стал! У него теперь ни семьи нет, никого нет. Неужели все начальники такие?

— Может, ты сначала поешь дашь?

— А ты много заработал? Сколько ты в этом месяце принес? Говорил, что премиальные будут. Где они, твои премиальные?

— План не выполнили. Вот наладим скоро...

— Наладите вы... И будете из месяца в месяц налаживать, на одном окладе сидеть.

— Не один я такой.

— А что мне до других? Мне чтоб мой муж хорош был. Не надо мне начальника, я за чинами не гонюсь. Я и слесарем была довольна: и получал больше, и вовремя домой приходил. А как мастером стал, так и куфайку ему не показывай и костюмы из шифоньера подавай. А спросил бы, заслужил ты? Домой вовремя пришел, о детях позаботился? Вот еще одно,—Эмма выставила перед мужем живот,—закричит скоро... Как жить будем?

Этим жена больше всего и сразила Парфена, согнула его в крюк. Хотел он разогнуться, боли душевной не выдать, а спина его снова — в крюк.

— Так что теперь? Уходить мне... Опять слесарем?

— А что тут такого? И уходи, пока совсем не увяз.

— Месяц проработал мастером — и назад? Как же я в глаза людям гляну?

— А так и глянешь, не помрешь от этого! На мастера уходил — в глаза им не глядел? А сейчас о глазах вспомнил!

— Ты, жена, не равняй. Не равняй хрен с редькой! Лучше скажи мне, ты что, в новый цех перешла?

— Перешла вот, у тебя не спросила! Ты когда на мастера шел, спросил у меня? Вот и я без мужа обошлась.

— Не баламуть, Эмма,—терпеливо продолжал Парфен.— С Софьей поругалась?

— Ты с Иваном поругался, а мне что? Я тебя предупреждала: друзья — враги и жены их — враги.

— Ясно. Так и быть, проживем без них. Но нам-то с тобой чего ругаться?

— А то, скажешь, не из-за чего? Жили спокойно, горя не знали, так началось!

— Вы дадите мне сегодня поесть?

Парфен уже строго посмотрел сначала на жену, потом на тещу.

Эмма собрала со стола листки, на которых решала Наде задачку, сказала:

— Идем, дочь, в ту хату. Пускай он тут разоряется.

Парфен и тут стерпел, тем более что Устиновна — теща, а не жена! — все же двинулась к печке, достала кастрюлю с борщом. Молча подала зятю ложку и хлеб ненарезанный: нарежай, мол, сам. И вышла из комнаты, чтобы не глядеть, как он будет есть. Тоже сердита не меньше Эммы.

Парфен перекусил в полном одиночестве, взял справочник мастера, блокнот, в который записывал, сколько кто выработал за смену, и полез на лежанку. Не заметил, как и уснул на ней. Проснулся под утро, сразу же разобрал, где лежит. Не разбудили, значит, вчера, чтобы перешел, лег по-нормальному хотя бы на диване, если уж кровати он у жены не заслужил.

И Эмма, и теща, и дети еще спали: темно в такую рань. А при закрытых ставнях вдвое темнее в хате. Приподнимись, погляди на часы, закрывай глаза — и на другой бок.

Парфен убрал из-под головы справочник мастера, который намял ему шею, сунул его за спину, к стенке, чтобы не упал на пол. Подложил под щеку кулак и так протянул до половины седьмого, когда надо было, хочешь не хочешь, вставать и ехать на смену.

Из дому ушел — никто не видел. Даже теща не проснулась. Да Парфен и собирался, стараясь ничем не стукнуть. Вышел из хаты на цыпочках, осторожно прикрыл за собой дверь. Пускай спят. К нему такое отношение, и он забегать не намерен, раз так.

Днем в цех пришел Мокей Коломеев. Поздоровался с Парфеном, отвел его в сторону, полез в летник за «Шипкой». Закурил, выпустил дым. Говорить не спешил, чего это ему не сидится дома.

— Тебе одной смены мало? — пошутил Парфен.

— Ты сходи-ка сегодня к инженеру, голубь мой!

Мокею Коломееву было сейчас не до шуток.

— Чего? — посерьезнел Парфен.

— Пора бы самому подумать, не без головы ходишь. Видел: дом наши сдают?

— Видел. Ну и что?

— До тебя еще не дошло?

— Теперь дошло, Иваныч. Сдают, да не для нас.

— Не для нас, не для нас! А для кого же еще! Человек ты, фабрике нужный, подай заявление — не откажут. Сколько можно пешком ходить? Сутками дома не бывать? Чай, не холостяк, а женатый человек. Работа работой, а семья семьей. Народил детей — заботься. Поди, загрызли уже? От меня не скроешь, я все вижу! Сам в переплетах бывал, голубь мой! Так что иди, не раздумывай долго, лови момент. Инженер к тебе хорошо относится, закинет слово — считай, что ты в новой квартире.

— Не верю я в эту затею, Иваныч.

— Что ты, Тимофеич, за человек? Начал — не отступай. Иначе жизни тебе не будет ни в семье, ни тут. Вот так, голубь мой!

— Ладно, после смены схожу.

— Иди сейчас. Бросай все и иди. Пошли разом до конторы, чтоб я видел, что ты ходил к инженеру.

Расставаясь с Парфеном возле угла конторы, Мокей Коломеев попросил:

— Оставь в столе мастерской записочку, что он тебе скажет. Понял?

— Понял.

Дверь в кабинет главного инженера была открыта, и Парфен, набравшись смелости, вошел в нее.

Инженер выслушал его стоя.

— Ко мне и Мокей Иванович приходил утром, хлопотал за вас...

Задумался инженер, задал ему Парфен задачу.

— Хоть опять иди слесарем...

— Зачем же слесарем? Напишите заявление в фабком, дадим вам квартиру.

— Заявление написать, и все? — удивился Парфен, что это дело не такое уж сложное, как он думал. — И дадите?

— Ну, если вы не откажетесь, — усмехнулся инженер, — то дадим, конечно.

Ушел Парфен от инженера, спотыкаясь от радости. С месяц он еще помается — и прощай тещина халупа! Перевезет семью в Синезерки и... Выкинь из головы тот автобус вместе с Виталькой Анашкиным, дорогу ту трясучую, забывай ходить пехом, суши и ставь сапоги под лавку. Тут в туфельках по тротуару пробежал на фабрику и с фабрики — и хорош, чист как огурчик.

В конце смены Парфен написал заявление в фабком и понес Трушину. Тот, надев очки, прочитал его, уставился на Парфена.

— Не пойму, чего ты всем нравишься? Мокей спозаранку прибе-

жал, чуть ли не на колени упал. Василий Степанович только что звонил... А ты, Трушин, вертись как хочешь. Пятнадцать квартир, а заявлений вот сколько.— Он достал из стола скоросшиватель, взвесил на руке.— Кому надо дать, а кому отказать. Кому дал, тому Трушин милее отца родного, кому отказал, тому самый последний злодей. А где Трушин возьмет? Были бы у Трушина квартиры эти, ему их что, жалко? Для рабочего человека Трушину ничего не жалко...

Вот такой Трушин всегда: приходи к нему с чем-нибудь, пока все свои беды не выложит перед тобой, не поймешь, поможет он тебе или откажет. И уж тут лучше молчи, не спрашивай.

— Ну, чего стоишь глаза мозолишь? — вдруг ругнулся Трушин.— Иди в цех, твое дело решенное. Повезло тебе на защитников!

Парфен забежал в мастерскую, выдрал из блокнота листок, написал: «Все в порядке, Иваныч! Чтоб ты жив был сто лет!» Сунул эту записку в стол.

Сегодня он успел на фабричный автобус, хотя и задержался, как обычно, из-за сводки: Витальку Анашкина сменил Вася Антипов, вышедший на работу после болезни. И до чего же приятно было хоть раз за неделю вернуться домой вовремя, да еще с такой новостью! Квартиру! Ему дают квартиру!

С автобусной остановки Парфен пошел не огородами, как бывало, когда запаздывал, а через Дрындин переулок, чтобы все видеть. Чего ему прятаться? Сегодня он свят перед Эммой.

И то дурашливое, озорное, когда готов был петь и плясать при народе, снова нашло на Парфена. Однако улицу прошагал замкнутый, без особой радости здороваясь со всеми подряд: кого ни встретить — знакомые. Заулыбайся им — еще догадаются, отчего он такой счастливый, раньше времени разнесут, что в Синезерки переезжает. И так подошел к дому.

Возле ворот в песке ковырялась Любочка. Парфен подкрался к ней, прячась за толстый ствол липы.

— Вот я тебя и поймал!

Любочка засмеялась, побежала от отца—он часто играл с ней вот так, взапуски,—но тут же была поймана и подхвачена на руки.

— Ты хочешь в Синезерках жить?

— В Синезерках? Это далеко-далеко?

— Ну, когда переедем, будет близко. И тебе, и мне, всем! Не будет папка вставать рано, на автобусе ездить и с работы поздно приходить, с тобой будет больше играть. Так хочешь в Синезерки?

— Хочу.

— Скажи громче: хочешь?

— Хочу, папка, хочу! И ты меня на речку будешь брать?

— Буду.

— Хочу, хочу в Синезерки! Хочу, папка!

Когда, войдя во двор, Парфен опустил дочь на землю, она спросила:

— А скоро мы переедем в Синезерки?

— Скоро, доченька, скоро! Беги маме скажи.

Любочка побежала к крыльцу, радостно крича:

— Мама! Мамочка! Мы в Синезерки скоро переедем!

Из коридора выглянула Эмма, увидела мужа, рано сегодня вернувшегося с работы, удивилась:

— Что ты дитенку такое говоришь?

Парфен покладисто улыбнулся:

— Повтори, доченька, маме.

— Мы в Синезерках будем жить!

— Что, что?..

— Что слышала.— Все мягче, добрее становился Парфен.

— Глянь! Еще что придумал!

Эмма нашла себе занятие: Устиновна подавала из погреба в корбке картошку, она высыпала в коридоре на пол, разгребала руками и обрывала с каждого клубня ростки, белые, хрупкие и длинные, как водоросли, бросала их в помойное ведро.

— Чего это вы опять не поделили? — Теща высунула из погреба голову.

— Пусть он тебе сам скажет! — кивнула Эмма на мужа.

Парфен перестал улыбаться, бросил в угол плащ из кожзамени-теля, остановился в дверях, выжидающе помолчал.

— Квартиру мне в Синезерках дают.

— Какую квартиру, Парфен? Кто дает?

— Ну, какую? Кто... От фабрики, конечно, дают.

Устиновну как ветром выдуло из погреба.

— Ты не шутишь, зять?

— Какие шутки, мать? Заявление уже в фабком отнес.

Эмма растопырила перед мужем грязные руки — от картошки чистыми не будут.

— Ты долго думал?

— Скажите спасибо добрым людям, что подсказали да помогли.

— А эти люди пришли ко мне, спросили, нужна ли мне та квартира? И твоя голова где была? На плечах или...

— Это как же понимать, жена?

— Вот так и понимай! Больно грамотным у меня муж стал: собрался и понес в фабком заявление. Еще думает, что дома его с радостью встретят!

— Парфен, ты всегда делаешь так,— сменила жену теща,—никогда не посоветуешься, будто ты один в этой хате живешь.

— Любой бы и раздумывать не стал. Без советов ясно, а вы...

— Что мы? Что мы? — Устиновна задвигалась на табуретке, точно под нее вару подлили.— Ты хочешь, так едь! Жену, детей забирай и едь! А я туда не поеду! Куда я поеду от своей хаты? Да еще в ту, казенную... Здесь я детей всех повырастила, и своих и твоих вот... Теперь я, может, вам не нужна уже. Ну что ж, переходите, живите отдельно, а меня не трогайте. Я хоть последние годы посижу одна, отдохну от вас. А то Устиновна и утром встань, завтрак вам свари, на работу вас выпроводи, потом день детей ваших гляди. И хозяйство вон... Потаскай-ка такие чугуны кабану! И Устиновне честь такая...

— А я мать одну не брошу! — Эмма и про картошку забыла.— Да и что я буду в Синезерках делать?

— На работу пойдешь.

— Куда я там пойду?

— К нам на спичечную. Не волнуйся, найдем место.

— Мне и на мебельной хорошо. Я тут как дома, а там... Не хочу я вашей фабрики. А за детьми кто глядеть будет?

— Детсад на то есть.

— Детсад! Кому есть, а кому нет! Будешь полгода с заявлением ходить.

— Там детсад большой, это не здесь. Устроим.

— Нет, без матери я никуда не поеду. Да и в Синезерках тебе что, такую усадьбу дадут, сад, сарай? Кабана будешь держать? Слепят из досок дровяник — это и все тебе. Мотоцикл твой некуда будет

приткнуть. А про усадьбу забывай, ни картошки посадить, ни луку, ни помидора, ни огурца посеять. Будешь жить с одной зарплаты: и поесть купи, и одеться, да еще за квартиру плати. А велика твоя зарплата? Только счет тот, что на повышение пошел! О Синезерках я и слышать не хочу! Иди завтра заberi свое заявление назад.

— Да что вы! — Парфен густо засопел, потер спину о дверной косяк, чего-то она вдруг зачесалась.— Обо мне вы подумали? Ну, ответьте, подумали? Мне-то куда теперь деваться?

— Я хочу в Синезерки! — плаксиво протянула Любочка, цепляясь за отцовы штаны.— В Синезерки хочу!

— Я покажу тебе Синезерки! — Эмма схватила ее за руку, оттащила от отца.

— Не трогай меня, иди! Плохая мамка! Я с папкой в Синезерки хочу! В Синезерки!

Эмма уже обеими руками сгребла дочь и втокнула в комнату, захлопнула за ней дверь. Любочкин рев хотя и был этим приглушен, но только не убавился, а разлился новым разголосоьем.

— Ты рук-то не распускай! — сдерживая сопенье, выпрямился Парфен.— Не распускай рук на ребенка! Нечего на ребенке зло сгнать! Ребенок тут ни при чем!

— Ты уж больно хороший батька! Сдурил дитя и лыбишься! Но мы тебе не дети, нас не обдуришь! Распоряжаться, как тебе вздумается, в нашем доме не дадим!

— Значит, это только ваш дом? Это все, значит, ваше, а моего тут ничего нет? Столько лет работаю — и ничего моего не видно? Чего молчите? Отвечайте!

Парфен двинул ногой помойное ведро с картофельными ростками, засопел уже во всю мочь.

— Ну!

Мать с дочерью прикусили языки, притихли.

— И это не мое? — Парфен ударил носком сапога в стенку коридора.— И крыша, может, не моя? И подруб вашей халупе не я дал? И ворота не я поставил? И сад посадил, обгородил кругом не я? И сарай вы подремонтировали, да? И... Тряпок себе накупляли не на мою зарплату? И ели, пили... И кабана за одни свои выкармливаете? А Парфен вам ничего в дом не принес?.. А, молчите! Так пропади оно тут все пропадом!..

Парфен вдруг увидел под лавкой топор, схватил его и саданул им в стенку коридора с такой силой, что тот проломил доску и вылетел на грядку.

— И кабана пристрелю!

Он кинулся в комнату за ружьем, протопал с ним назад по коридору.

— Парфенчик! — простонала Устиновна.— Опомнись, что ты делаешь! Парфе-ен!

Она упала с табуретки к ногам зятя, уцепилась за голенища сапог. Парфен, бледный, раздувая ноздри и храпя, остановился, приподняв над головой ружье.

— Я покажу вам и слесаря и мастера!.. И новую квартиру, и ваш дом, и усадьбу, и все ваше хозяйство! — проговорил он слабым голосом.

— Ой-ей-ей! Что же это делается на белом свете! — причитала Устиновна, отползая от сапог зятя.— Не было горя, так вот оно пришло! И откуда оно свалилось на нашу голову? Как хорошо жили, все соседи завидовали, а теперь что скажут о нас люди? Сдурил Парфен,

и все. И что его сдурило, сама в толк не возьму. Уж как я ни угождала — и вот на тебе...

Парфен заметил, что и жена плакала, но беззвучно, притулив содрогавшийся живот к подоконнику.

У Парфена медленно и туго сжалось сердце. Он тихо поставил ружье в угол, взял не глядя за что попало плащ из кожаного материала и, волоча его по земле, пошел к калитке.

Лишь на улице Парфена из жара бросило в холод. Он накинул на плечи плащ и двинулся дальше, еще не зная куда. Возле первого угла остановился, взгляделся в конец улицы, где жили старики, отец и мать. Давно он не заглядывал к ним: замотался он с этим мастеровым...

Чем ближе подходил Парфен к той развалюшке, в которой родился и вырос, тем спокойнее становилось у него на душе. Казалось, ничего такого с ним сейчас не случилось, не хватался он за ружье, а было это с кем-то другим, не с ним, и очень давно. Успокаивало глубинное ощущение того, что произошло что-то нужное, неизбежное. «Кончились твои шутки, Парфен!» — вспомнил он слова Аристарха Гребенникова.

Тихонько открыл перекосившуюся калитку, так же тихонько, стараясь не стукнуть заржавленной щеколдой, закрыл ее и, пригнув голову, чтобы родители не заметили, проскочил под окошком к сенцам.

— Крадись, крадись! Вот я тебя... — остановил его из-за дверей голос отца. — Думаешь, мы сидим в хате, не видим и не слышим!

Отец, юркий, смешливый старичок, тут как тут стоял на пороге, приветливо улыбался.

Мать Парфен увидел в сумрачной глубине кухоньки за столом, придвинутым к стене. Уже больше двух лет она не становилась на ноги, но оперлась об угол стола, попробовала чуть ли не со слезами подняться навстречу сыну.

— Ну, чего ты встаешь? — Парфен поспешил к матери, усадил ее за плечи на место. — Сиди, не рыпайся. У самого небось ноги есть, подойду. — И подбадривающе спросил: — Ну как, мамуля, живешь?

Мать посмотрела на сына мокрыми, светящимися глазами, улыбнулась кротко и немощно — спрашивай у хворого здоровья.

— Батя-то еще ничего вон! — подморгнул Парфен отцу, который не сводил с него выжидательно-восторженного взгляда. — Молодец, батя! Главное — не унывать, остальное...

Это Парфен больше всего хотел сказать о себе: мол, я вот не унываю... Но вспомнил о скандале и, помрачнев, сел напротив матери с другого края стола. Оглядел знакомую до мелочей «келью». Что в ней могло измениться? Печка, две кровати допотопные, стол вот да старинный буфет с двумя выщербленными тарелками. Неживое ведь, само с места не сдвинется, истлеет здесь же, не вмешайся рука человека. И одежонка на родителях все та же, что пять лет назад, что десять. На отце ватная душегрейка, флотские штаны, которые Парфен подарил ему, когда вырвался на гражданку. Велики они старику, да приобтерлись за столько лет, в валенках — не длинные. В валенках отец всю зиму ходил, весну и даже лето прихватывал. Стариковские ноги — не молодые, мерзнут. На матери — стодавняя кофта, правда еще крепкая; на ногах тоже валенки, хоть и поношенные, но подшиты так, что комар носа не подточит, — батина работа. Только платье на старушке новое, Эмма подарила на Восьмое марта. На голове платок теплый, из чистой шерсти. Это уж его, Парфена, подарок.

— Вы не слышали, как ружье бабахнуло? — начал Парфен загадкой.

Родителям ли не знать своего сына? Главное, он не сразу скажет, а подведет к нему исподволь, обыграет другими словами, подсунет, что и не заметишь.

И стариков не испугал такой зачин.

— Нет, не слышали,— спокойно ответила мать.

— Как же вы сидите тут и не слышали? Такой звук был!

— Где? Далеко?

— У меня во дворе!

И этих слов еще не испугались старики. Но теперь прощупать сына взялся отец:

— Чего же оно бабахнуло?

— Висело, висело на стене и захотело бабахнуть.

— Но порох отсырел?

— Отсырел, батя.

Отец, довольный, крутнулся перед сыном: так, дескать, мы и догадывались!

— А могло бы и бабахнуть! — продолжал Парфен в обход.

Эти слова уже насторожили и мать и отца. Мать попыталась приподняться, да совладай ты с хворыми ногами. Отец посерьезнел, перестал маячить по комнате, присел на табуретку к печке, закурил.

— Ушел я от своих.

Сказав это, Парфен и сам только сейчас понял, что ушел. Не только на какой-то час или два, куда там успокоятся, а по-настоящему. Не вернется он домой ни сегодня, ни завтра.

В глазах у матери и тревога за сына и надежда. Надежда на то, что он это так говорит, пока не остыл, что через день-два все утрясется, уляжется. Мало ли чего в семье не бывает! Отец же глядел на сына с какой-то прикидкой, точно стрелок, высматривая дальнюю цель.

— У вас выпить нету? — вдруг спросил Парфен.

Родители переглянулись. Лучше отца на это никто не мог ответить:

— Как тебе сказать? Можно сказать, что есть, а можно сказать, что нету.

— И ты, батя, научился у меня загадками говорить?

— Ну, что коснительно того, у кого кто загадкам выучился, то родителю тут видней. Я вот раньше так у отца всякую мудрость перехватывал. Нешто теперь все наоборот? Ну, я, возможно, от ваших вопросов отстал, поучиться у вас есть чему. Да уж поздно мне у вас учиться, хотя коснительно того, что молодым нынче...

— Батя! — перебил его Парфен.— Так я все-таки не понял, есть у тебя выпить? Я выпить хочу. Понимаешь, батя? Мне сейчас выпить надо!

— Оно если одним боком подумать, можно и выпить, а если другим подумать, можно и не выпить. Коснительно одного бока...

— Батя, ты мне прямо скажи: у тебя есть выпить? Если нет, то я в магазин сбегаяю.

— Можно бы и сбегать, кабы это утро. А коль уже вечер, то наш магазин закрылся, а до центру пока добежишь, и там закроется.

— Ну, хоть животовочка сохранилась?

— И животовочки никакой не выждалось. Ножная есть.

— Какая ножная?

— Мать ейной ноги растирает.

Парфен представил эту «ножную» — водку, в которую мать клала каштановый и липовый цвет,— поморщился.

— А то налить? От нее скорей полегчает.— И мать снова попыталась подняться.— Там мне еще хватит вытереться.

— Не-е... Это пусть тебе на лекарство. На нет и суда нет. Пере-терплю. Поесть тогда дайте. Только ты не вставай, ма, сиди. Мы тут с батей найдем твои горшки...

Парфен отхлебал несколько ложек ячневового супа, аппетитно проговорил:

— Я, значит, у вас спать буду. Не прогоните?

— Оно можно прогнать, а можно и не прогнать,— продолжал отец в своем духе.— Значит, можно тебя прогнать, а можно и не прогнать,— повторил он, видимо придумывая, как бы ему похитрее выразиться.— Ежели ты просто на нас страху нагнал, то можно и прогнать, а ежели у вас там что по-серьезному заклинило, то можно и не прогнать. От семьи уйти — не на гулянку сбежать.

— Суди, батя, сам: в Синезерках мне квартиру дают, а они в два голоса против! Теща, та еще не так, сама туда не хочет, но и меня здесь не держит. А Эмма... Не брошу одну мать — и весь довод, хоть ты режь ее. Ты ведь, батя, меня знаешь, на мне воду можно возить, если все по-хорошему. Но сегодня лопнуло терпенье!

— Ты, Парфен, моих кровей: долго тянешь, да резко рвешь. Я тебе, дураку, давно говорил: «Строй свою хату». Взясся бы, пособи-ли. Своя была бы, продал — и вся песня. А то чужая, сколько ни живи, сколько ни делай добра — все не в счет. Тещин корень нелегко вырвать. Что делать думаешь?

— Не знаю.

— Кто за тебя будет знать?

— Голова уже во, пухлая! Побуду завтра на работе, погляжу. Черт принес этого нового инженера!

— Ты инженера сюда не примешивай. Что коснительно его, то, может, он первый тебе жизнь дал.

— Какую жизнь, батя? Когда вся моя жизнь рушится!

— Этого ни ты, ни я еще не знаем, рушится она или только на-чинается.

— Хорошее же начало! Что дальше-то будет?

— Не горячись, Парфен, подумай. Подумай, там прояснится.

— Вот и ты говоришь: прояснится. Значит, тоже не знаешь, под-сказать ничего не можешь, а с меня спрашиваешь. Все перевер-нулось вверх тормашками, перепуталось, поди разберись! И это, батя, ты говоришь, жизнь?

— Что коснительно жизни, то ежели оно жить по-настоящему...

— Значит, это самое... Раньше я жил не по-настоящему? Восем-надцать лет жил не по-настоящему? Вся семья моя жила не по-на-стоящему?

— Ну, ежели ты к отцу кричать пришел, то у него уши не ка-зенные, крику не переносят.

— Извини, батя, извини... Но и ты хорош, объяснил, называется! Это, батя, не объяснение: по-настоящему — не по-настоящему. Кто мне скажет, когда я жил по-настоящему, а когда не по-настоящему?

— Тогда и не спрашивай.

— Тяжело, батя. Так тяжело, что все шутки пропали. Но я вот этим барометром,— Парфен стукнул кулаком в грудь,— чувствую, что и тогда я жил по-настоящему. Как жил, так, значит, и жил, иначе и не мог я жить, пока не пришло время на другой курс лечь. Но больно накладный этот курс получается.

— Ты деревья в лесу толстые валял?

— Ну, валял. С тобой же и валяли на подруб.

— А коснительно пня... К кольцам тем, которые, как кольцо, так дереву — год, присматривался?

— Ну, присматривался.

— Плохо присматривался! А на том пне толщина каждого кольца от середины к краю все меньше и меньше, а самого крайнего совсем с мышинный хвостик. Выходит, дереву с каждым годом на круг все труднее жилось. Ствол его все выше да толще просится, а соков не прибавляется, отстают соки-то от запросов. Вот и приходится дереву кольца сужать, чтоб свести концы с концами при новом-то охвате. Оно коснительно и человека...

— Ну, батя, не зря ты тут в душегрейке сидишь! Спасибо, вразумил. Теперь мне все ясно, как белым днем. Одного не усек: чего это человеку труднее должно становиться? Дереву — это понятно. Где оно выросло, там ему и помирать. Плохо ему или хорошо, на другое место не перебежишь, соков у соседей не займешь. Дерево и есть дерево. А человеку-то чего?

— Тут я тебе не указ. У тебя мозги помоложе моих, сам соображай. Домой-то пойдешь?

— Не пойду. Все, отрезал. Не хотят в Синезерки — не надо. Получу квартиру, один буду жить. Любочку жалко... И в Эммином животе неизвестно кто сидит...

Парфен разворошил подушки на кровати, на которой спал до армии и после армии, пока не женился. На ней и валяться ему до утра кум-королем, не рядом с Эммой.

— А если придут спрашивать?

О чем еще матери волноваться? Это уж ночь проворочается, провздыхает, не разуверь ее.

— Не придут. Разбуди меня, ма, завтра в полседьмого.

От тещи до фабричного автобуса Парфен вразвалочку за десять минут доходил, а от родителей и за двадцать не добежишь. Подхватился на час раньше, позавтракал горяченьким картофельным супцем. Он-то еще дрыхнул, а мать уже сварила на керогазе, пока не будила сына, жалела. В дорогу завернула ему кусок хлеба, старого, пожелтевшего сала, парочку вареных яиц.

Не лежалось и отцу. Парфен перекинулся с ним словом:

— Чего, батя, встал? Тебе ведь не на работу. Ты свое отработал с лихвой. Спи еще.

— Какой уж наш, стариковский, сон?

Не поленился, Парфена до калитки проводил. Вскинул заросший седой щетиной подбородок в сторону невесткиного дома:

— Что коснительно их, то гляди, сын, не давайся им в руки. Как наметил — держи. Хоть на шаг уступишь — добру не быть. Только нехорошо это от жены бегать, когда она с пузом-то! Ох, нехорошо!

А мать раздвинула на окнах цветы в горшках, приплюснула лицо к запотевшему стеклу — тоже провожала сына. Не хочешь, да побейшишь со двора от такого материнского провожанья. Кабы ноги держали, усидела бы она в хате?

И спешил Парфен, а все равно запоздал — отвык от родительского дома, не рассчитал вовремя к ожидалке выскочить. Автобус трогался, когда он выглянул из Дрындина переулка. Впрыгнул на ходу — Вася Антипин попридержал машину, потом уж дал газу.

На заднем сиденье не сидел никто — только оно и было свободно. Туда-то и пролез Парфен, но прежде всего обходительно поздоро-

вался со станочницами. Те ответили недружно, вразнобой, как бы с сочувствием. Знают, что вчера погонял своих. Кто-то разнес уже. Не Фаина? Ага, не выдержала взгляда, отвернулась к окну, будто бы увидела обочь дороги что-то интересное. Она и разнесла всем, слыхала, конечно, крик. Теперь будет на всю фабрику разговоров.

Так, наособицу от всех, Парфен и приехал на работу. От такой жизни нехотя заскучаешь, какое и было желанье — пропадет. Как подневольный вошел в мастерскую. В столе лежала ответная записка Мокея Коломеева: «Радоваться будешь, когда на новоселье позовешь».

Парфену вдруг снова захотелось выпить. Не выпил вчера, думал, пройдет, да нет, тянет за душу. А то, глядишь, и переживаний бы меньше. Хватит ли терпенья до конца смены? Пойти бы развеяться в цех, слесарню. Как увидишь гоп-компанию, любая беда — не беда.

Но уж очень странно сегодня все себя вели. Аристарх Гребенников сел вон на пол посреди слесарни, по-турецки подобрал под себя ноги, положил меж колен фуражку, как будто просил, чтобы кинули копеечку. Жорка Матвеев и Филимон Меньшиков забились, как мыши, под верстаки. Отчего повесили носы, непонятно. Сенька Шадрин и Порфирий Плутархов спина к спине оседлали ящик из-под парафина, тоже у обоих мрачные физиономии. Один Глеб Пшеник расхаживал по слесарне, как надзиратель, ухмылялся.

— Чего это вы понадулись? — спросил Парфен.

— Сидячий траур! — съехидничал Кершанок.

— Ты тож сядь, — строго глянул Сенька Шадрин. — У нас закон для всех единый. Исполни!

— Выпендриваются, сами не знают чего!

— А ну сядь! Кому сказано?

— Да пошел ты...

— Аристарх, меня оскорбляют.

— Сейчас, шеф.

Аристарх Гребенников, сидя на полу, развернулся к Глебу Кершанку.

— Жорка, оттяни! — попросил он отвести его руку, чтобы с силой ударить обидчика по ягодицам.

Пока Жорка Матвеев размышлял, Глеб Кершанок отбежал от Аристарха Гребенникова, ощерился:

— Тоже мне деятель нашелся!

— За неподчинение коллективу полагается взгреть, — Сенька Шадрин встал с ящика. — Все мероприятие сорвал, гад!

Ответит ли кто-нибудь Парфену, что они не поделили?

— Я же сказал: объявили сидячий траур! — Глебу Кершанку не терпелось еще раз съязвить.

— По ком траур?

— По случаю безвременной кончины твоего свинства!

Ясно, какое свинство Глеб Кершанок имел в виду — кабана, которого Парфен вчера чуть не застрелил из ружья.

— Сволочь! — громко, как в микрофон, проговорил Аристарх Гребенников. — Евгения твоя сволочь, и ты сволочь. У человека жизнь под откос пошла, а ты... Уйди с моих глаз!

— Ну что вы, ребята! — Парфен стал между Аристархом Гребенниковым и Кершанком. — С чего вы взяли, что моя жизнь под откос пошла?

— Чего уж там храбриться! — вмешался Сенька Шадрин. — Будто мы не понимаем! У нас самих бабы... вот тут сидят! Такой хомут, что все время трет, а сбросить нельзя!

— Значит, и вы уже все знаете?

— Бафтасс сообщило!..

В самом деле, где бы чего-нибудь, хоть вина какого, выпить?

Кое-как Парфен отмучился полсмены, в обеденный перерыв побежал в фабричную столовку. Подсунулся к Клаве пасмурный, без шутки, и та удивленно изогнула выщипанные брови. Но в чужую душу лезть не стала, налила ему пожирнее борща: ешь, мол, нагоняй аппетит. Может, такой голодный, что не до шуток с поварихой. А поешь, размякнешь, добрее станешь.

Хоть эта еще не знает, а то бы, пока все не расспросила, поесть бы не дала. Любопытна Клава до жути. Тяжело жить в таком месте: куда ни покажись, везде тебя знают, каждый встречный и поперечный. Любая твоя болячка у всех как бельмо на глазу.

Парфен с неохотой, но все же добрал борщ до дна, когда в столовку вошел Валентин Маркелов. Он сразу нацелился к Парфену, как будто знал, что только здесь и найдет его. Совестьливо поздоровался, присел на свободный стул, не прикасаясь к столу. Безмолвно поморгал глазами.

— Ты, наверное, меня уже клянешь за долг?

Не заговори с ним Парфен, Валентину первому не открыть бы рта.

— Мне не к спеху.

— Да?

— То бы истратил, а так... Как в той сберкассе.

— Все равно неудобно. Обещал сразу отдать, а получилось...

— Ты приходи ко мне после смены.

— Чего?

— Поможешь свинью зарезать. Я все приготовил: и бензин и паяльную лампу. Ксения воды нагрела... Придешь?

— Ты же знаешь, для тебя я все сделаю.

— Ну так я пойду.— У Валентина как с плеч гора свалилась.— В магазин за солью еще надо сбегать. Соли дома мало...

Сегодня после смены выдавали зарплату. Получил и Парфен свои шестьдесят семь с копейками. Как-никак, а с получкой в кармане откуда и силы в теле берутся. Выскочил Парфен из конторы, как молодой рысак, и поспешил, как бывало, с этими рублями домой. Но тут в голову щелкнуло: куда он так разогнался? Нет у него дома... И то не дом, что еще будет. Вовремя позвал его Валентин на свеженину, так вовремя! Заодно и долг ему можно отдать. Тянулось, тянулось с этим долгом, пока само не напросилось.

Валентин Маркелов жил дальше всех от фабрики, возле леса, желтоствольного бора на южной окраине Синезерок. Берегом реки проскочить — прямее дороги не выберешь. Минут через двадцать, если время не терять, будешь в гостях. На какую-то минуту Парфен отлучился в «Бабы слезы» — купил триста граммов «Тузика» для Валентиновых пацанов — Олежки-пузатика и Владислава. От водки, что буфетчица Груня наливала грузчикам товарной станции, отвернулся: у Валентина ждало дело.

К дому бывшего друга Парфен подошел крадучись, точно выслеживая зверя. Остановился под окнами, прислушался: все вроде бы тихо. Открыл калитку и так застрял в ней: к крыльцу от сарая деловито спешила с пустым тазиком в руке Ксения. Слово бы споткнулась на бегу и она, увидев в калитке такого гостя. Знала, что придет, а оторопела, екнуло ее сердечко.

— С прибылью тебя, хозяйшка!

— Проходи, не стой в калитке. Валентин в хате,— замкнуто проговорила Ксения; этого Парфен не ожидал.— Я вот молодому кабанчику вынесла, а свинью с утра не кормлю, чтоб очистилась.

— Когда это вы успели молодым кабаном обзавестись? — Парфен обрадовался, что нашлось, о чем продолжить разговор.

— Оцоздал спрашивать! Мы еще в марте купили трехнедельного. С Валентином в Гомель ездили. Сорок пять рублей отдали за такую малютку, а надо. Свинью под нож, а кабанчик пусть растет. К покро-ву опять сало.

Парфен хотел пожаловаться, что вот он этой весной кабанчика не купил на смену — выбились из денег при теперешней его зарплате. Но вспомнил вчерашний скандал, и язык не повернулся. Молча взошел по ступенькам вслед за Ксенией на крыльцо.

Валентин еще в окно увидел его, встретил у порога, держа в одной руке финский нож, в другой — точильный брусок.

— Так-то ты старых друзей встречаешь: холодным оружием! — Трудно ли Парфену перестроиться на шуточный лад.

Но Валентина шутка не загля. Он лишь жалко улыбнулся: дескать, вот приготавливаю на свинью...

— Покажи.

Валентин послушно отдал Парфену нож. Стыдливо притих, когда тот попробовал пальцем лезвие. Ждал — забракует. И Парфен действительно забраковал:

— Твоим ножом только мышей колоть.

Как бы скромничая, вынул из-за голенища сапога свое изделие из обломка старинной сабли — сверкающий сталью кинжал, который сегодня доделал на фабрике. Слегка подкинул на ладони, тут же поймал за наборную ручку. Собирался на своем кабане обновить, да вот...

Парфен сунул кинжал обратно за голенище, достал из кармана кулек с конфетами, оглядел комнату.

— Где это ваши оторвиловцы?

Ни Валентин, ни Ксения не успели ответить, как со стуком распахнулась калитка, по двору пробежали Олежка-пузатик и Владислав, влетели в хату.

— Легки вы на конфетки! — оттаяла Ксения, глянула сначала на того, кто угощал, затем на сыновей.

— А мы дядю Парфена еще возле речки увидели! — обрадованно сообщил Олежка-пузатик.

— И от самой речки бегом бежали?

— Ыгы.

Парфен, улыбаясь, протянул ему кулек с конфетами, сказал:

— Сами поделите.

«Оторвиловцы» с радостным согласием кивнули, ухватились за гостинец.

— А что надо дяде Парфену сказать? — напомнила им Ксения.

— Спасибо! — в один голос поблагодарили «оторвиловцы».

— Счастливая ты, Ксения! — Парфен с нескрываемой завистью посмотрел на мальчиков.

— Не одна я... — смутилась Ксения, вспомнив о муже, который стоял рядом незамеченный.

— Теперь вам дочь надо.

Валентин просветленно улыбнулся, но по Ксении Парфен заметил, что такое пожелание больно задело ее. Она согнулась у печки, обособилась от мужчин,— понял Парфен что к чему, не без головы. Он тотчас подумал про свою жену, про того, кого она носит в животе, вспомнил ее обезображенное беременностью лицо, ее плач, при-

туленный к подоконнику дрожащий живот. И сам содрогнулся от душевной боли. «Не знаю, обрадует меня Эмма или...» — было решил он поделиться с Маркеловыми самым сокровенным, но воздержался, сказал Валентину:

— Так у тебя все готово?

— На вот, смени.— Тот бросил ему поношенные штаны и пиджак.

Парфен переоделся в эту одежду. Валентиновы штаны пришлось ему чуть пониже колен, рукава пиджака едва закрывали локти. Разбойник с большой дороги — и только! Показался перед хозяином:

— Давай ружье!

Валентин снял со стены одностволку.

— Пулю хорошо зарядил?

По глазам Валентина Парфен понял — надежно.

Ксения осталась в хате, чтобы и не видеть и не слышать, как Парфен сначала выстрелит в свинью возле уха, потом ткнет кинжалом под левую лопатку, спустит в миску кровь. На то она и женщина, сердцем жалостливая. А мужчины пошли в сарай. Это дело их рук не минет.

Через пять минут свинья была готова к смолению. Валентин вынес во двор паяльную лампу. Тогда вышла и Ксения посмотреть на результаты. Прикрикнула на детей, которые высунулись на крыльцо.

Парфен за свой век разделал не одного кабана, и спустя какой-нибудь час свинью Маркеловых осталось только перенести со двора в сени.

Ксения знающе подала Парфену два полотенца. Одним из них Парфен перехватил тушу спереди, другим сзади. На себя взял груз побольше — спереди, а Валентин с Ксенией — сзади, поделив концы полотенца. Втащили прибыль в сени, взвалили на вымытую лавку.

— Пудов семь будет,— определил Парфен.— Нежирно.

— Не загуляла бы она...— вздохнул Валентин.— Из-за этого мы и поторопились, пуда два сбросила... Да и Ксению подержать надо. Из больницы пришла чуть живая, жиров хватились — нет.

У Ксении гудела от пламени печка. На сковородке шипело и брызгалось: хозяйка жарила на свежем сале свиную печенку и легкое. Заранее выставила на стол пол-литра водки, пока управлялась с закуской. Валентин принес из погреба квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров. Нарезал хлеба, достал из буфета три стограммовых стаканчика. Ксения дожарила свеженину, поставила кипящую сковороду посреди стола на фанерный кружок.

Парфену Валентин предложил сесть на мягкий диван. Чтобы не было низко, кинул ему с кровати подушку — подкладывай под зад, не жалея. Сам сел на стул. На стул села и Ксения, поближе к проходу — еще не раз она встанет, присмотрит за печкой, добавит мужчинам закуски. Посадили к столу и детей, но дали им есть отдельно от взрослых.

Валентин по праву хозяина открыл бутылку водки, налил всем по стаканчику. Предложил тост:

— Ну, за удачу!

— Хоть и неважная свинья, а пускай будет не последняя,— подержала Ксения мужа.

Она медлила с выпивкой, а Парфен и Валентин выпили сразу, молча заели жареной печенкой. Были те минуты застоля, когда требовался второй, третий стаканчик. Но Валентин не спешил наливать. И это тогда, когда Парфену не терпелось опьянеть. Вчера и весь день сегодня он только и мечтал об этом. Набираются же другие, и без особой на то причины. А ему сам бог велел после того, что случилось... Говорят, что легче становится, какое ни горе — не горе. Мо-

жет, врут, может, это брехня самая настоящая. Сам не попробуешь — с чужих слов ума не наживешь.

Валентин затыкнул и с третьим стаканчиком. Но и от третьего Парфен ничего не почувствовал в голове. Наверное, закуска уж очень добрая, оттого и не берет водка. Под молчок добрали остальную. Парфен двинул руку в карман, где покоилась получка, выложил на стол пятерку. Валентин обиделся, заставил убрать деньги. Кивнул Ксения, и та мгновенно выставила из-за дивана вторую поллитровку.

— Пожарь еще печенки,— подсказал Валентин жене.

Не заметили за едой да за выпивкой, как и потемнело в окнах: в апреле не в июле, день еще короток. Ксения так и не взяла в рот больше стаканчика, уложила детей спать, снова присела к столу.

И с чего Парфен вдруг дал себе волю...

— Таким макаром, значит, я и живу теперь,— подытожил он свою жизнь.— Вот с чего началась эта канитель и к чему она привела. Как выпутаюсь, не знаю.

Валентин сочувственно налил ему стаканчик.

— Пей, если хочешь.

— А ты?

— Мне же в ночь на работу, а то бы... Такой случай.

Помолчали.

— Ружье-то было заряжено? — уточнил Валентин.

— Спроси ты у меня? Сгоряча схватил...

— А кабан большой?

— Большой. Твоих свиньи две надо.

Парфен был уже хорош, помлели его руки и ноги, сладковатым связало во рту. В голове творилось то, чего он и добивался,— медленно, кругообразно переворачивалось сначала в одну сторону, потом в другую, но легче от этого ему не становилось. Значит, врут, что водка горе, как вода пожар, заливает. Разве что делает она таким, что хоть веревки из тебя вей, на все сейчас согласишься. Влипнешь еще больше в неприятности, опомнишься, да поздно будет.

Парфен покрутил головой, враждебно уставился на то, что осталось на дне зеленоватой бутылки.

— Не поняли тебя дома,— не то спрашивая, не то утверждая, проговорил Валентин.

— Детей жалко.— Парфен подергал себя за чуб, словно выдирая с корнями то, что недообрезал Модист.— Если бы знал, кто у нее в животе сидит...

Парфен недоговорил, а Ксения, опасаясь выдать себя, тихо встала из-за стола, отошла к печке.

— Глади на работу не опоздай,— напомнила она мужу, кивнув на ходики.

Валентин молча выбрался из-за стола, пошел к телогрейке, которая висела у порога. Вслед за ним попытался подняться с подушки и Парфен. Едва оторвал тело от нагретого места, пошатнулся, обмакнув руки в сковородку со свежениной.

— А ты куда? — остановил его Валентин.

— Пойду... Может, кто-нибудь пустит на ночь. А нет, сейчас и на лавочке переспать можно. Передавали: двадцать градусов тепла ожидается. А у меня своих, считай, тридцать семь да в водке сорок!

— А диван этот на что?

— Диван? Ну, диван пусть здесь стоит, а я лучше пойду... Да, чуть не забыл! Вот тебе долг... Извини, что затыкнул.— Парфен вытащил из кармана всю получку — ворох трояков и рублей, положил на стол.— Забери свои, а мне что останется.

Валентин нахмурился, поглядев на деньги.

- Ты долго думал? А сам на что жить будешь? Жена накормит?
- Как-нибудь проживу.
- Забери их и не показывай!

Валентин собрал деньги со стола, сунул назад Парфену, но тот снова положил их на стол.

— Мне драться с тобой некогда, — отойдя к порогу, проговорил Валентин. — Я пошел, а ты заваливайся на диван и храпи. Утром разберемся, кто сколько кому должен.

— Нет, и я с тобой!.. На работу! Я так хочу! Я там и спать буду в курилке... Дома все тещино да женкино! А моего у них ничего нет, я — примак! Я в примаках живу, понимаешь? Ты по двенадцать ведер воды в сутки носил? Не носил, потому что ты не у тещи живешь. У тебя своя хата, а у меня нет своей хаты и никогда не было... Я без хаты живу!

Парфен попытался шагнуть за Валентином, но не устоял на онемевших ногах и завалился поперек дивана. Лежа с помрачением в голове, он еще уловил, как Валентин негромко сказал Ксении, чтобы она позаботилась о друге, как та затаенно промолчала, стоя возле печки, как потом Валентин вышел из хаты, прошел двор, хлопнул калиткой.

Только после этого Ксения подошла к столу, аккуратно, бумажку к бумажке, сложила Парфеновы деньги, поглубже сунула ему в пиджак, который висел на стуле. Убрала со стола, осторожно заглянула Парфену в лицо. Потом стащила с него сапоги, размотала портянки, бережно приподняла и положила босые ноги на диван. Сапоги и портянки отнесла к печке на просушку, вернулась, пригасила свет и подсела бочком в изголовье гостя.

Хмель начал выходить из Парфена к утру. И только тогда он не совсем еще ясно осознал, что, кроме него, на диване лежит еще кто-то, тепло и вживчиво подкатясь под бок. И он машинально подвинулся к этому теплому и вживчивому телу, прошептал, не отрывая глаз:

— Эммик...

Но это тело тут же напряглось, медленно отодвинулось от него. Парфену сразу прорезало память, однако он не дернулся, не вскочил, а приоткрыл глаза, пригляделся сквозь ресницы.

— Ты, Ксения?

— Я, Парфенушка, я... Ой, лишеньки!

Она почти тут же сползла с дивана, задержалась на самом краешке.

— Как же это, Ксения?

— Да вот так, Парфенушка, так вот... Нешто нельзя?

— Перед Валентином-то как я...

— Тебе-то что об этом горевать? Ты мужчина, а я баба. Мне-то грех какой! Это я грешница, прости меня, мама родная... Не мил он мне, Парфенушка, не мил. Погляжу на него — и жалко, что он такой. Куда пойдет, что без меня будет делать? Да и взял он меня с двумя голопузыми, век я должна его благодарить. А не лежит мое сердечко к нему, что хошь делай. Изболелось оно, истосковалось...

Ксения уже смелее подобралась к Парфену под бок, мокрым от слез лицом ткнулась ему в ключицу.

— Всю ноченьку промаялась я, на тебя гляючи... Мне и так с тобой хорошо, счастьешко ты мое глупое. Ну, кто тебя еще так пожалеет, приласкает, обогреет так?.. Я, как узнала, что ты от своих ушел, плакала и с горя и с радости. Как чуяло мое сердечко, так все и вышло. Невезучий ты, Парфен, невезучий. Я как баба скажу тебе

правду: хорошим мужикам всегда плохие жены достаются. Мне бы тебя, Парфенушка...

— Что ты говоришь, Ксения? У тебя своя семья вон — Валентин, дети... Да и я небось не разведенный еще...

— Ну и что, Парфенушка? Ну и что тут такого? Неразведенный ты, так можно и разведенным стать. Ради тебя я на все пойду: и Валентину скажу, всем скажу!.. Я посмотрела, как ты вчера моим голышам конфеток дал, так моя душа вся от счастья и зашлась... Уйди от них совсем, уйди, Парфенушка! Не будет тебе жизни... Я тебе еще десять сыновей рожу. Разве я не вижу, как ты на каждого голопузого смотришь, вот так взял бы и своим сделал...

— погоди ты, Ксения, погоди! Не вали все одним кулем. Я и сам сейчас запутался, да ты еще меня путаешь.

— Что ты, Парфенушка, что ты! Я, наоборот, распутать хочу! Не будет тебе жизни, не будет!

— Почему ты знаешь?

— Знаю, Парфенушка, знаю! На то я женщина. Я два раза повидала твою Эмму и уже тогда подумала...

— Это ты брось, Ксения! Я вон сколько с ней прожил и того не знаю, что ты знаешь.

— Мне сердце подсказывает, а бабье сердце никогда не обманывает.

— Нужон я тебе такой...

— Нужон, Парфенушка, нужон! Ты мне всяк люб будешь. Мне от тебя ничегошеньки не надо. А там тебя заедят за ту несчастную десятку, заедят, миленький. Вспомнишь меня: сделают они тебе так, что не получишь ты ни квартиры, ничего. Бросишь ты эту фабрику и уедешь куда глаза глядят.

— Ты не вещуй мне, Ксения! Не вещуй! Я этого не хочу. Мне, Ксения, с этой фабрики никуда хода нет.

— Ой, не говори! Доведут, что плюнешь на все и... Они твоего позора хотят. Вернешься ты в свою курилку.

— Не наговаривай, Ксения, не наговаривай. Назад мне тоже хода нет. На все решусь, но не отступлюсь. Я теперь соображать начинаю! Ты мне мысль подала, Ксения!

Парфен стиснул ее пониже груди, так что хрустнули ее бедные косточки. Ксения поняла это как ласку и потянулась к нему с ответной лаской. Он не отстранился, будто не заметил этого, занятый своими мыслями.

— Мне теперь, Ксения, все ясно. Мне давно надо было напиться да другими глазами на это дело посмотреть. Вовремя ты подкатилась мне под бок, Ксения, ох вовремя!

— Я так рада, Парфенушка! Что ты скажешь, я все для тебя сделаю, ни одним словечком не попрекну. Захотел ты работать мастером — работай, захочешь инженером стать — становись. Последнее выложу и отдам, только бы ты добился своего. А что, Парфенушка, тебе и в институт поступать не поздно. Другие же учатся заочно и в сорок и в пятьдесят лет. А тебе же еще... Правда, золотце мое! Как-нибудь перемаялись бы. Не в одной зарплате счастье. Была бы душа цела, не тлела душа-то. Выбились бы, не пропали. У меня еще руки не отсохли. День и ночь буду работать, но тебя, Парфенушка, никому погубить не дам...

Ксения снова прилипла к Парфеновой ключице, заплакала теплыми, счастливыми слезами.

— погоди, Ксения, плакать-то. Надо с одним расправиться... Не торопись, Ксения, не торопись! Успеем еще, Ксения, успеем! Дай пошире-то оглядеться.

Парфен приподнялся на локтях, осуждающе поглядел на нее сверху.

— Все же нехорошо это, Ксения, лежим мы тут... Не муж ведь я тебе, а ты не жена мне.

— Жена, Парфенушка, жена! Я тебе еще лучше, чем жена, глупый ты мой! Что тебе я сделала? Я гляжу честно: коль люб ты мне, значит мой.

— Не твой я, Ксения, не твой.

— Камень ты, Парфен, камень!

— Нет, Ксения, не камень я, не камень. Я тоже гляжу честно. За совет, за ласку, за любовь твою спасибо, но выпусти ты меня отсюда, живым выпусти. Ты же видишь, что не камень, но стану камнем. Поверь мне, Ксения, стану, и тогда пеняй на себя: пропадет твоя любовь ни за что, я не гляну.

Ксения хотя и перестала ластиться, плакать, но не отстранилась от Парфена, лежала смолкшая, неподвижная.

— Утро уже,— проговорил Парфен жалким голосом.— Валентин скоро с работы придет. Да и мне на смену пора.

Ксения медленно сползла с дивана, разогнулась в измятом платье. Пошла к печке, принесла Парфену сапоги и портянки.

Пока он обувался, она зажгла в коридоре примус, разогрела сковородку со вчерашней печенкой и салом, поставила на стол.

— Спасибо, Ксения, не хочется что-то...— Парфен вышел на середину комнаты.— Мне только умыться, и я пойду.

Та подвела его к рукомойнику, как малое дитя, подала «земляничное» мыло, чистое полотенце. Когда Парфен умылся и вытер лицо, она взяла его за руку и повела к столу.

— Сядь, поешь. Голодным из хаты не выпущу.

И налила стаканчик водки.

Парфен подумал, сел за стол, выпил этот стаканчик, угрызнул разок теплой печенки, встал.

— Скажешь Валентину, что проспался к двенадцати и ушел.

— Найду что сказать, не переживай.

Ксения проводила Парфена до калитки. Холодно было от реки, сыро на темном дворе, загороженном от рассвета дремотным бором. И такой несчастной показалась дрожащая в одном платице Ксения, что Парфен вернулся из-за калитки, приподнял ее на руках и прижал к себе на весу.

— Где скитаться-то будешь?— спросила Ксения, когда Парфен снова вышел за калитку.— Аль домой вернешься? Раскаешься через день.

— Не-е, не раскаюсь.

— Приходи к нам, поживи— не прогоним.

— Не-е, у вас нельзя мне... Найду у кого-нибудь переспать. Перебьюсь как-нибудь, пока квартиру не получу. Не дадут люди на улице пропасть.

— Гляди. А нет, приходи, стучись хоть днем, хоть ночью.

— Спасибо, Ксения, добрая ты душа. А говорят, что бога нету. Послал же он мне тебя... Только где он раньше-то был?

— Это ты где был?

— Ну, то не то.— Парфен подумал о том, когда он впервые уловил на себе Ксенин взгляд, из-за которого порвал дружбу с Валентином. Еще раньше где он был?— Попалась бы ты мне сразу после флота, женился бы на тебе...

— Чего сейчас об этом говорить? Какой была, ту уж не воротишь. Сегодняшнюю гляди не упusti.

— Ну ладно, Ксения, я пошел.

Парфен уже далеко отмахал от дома Маркеловых, когда Ксения ушла за калитку. Как ни прикрывала она тихо, а лязг железной щекотды пол-улицы облетел: такая на рассвете тишина в Синезерках.

У моста Парфен повернул к реке, чтобы не встретиться с Валентином, вышел к фабрике с тыла. Из города только что пришел автобус с новой сменой, и он подождал за углом, пока последняя станочница скрылась в цехе. Только тогда он юркнул в проходную, а из проходной скорее в мастерскую. Но не проскочил и десяти шагов фабричного двора, как услышал сзади голос Ивана Колчина:

— Эй ты, беглец!

Вот уж кому не хотел Парфен попасться сейчас, так это Ивану. Но бежать от него было некуда.

Колчин подошел к нему так, как подходят к человеку, чтобы почувствовать его неприятностям.

— Ну, как живешь, кашляешь? — Иван протянул руку, точно говорил: «Видишь, я не Виталька Анашкин, не помню зла».

Парфен от руки не отказался — пожал ее, но без особого желания.

— Ну так как? — продолжал Иван.

— Что «как»?

— Я говорил...

— Что ты говорил?

— Не послушал меня, теперь вот...

— Что теперь?

— Ладно, хватит придуриваться! Что, попробовал другого хлеба, сладок?

— Я всего второй месяц работаю. Рано еще цыпят считать!

— Рано! За месяц семью разорил.

— Ты в мою семью не лезь! Какое тебе дело до моей семьи? Как-нибудь уж сам разберусь, разорил я ее или...

— Ну, извини, коль ты такой. Но из-за этого в семье-то все и пошло! Не полез бы ты в мастера... Постой, постой! Я тебе тогда как другу советовал, но ты же чужих людей послушал. Они про меня тебе наговорили, а ты и развесил уши. Тоже мне, друг называется!.. Постой, дай все скажу...

— Старая песня.

— Ты не торопись, выслушай!

— Скажешь, неправда?

— Ну, была у меня такая мысль: мастером поработать. Но я в другой цех просился. Люди недослышат, так добрешут!

— По-твоему, и инженер сбрыхал?

— Что инженер? Инженер... Он меня просто не понял.

— Люди набрехали, инженер не понял! Кончай, Иван, заливать. Говори, зачем я тебе нужен? Мне работать надо.

— Опять в бутылку полез! Говорю тебе, была у меня мысль, но не на твое место. Надеялся на нового инженера, думал, хорошего человека прислали, а присмотрелся... Лучше я слесарем останусь: и денег больше и спокойнее.

— А техникум?

— Что техникум? Техникум есть не просит. Пригодится еще...

— На пожарный случай?

— На пожарный.

— Ясно. Заливай дальше!

— Вот чудак, не верит! Меня в мастера и калачом не заманишь.

И тебе советую: уходи, пока не засосало. Главное в профессии вора, ты знаешь, — Иван улыбнулся, — это вовремя смыться!

— Для этого ты меня и остановил?

— Эмма просила поговорить с тобой.

— Эмма? — Парфен потер пальцами лоб: нашел, чем уколоть! —

А о чем нам говорить?

— Разве не о чем?

— А сама-то чего? Обошлась бы... без посыльных.

— Ты что же, хотел, чтобы она на второй день за тобой в Синезерки побежала? Да еще с этим... С пузом!

— И это все?

— В декрет со вчерашнего дня ушла. Не заладилось у нее что-то... Знал, знал Иван больное место!

— Сейчас Софья около нее ходит. Подруги ведь. Полаялись, полаялись и снова вместе. Это мы вот с тобой... Оба хороши! Ну, не об этом разговор. Просила передать, что плохо с ней... Поменьше бы ты за ружье хватался.

— Это уж ты врешь, Иван! По глазам твоим вижу: врешь! Ловко придумал: ружье! Разжалобить захотел? Ну, чего глазами лупаешь? Кто тебя научил, Эмма? Или теща? А может, Софья твоя? Сам-то ты не додумаешься до такого! Так вот передай им: пускай слабачков не ищут. Кончилась Парфенова доброта! Была, да вся вышла! Если Парфен нужен им, так пусть собирают лучше вещички да только кликнут — на такси прикачу, в один момент в новую квартиру перевезу. Пока они этого не надумают, и ноги моей там не будет.

— Ты все сказал?

— Все.

— Дурной и не лечишься! Я передал тебе как есть. А там дело твое. У самого голова на плечах, но чтобы потом не стонал. Набьешь себе шишек, только и всего. Ты как то теля: выпустили тебя на волю — побегаешь, побегаешь, побрыкаешься, и опять загонят на место.

— Кто это меня загонит? Ты, что ль?

— Зачем я? Посильнее есть.

— Кто же это такой силач нашелся?

— Тебе не подскажи — сам не догадаешься. Жизнь себе идет, как ей положено идти. И ты потихоньку с ней иди, не буянь шибко. Жил ведь ты так до этого? Чего выпирать? Природа, она такая, не любит неровностей. Она их сглаживает.

— Где ты таких слов нахватался, в техникуме?

— Допустим. Какая тебе разница? Ты вот тридцать шесть лет прожил, а в жизни не разобрался.

— Раз вот попробовал, так и то не даете!

— Гляди: одна попробовала — семерым заказала! Ну, ладно, я пошел: на автобус опоздаю. Подумай хорошенько! Помучился дурью, и хватит. Лучше курилки ты не найдешь!

— Сволочь подосланная!

Парфен сказал это негромко, уже идя в мастерскую.

В ящике стола лежала новая записка Мокея Коломеева: «Голубь мой! Все знаю, приходи — перекантуемся. Держи хвост писто-летом!»

Парфен дождался девяти утра, пришел в фабком к Трушину.

— Я тебе еще в тот раз сказал: твое дело решенное! — ответил председатель фабкома.

— А когда...

- Что «когда»?
- Когда дом сдадут?

Трушин трижды снял и трижды надел очки, всмотрелся в Парфена, словно в пришельца из другого мира.

— Ты же видел, что еще только штукатурят! К Первому мая взяли обязательство закончить, да, видно, и к концу лета не управятся.

Парфен так жалко сморщился, что Трушин растрогался:

— Рановато ты, браток, со своими поругался. Что теперь делать?

Терпи!

Парфен кое-как отработал смену, вышел за проходную, а идти-то ему и некуда. Вот, казалось бы, теперь свободный человек, а куда податься? Можно пойти сейчас куда угодно, просто в лес, просто на речку, просто постоять или посидеть возле чьего-нибудь дома, а то прилечь на сухом берегу, поплевать в небо. А можно заглянуть к кому-нибудь из слесарей, тут же будет тебе бутылка — гуляй себе. Не хочешь к слесарям, иди в «Бабы слезы», не водки, так пива выпей. Кто возразит? Вольный казак!

И Парфен без всякой цели пошел по тротуару, который вымостили пенсионеры. Потом свернул в песчаный переулочек, вышел к реке, постоял над обрывом, действительно поплевал, но не в небо, а в мутный водоворот. Разлив еще не отхлынул, далеко меж островков сосняка поблескивала вода. За мостом, где ежегодно на Первое мая устраивали массовки, она залила и дубовую рощу. Ветер раскачивал деревья, и тени от ветвей переламывались на волнах, точно там кишели змеи.

Парфен пошел дальше берегом реки и сам того не заметил, как вышел к дому Маркеловых. Оторопел от мысли, что мог нарваться на Валентина, и быстро повернул назад.

К Мокею Коломееву пришел, когда темнело.

Хозяин выстрогивал во дворе черенок для лопаты, встретил дружелюбно:

— Я уж думал, ты получше место нашел.

Парфен кивнул на черенок:

— Орудие труда изготавлиляешь?

— Да сломался вот... Огород вскапывать, а инструмент не настроен. Солнце попечет, как сегодня, — через неделю-полторы кидай в землю картошку.

— Навоз-то где думаешь брать?

— У меня своего вон полон сарай.

— Я и забыл, что у тебя корова.

— С семьей без коровы нельзя. Мои без молока дня не просидят. Как ни трудно, а держу, хорошо луг рядом. Я на рыбальскую лодку сел вечером, какая в кустах ни трава — вся наша. За лето потихоньку сарай сеном набиваю.

— Да, тебе все тут под рукой, — вздохнул Парфен.

— И тебе будет, не горюй. Вот переедешь...

— Ты думаешь, что мои сюда переедут?

— Куда они денутся?

— Спокойный ты, Иваныч.

— Ты, голубь мой, маленько подзапустил своих баб, признайся. Просмотрел, значит, на каком-то этапе. У меня их, мокрохвосток, вон сколько, сам знаешь, а я, мужик, один в хате. Но чтоб какая из них супротив меня пошла... В семье, как и на производстве, тоже единоначалие надо внедрять. А внедрил, держись: борьба за власть все равно начнется! Уж кто сумеет верх взять, бабы или ты.

— Меня, выходит, сместили?

— Выходит, так, голубь мой. Ну, понятно, что временно. Сейчас на своем не настоишь, точно — власть переменится.

Мокей Коломеев примерил черенок под ушко лопаты — в самый раз, не глаз, а ватерпас. Ударил обухом топора по торцу черенка — и лопата насажена. Для надежности забил короткий гвоздь в отверстие в ушке, и теперь «инструмент» полностью пригоден для работы. Снова не на одну весну хватит вскапывать огород. А может, еще переживет хозяина...

Мокей Коломеев покрутил лопату в руках, любясь своим искусством, поставил ее в закуток между стеной дома и сенями. Место здесь не сырое, дождь сюда не попадает: весь домашний инвентарь хранится.

— Так тебе, может, навоз нужен? — спросил он Парфена. — Приедь, накидай машину.

— А куда мне его?

— Разве ты не думаешь своим картошку сажать?

— А к чему?

— Не совсем же ты усадьбу бросишь. Будет у тебя в Синезерках квартира, как в городе, со всеми удобствами, а там как дача.

— Скажешь, Иваныч, дача!

— А чего? Это твои не разобрались еще, а как разберутся, сами затормошат: «Перевози в Синезерки!»

— Твои слова да богу бы в уши. Ночевать-топустишь?

— Ночуй сколько хочешь, хата большая.

— Я и в сарае мог бы...

— Чай, еще не лето по сараям скитаться, околеешь.

— Да тепло уже... Сено под застрехой осталось? Тряпку вот эту, — Парфен показал на свой плащ из кожзаменителя, — кину — и это вся моя дача.

— Ладно, пошли в хату. Там видно будет.

Поужинали вместе. Дочери Коломеевых поели толченой картошки с квашеной капустой, выпили по стакану молока, вежливо по очереди попрощались с гостем и ушли спать. А Мокей Коломеев с Парфеном еще сидели за столом, отдыхали.

— План и в этом месяце, наверное, не дадим, — закурив после ужина, проговорил хозяин.

— Вы, может, и не дадите, а мы... — Парфен замолчал, вспомнив пословицу: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

— Это какой же план? — насторожился Мокей Коломеев.

— Такой, какой и у вас.

— Первомайское соцобязательство ты имеешь в виду?

— Оно самое. В рамке висит.

— А почему ты знаешь, что вы дадите?

В ответ Парфен жуликовато улыбнулся, как будто знал один секрет, да не дурак его выдавать. Потом протянул руку к карману, намереваясь что-то показать, но только подержал ее за пазухой.

— У меня вот... Возле своего барометра ношу.

— Что там у тебя? Покажи.

— За показ деньги платят.

— Ну, не жмись.

— Это я-то? Плохо ты меня, Иваныч, знаешь. Могу и тебе посоветовать: купи в культмаге книжечку с календариком за тридцать копеек, не победнеешь, и носи при себе. Как смена свое отработала, так одну сводку в бухгалтерию, другую сюда, в книжечку. Они себе подсчитывают, а ты — себе.

— Ты что же, им не доверяешь?

— Почему? Доверяю. Но... Как говорится, доверяй, да и проверяй.

— Вот ты какой, Тимофеич! Теперь я верю, что ты у станка смену отстоял наравне с бабами.

— У какого станка? — будто бы не понял Парфен.

— Не прикидывайся. Вся фабрика об этом говорит. Полторы нормы дал за смену. Бабы твои как ни гнались, ты всех их обскакал!

— Ну, ты, Иваныч, и расписал!

— Все скромничаешь, и натура же у тебя. Ты понимаешь, что сделал? Ты этим сразу авторитет завоевал.

— Авторитет... Скажешь! А как бы ты на моем месте поступил? Я тогда ничего такого и не думал... — Парфен углубленно помолчал, словно только сейчас по-настоящему взвешивая, что он сделал, чтобы выйти из прорыва. — Я ведь на другой день что? Пошел к Кружалихе, к этой старой, что теперь на пенсии, да и говорю: «Поработай, Никифоровна, на благо общества, пока Маркелова из больницы выпишется». — «Кому-кому, говорит, а тебе уважу». Женщина с понятием, спасибо ей, выручила. Сейчас-то что? Сейчас легче... Сейчас у меня все в полном составе. Станки только неважнецкие, сто раз отремонтированные. Да и как их там ремонтируют? Вчера заглянул к ремонтникам, подхожу сзади к Михею, а он что, паразит, делает? Вместо шпонки, ты представляешь, гвоздь расплескал и вал им клинит. «Что ж ты, говорю ему, творишь? Есть ли у тебя гражданская совесть?» А он еще и смеется: «Хоть бы простую иметь, а ты про гражданскую спрашиваешь!» А я-то думаю: чего это станок как в ремонте побудет, так еще хуже работает? Теперь я пока сам все до болтика не проверю, из ремонта его не возьму. Пускай лопнут, а расписываться за него не буду. Вот скоро собрание будет, я на нем все скажу.

— Да, ты, голубь мой, прав, — закуривая новую сигарету, проговорил Мокей Коломеев. — Ты только сейчас этих ремонтников узнал, а я давно с ними воюю. Они свою линию гнут, а я — свою. Им ведь тоже план спускают, вот они и стараются лишь бы с рук спихнуть.

— Ясное дело, Иваныч. Обидно: одни спички делаем, а помириться не можем. Так, выходит, во вражде и жить всю жизнь? Я же на Михея чего налетел? Он мне станок такой вот сплавит, а ты, Парфен, в смене мучайся с ним, не успевать будешь налаживать. В смене восемь часов, полсмены он работает, а полсмены его налаживают. Попробуй тут дай план. Я это только сейчас понимать начал, когда мастером стал работать. А слесарем работал, мне это до лампочки было — что, отчего, почему... Сломается станок, я его быстренько подшаманю — и опять в курилку. Во, Иваныч, дундук дундуком был!

— Это ты на себя поклеп, Тимофеич, наводишь. Дундуку какую должность ни дай, дундуком он и останется. Я тебе вот что скажу, поверь мне на старости лет. Вот ты говоришь, когда слесарем работал, дальше станка да курилки своей ничего и видеть не хотел. А мастером стал, вон уже как вокруг себя глянул. Ну, если сравнить, как, скажем, идешь ты по ровной местности, ничего почти тебе не видать впереди. А чуть на горку поднялся — глядь, что-то увидел. А еще на одну повыше поднялся, еще больше перед тобой чего-то открылось. Я что хочу сказать, голубь мой. Человеку, если он от рождения богом не обижен, надо высоту давать. Если он с высоты на высоту поднимается, то и видит все больше и больше. Глаза у него все шире и шире от этого дела, вот так.

— Ишь ты, что ты тут, в Синезерках, высидел! Высоту, говоришь, человеку надо давать. А кто раздает ее, эту твою высоту? Высоту за высотой?

— Тебе пальцы в рот не клади! Кто раздает, спрашиваешь? Ну, кто, как ты думаешь?

— Знал бы, так не спрашивал. Тебе вот кто высоту эту дал?

— Я ее, голубь мой, сам взял.

— Такая ли уж это высота, если по-честному?

— Ну, я на свою судьбу не обижаюсь. С меня и этого хватило вот так, по горло. А ты — другая статья. Тебе одной высоты будет мало. Я в людях редко ошибаюсь. Тебя только трудно с места сдвинуть...

— Ну, нагадал ты мне... Как цыганка. Я не знаю, что со мной завтра будет, а ты...

Парфен нахмурился — мол, не люблю, когда мне предсказывают, — но это только для вида. А в душе остался доволен словами старорого мастера. Он и сам так в последнее время начинал думать, а тут и Иваныч про то же. Знать, верно его шарики сработали, в ту сторону.

— Только не ясно мне это-все... — проговорил Парфен, продолжая хмуриться. — Чует мой барометр...

— Больно уж ты со своим барометром носишься, — укоризненно проговорил Коломеев. — Ты мне ответь лучше, почему ты в партию не вступаешь?

Парфен уже всерьез нахмурился: не нравятся ему такие прямые вопросы, давно он от них бегаёт. Спроси его как-нибудь иначе, может, он и ответил бы, что по этому поводу думает.

— Тебе предлагали, — все строже продолжал старый мастер.

— Ну, предлагал Легионов.

— Так чего с заявлением тянешь?

— Чего, чего, — еще больше насунился Парфен. — Сам не знаешь, чего? Обязательно объяснить надо?

— Уж объясни, пожалуйста! Не знаю вот, чем это ты хуже других? Иван Колчин, твой бывший дружок, так сам рвется.

— Нашли кого... Ряды засорять.

— А мы пока что и не собираемся его принимать.

— И я нужен вам такой в партии...

— Это какой же такой?

— Ну вот такой... От жены ушел...

Анисья крутилась тут: пока за всеми приберешь, последней спать ляжешь. Она-то и выручила Парфена:

— Чего ты привязался к человеку? У него и так сейчас голова забита... Хоть разглядеться бы дал.

— Ну, ладно, мать, — согласился после раздумья Коломеев. — Стелись. Будет день, будет и пища.

Он ходил эту неделю в ночную смену, и Парфену Анисья постелила на супружеской кровати. Сама полезла на печку. Без мужа спать и там хорошо. Да и так уж заведено у них, Коломеевых, — лучшее место уступить гостю.

Три ночи, пока Мокей Коломеев работал в ночную, Парфен отоспал на хозяйской перине, а на четвертую перебрался на сеновал. Анисья выделила ему подушку, старое одеяло и драный тулуп. Парфен прихватил туда и свой плащ из кожзаменителя. Сена на чердаке было вдосталь, и получилось барское ложе: ложись хоть вдоль, хоть поперек — одно раздолье. А воздух какой, красота какая, выгляни из чердачной двери — закачаешься. Заливной луг, и те самые дубы по колена в воде, и соседские огороды, и кончик фабричной трубы торчал над крышами домов. А главное — можно было не ходить через двор, не звонить в колокольчик, а только отбросил пальцем потайной крючок на садовой калитке, нырнул под яблоню — и вот она, лестница на чердак. Приходи и уходи в любое время суток. Не жизнь, а малина!

Мокей Коломеев навещевал: три дня пекло солнце, словно в разгар лета. Крыша сарая прогрелась, сено задышало сушью, и тепло держалось на чердаке почти всю ночь. Отработав смену, Парфен приходил сюда как домой.

Сегодня он выкатил мотоцикл из дровяника, пристроил у забора и принялся потихоньку разбирать его.

К вечеру, выславшись после ночной смены, во двор вышел Мокей Коломеев, постоял, приглядываясь спросонья к свету, закурил, подошел к «квартиранту».

— Ну ты его и раскурочил! — проговорил он, глядя на части от мотоцикла, которые Парфен разложил на доске. — Обнаружил причину?

— Шпонка из коленчатого вала выпала. Цилиндр поцарапала, зараза.

— А поршень цел?

— Цел.

— С цилиндром-то что теперь будешь делать?

— Завтра на фабрике что-нибудь придумаю. Хватит возни на неделю.

Мокей Коломеев потоптался, пыхнул вонючей «Шипкой».

— Чей-то Ксения Маркелова про тебя спрашивала?

Парфен нагнулся к мотоциклу: еще подумает старый «бракодел», что она Парфена волнует.

— Встречает на дороге и спрашивает: «Это у тебя Парфен живет?», — исподволь продолжал Мокей Коломеев. — «Ну, у меня, отвечаю. На сене устроился, как на курорте. Вот лето придет, яблоки в саду подрастут, заместо сторожа у меня будет».

Мокей Коломеев походил за спиной Парфена, будто это и все, что он хотел сказать.

— Сала тебе передала, вот тут какая закорюка, голубь мой.

— Сала?

— С пуд, наверно. Не поскупилась, на месяц тебе хватит. Передай, говорит, ему за работу.

— А, это я свинью им помогал резать. Было такое дело.

— Так иди заberi, лежит там на столе.

— Зачем оно мне? Пускай Анисья батьковна борщ приправляет.

— Ну ладно, она прибережет. На работу будет тебе по кусочку заворачивать. В столовку каждый раз не набегаешься...

Парфен прокопался в мотоцикле дотемна, пока солнце не закатилось за синезерский лес. Отмыл руки в бензине, вымыл шею под ручкой мойником, который Мокей Коломеев перенес на лето из хаты во двор, и полез на сеновал. Долго сидел на порожке чердачной двери, глядел на притихшую речку, на луг, на лес, на ветки яблонь, на крыши домов, погруженные в мягкий, дремотный сумрак. Потом не раздеваясь лег на «барскую» постель. Когда между веток яблонь проступили одинокие звезды, он разделся и укрылся одеялом. Вроде бы и уснул уже, но еще слышал редкие глубокие вздохи коровы внизу, как раз под собой, сонное квохтанье кур на насесте, шуршанье и писк мышей то в одном, то в другом углу, ломкий хруст пересохшего сена под боком. Сколько уже натикало на его наручных — двенадцать или час ночи, в темноте не разобрать.

И вот калиточку в саду не то кто-то отворил, не то ее качнуло ивовым ветром. Потом кто-то не то коснулся лестницы, не то только хотел коснуться, не решился, замер. А может, то мышка по ней пробежала или ветка яблони распрямилась и чиркнула по перекладине. Ведь они же распрямляются сейчас, эти ветки: будят в них весенние соки силу.

Парфен не вскочил, не кинулся к чердачной двери, когда было уже ясно, что кто-то поднимался по лестнице, бездыханно пережидая на каждой перекладине, прежде чем взяться за следующую.

— Ксения, ты? — прошептал Парфен, приподняв голову.

Она не отозвалась, не шевельнулась, была безмолвна, как привидение. И впрямь привидение! Стоит подождать, ничего не говорить, и оно исчезнет.

— Ты, Ксения? — повторил Парфен.

Ему показалось, что Ксения медленно стала откидываться с лестницы навзничь. И тогда он бросился к ней, но запутался в одеяле, упал и на четвереньках пополз к чердачной двери, волоча одеяло за собой. Когда он добрался до порожка и приподнялся на коленях, Ксения, тяжелея, свалилась ему на грудь и только после этого глубоко и часто задыхалась, отдавая теплом его голую ключицу. Парфен втащил ее на чердак, отыскал в потемках одеяло.

— Ой, лишеньки!.. Что я делаю? — едва проговорила Ксения.— Совсем я головушку потеряла... Сраму на все Синезерки будет!

— Что ты! Что ты, Ксения, успокойся! Я чувствовал, что ты придешь...

— Ты, значит, меня ждал! — обрадовалась Ксения.

— Ну, не то чтобы ждал, а хотел, чтобы ты пришла. Вечером мне Можей как сказал, что ты сало...

— Ой, Парфенушка, неужто ты правда меня ждал? Не обманываешь?

— Смешная! Для чего мне обманывать?

— Я тебе поесть принесла... Думаю, ты тут голодный сидишь, как партизан.

Парфен заметил в руках Ксении узелок, почти такой, с каким она встретила его тогда в лесу. Ксения развязала его у себя на коленях.

— Колбаски тебе домашней нажарила, запеканки, сала обварила...

Среди этой еды в темноте блеснул матовый бок чекушки, динькнул о нее пустой стаканчик.

— Это тебе для аппетита,— застенчиво пояснила Ксения.— От поллитровки отлила.

— Интересно!

— Что тебе интересно, Парфенушка?

— Все. И сарай этот, сено вот, еда эта на косынке, звезды вон над яблонями... И что ты тут и я — все интересно! А могло этого и не быть! Ты знаешь, Ксения, о чем я начинаю думать?

— О чем, Парфенушка?

— Ну, что мы родились, крестились, детей уже наплодили, живем, работаем, как все, это мне понятно. А вот почему у тебя Валентин, а у меня Эмма, у тебя такая жизнь сложилась, у меня такая? Могла она другой получиться или не могла? Что нам надо было делать, чтобы она другой вышла?

— Не знаю, Парфенушка.

— От кого это зависит? От тебя, от меня, от людей это или не от людей? Нет, ты вдумайся в это хорошенько, Ксения. Мне тут ничего не ясно.

— Выпей, Парфенушка, выпей! Голова просветлеет...

Ксения налила стаканчик. Парфен выпил, немного закусил колбасой.

— Ну, вот так! — одобрила Ксения.— Так-то оно яснее будет.

— Нет, я не шучу, Ксения! Если жизнь моя от меня самого зависит, то, выходит, я себе враг? Ну правда! Выходит, просто не захотел — не родился другим и другим не стал, а понравилось мне восемнадцать лет слесарем проходить, да?

Парфен спрятал босые ноги под одеяло, Ксения прилегла, пригревшись, возле его колен.

— Мне эти мысли откуда пришли? — Парфен осторожно погладил Ксению по голове. — А все оттуда. Откажись я от мастера, ну и жил бы себе как жил. А сдвинулся с точки — и закрутилась карусель. Вот я лежу сейчас и думаю, хуже мне стало или лучше? С одной стороны поглядеть — хуже не придумаешь, а с другой... Ничего вот такого, — Парфен объемно повел руками вокруг себя, — у меня не было бы в жизни никогда. Усекла мою мысль?

Ксения плотнее приткнулась бочком к Парфену, притихла.

— Вот я и думаю: отчего так жизнь устроена? Интересная штука получается: можно жизнь свою и так и этак повернуть. Не на все сто градусов, а все же можно. Она, эта жизнь, поддается и молчит, когда под таким, какой ей нравится, градусом поворачиваешь. А чуть не так, чуть круче повернул, она и пошла коники выкидывать: и швырнет, и об землю тебя ударит, еще раз швырнет, и еще раз ударит. Взять меня сейчас... Наверное, я круто повернул. Как ты, Ксения, думаешь?

— Другие покруче заворачивают, и ничего, живут.

— То другие, Ксения. А для меня и это круто, выходит. Потому что она, моя жизнь, и дает трещину. Моя жизнь и есть моя. Но что круто взяла, то круто.

— Что ты, Парфенушка, задумал? — Ксения настороженно заглянула ему в глаза.

— Ничего я не задумал. Просто мысли разные полезли. Раньше такие не лезли, а сейчас я их не прошу, а они сами лезут и лезут.

— Ой не, что-сь ты задумал! Я сердцем чувствую: задумал! Не вернуться ли домой собрался?

— Об этом, Ксения, мне еще рано думать.

— Ой, не говори! Ой, не говори! Не зря твою душу бережит, Парфенушка! Не зря ее всю крутит да мутит. Ищет твоя душа чего-то, ищет! А чего искать, Парфенушка? Чего искать-то, коль все найдено?

— Что все?

— Все, Парфенушка! Все до мелочи. И я вот рядом лежу...

— Ну, это не то, Ксения... Не то ты говоришь.

— А что же еще? Что еще лучше этого? Ты вот о жизни говорил...

Интересно говорил, Парфенушка, я вся заслушалась. Сама не раз так думала, отчего это — все такие же люди, и руки и ноги у всех одинаковые, а счастье им неодинаковое дадено? Чем, думаю, я так провинилась, что доля мне такая выпала? А потом, когда тебя встретила, думаю, нет же, вот оно и мое счастье. Не обошло и меня стороной, только...

— Договаривай, не стесняйся.

— Только... Только поди возьми его...

— Кто же в этом виноват?

— А назови кто, назови!

— Ну, и не я виноват, Ксения.

— Если бы ты, Парфенушка, я так бы и сказала. А то и ты не виноват, и я не виновата, и другие люди не виноваты. Никто не виноват, а счастья мне нет.

Ксения уткнула нос Парфену под мышку и ровно, спокойно заплакала.

— Нет мне счастья, Парфенушка, и не будет, я это знаю. Не было бы его вообще, не так обидно было бы. А то есть же оно, есть! И говорит, и дышит, и по одной со мной земелюшке ходит, но я не имею права взять его, оставить при себе на всю жизнь. Счастье — не кусок хлеба, в руку не возьмешь. Вот ты, Парфенушка, и говоришь, кому что дадено. Кто это такой, что счастье раздает, на кого как глянет?

Кто же мне мое счастье отдаст? Отчего это так, что оно мое, да не мое, и виноватого не сыщешь?

— Выходит, Ксения, во мне одном твое счастье?

— В ком же еще, Парфенушка?

— Оно-то так. Для тебя, конечно. Ты поплачь, поплачь. Я вот тут весь твой. Не убежал ведь еще от тебя, не убежал. Ну, а мое-то счастье где? И какое оно, мое счастье?

— Это ты сам гляди, Парфенушка. Я твоему счастью не судья,— тепло всхлипнула Ксения.— Не судья я, Парфенушка, твоему счастью. Разглядишь хорошенько, высмотри его, я не тороплю. Только гляди не перепутай. Не перепутай!..

— Знал бы его, так не перепутал бы. Счастье — как солнечный зайчик: ловишь его, а не поймаешь. Где блеснет, там и свет. Побежишь туда, а он уже в другом месте. Кто-то дразнит тебя этим счастьем, а ты бегаешь за ним, как собачонка. Работал слесарем — счастье. Жил с Эммой хорошо, мирно — счастье. Теперь вот ушел, скитаюсь — тоже счастье. Вот так живу сейчас, в этом мое и счастье. И вот какая мне в голову мысль пришла: разницы-то в счастье нет.

— Ты что, Парфенушка! Как же нет разницы? Забил ты себе головушку, лежа на этом сене.

— По-твоему, мастер счастливее слесаря, да? Выходит, что Сенька Шадрин, Аристарх Гребенников, Жорка Матвеев, ну и все остальные несчастнее меня? Нет, Ксения!

— Жизнь разная у людей, вот и счастье разное.

— Ишь ты! На словах-то оно все складно, а жить стань...

Ксения уже не плакала, а лежала разомлевшая, усталая.

— Ядрено как!

Она перевернулась на спину. Парфен укрыл ее одеялом, забрался под него сам.

— А бедовая ты.

— Бедовая... Сердце до сих пор в пятках.

— Отгает.

— Отгает... Нешто к утру.

Парфен глянул в чердачную дверь на звездное небо.

— Вроде как светает... Часов шесть будет.— Он пригляделся к циферблату старенькой «Победы».— Без малого... Не пора ли тебе?

Ксения молчала, не двигаясь.

— Говорю, не заметил бы кто...

Помолчал и Парфен, потом прилег к Ксении поплотнее. Она отзвучиво двинулась ему навстречу.

Утро наплывало мягко, высвечивая на крышах росу. Ниже крыш еще пласталась ночь, но река уже широко забелела по разливу в шевелящемся тумане.

На чердак через щели влился сизый свет, звезды в чердачной двери пригасли, а потом исчезли совсем в посиневшей выси, когда Ксения завернула в узелок пустую чекушку и стаканчик. Была она тиха и бледна, как это раннее утро, но умиротворенно было каждое ее движение, каждая складочка на ее помятом платье была благородна и таинственно счастлива.

Парфен проводил ее до лестницы, помог перебраться через порожек, стать на лестницу.

— Не приходи ко мне больше,— вдруг проговорил он натужно.— Для тебя же, Ксения, лучше. Нерешенное еще это дело, нерешенное! Да и не в лесу мы... И я не у себя на даче.

— Чудной ты, Парфенушка! Кто ж мне запретит приходиться к тебе? Кто, Парфенушка?

— Я, Ксения.

— Ну, если ты... — Ксения покачала головой, посмотрела под лестницу — высоко, не спрыгнешь. — Только я не такая, чтоб мне запрещать. Я сама пришла к тебе, сама и уйду!

— Ты не так меня поняла, Ксения!..

Парфен высунулся по пояс из чердака, но Ксения была уже внизу. Пригибаясь под голыми ветками яблонь, она быстро шла к садовой калитке, без скрипа отворила ее и, не оглянувшись, скрылась по ту сторону забора.

Парфен медленно вернулся к остывшей постели. Была здесь Ксения — и словно ее не было. И вправду, как привидение, появилась и растаяла. И вся эта ночь будто приснилась ему.

Когда, немного согревшись, Парфен, казалось бы, ненадолго уснул, его разбудил голос Анисьи:

— Да стой ты!

Хозяйка доила корову.

За фабричной трубой вставало красное-красное солнце. И небо вокруг было красное, и труба, и дым из трубы были красные, и вся фабрика горела этим небесным огнем так, что Парфен долго стоял на лестнице, смотрел, как на далекий пожар.

— Вот так нас, дураков, дурят, — встретила Парфена Фаина Халаявкина, когда он вошел в цех. — Старались, старались, а премии нам ноль целых... Не выработали мы!

— Можева смена в хвосте плелась, а стали насчитывать — они передовые! — поддержала ее Проня Пончик. — Интересно получается!

— Они ходили, перед начальством глотку драли, вот им и дали, а мы тихие, так нам к празднику дулю, — продолжала Фаина Халаявкина. — А подумали бы, что у нас тоже дети.

— Это все та Кобра. (Коброй прозвали Нюру Косую из смены Коломеева за ее скандальный характер.) Это ей все мало! Гребет, гребет — и мало!

— А ты, Парфен, куда глядел? — громче всех подняла голос Каролина Бабкова. — Говорил, что в этом квартале мы вперед выскочим, а получилось...

Да, было такое дело, говорил он так. После каждой смены цифру за цифрой заносил в записную книжку, радовался всякий раз, видя, как росла общая цифра, приближаясь к конечной — первомайскому сощобязательству. Лежа у Мокея Коломеева на чердаке, нет-нет да и подсчитывал еще раз — все правильно, на два дня раньше срока выполнили они сменный план. Значит, первомайская премия — в руках, ликуйте, бабоньки, не пропал ваш труд. А теперь, оказывается, нашлась смена получше, смена Мокея Коломеева. Старый воробей! А все приbedнялся, плакал, что отстают они нынче. Всех обхитрил! Вот у кого опыт! А он, Парфен, каждый день обнадеживал, настраивал на премию, а в результате — шиш им, а не премию. И правильно сейчас его чихвостят, болтун он, выходит. Нет, не годится он в начальники, никакого у него на это таланта. Кот наплакал... Он и пришел сюда, чтобы сказать все это. Пусть судят... Иначе не будет никогда ему веры, никакая агитация ни за какие премии не поможет. Да как собраться с духом?

— Людечки! Тут что-сь нечисто, — продолжала волноваться Каролина Бабкова. — Что-сь тут не так... Не может быть, чтоб Парфен брехал. Не такой он человек, чтобы каждый день приходиться и нам брехать. Вот чует моя душа...

— Сбрехал я, Каролина, — прервал ее Парфен, обвел взглядом притихших станочниц. — Да, так вот выходит, что я вас завтраками

кормил. Эту премию я, как приманку какую, перед вашим носом на веревочке подвесил, а вы глядели на нее и работали до поту. А как месяц кончился, так я дерг за эту веревочку — и ничего нет перед носом, пусто. Так дело было? Чего молчите? Надул вас Парфен? Не хотел, а вот получилось, что надул...

— Ой, говорю ж я вам, людечки, что-сь тут нечисто,— не унималась Каролина Бабкова.— Что-сь он такое знает, а от нас скрывает. Не-хай мне язык отсохнет, если Парфен в чем виноватый! Я сама в бухгалтерию сбегаю и все узнаю. Выключай станки, пошли со мной, бабы!

— Ну да, по бухгалтериям твоим время пробегаешь, а кто за меня работать будет? — возразила Фаина Халявкина.— Лучше я рубль какой заработаю.

— А при чем бухгалтерия? Не в бухгалтерии же решали, кому премию дать. Фабком все и решил!

— А где ты узнаешь, сколько мы выработали, если не там?

— А в фабкоме что, не знали, какие цифры брали? Бухгалтерия им сведения и дала!

— Мало что дала! Проверить фабком должен был! Бухгалтерия, может, напутала, а фабкому лишь бы кому дать.

Долго еще станочницы судили-рядили, порывались всей сменой идти к администрации, но пошумели-пошумели и утихли. Уже и про Парфена забыли. Никто так и не понял, с какими намерениями он к ним пришел. Эх, эх... А может, и вправду напутали в бухгалтерии, а фабком принял данные на веру? Сам-то он почему не сходил, не уточнил? Для чего же он записную книжку столько у барометра носил?

И так ему обидно стало, что бабы его быстро смирились с поражением, что он согнулся и вышел из цеха. Постоял на фабричном дворе, поразмышлял. А может, не стоит идти в бухгалтерию? Можно ведь просидеть смену в мастерской. Кто ему что скажет? В общем-то, провнесло на первый раз...

Парфен уже подошел к мастерской, уже протянул руку к железной скобе, вбитой в дверь вместо ручки, но тут круто развернулся и через весь двор направился к проходной. Кивнул вахтеру — дескать, иду в контору, рано еще мне с работы убежать — и вышел за ворота фабрики. Войдя в коридор конторы, Парфен придержал шаг перед табличкой «Бухгалтерия», постоял, прислушиваясь к урывистому стуку арифмометров за дверью, потом вошел в «богадельню», как называл он раньше это заведение. Тихо, стараясь не привлечь к себе внимания остальных работников бухгалтерии — мол, я только спрошу и уйду,— «подъехал» к учетчице.

— Нина Васильевна,— Парфен пониже наклонился к ней, как бы для чего-то сокровенного,— погляди там... в своих талмудах.

Он подождал, когда учетчица, подставив ухо, с взаимной доверительностью придвинется к нему. Эта доверительность установилась между ними с первого дня. Как принес он ей первую сводку, так они и «стыковались». Он к ней с почтением, а она к нему всегда с душой.

— Так погляди,— повторил Парфен, стараясь не дохнуть ей в ухо.— Извиняй, конечно, что от дела отрываю... Отдохни минутку от своего станка,— с улыбкой кивнул он на арифмометр.— Сколько, по твоим подсчетам, моя смена к Первомаю дала?

И когда та, сразу открыв в «талмуде» нужную страницу, назвала цифру, Парфен мгновенно сопоставил ее про себя с той цифрой, которая получилась по его подсчетам в записной книжке. И что же? Совпадает! Единичка в единичку! Никаких просчетов. Он-то уж считал-пересчитывал, чтоб нигде ни одной цифрочки не затерять, и ее «станок», поди ж ты, не врет. Парфен с нежностью, как на женщину, поглядел на арифмометр и уже поживее спросил:

— А сколько дед наш Мокей Коломеев дал?

Цифра, которую учетчица так же с наметанной быстротой отыскала в книге учета, оказалась меньшей. Ненамного, но все же меньшей. Не ослышался ли он? И Парфен, заволновавшись, переспросил:

— Сколько, сколько? Сколько ты сказала? Ты в ту графу глянула, не ошиблась?

— Вот погляди сам.

Парфен, наклонившись над книгой учета, пальцем провел от фамилии мастера до конца графы, где стояла итоговая цифра. Да, все правильно, никакой ошибки. Графа та. Уж у Нины Васильевны глаз тот еще, без пальца какую нужно цифру схватывает.

— А этот...— Парфен покосился на арифмометр учетчицы.— Этот твой барбос не это... не нахимичил?

— Я вон на электрической пересчитывала,— кивнула учетчица на «Вятку», стоящую на столе у главбуха.

Парфен уважительно поглядел на эту машину и заторопился из бухгалтерии.

— Ну, спасибо, Нина Васильевна! Спасибо тебе... Выручила ты меня. Ох как выручила!

Учетчица опешила, не понимая, чем же она его выручила, потом спохватилась так, будто Парфен хитростью вытянул из нее невесть какую тайну. Но он уже выскользнул в дверь.

Быстрехонько выпел из конторы, огляделся по сторонам, словно убеждаясь, не подсмотрел ли кто за ним, и нырнул в переулок, в котором жил Мокей Коломеев. Тот, наверное, спит еще после ночной смены, но он сейчас встормошит его, выдерет ему «кучерявые»!

Парфен преувеличенно раскланялся Анисье батьковне, хотя утром здоровался с ней — он слез с чердака, когда она доила корову.

— Спит? — как бы уточнил он.

— Буди, пора ему вставать,— охотно разрешила хозяйка, однако удивилась, чего это «квартирант» прибежал во время работы.

Парфен, готовый не медля встряхнуть хозяина, прошел за перегородку, где стояла его кровать. Ишь как разлегся, первосон ему, чужую премию отхватил и спит себе, в ус не дует. Передовик!

Ткнув старого мастера в бок, Парфен подождал, покуда тот откроет глаза, и, как водилось за ним, заехал издалека:

— Тебе ничего, Иваныч, сегодня не снилось?

— А что мне должно было присниться? — с безгрешным видом проговорил Коломеев, не вставая с постели.

— Ну, что-нибудь такое... К перемене погоды.

— Нет, не снилось... Спал как убитый. А ты чего прискакал?

— Ты вот чего лежишь? Поднимайся! Там уже, пока ты спал, всю премию поделили!

А истинный смысл этих слов был таков: меня, мол, не проведешь, хватит притворяться, согрешил — и молчок. Второй день смотрит и глазом не моргнет.

Мокей Коломеев достал из-под подушки смятую пачку «Шипки», раздавленный коробок спичек и, привстав на локтях, закурил — дошло! Не вся еще совесть потеряна, стыдновато, да? Теперь можно тебя и прямо спросить:

— Ты сам-то, Иваныч, был, когда премию распределяли?

— Ну, был. Куда ж я делся?

— И ты знал, что они схимичили?

— Ну, знал.

— И промолчал?

— Не я ведь все решал...— Коломеев, привстав с кровати, нервно

потянул окурок, но обжег пальцы и швырнул его в порог.— Так фабком решил, а я что?

— Да уж, ты тут ни при чем! Ну-ну, что дальше скажешь? Гляди, какая у тебя седая голова, что-нибудь поумнее выдай. Или у тебя все уже там высохло?

— Ну что ты меня все срамишь? Ну, смолчал я... Как будто я для себя... смолчал! Мне эта премия ни шла, ни ехала! Я тебе свои могу выложить... Я ж для людей!

— А я для кого? Для себя? Послушал бы, что они сегодня говорили. Но покричали, покричали и... А премия-то их законная! На каком таком основании их лишили?

— Это ты поди у тех спроси.

— У кого это у «тех»?

— Кто решал.

— Ладно, Иваныч, я пойду спрошу, но сюда больше не приду. Спасибо за хлеб-соль, я в долгу не останусь. Живи, не кашлай!

Парфен так бы сразу и выскочил из хаты, если бы не налетел у печки на Анисью. На какую-то секунду остановился, чтоб сказать ей:

— Извиняй, хозяйшюка... что я тут малость пошумел на твоего... Сейчас он там, за перегородкой, сидит голову чешет.

— Ай и нехай почешет! Я ж ему говорила, дураку старому: Парфен все равно дознается. Правда, как ее ни прячь, она вылезет наружу. Стыдно тогда будет...

Парфен без оглядки прибежал на фабрику и с ходу — в фабком, как бы нисколько не сомневаясь, что застанет Трушина. Действительно, тот оказался на месте. Он разбирал на столе какие-то папки, из-за которых была видна только его лысина. Тут Парфен его и накрыл:

— Это как же вы решали? Да вы понимали, что вы делали?

— Постой, постой.— Трушин выглянул из-за папок.— Чего это ты, Тимофеич, ругаешься?

— А то вы не знаете! С луны свалились! Вам эта премия запомнится!

— Ну, хорошо, хорошо! Не кричи только. (Ох и увертлив Трушин!) Сядь, остынь немного, больно ты горяч стал. Что на тебя повлияло?

— Вы мне ответьте, чья смена вперед вышла — моя или Мокея?

— Успокойся, твоя.

— Ага, моя! Так где же правда?

— Правда, говоришь? Ну, насчет правды я тебе вот что скажу. То, что твоя смена вперед вышла, это еще не вся правда. И то, что смена Коломеева чуток на этот раз отстала, тоже не вся правда.

— А где же вся правда? — Парфен остолбенел.— Где же она, по-вашему?

— Давай говорить начистоту.

— А то еще как же!

— Так вот слушай. Смена Коломеева сколько раз в передовые выходила? Все время, ты это знаешь.

— Ну, знаю.

— А твоя? Первый раз.

— Ну и что?

— А то, что у вас это, может быть, дело случая, а у Коломеева — стабильность, ритм, словом, качество! А это для нас главный показатель. У тебя же... Вспомни, и станки простаивали...

— Станки? Какие станки?

— А Ксении Маркеловой.

— Станок, а не станки! Да и то ведь человек болел! Понимаете, болел!

— Ну, ты опять, Тимофеич, голос поднял. И с дисциплинкой у вас не очень-то. Ты мастер у нас молодой, тебе, может, во всех этих тонкостях еще не разобраться...

— За кого вы меня принимаете? — Парфен устремился к двери и, остановившись, проговорил: — Я и к инженеру пойду и к директору... В ваших тонкостях я давно разобрался!

Но тут в фабком вошел Мокей Коломеев и, словно не замечая Парфена, хмуро направился к Трушину. Он положил перед ним на стол тяжелые кулаки, так что председатель фабкома отшатнулся от него, проваливаясь в кресло. Однако быстро перестроился — тертый калач!

— А тебе-то, Иваныч, чего не сидится? Ты погляди, в одной майке на фабрику прибежал! — стараясь свести все к шутке, проговорил он, заметив под пиджаком у Коломеева голую грудь. — Чего это тебе жарко стало? — И, не давая мастеру открыть рта, торопливо прибавил: — Иди еще спи. Ты свое дело сделал, остальное дело за нами!

— Худое это дело, — сумрачно проговорил Коломеев. — Пока не поздно, перерешай. — Только после этого поглядел на Парфена. — Я-то, старый дурак, клюнул на эту удочку... Извини, Тимофеич... Видно, пора мне на свою заслуженную... — Помолчал. — Так ты, Тимофеич, на смене-то не задерживайся. Там Анисья моя блинов испекла на сыворотке. Ты, я знаю, охоч до блинов-то...

И грузно вышел из фабкома.

Премияльные смене Парфена выдали за день до праздника. Получил свою долю и Парфен: дождался, когда возле кассы не стало никого, расписался в ведомости за эти червонцы и, не пересчитывая, торкнул их в потайной карман куртки.

Фабрику обогнул по другой стороне улицы, чтоб никому не попасться на глаза, и задами вышел к почте. Огляделся и здесь и только тогда вскочил в дверь. Прохладно и тенисто было в помещении синезерской почты, нелюдно: всего две души — старушки, сдававшие посылки, и те незнакомые. Парфен взял бланк для денежного перевода, сел за стол, испещренный всякими надписями, достал шариковую ручку и неторопливо написал цифру тридцать там, где указывалась сумма. Перед тем как написать адрес, он задумался, потом почти печатными буквами вывел: «Гор. Боровец, ул. Советская, дом № 131, Локтионовой Эмме Силантьевне». На месте обратного адреса написал только: «Пос. Синезерки» — и позаковыристее расписался. Прочитав все с начала до конца, он обнаружил, что не указал область и район, куда переводил деньги, и, скомкав этот бланк, взял другой. Теперь он не так старательно заполнил его и подал в окошечко молодой девушке. Та, быстро пробежав взглядом по адресу, удивленно посмотрела на Парфена:

— Здесь же семь километров!

Парфен налег на окошко, пожевал губами.

— Ладно, выписывай.

Девушка, помедлив, заглянула в справочник.

— Я даже не знаю, сколько за такое расстояние с вас брать. У меня нет такого тарифа.

— Бери хоть рубль, хоть два. Сколько тебе моих денег не жалко.

Девушка, еще минутку поразмыслив, выписала Парфену квитанцию, и он, взяв ее, вышел из почты. Легко, безгрешно стало на душе. Гляди теперь на всех, не скрывайся. И Парфен, уже с желанием кого-нибудь встретить из знакомых и поговорить не важно о чем, двинулся к промтоварному магазину. Так и вошел в него. Со сдержанной щедростью кивнул на прилавок:

— Отмерь-ка мне, хозяйка, на три платья вот этого штапеля.

— На детей или на взрослых? — уточнила продавщица.

Парфен как-то об этом не подумал и стал в тупик.

— На средних, — сказал он.

Из магазина Парфен вышел с толстым свертком под мышкой.

Не спеша перейдя площадь перед фабричным клубом, направился к дому Мокея Коломеева. Как вошел в хату, так катнул сверток из-под мышки на стол.

— Это, Анисья батьковна, на твоё усмотрение...

— Что это такое ты надумал? — всплеснула руками Анисья, пробуя развернуть попку.

— После будешь разглядывать, — застеснявшись, остановил её Парфен. — У тебя же машина швейная есть, может, что и сварганишь своим «хлопцам»...

Когда Анисья начала было отказываться от подарка — дескать, у тебя самого дети есть, но потом «заспасибкала», — Парфен заторпился из хаты.

— Не обидь, Анисья батьковна... Это от меня к празднику...

Перед концом работы слесари затащили Парфена в курилку.

— Давно ты не был тут, — сказал Сенька Шадрин. — Соскучился, признайся честно?

Парфен улыбнулся: и правда соскучился. Как будто не та и курилка стала, маленькая, черная от копоти.

— Праздник где встречать будешь? — спросил Аристарх Гребенников.

— У Мокея, наверно. У него живу.

— А свои знать не давали?

— Ни гу-гу.

— С тех пор?

— С тех пор.

— Терпенье у тебя!

— Да есть...

— Ну тогда к нам приходи. На массовке погуляем. За речкой-то еще мокро, в бору нынче устраивают... Придешь?

— Погляжу.

С Аристархом Парфен разговаривал, а на остальных слесарей поглядывал. Жорка Матвеев уже снял с шеи бинт, значит, затянуло его чирьи. Зажила царапина и на щеке Сеньки Шадрина — подвела Сеньку скорость, «обновил» он «Юпитер»: и ему фару свернул, и себе от подбородка до уха щеку располосовал о тротуар. Посправнел на весну Аристарх Гребенников, одежонку «шикарную» приобрел — парусиновые штаны и брезентовую робу, какую выдают пожарникам. У Филимона Меньшикова кожа на лице выровнялась, помолодела, вроде бы уже и не «шилом бритый». Порфирий Плутархов свою «шлеп-ногу» замуровал в роскошный ботинок, который стачал по собственному образцу. Протез не протез, но и не простая обутка, не на всякую ногу приспособленная. Один Глеб Кершанок как будто бы ничем особенным не изменился ни внешне, ни внутренне. Каким был, таким и остался.

— Счастливые вы все! — вдруг воскликнул Парфен.

— Ты тоже таким счастливым был! — готовый поддержать любой разговор, вскочил со скамейки Сенька Шадрин.

— Был, Сень, да...

— Ты что же, уж нам завидуешь?

— Как тебе, Сень, сказать? И завидую и не...

— Чего же тебе сейчас на судьбу жаловаться? Вон как ты сразу взлетел! Бабы теперь за премию тобой не нахвалятся.

— Бабы... Бабы-то да, а вот вы...— подзадорил Парфен, вспомнив тот случай, когда Аристарх Гребенников отказался стать за станок.

— Ну, был с ним такой грех... Так он же давно осознал! До сих пор, как бурак, красный от стыда,— перейдя на подтрунивание, обернулся Сенька Шадрин к Гребенникову.— Вот он пусть сам скажет.

Аристарх Гребенников действительно засмутился — это Аристарх-то, который понятия когда-то не имел, чтоб смущаться! — пробубнил себе под нос:

— Попало мягкое по зубам... Из вас тоже никто бы за станок не стал, если бы он сказал. Это сейчас вы такие герои, а тогда... Тоже бы все в кусты!

— Но-но! Ты на всех не очень-то! — продолжал подтрунивать Сенька Шадрин.— Ты на себя сначала смотри!

— Откуда я знал, что так получится? Что он сам...

— Это не надо знать, на это надо душу иметь.

— Ну, наплюй мне в глаза, если я такой. Я уже сто раз об этом подумал, а ты все...

— Вот это мы и хотели от тебя услышать! — захохотал, довольный, Сенька Шадрин и подморгнул Парфену.— Наконец-то признался, а то все гонорился: «Я слесарь седьмого разряда, буду вместе с бабами за станком стоять! Был бы еще станок как станок, а то — одно старье!»

— А что, не старье разве? — подхватил Аристарх Гребенников, чтобы отвести от себя разговор.— Думают, что захоlustье, так можно и на таких работать. Вон Гошка Чалин пишет из Красноярска, на такой же спичечной фабрике работает... Так у них про такие станки давно забыли. А к нам пока эта научно-техническая революция придет, так мы уже на пенсии будем!

— Научно-техническая революция! Ты еще радоваться должен, что она к нам не спешит: тебе новые станки дай — ты не будешь знать, как к ним и подойти,— снова начал подтрунивать Сенька Шадрин.— Для этого же надо расти, а ты растешь?

— А ты?

— Да и я такой. Все мы такие! Как научно-техническая революция у нас грянет, так всех на салотопку!

— Ты за всех не расписывайся. Тебя, может, и на салотопку, недаром тебе инженер разряд скостил.

— Вспомнил! Я давно пересдал!

— Когда ты успел?

— Успел вот! Я же не буду ходить да перед такими, как ты, тряпаться!

— Ну, хоть и пересдал. Все равно тебя же не переделаешь.

— Ты уж... Сиди, скороспелка! — всерьез обиделся Сенька Шадрин.— Ты слышал звон, да не знаешь, где он! По-твоему, станки тебе новые прислали — и это все? Дело не в одних новых станках, но и в людях!

— А я что говорю?

— Так и я же про то самое! Мы друг друга просто не поняли!

А Парфен только слушал все это да улыбался: мол, спорьте, спорьте, вы еще не знаете того, что я знаю, наспоритесь вдоволь, тогда я и скажу вам. И как только Сенька Шадрин с Аристархом выдохлись, он и подкинул им вопросик:

— Вы станкостроительный завод в Крутом Яре знаете?

— Это тот, что у нас когда-то хотели построить? — настороженно уточнил Сенька Шадрин.

— Он самый... Так вот, этот завод нам станок сейчас новый делает...

— Да? — поразился Аристарх Гребенников.

— А ты разве не знал?

— А кто мне эти сведения дает? Это ты вон теперь в верхах вращаешься!

— Ну уж, нашел верхи! Об этом все давно знают, один ты мух ловишь. Вот рядом, у нас под боком, все делается, а ты — Красноярск! Гошка Чалин пишет! Техника, она везде... Разуай глаза!

— Кто же это додумался? — Аристарх Гребенников притих.

— Догадайся.

— Не ты ли, часом?

— Ты что, чокнулся? Это все наш новый главный!

Слесари как бы виновато опустили головы — а они-то о нем плохо думали!

— Один станок завод нам делает? — спросил Сенька Шадрин.

— Да, пока один. Говорят, уже прошел заводские испытания. Во — производительность!

— Братцы! Что же это такое на свете делается? — став на скамейку, выкрикнул Аристарх Гребенников. — Скорее все на переделку!

Парфен под шумок выскользнул из курилки и поспешил к проходной. Неожиданно наскочил на Трушина, хотел обогнуть его и побежать дальше, но тот окликнул:

— Тимофеич! Зайди в фабком, получи детям подарки.

Известно, что за подарки — два кулечка конфет по триста граммов каждый. Такие подарки фабком ко всем большим праздникам раздавал — Первому мая, Октябрьским, Новому году. Бывало, Парфен принесет их домой, вручит дочерям — Наде и Любочке, а те потом и спят с этими кулечками, дорожат каждой конфеткой.

Парфен сделал вид, что повернул в фабком, но когда Трушин скрылся с глаз, петлянул на тротуар. К чему теперь ему подарки? Как он передаст их дочерям? Но потом передумал, вернулся, получил конфеты, поглубже сунул их за пазуху.

Один Парфен шел по улице не торопясь. Куда ему было спешить? А все, кто с домашней сумкой, кто с авоськами, бежали в магазины, чтобы успеть закупить всего к празднику. И Парфен представил, как там, в городке, вот точно так же, наверное, бегают по магазинам и Эмма с тещей. Праздник для всех праздник.

Конфеты Парфен отдал двум самым младшим дочерям Мокея Коломеева — Юльке и Оксанке, кулек одной и кулек другой. Чтобы не видеть, как все хлопочут перед праздником, он занялся мотоциклом. До потемок прополчал в нем, попробовал завести, и — ура! — техника завелась! Проехал до речки, прислушиваясь к работе мотора — кажется, полный порядок. Выскочил через мост на окраину Синезерок. Если поднажать, десять минут — и дома.

Парфен почти уже поднялся на горку, но резко притормозил, свернул на полевою дорогу. Задами вернулся к дому Мокея Коломеева, загнал мотоцикл в дровяник и полез на сеновал. Не раздеваясь лег поверх одеяла и облегченно вытянулся.

Проснулся он от позывных московского радио: на фабричном клубе по случаю праздника вывесили громкоговоритель. Синезерки еще спали, зажатые лесами по-над речкой и озерами, и эти позывные с родниковой чистотой разливались далеко-далеко.

Парфену незачем было вставать так рано. Он продолжал лежать, как уснул с вечера, нераздетый, лишь укрыл плечи краем одеяла: к утру их свело холодом.

Мужской и женский голоса дикторов попеременно сообщали Парфену об успехах, с которыми встречали Первомай разные коллективы страны, о том подъеме, какой вызвал праздник у всех советских людей. Словом, передавалось все то, что передавали всегда ко всем большим праздникам, и было до того знакомо Парфену, что ему казалось, он мог бы и сам так передать, только с дикцией, конечно, подкачал бы.

Он слушал спокойно, без волнения, как добрую волшебную сказку, у которой, он знал заранее, будет благополучный конец. Все это было слишком велико и необъятно, как вселенная, которая существовала без него и просуществует еще незнамо сколько. А он вот лежал на этом сене, и все здесь было живо и конкретно: это сено, этот сарай, его «барская» постель, эта чердачная дверь, в которую вливался утренний свет, холодок с реки. Это просматривалось собственными глазами, ощущалось на собственной шкуре — все имело жизненно зримые формы и размеры.

Когда дикторы начали передавать праздничные приветствия, Парфен стал прикидывать, что бы ему надеть на митинг. Он ведь вырвался из дома в одной рабочей одежке. В конце концов, можно пойти и в ней. Хоть это и рабочая одежка, но все же не слесаря, а мастера. Пиджак коль годился для буднего дня, то и в праздник сойдет. Рубашка не белая, но и она сойдет. И штаны, если чуток погладить, сойдут. Не такой уж праздничный наряд, не первомайский, но что делать.

Из громкоговорителя полились праздничные песни и марши, и в доме Мокея Коломеева проснулись. Кто-то, шлепая галошами, прошел по двору к сараю. По походке судить — Анисья. Да, она, загрела подошмой.

На крыльцо вышел и Мокей Коломеев, крикнул:

— Парфен! Вставай чаевничать!

Но Парфен не отозвался.

— Не думаешь ли ты весь праздник на чердаке пролежать?

Хозяин подошел поближе к сараю. Парфен высунулся по пояс из чердачной двери.

— Чего людям спать не даешь? — Спустился по лестнице. — Ну, с праздником тебя, Иваныч!

— Тебя тем же концом по тому же месту.

Мокей Коломеев закурил, поглядел на небо.

— Ничего день будет: ни одной тучки вон! Значит, массовка состоится, голубь мой. — Двинулся к сеним. — Ну, пошли в хату, умывайся да надень хоть рубашку путевую. Хлопцы мои вчера тебе выгладили за конфеты. Думаю, что налезет, плечи-то у нас с тобой, поди, одинаковые. А то и брюки мои возьми, если хошь. Не первой свежести, но все же лучшие твоих «парадных»!

Дочери Мокея Коломеева принаряджались перед трюмо, и Парфен переоделся за печкой. Показался из-за нее.

— Ну вот, теперь ты совсем на холостяка похож, — похвалил хозяин. — Эмма твоя увидь — и не признала бы!

— Папа, я хочу военный парад посмотреть, — подбежала к отцу Оксанка. — Скоро начнется.

— Так включай быстренько.

Оксанка включила телевизор на полную громкость, снова подбежала к отцу:

— А ты не хочешь посмотреть? Техника какая!

— Я на нее, дочка, в войну нагляделся.

— То в войну... А сейчас не такая — ракеты!

— Да, техника сейчас боевая. Сейчас техника раз плюнула — и половины земного шара нету. Сейчас чё? Сейчас это дело нехитрое. Потому-то кое-кто с больно горячей головой и поприостыл!

В хату вошла Анисья — подоила корову. Процедила молоко в кувшин.

— Давай, мать, завтрак.— Мокей Коломеев покрутился возле загнетки, поставил на стол бутылку водки.— Это для начала... Праздник еще впереди!

Дочери к завтраку не вышли: не успели нарядиться.

На митинг к фабричному клубу пошли переулком — так ближе. Заодно решили посмотреть дом, в котором Парфену обещали дать квартиру. Много ли еще с ним возни?

Перелезли через кучи песка, глины, битого кирпича. Постояли молча, поглядели на строительство. Прав Трушин: обязательства брать легко, выполнять их трудно.

— Лето еще протянут с отделкой,— заключил Мокей Коломеев.

— Вот и перевозки семью...

— Да, ситуация.

По улице, мощенной булыжником, к фабричному клубу отовсюду шли нарядные синезерцы, скапливались на площади перед деревянной трибуной, украшенной флажками. И вдруг Парфен увидел Валентина с Ксенией, стоявших под ручку к нему спиной. Валентин был в новом, с иголочки, костюме, и Парфену показалось странным, что тот так хорошо одет, так как привык видеть его везде в рабочей одежде. И Ксения была нарядная, такой, какой Парфен тоже не видел ее ни разу, и ему как-то жалко стало ее.

Ксения точно почувствовала, что Парфен смотрит на них, и обернулась. Она тут же суетно потащила мужа в толпу, не давая ему оглянуться.

Парфен вильнул от Маркеловых в первый попавшийся переулок.

Около часа проходил по берегу реки: станет, постоит, поглядит, как снуют мальки у песчаного дна, и дальше пошел. К сосновому бору, где была массовка, пришел уже в полдень. И пожалел, что пришел, собрался повернуть куда-нибудь поглубже в лес, где не было бы никого: все гуляют со своими семьями, а он один, как сирота. И тут сзади его облапил Сенька Шадрин:

— Где ты пропадаешь? Я тебя по всем Синезеркам ищу: и у Мокея побыл и у Маркеловых, думал, что ты к ним пристроился... Мокей говорит: на митинг мы с ним вместе шли, а потом он как сквозь землю провалился.

Сенька Шадрин уже был под «малым газом», говорил, захлебываясь, так он запыхался, покуда вот нашел Парфена.

— Эмму твою того... в больницу отвезли,— известил он под конец.

У Парфена часто-часто застучало сердце. Ноги подкосились, язык присох к небу.

— Ну, нешто не понимаешь? По этому делу...— Сенька Шадрин очертил рукой свой живот.

— Когда увезли?

— Сегодня. На демонстрацию, говорят, пошла, там ее и схватило... Фаина через людей передала.

И только тут Парфена сначала тяжело сдвинуло с места, потом рывком бросило на дорогу.

— Постой! Куда же ты?— Сенька Шадрин побежал было за ним.— Успеешь еще повидать наследника! Давай вот к нашему шала-

шу! Тут и Аристарх, тут и Жорка со своей, тут и Филимоша, Шлеп-нога... Вся наша гоп-компания!

К Мокею Коломееву Парфен бежал огородами, ткнулся в запертую калитку. Вспомнил про колокольчик, дернул за проволоку изо всей силы.

Открыл сам хозяин, расцвел хмельной улыбкой:

— Дай-ба я тебя поцелую!.. Ждал-ждал тебя, да и приложился один.

Парфен вывернулся от него, шмыгнул к дровянику. Выкатил мотоцикл, крикнул:

— Открывай ворота!

— Куда ты? Не пущу! — Хозяин расставил ноги перед мотоциклом. — Покель за моим столом не посидишь...

Парфен бросился к воротам, распахнул их, вскочил на мотоцикл и газанул со двора. Синезерки проехал со свистом, с ходу взял горку. На песке его швырнуло в кювет, но он удержал руль. Потом свернул в лес и лесной дорогой зафитилил в город. К больнице выехал через северную окраину, обогнув свой дом стороной.

Родильное отделение Парфен знал в точности — Эмма дважды рожала здесь. Небольшой белый домишко среди тополей, в глубине больничного двора. Аккуратный такой, с деревянным крылечком. Поставлен словно с расчетом, чтобы никто не подсмотрел, как рождались тут маленькие человеки — таинство земли.

Мотоцикл Парфен заглушил в самых воротах, чтобы не нарушать больничную тишину, откатил его к забору. К родильному дому пошел пешком, припадая на правую ногу: задел в лесу за дерево. Потом запрыгал, пригибаясь к земле, как перебежчик, не по стежке, где ходили все нормальные люди, а напрямую по отмершей прошлогодней траве, которая скрадывала его шаги.

Хоть и давно крашенные, но чисто вымытые ступеньки деревянного крылечка остановили Парфена. Он тщательно вытер ноги о разостланную перед дверью тряпку.

В ту самую минуту, когда Парфен собрался толкнуть дверь и ворваться в этот тихий-тихий домик, перед ним бесшумно, как опустившийся на крыльях ангел, встала вся снежно-белая нянечка.

— Ой ли! Можно ли так, залетный ты мой? — прошептала она.

— Теть Серафима!

— Что теть Серафима? Шестьдесят лет теть Серафима! Сорок из них вот за этими дверями приглядываю.

Нянечка наперла на Парфена полной грудью.

— Теть Серафима, — повторил Парфен, задыхаясь.

— Ну, что теть Серафима? Знает теть Серафима, все знает. Не за колбасой к теть Серафиме приходят! Иди, касатик, иди, откуда пришел.

Она вытолкнула Парфена на крыльцо. Он и не понял, как это ей удалось, хотя упирался и руками и ногами.

— Теть Серафима! — Парфен перехватил ее руку, которой нянечка собралась захлопнуть дверь. — Ну, чего вы, теть Серафима!

— Не кричи так, не кричи. У нас тут только дети кричат. Иди с богом, сыскной!

Парфен одеревенел от таких слов, скрипнул зубами.

— Тетка Серафима! Я тебе не сыскной! Я не под забором проснулся, слышишь? Я пришел к своей законной жене...

— А я не пущу.

— Я хочу знать...

— А я не скажу! Иди погуляй, погуляй, касатик, как до этого гулял!

— Тетка Серафима! — Парфен надавил плечом на дверь. — Я сейчас все тут переломаяю, вот доведешь меня... Пусти, говорю!

— Уймись! Не пущу, хоть ты лопни тут! Не дозволено пускать. Успокой свою душу: у тебя сын родился!

Парфен вдруг бросился на нянюшку, придавил ее к стене.

— Врешь, тетка Серафима! Врешь, старая! Так я тебе и поверил! Говори правду, иначе живой тебя из рук не выпущу! Ты правду сказала?

— Правду, правду, Парфенушка! Только не жми меня крепко, у меня и так кости болят, чай, мне не семнадцать лет.

— Врешь, тетка Серафима, врешь! Я по твоим глазам вижу, что врешь! Знаю: весь город уже говорит: Парфен такой, Парфен сякой, от жены ушел, беременную бросил! А что вы знаете про Парфена? Одни сплетни разводите... Ну, так скажешь мне правду?

— Чтоб меня гром разбил и молонья распекала, если я вру!

— Теть Серафима! — Парфен притянул нянюшку к себе и чмокнул в одну щеку, в другую. — Теть Серафима! Не зря тебя сюда поставили, теть Серафима! Нет тебе цены, теть Серафима! С праздничком тебя, теть Серафима! С Первомаем! Я и забыл поздравить... Извини, теть Серафима, извини!

— Теперь иди, иди! Догуливай праздничек-то. Небось еще не пил, не ел, трезвый с утра, потому и злой, как пес. Ну, иди, иди! А то больно много шуму ты один наделал. Вот Марья Михайловна услышит, будет нам обоим!

— Да я Марью Михайловну... Да ее тож расцелую!

Парфен, пятясь, очутился на крыльце, тогда вспомнил:

— А Эмма моя как?

— Иди, иди! Больше ничего не скажу. Цела твоя Эмма, лежит, отдыхает.

— Опять врешь, тетка Серафима. Вот не сойти мне с этого места — врешь!

— Чего мне про Эмму врать? Жива-здоровая, еще семерых тебе родит, только старайся!

— А ну, погляди мне в глаза.

Нянюшка остановила голубые глаза, но больше секунды не выдержала — заморгала: накатила старческая слеза.

— А ты думаешь, легко рожать семимесячных? Ты не рожал, не знаешь, а она, бедная, намучилась, хватит с нее.

Парфен помрачнел:

— Так что с ней, ты скажешь?

— Не переживай, все обошлось.

— И к окну подойти нельзя?

— Нельзя.

— А может, я подойду, теть Серафима? Я только гляну на нее и уйду.

— Наглядишься еще. Сейчас она больно красивая после родов-то... Отлежится, через день-два встанет. Чего передать ей?

— Ну, скажи, что был вот... Я в чем стоял, в том и сорвался, на мотоцикл — и ходу. Купить бы чего-нибудь надо, а я...

— Да у нее все есть... Сегодня твои уже были... Устиновна с Надей чего надо принесли. Только все так и лежит в тумбочке. Ты не горюй, это дело нам, бабам, знакомое. Марья Михайловна была на обходе, глядела. Ничего, говорит, оклемается. Крови много сошло...

Парфен отошел от крыльца, но снова вернулся.

— А сын-то как?

— Иди, пока я тебя уже палкой не прогнала! Иди, не приставай ко мне больше! И за это спасибо скажи, а то ушел бы ты, с чем пришел! — по-настоящему рассерчала нянечка.

Парфен согнулся и пошел к мотоциклу.

Солнце катилось к горизонту, исправно светя с самого утра. Земля за день потеплела, распарилась, как парится она в мае, когда даже запах подсохшего ила на месте луж, перегнивших былинкок слаще меда, а молодая трава, где бы ни пробилась, на обочинах дорог, канав, у заборов, каждая лопнувшая на ветке почка — событие.

Парфен выкатил мотоцикл за ворота больничного двора, завел его, сел за руль и поехал через центр домой. Возле универсама среди празднично одетого народа увидел Проню Пончик, притормозил, крикнул:

— С праздником тебя! А у меня сын родился!

— Не дури!

— Ей-богу! Вот из больницы еду!

— Тогда поздравляю... Это же надо: на Первое мая родился! Сразу и день рожденья и такой праздник, все вместе! Счастливый! А я своего двадцать девятого февраля нашла, как раз в високосный год...

— Ладно, Проня, гуляй!

Возле ресторана-столовой Парфен подрулил к забору и слез было с мотоцикла, но решил еще посидеть на нем, подумать. Предварительно нащупал в кармане металлический рубль. В «пистоне» дежали комочком еще три рубля да в пиджаке мелочи накопилось с полтинник. Это и все его сбережения.

Парфен поставил мотоцикл на подножку, поднялся по облупившимся кирпичным ступенькам, подошел к буфетной стойке.

— С праздничком тебя, Катерина Ивановна! — как бы поздоровался он с буфетчицей, кинул ей на блюдце четыре рубля. — Два по сто, на остальные конфет. Получше там...

Конфеты Парфен рассовал по карманам: в кульке он не смог втоптать ни в один из них. Стаканы с водкой понес к ближайшему столу. Сел, посидел секунду.

— Ну, сын, живи, не кашляй!

Он чокнулся со стаканом, выпил. Помотал головой — закуски Парфен не взял никакой. Потом поднял второй стакан.

— А теперь можно выцить и за праздник...

Метров за десять до дома Парфен заглушил мотор, по инерции доехал до ворот. Посидел на мотоцикле, потом медленно слез с него, подошел к калитке. Прислушался. Никто навстречу не выходил. Значит, не услышали, как он подъехал к дому. Уж Любочка обязательно бы выскочила... Раньше так целыми днями копалась в песке. И погода за милую душу, вообще праздник, люди гуляют, трутся возле дворов, а в его доме — тишина. Ну, Любочки раз нет на улице, значит, спит она. А Надя... Надя могла со своим Епифановым бегать где-нибудь. А Устиновна... Эта, может, и слышала, как зять подкатил, да ждет, когда сам войдет в хату с повинной...

Парфен вернулся к мотоциклу, завел его, газанул посылнее под окнами. Прислушался и еще раз газанул — теперь-то услышите! Но из дома так никто и не вышел. Тогда он вошел во двор, открыл ворота, поднял подворотню, приставил ее к стояку. Вкатил мотоцикл во двор, ткнул под яблоню, вставил подворотню на место, закрыл ворота, калитку и направился к крыльцу. Открыл дверь в коридор —

никого. Подождал, шаркнув ногами о порог,— никто не выходит, не встречает. Заглянул в хату — и в хате никого. И не заперто. Вышел во двор, прошел до сарая — и там никого. Одни куры в закутке да вроде кабан в свинарнике отозвался — хрюкнул.

Парфен открыл калитку в сад и там, в конце усадьбы, увидел тещу с Любочкой. Теща вскапывала лопатой огород, а Любочка ковырялась возле нее палочкой. Ни теща, ни дочь не замечали его. А он стоял и смотрел на них от калитки, ближе не подходил. И тут Любочка обернулась и то ли сначала не узнала отца, то ли настолько удивилась, увидев его, что испуганно бросилась к Устиновне, потянула ее за юбку. Та выпрямилась, посмотрела, кто пришел. Прежде чем она что-либо сообразила, Любочка сорвалась с места и молча побежала к отцу. Уже подбегая к нему, радостно закричала:

— Папочка!

Парфен подхватил ее на руки.

Теща воткнула лопату в землю, заковыляла по борозде к зятю, вытирая на ходу руки о подол платья.

— Чего это ты, мать, в праздник копать вздумала? — спросил ее Парфен.

Устиновна остановилась в нескольких шагах от него, не зная, как ей быть, то ли радоваться возвращению зятя, то ли продолжать на него сердиться.

— А что нам праздник? — проговорила она, все же нахмурясь.— Кому праздник, а кому...

— Все вон гуляют...

— Им, может, мужики все делают. А у нас в хате мужика нету, нам гулять некогда.

— Ладно, мать, пора и забыть. Без навоза какой толк копать.

— А где взять навоз тот? Кто пойдет его искать да возить? Одна в больнице, а другая,— теща показала на Любочку,— к ней привязана, как на веревке. Ни в магазин сходить, ни...

— Ладно, мать, бросай лопату, не смехи людей. Вот праздник кончится, от Мокея привезу машину... Обещал — бери сколько хочешь.

Парфен выгреб из карманов конфеты, сыпнул Любочке в подол.

— Это к празднику тебе. С фабрики...

— А Надьке?

— Надька придет, ты с ней поделишься.

Парфен хмелел с каждой минутой: двести граммов водки на годный желудок могли подкосить любого. Он заторопился в хату. Увидел через забор Фаину, заулыбался ей, будто сто лет не встречались они.

— А у меня сын родился!

Фаина почему-то не разделила его радости, прошмыгнула за сарай. Да Парфен на нее и не обиделся, притянул Любочку к себе, заговорил ласково:

— А у тебя маленький братик родился! Вот такой маленький, на ручки его возьмешь — и баю-бай, баю-бай! А он: а-а!.. Зато когда вырастет, большой станет, сильный-сильный, как твой папа.

— А я, папка? А я стану большой?

— И ты станешь. Но братик твой еще больше будет. Он же мужчина! А ты девочка. Ты будешь такой, как все взрослые девочки. А братик твой — во, великан! Папка с ним на охоту будет ходить... Он у меня институт кончит, инженером станет...

Парфен застрял с дочерью в дверях, кое-как пробрался к столу, завалился на табуретку.

— Теща! Мать! А мать! Так это... За внука-то давай.

— Что «давай»?

— Ну, это... За моего сына, а за твоего внука еще по граммულечке! Ведь сын! Понимаешь, мать, сын! Ну так ищи, ищи! Покопайся в своих закутках. У тебя же есть, я знаю!

— Откуда у меня есть, Парфен?

— К праздничку разве не покупали?

— А за что, Парфен? Была та пятерка, так сегодня в больницу идти, а чего нести? В магазин пошла да всю там и оставила. Да и для кого покупать было? Мы же не пьем...

Парфен полез в карманы, выгреб оставшуюся мелочь, положил на стол. Снова зашарил в пиджаке. Вытащил бумажник с документами, развернул его, выскреб пальцем один отсек, другой. Открыл рот от удивленья: палец подцепил две десятки, аккуратно сложенные одна к одной. Вспомнил: как отложил тогда у Валентина Маркелова, так и забыл о них. Не привык держать при себе деньги.

— Мать, гляди! Как кто с неба сбросил! Вот возьми, все твои!

Устиновна хотя и не сразу, но деньги взяла, покрутилась, все чем-то недовольная.

— Мать, так одну граммулечку только за сына — и шабаш! Это же первый раз в жизни! И, может, последний... Мать!

— Ты и так уже с табуретки валишься. Лучше поешь да иди ляжь, отдохни.

Устиновна подсунула ему тарелку с борщом, подала ложку, и Парфен машинально засербал, низко наклонясь над столом и пьяно покачивая головой. Потом переполз на кровать и мгновенно уснул. Уснул, как после долгой бессмысленной работы, которую затеял сам себе по глупости.

На другой день после завтрака Устиновна приготовила Эмме передачу. Парфен завел мотоцикл, пристроил сумку с едой на руль и выехал со двора. На больничный двор въехал, сбавив газ, чтобы не тарыхтеть под окнами палат. Как и вчера, поставил мотоцикл у забора, к родильному дому пошел пешком. Та же тетя Серафима встретила его на деревянном крыльчке, сердито выдернула из рук сумку и унесла. Вернулась, молча сунула назад уже опорожненную: мол, теперь можешь катиться, глаза бы мои на тебя не глядели! И с тем ушла бы, если бы он не спросил:

— Какие новости, тетя Серафима?

— Никаких, иди!

— Нет, правда, какие?

— Какие тебе новости за одну ночь?

— Все-таки... Не встает жена?

— Не встает.

— И к окну подойти нельзя?

— Нельзя!

— Тетя Серафима!

— Иди, не дури голову!

— А сын? Как сын, тетя Серафима?

— Что сын? Сын как сын! Уйди с моих глаз, не доводи до греха, а то как стёбну...

Нянечка сказала это так грозно и так серьезно, что Парфен повесил голову и не прекословя пошел от крыльца. Не дойдя до мотоцикла, он обернулся, посмотрел на окна родильного дома. Потом, крадучись, подошел к ним. Знать бы, в какой палате лежит, взобрался бы на карниз, заглянул, авось хоть лежачую увидел... А сына? Как увидеть сына? Хотя бы издали, хотя бы через стекла, хотя бы одним глазком!

Парфен так ни с чем прошел под окнами до самых тополей. Почему-то его потянуло заглянуть дальше, где, кроме тополей, гнулись под ветром молодые березки и клены. И тут он увидел что-то похожее на могилки, с любопытством подошел поближе. Они почти были незаметны среди густого кустарника, хотя еще голого, без листьев, и старой полегшей травы. Да и сами могильные холмики были маленькие и без крестов, большинство из них давнишние, сровнявшиеся с землей, так что и не подумал бы, что это могилы. Были и посвежее холмики, а один совсем свежий. Здесь, наверное, хоронили мертворожденных. Тихо и покойно было в этом глухом, мало кому известном уголке больничного двора, где приютились маленькие человеки, так и не узнавшие, что такое жизнь.

И Парфена даже замутило от этой тишины и покоя, сырого запаха свежей земли, всего тайного, на что он невзначай наткнулся. Он торопливо пошел от кладбища, не оглядываясь и стараясь забыть, что он видел там. Снова подошел к крылечку роддома. Тетья Серафима была тут как тут.

— Ты чего туда ходил? — настороженно спросила она.

— Куда?

— Да туда. Я же в окно видела. Тебе кто что сказал?

— Что сказал?

— Да ничего... Это я так...

Нянечка попятилась в дверь, беззвучно шевеля ртом.

— Кто что сказал? — громче повторил Парфен. — Тетья Серафима! Ты слышишь, тетя Серафима!

Он крутнулся, как юла, заглянул ей в лицо: та плакала.

— Тетья Серафима!..

— Рано родился на свет человек, — проговорила нянечка, вся вдруг размякая. — Он такой крохотный был... Уж чего Марья Михайловна ему ни делала...

Парфена как будто кто-то ударил по голове чем-то тяжелым так сильно, что он не почувствовал боли. Он лишь не то улыбнулся в ответ на это злодеяние, не то засмеялся, но без звука, и, покачиваясь, медленно пошел от крыльца. Забыл про мотоцикл, так ему зашибло память. Вспомнил, когда вышел из больничного двора, прорезалось-таки у него в сознании, что не пешком сюда пришел.

Ехал Парфен, никуда не спеша, ни о чем не думая, не переживая. Ему все равно было, куда ехать, как ехать, сколько ехать. Глядеть ли на дорогу, на деревья ли, на дома, на небо. Кто бы ни встречался на пути, был ему безразличен.

Приехал домой, вошел в хату, повесил пустую сумку на гвоздь возле дверей, где она висела всегда, покрутился по комнате, как бы что-то ища и не находя, что искал.

— Ну, как там? — спросила Устиновна. — Чего молчишь?

Парфен посмотрел на тещу, словно бы не понял ее.

— Да так... Привет передавала... Скоро выписаться должна.

— А дитя как?

— Живое...

Парфен вышел во двор, постоял возле крыльца, потом двинулся в сад. Долго рассматривал на яблонях почки. Все они были уже крупные, тупоносые. Значит, цвести нынче яблоням разливно, через полторы-две недели окупятся они в молоко, загудят в их цветах пчелы, разнесут по усадьбе медовый запах...

А утром, как обычно, Устиновна отсчитала Парфену тридцать шесть копеек на обед. Зять не взял: та мелочь, что вчера выгребал из кармана на стол, еще побренькивает в пиджаке.

— Не опоздаешь? — напомнила теща, видя, что Парфен не спешит на работу.

— А хоть и опоздаю...

— Не стыдно тебе будет?

— Будет стыдно, так переморгаю.

— Ой, гляди! Что-то недоброе опять ты задумал!

— А ты ко мне прибор какой подключала?

— Так на автобус же опоздаешь!

— Я сегодня на мотоцикле поеду...

Парфен приехал на фабрику с опозданием на двадцать минут. Вошел в мастерскую, выдрал чистый лист из книги учета и предложений, которую ввел новый инженер. Устроился поудобнее за столом и шариковой ручкой с красной пастой написал в верхнем правом углу: «Директору спичечной фабрики «Пролетарий» Буенову В. И. от мастера набивочного цеха Локтионова П. Т.». Затем посредине листа крупно вывел: «Заявление». Посидел, подумал и с новой строки коротко изложил: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Проверил каждое слово, не сделал ли в каком-нибудь ошибке, — нет, все грамотно. Поставил дату и расписался.

В окне мастерской промелькнула чья-то голова, и Парфен быстро сложил заявление вчетверо и спрятал за пазуху.

— А, счастливый отец! — Это вошел заместитель Трушина Подлегаев. — Ну, поздравляю с сыном!.. Чего не весел? Перебрал вчера? Ну, по такому случаю грешно было не перебрать! У меня когда сын родился, правда давненько это было, так я целую неделю гулял, чуть с работы не выгнали. Тогда за это дело строго наказывали. Ну да и сейчас стали... — Он выхватил из папки какую-то бумагу, мигом развернул ее перед Парфеном, хлопнул по ней ладонью: — Подпиши!

Парфен хмуро покосился на бумагу.

— Не тяни! Можешь подписывать не глядя, не на расстрел! Ну скорей, скорей, мне некогда!

— А что это?

— Деньги!

— Какие деньги?

— Шеф послал.

— Какой шеф?

— Ну, Парфен, не знаешь! Видно, крепко ты перебрал. Подписывай, чего допытываешься, да иди получай. Помощь, понимаешь? Помощь!

— За что помощь?

— За то, что война сделал. Ну, теперь понял?

Парфен молча поднялся, обогнул стол, на котором лежала бумага на деньги, и направился из мастерской.

Подлегаев догнал его во дворе, удивленно вытаращил глаза:

— Ты чего это? Обиделся за что? Или денег у тебя стало много?

— Отнеси эту бумажку назад.

И Парфен повернул в цех. Подлегаев, пожав плечами, осекшейся походкой пошел от него.

А Парфен, войдя в цех, опустил голову пониже, прошел мимо станочниц к слесарне. Он затылком чувствовал, что те глядели на него, ожидая, что он остановится, поговорит с ними. А Каролина Бабкова даже крикнула ему что-то, не то «как твой сын», не то «гляди, уже загордился».

Слесари сидели тихо, как будто только его и ждали, делая невинные рожицы — первый признак того, что уже подстроили мастеру какую-то смешную штуку. Парфен посмотрел на стену, от которой они отводили взгляды. На ней был прибит большой лист бумаги, раз-

рисованный цветными карандашами. Парфен сразу узнал себя с голопузым ребенком на руках. У ребенка из широко открытого рта вылетали буквы «а». Внизу рисунка такая острота: «Сделал дело — ори смело!»

Чья это работа? Конечно, Филимона Меньшикова. Один он из слесарей умел рисовать — одним бог обидел, зато на другое дал талант. Филимон-то и сидел сейчас тише воды, ниже травы. Понятно, что тут не обошлось без помощников и консультантов. «Сделал» сначала было написано с буквы «з», потом переправлено на «с». Кто-то подрисовал ребенку краник и то самое «дело», которое протекло струйкой Парфену на штаны.

Парфен молча подошел к стене и сорвал лист. Ни на кого не глядя, направился из слесарни. Услышал за спиной громкое «фюить» Аристарха Гребенникова и голос Глеба Кершанка:

— Начальство шуток не любит!

Парфен остановился и, обернувшись, спросил:

— Милешина не видели?

— Кого-кого? — задиристо переспросил Сенька Шадрин.

— Начальника цеха, говорю, не видели?

— К нам такое высокое начальство не заглядывает.

Согнувшись, Парфен вышел на фабричный двор, постоял, оглядываясь по сторонам.

А вот и Милешин. Выбежал из автоматного цеха, направился к гаражу. Парфен вынул из-за пазухи заявление. Милешин как бежал, так выхватил его из рук Парфена, думая, что это деловая бумажка, каких насуют ему за день полные карманы, и, не сбавляя скорости, побежал дальше. Вдруг застопорил, прочитав ее на ходу, вернулся к Парфену.

— Не пойму, что это?

— Там все написано...

— Вижу, что написано. Но что это за з-заявление? — Начальник цеха даже заикнулся на этом слове. — Уволиться решил, так я понял?.. Постой, постой! Как это уволиться? Ты что, с радости, что сын родился, с ума спятил? А ну погляди сюда. Ну, ты хорош, хорош! Прямо герой! Говори сразу, какая тебя блоха укусила? Чего это ты решил уволиться?

— По собственному желанию...

— По собственному желанию, подумать только! Возьми свое заявление обратно, порви и выкинь, чтоб никто не видел! Понял?

— Я по собственному желанию...

— Ну, знаешь ли!.. Если ты еще не одумался, иди к инженеру, разбирайся с ним. А я не подпишу!

Милешин бросил заявление на землю и, отбежав от Парфена, угрозил ему кулаком.

Парфен бережно поднял его, сдул с него пыль и пошел в контору. Главного инженера на месте не застал. Курьерша Лида подсказала, что он у директора. Парфен подождал в коридоре. Вскоре инженер вышел из директорского кабинета. Как бы провожая его, из двери выглянул и сам директор. Тут Парфен и перехватил инженера, протянул ему свое заявление. Тот, не читая его, прошел в свой кабинет, сел за стол.

— Вовремя вы пришли, Парфен Тимофеевич, — проговорил инженер, все еще не обращая внимания на заявление. — Вы, конечно, знакомы с решением об удешевлении управленческого аппарата... Короче говоря, мы решили сократить сменных мастеров. — Тут он взглянул на Парфена так, словно спеша предупредить: «Вам это не угрожает...» — Мы только что окончательно утвердили с директором, кого из мастеров оставить. Вас мы ставим ма-

стером двух цехов — автоматного и набивочного. То есть вы понимаете, что работы прибавится...

— Я по собственному желанию... — перебил его Парфен.

— Ну конечно же, ваше желание тут, бесспорно, для нас важно. Об этом я и хотел с вами поговорить...

— Нет, я... — Парфен мотнул головой на заявление.

Инженер быстро прочитал его, удивленно посмотрел на Парфена.

— Вы хотите уволиться?

Парфен опустил голову.

— Что за причина?

— Ну, там же... Я по собственному желанию.

— Да, но причина? Вам что-нибудь не понравилось?

Инженер вышел из-за стола, отошел к окну — своему излюбленному месту — и оттуда посмотрел на Парфена.

— Так хорошо начинали, и вдруг... Я ничего не понимаю. Вы просто себя губите. Я уж не говорю о том, что вы и меня ставите в глупое положение. Но если у вас серьезная причина, то что делаешь. Серьезная? Честно скажите.

— Я по собственному желанию...

Главный инженер уже посмотрел на Парфена, как врач на больного, который сам не знает, чего пришел.

— Ну, хорошо, допустим, что я вас уволю. — Инженер пустился на обходный маневр. — Что вы будете делать дальше? Куда пойдете работать?

Парфен молчал.

— Я понимаю, причина у вас настолько серьезна, что ее не каждому скажешь. Ну, а раз так, то что ж... — И, как опытный врач предписывает «больному» лекарство для блезиру, инженер сказал: — Я не буду возражать, если на ваше увольнение даст согласие фабком.

Парфен медленно сгреб заявление со стола, постоял несколько секунд.

— Идите в фабком, — повторил инженер.

Когда Парфен пришел к Трушину, тот разговаривал с кем-то по телефону:

— Понятно, понятно! Да, да! Никто ведь не знал, Василий Степанович... У него горе — сын не выжил. — Председатель фабкома все еще не замечал Парфена, стоявшего в дверях. — Я тоже так думаю, что у него это временно, пройдет... Да, да. Постараюсь, Василий Степанович, постараюсь!

Трушин увидел Парфена и положил трубку.

— Не нужна мне ваша хата, — проговорил Парфен, двинувшись на него.

— Что? Что? Какая хата? — прикинулся Трушин незнайкой. — Ах, квартира! А что квартира? Квартира тут ни при чем...

Этим себя Трушин и выдал, поспешил улепетить:

— Садись! Проходи, садись, Парфен Тимофеевич. В ногах правды нет... Ты, значит, насчет квартиры? Будет, скоро будет тебе квартира. Потерпи еще недельки три...

— Я по собственному желанию...

Парфен тяжело положил заявление перед Трушиным.

— Ох, задал ты мне задачу!

Трушин сразу сдался, снял очки, потер пальцами красноватые глаза.

— Прямо не знаю, с чего и начать... Честное слово! Ну, горе, все мы понимаем, что горе! Так что ж теперь, плакать? Идти топиться или вешаться? Да и кто в этом виноват? Никто! Ну правда, Парфен! Ты, что ли? Я? Главный инженер? Фабрика? Нет! Че-

го же из-за этого с работы уходить? Да и куда ты пойдешь, подумай! Где лучше найдешь? К жене ведь табуретки не пойдешь делать. И вообще... Я тебя понимаю, друг ты мой любезный! Ну, повторяю, горе! Случилось горе! Случилось! На кого тут пенять? На бога? Так нет его. И люди тут ни при чем...

— Увольняй...

— Локтионов! Я убеждать не умею. Как умел, так и говорил. Но если ты человеческих слов не понимаешь, то я и меры могу принять. Да, и меры! А что ты думаешь? Ты сейчас делов натворишь, а через неделю придешь назад проситься. Делать тебе и нам больше нечего? И семью только больше травмируешь. Нет, ты просто не при своем уме. Но я-то не имею права ум терять. Не даю согласия на твое увольнение — и весь разговор. Иди жалуйся кому хочешь!

— Две недели отработаю и уйду. Закон есть.

— Ну, есть. Но этот закон для меня.

— Есть еще суд.

— Что ты меня судом пугаешь? Думаешь, я боюсь его? Суд! Да... Что тебе говорить! Не хочешь работать, ну и катись, но после этого ко мне не приходи.

Трушин устал снимать и надевать очки, в конце концов бросил их на стол, а сам плюхнулся в кресло. Вытер ладонью вспотевшую лысину.

В фабком давно неслышно вошел парторг Легионов. Стоял скромно в сторонке, слушал.

— Вот поговорите с ним, Сергей Антонович,— повернулся к нему Трушин.— Был Парфен человеком, а тут...

— Я выражаю вам, Парфен Тимофеевич, соболезнование,— проговорил парторг Легионов.— Мне близко и понятно ваше чувство: такое неожиданное горе. Я только сейчас узнал о нем от Василия Степановича. Все же вы подумайте, не торопитесь с таким шагом. Это у вас вызвано потрясением...

— Я по собственному желанию...

— Я понимаю,— терпеливо продолжал Легионов.— Но ваше желание еще не все. Роман Михайлович прав: в смерти ребенка никто не повинен.

— Я по собственному желанию...

— Да, но при чем тут ваша работа? При чем же она? Это просто стечение обстоятельств. Да, да, Парфен Тимофеевич! Мы никакой связи тут не видим. На производстве у вас полный порядок. Вы так прекрасно начали, зачем же уходить?

— Увольняйте...

Парторг переглянулся с Трушиным: дескать, бесполезно сейчас его разубеждать.

— А мы хотели вас в партию принять,— проговорил он так, как бы хотел сказать: уж если это не поможет...

Парфен промолчал: что-то сломилось в нем, поддалось, кажется. Минуту-другую постоял, опустив голову.

— Хорошо, Парфен Тимофеевич,— парторг решил пойти на уловку,— оставьте свое заявление, а мы тут подумаем.

Никогда еще так не тянуло Парфена к слесарям, как сегодня. Сейчас они, наверное, все в курилке. Где же им сидеть, как не в курилке!

Парфен толкнул ногой дверь и дальше не ступил ни на шаг: курилка была пуста. Даже дымом в ней не пахло. Давненько, значит, сюда не заглядывали. Форточка на полуоторванной петле покачивалась от ветра, поскрипывая жалобно-жалобно — скрип-скрип,— жила еще. И не вышибли ее совсем, скрипучую!

В слесарню иначе как через цех не попасть, и Парфен, нагнув голову, чтобы не видеть станочниц, пошел вдоль станков. Уже миновал Проню Пончик, Каролину Бабкову, оставалось проскользнуть Ксению Маркелову, но Фаина Халявкина опередила:

— Ты Надьку свою не видел?

— Это еще что?

— Прибегала на фабрику, чтоб передать... Устиновна пошла утром к Эмме, вернулась от нее с ревом.

Парфен только еще ниже опустил голову и пошел дальше.

Перед тем как скрыться в слесарне, он все же осмелился глянуть в сторону Ксении Маркеловой. А глянул — нет там никакой Ксении. За станком стоял Валентин. В его жалком виде одно горькое: «Вот за жену тружусь...» А где сама Ксения? Кажется же, она была с утра. Или ему померещилось?

В слесарне Жорка Матвеев да Филимон Меньшиков, оба зажуренные.

— Остальные где? — спросил Парфен.

— Ты их ищешь, а они тебя ищут, — шевельнул губами Жорка Матвеев.

— Зачем я им?

— Ну, это... Извиниться хотят... Мы же не знали такое дело...

Из мастерской вывалили кучей Сенька Шадрин, Аристарх Гребенников, Глеб Кершанок и Порфирий Плутархов, прихрамывая.

— Это правда, что ты решил уволиться? — первым набросился на Парфена Аристарх Гребенников. — Нет, ты стой! От нас так легко не отделаешься! Не брехня, значит?

— Раз говорят, значит, не брехня.

— За Тихоном следом, значит? А мы еще собирались извиняться перед тобой за эту... стенгазету.

У Сеньки Шадрина дрогнула душа, сжалась. Нашелся-таки и заступничек.

— Стенгазету! — передразнил он. — Тут дела поважнее вашей стенгазеты. Была бы стенгазета, если бы...

— Что если бы? — мрачно спросил Парфен.

— А то... Если бы твои переехали в Синезерки, не заартачилась бы Эмма, ничего бы этого не случилось.

— Если б да кабы... — перехватил Аристарх Гребенников. — Еще, может, скажешь: если б Парфен не пошел в мастера, то тоже было бы все в ажуре, да?

— А что? Резонно.

— Резонно, говоришь? Смотря на чей разум. Сказала бы это какая-нибудь неграмотная баба, еще простительно. А ты-то человек с понятием. Не в мастере дело, а все дело в том, что Парфен с места сдвинулся. Но под наших жен хоть вару подлей, поприсосили к своим хатам, мозги себе одной зарплатой забили, ничего понимать не хотят. А ты, Парфен, за них расплачивайся теперь.

— Ну, расписал! Слышала бы сейчас это Эмма, она за такие слова повыдрала бы твои кучерявые. Тебя послушать, так одна она во всем виновата.

— Ну, не одна, но она первая...

— Первая! А теща тут что, ни при чем?

— Вали на тещу! — стал уже куражиться Аристарх Гребенников. — Тещи все свезут!

— Тещи, верно, свезут. А как нам с Парфеном-то быть? Ты хочешь на гору, а черт за ногу.

— Нам, братцы кролики, лучше сидеть на своем месте и никуда не рыпаться. А то всем это будет, — подал голос Глеб Кершанок.

— Ты, пшеничная морда, эти речи брось! — грозно одернул его Сенька Шадрин. — Знаем, чьим духом они пахнут. Ты нас к своему коудлу не причисляй. На испуг нас не возьмешь: волков бояться — в лес не ходить!

— Вот это правильно, на все сто! — поддержал Сеньку Аристарх Гребенников. — Нашел Пшеничник чем пугать. Не из пугливых! Человек, если хочешь ты своей дурной головой понять, к настоящей жизни потянулся, а что так получилось, не его в этом вина.

— А чья же? — окрысился Глеб Кершанок.

— До тебя, как до жирафа, на третьи сутки дойдет...

— Кончай, все ясно! Чего воду в ступе толочь? — заорал на всех Сенька Шадрин. — Без этих разговоров человеку тошно!

— Эх, жизнь наша поломанная! — как бы для разрядки разудало пропел Аристарх Гребенников. Но и он сам и остальные слесари продолжали стоять возле Парфена.

— Ну, кому сказано? Живо разбегайтесь по своим норкам и сидите тихо, — повторил Сенька Шадрин. — Пристали, как банный лист до...

Поглядеть, так и подействовало. Не сразу, а подчинились Сеньке. Развернулись и подались скопом к цеху. Один Порфирий Плутархов приотстал, оглянулся на мастера, да оступися на протезный ботинок и запрыгал на здоровой ноге вдогонку.

Смена кончилась, тут и Иван Колчин явился — не запыхавшись. Встал на пороге мастерской, чтобы вынести свой приговор.

— Ну, теперь суди, кто был прав, — начал он. — Ты не верил, думал, что Иван не друг тебе, а портянка. Послушал бы меня, жил бы себе как жил. А то до расчета докатился!

— Выдь, Иван! — Парфен засопел.

— Чего выдь? Неправду говоришь? Лучше скажи, как дальше жить собираешься?

— Иван, выдь!

— Да брось из себя мученика ставить! Подумаешь, у тебя первого, у тебя последнего! Это еще не человек, а так... Ты ведь и в глаза его не видел, какой он. Еще не одного себе такого смастеришь...

— Выдь, Иван!

Теперь Парфен так засопел, что Иван Колчин попятился к двери.

— Каким психом стал! Так тебе и надо! Наперед умнее будешь! — И он, открыв дверь спиной, выкатился из мастерской.

Домой Парфен ехал на четвертой скорости: впервые после весеннего паводка дорогу прировняли грейдером. На горке за Синезерками его прихватил дождь с градом. Полоснул гулкой очередью по плащу из кожзаменителя и стих. Потом полоснул еще раз и промочил насквозь. Что-то обязательное было в этом ливне, восстанавливающее силы.

К дому Парфен подъехал по лужам. Возле ворот увидел Любочку с Фаинойной девочкой Ленкой.

Здесь ливень только что кончился. С липы капало. Весь левый край неба еще рассекали колеблющиеся нитевидные полосы, но сквозь них уже прорывалось яркое солнце.

Любочка и Ленка, радостно прыгая, наперебой повторяли:

— Гори, гори ясно, чтоб не погасло!

Парфен, не слезая с мотоцикла, скупно улыбнулся детям. Ничего еще о жизни не знают, видят солнце и этим счастливы.



ЛЕВ ГИНЗБУРГ

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ НЕМЕЦКОГО БАРОККО

В этой подборке представлены впервые переведенные на русский язык стихи поэтов немецкого барокко — термин, в общем-то, условный, сравнительно недавно заимствованный для поэзии, живописи и музыки у архитектуры и ставший теперь у нас предметом литературоведческой дискуссии. Собственно, речь идет о поэзии XVII века — одной из самых трагедийных и поучительных для европейцев эпох, когда в кровопролитную Тридцатилетнюю войну 1618—1648 годов оказались втянутыми миллионы людей, а феодальные и религиозные распри обернулись массовыми убийствами, казнями, грабежами, слезами вдов и сирот. По сути дела, ни одна из европейских стран так или иначе не осталась в стороне от событий, которые уже тогда заставляли думать об общности европейских судеб и взаимосвязанности европейских дел.

И в то же время XVII век, в 1600 году злополучно начавшийся казнью Джордано Бруно, век затяжных, почти непрерывных войн, грандиозных потрясений, господства бушевавших в Европе эпидемий и голода, оказался столетием необычайного взлета человеческого духа, веком новых открытий и знаний, новых, почти невообразимых в тех условиях философских, политических, художественных достижений. (Вспомним, что Европа XVII века дала таких людей, как Декарт, Спиноза, Паскаль, Кромвель; как Бах и Рембрандт, Мольер, Корнель, Мильтон, протопоп Аввакум...)

Это был век метания человеческого духа от надежды к отчаянию, от глубокой подавленности и пессимизма к безудержному жизнелюбию, от мрачного религиозного мистицизма к обожествлению самого человека — центра мироздания, венца всего сущего...

Именно эти метания и «крайности», очевидно, позволили применить к европейской поэзии того времени термин «барокко», подразумевая под этим ее эмоциональную и философскую перенасыщенность, стремление разгадать таинственную связь между невозмутимой вечностью и раздираемым страстями временем, постичь сложную диалектику человеческого мышления и многозначность человеческой речи.

Таким образом, португальское слово «барокко» — жемчужина неправильной формы — оказалось пригодным не только для зодчества. И хотя у каждого из искусств свои законы и формы, перед глазами читателя, очевидно, возникнут образцы барочной архитектуры, когда он познакомится с некоторыми стихами, помещенными в этой подборке. Присущие барокко «неправильность», декоративность, избыточность — все это, конечно, есть не только в архитектуре, но и в поэзии бурного и неистового XVII века...

Одной из наиболее замечательных и наименее известных (во всяком случае, у нас) страниц европейской литературы барокко оказалась немецкая поэзия XVII века, по существу положившая начало классической поэзии Германии, подготовившая приход таких великих писателей и поэтов, как Лессинг, Гёте, Шиллер, а затем Гельдерлин и Гейне. Рожденная в огне Тридцатилетней войны, эта поэзия откликнулась на самые насущные вопросы времени, на самую суть бытия, безраздельно поставив себя на службу своему исстрадавшемуся и обездоленному народу.

На эту главную черту поэзии Тридцатилетней войны — как поэзии гражданственной — впервые обратил внимание в 1954 году крупнейший немецкий поэт и выдающийся общественный деятель ГДР Иоганнес Бехер, создавший свою поистине историческую антологию поэзии XVI—XVII веков — «Слезы отечества».

Отметая схоластические споры о тех или иных чисто внешних признаках поэтики барокко, Бехер писал, что «крупнейшие поэты Тридцатилетней войны были насквозь политическими поэтами в том смысле, как были ими великие греки или поэты Ренессанса, как Ронсар и Сервантес, как Овидий и Гораций...».

В наши дни, когда поэзия барокко явно вызывает всевропейский интерес, эти слова приобретают особое значение. При этом и из предисловия Бехера и из самих стихов нам становится ясно, что термин «политические поэты» следует понимать не примитивно, не по-школярски, а широко, умея видеть «политику» и в глубоких раздумьях о судьбах отечества, и в особо напряженных размышлениях о жизни и смерти, о назначении человека, о краткости и бесконечности времени. Разве не этими свойствами отмечены, например, стихи таких насквозь «политических» поэтов, как Пауль Флеминг, Андреас Грифиус, Мартин Опиц, разве не насыщены «политикой» стихотворные изречения Логау и Морхофа, разве не было «политикой» жизнеутверждающее начало, заложенное в стихах Зигмунда фон Биркена или Филиппа Цезена, и не воспринимался ли как политический протест отчаянный спор с богом, который ведет в своих стихах Иоганн Христиан Гюнтер — поэт, высоко оцененный в Германии Гёте, считавшим Гюнтера своим предшественником, а в России — Михаилом Ломоносовым? При этом само собой разумеется, что и у Гюнтера и у других поэтов бог, Христос выступают как философско-метафорические понятия, подобно тому как философско-метафорическими понятиями были бог и шестикрылый серафим в пушкинском «Пророке» или божий суд в лермонтовском стихотворении «На смерть поэта»...

Политическое мышление, присущее поэтам немецкого барокко, находило, если так можно выразиться, и прямое, практическое выражение. Так, первыми из поэтов немецкого языка (и на это указывает Бехер) поэты Тридцатилетней войны поняли необходимость консолидации европейских народов, того, что мы теперь называем мирным сотрудничеством и обменом духовными ценностями. Они, эти старые, отделенные от нас тремя столетиями немцы, были первыми поборниками дружбы с Россией (у Флеминга, посетившего нашу страну, помимо публикуемого здесь сонета «На слияние Волги и Камы», есть сонеты, посвященные Москве, один из которых заканчивается такими строками: «...Так пусть же навсегда сияет над тобою войной не тронутое небо голубое, пусть никогда твой край не ведает невзгод. Прими пока сонет в залог того, что снова, на родину придя, найду достойней слово, чтоб услышал мой Рейн напевы волжских вод»). Мартин Опиц был провозвестником германо-польской дружбы. Грифиус занимали Армения, Грузия, и ему же принадлежат стихи, посвященные польскому гению Николаю Копернику. Что касается Флеминга, то недавно в Эстонии, в Таллине, обнаружены следы его пребывания в старом Ревеле, где он способствовал созданию поэтических «пастушеских кружков», в которых читались немецкие и — первые на эстонском языке — светские стихи...

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Читая стихи немцев XVII века (силлабо-тоническая система была введена в Германии «реформой» Мартина Опица), чувствуешь их причастность ко всей поэзии Европы, общность некоторых мотивов, интонаций, настроений, характерных для художественного мышления нашего континента и, уж конечно, для поэзии европейского барокко. Еще, очевидно, предстоит вывить «общий знаменатель», связывающий между собой, скажем, немца Грифиуса и испанца Гонгору, англичанина Джона Донна и итальянца Марино, чеха Яна Амоса Коменского и поляка Яна Морштына, русского поэта Симеона Полоцкого и украинского — Григория Сковороду...

В XVII веке благодаря усилиям прежде всего Опица, Грифиуса и Флеминга в Германии окончательно утвердился сонет, Иоганн Рист привнес в немецкую поэзию очарование ямбической оды, Христиан Гофмансвальдау придал стиху внутреннюю мощь и раскованность, стихи Зигмунда фон Биркена как бы написаны красками, а Иоганн Клай поражает своей виртуозной звукописью, имеющей отнюдь не просто формальное значение. Иоганн Христиан Гюнтер — двадцатисемилетний гений, скиталец и страсто-терпец — предвосхитил многие поэтические новшества не только XVIII, но и XIX столетия...

История появления переводов, как и сама история литератур, причудлива и прихотлива. Сложилось так, что, если не считать нескольких разрозненных переводов поэзия немецкого барокко до недавнего времени вовсе не была представлена на русском языке.

В 1963 году книгой «Слово скорби и утешения» (издательство «Художественная литература») автор этих строк попытался положить начало освоению у нас творчества крупнейших поэтов Германии XVII века, в том числе и фольклора времен Тридцатилетней войны.

Впрочем, этот сборник был ограничен строгими тематическими рамками, и все, что не относилось непосредственно к событиям Тридцатилетней войны, осталось за его пределами.

Между тем поэзия немецкого барокко отличается, как уже отмечено, чрезвычайно разнообразным содержанием, богатством форм и приемов.

Сейчас работа, начатая десятилетие с лишним тому назад, продолжена. Открыты новые стихи, имена, новые тематические пласты.

Пользуясь тем, что журнал «Новый мир» издавна предоставляет свои страницы для публикации новых русских переводов мировой поэзии, решаюсь передать часть моей работы на суд читателей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Вечность

Ах, как же, вечность, ты долга!
Где рубежи? Где берега?
Но время, в коем мы живем,
Спешит к тебе, как в отчий дом,
Быстрее коня, что мчится в бой,
Как судно — к гавани родной.

Не можем мы тебя настичь,
Не в силах мы тебя постичь.
Тебя окутывает мгла.
Подобно шару, ты кругла.
Где вход, чтобы в тебя войти?
Вошедши, выход где найти?

Ты — наподобие кольца:
Нет ни начала, ни конца.
Ты — замкнутый навеки круг
Бессчетных радостей и мук,
И в центре круга, как звезда,
Пылает слово — навсегда!

Тебе конца и краю нет.
И если бы в сто тысяч лет
Пичуга малая хоть раз
Могла бы уносить от нас
Хоть по песчиночке одной,
Рассыпался бы мир земной.

И если бы из наших глаз
В сто тысяч лет всего лишь раз
Одна б слезинка пролилась —
Вода бы в мире поднялась,
Все затопивши берега.
О, до чего же ты долга!

Ах, что перед числом веков
Число песчинок всех песков?
Сколь перед вечностью мало
Всех океанских брызг число!
Так для чего ж мы всё корпим
И вычислить тебя хотим?

Вот смысл заветный этих строк:
Покуда миром правит рок,
Навечно тьме и свету быть.
Ни пыток вечных не избыть,
Ни вечных не избыть усад...
Навечно — рай. Навечно — ад.

ХРИСТИАН ГОФМАНСВАЛЬДАУ

1617—1679. Возглавлял так называемую Вторую силезскую школу поэтов.

Исповедь гусиного пера

В сей мир принесено я существом простым,
Но предо мной дрожат державные короны,
Трясутся скипетры и могут рухнуть троны,
Коль я вдруг окажусь неблагоприятным к ним.

Стилом своих певцов возвышен древний Рим:
Великой доблести начертаны законы,
Увиты лаврами героев легионы,
А власть иных царей развеяна, как дым!

Звучал Вергилия божественного стих,
Священный Август льнул к его бессмертной музе...
Теперь, Германия, ты превосходишь их:
Твой мужественный дух с искусствами в союзе!

Так не затем меня возносят над толпой,
Чтоб шляпу украшать бездарности тупой!

Предостережение

Зачем вы, злые мысли,
Вдруг нависли?
Слезами не избыть беду!
Печаль помочь не может —
Боль умножит.
Нам с нею горше, чем в аду.

Воспрянь, душа! Учись во мгле кромешной
И безутешной,
Когда шальной ревет норд-ост
И мир накрыт, как покрывалом,
Черным шквалом,
Собою заменять свет звезд!

ЗИГМУНД фон БИРКЕН

1626—1661. Жил в Нюрнберге, вместе с Гарсдерфером основал литературное общество «Пегницкий цветочный орден».

Осенняя песнь Флоридана

Загромыхали телеги, подводы.
Ну-ка! Живей! Начинаются роды!
Всё на сносях!.. И поля и сады
Ждут не дождутся мгновенья рожденья:
Сам Флоридан собирает плоды!

Лает, стреляет, гуляет охота.
Ну-ка, в леса, кому дичи охота!
Будет обед восхитительный дан!

И в упоенье мясо оленье
Жадно подносит к губам Флоридан.

Ну-ка, красотки крестьянки, селянки,
Живо несите шесты да стремянки!
Яблоки, груши сшибайте с ветвей!
Ждет Флоридан их — спелых, румяных.
Но и орехи он любит, ей-ей!

Ну-ка, за дело, друзья-рыболовы!
Сети да удочки ваши готовы?
Хоть не поспите вы целую ночь,
Стоит помяться: рыбка поймается.
А Флоридан и до раков охоч!

Можно немало в течение суток
Понастрелять перепелок и уток.
Ну-ка, живей! Не пропал бы запал!
Гляньте, ребятки: да там — куропатки!
А Флоридан в лебедицу попал!

Гнутся к земле виноградные лозы.
Будет вино, когда грянут морозы!
Будет веселье и будет гульба!
Давит давило. Чтоб грудь не давило,
Все обойдет Флоридан погрeba.

Ну-ка! Живее! В поля! В огороды!
Пусть громяют телеги, подводь!
Ну-ка, живее! В леса и сады!
В чаще целуйтесь, чем чаще, тем слаще.
Будьте здоровы! Не знайте беды!

Жарко пусть любитя, сладко пусть спитя,
Сладко пусть пьется (но так, чтоб не спитя!),
Пусть умножается ваше добро!
Вольно пусть дышится, складно пусть пишется!
Славьте мотыгу, клинок и перо!

Выпейте вдоволь и вдоволь поешьте!
Душу разгульною песней потешьте!
Дружно на праздник скликайте друзей!
Пляшет средь ора пьяного хора
Сам Флоридан с королевой своей!

ПАУЛЬ ФЛЕМИНГ

1609—1640. Крупнейший из немецких поэтов XVII века. По образованию врач. В составе дипломатической голштинской миссии вместе с Олеарием совершил путешествие в Россию и Персию. Несколько сонетов Флеминга в XVIII веке перевел на русский язык А. В. Сумароков.

*На слияние Волги и Камы,
в двадцати верстах от Самары*

Приблизьтесь к нам скорей! Причин для страха нет!
О, нимфы пермские, о, гордые княгини,

Пустынных сих берегов угрюмые богини.
Здесь тень да тишина. И солнца робок свет.

Вступите на корабль, дабы принять привет
От нас, кто на устах у всей России ныне.
Голштинии сыны, мы здесь — не на чужбине:
Незыблем наш союз и до скончанья лет!

О, Кама, бурых вод своих не пожалей!
Ковшами черпай их и в Волгу перелей,
Чтоб нас песчаные не задержали мели.

И Волга, обновясь, свой да ускорит бег,
Взывая, чтобы тот и чтобы этот берег
Ни глад, ни мор, ни смерть вовек терзать не смели.

Размышления о времени

Во времени живя, мы времени не знаем.
Тем самым мы себя самих не понимаем.
В какое время мы, однако, родились?
Какое время нам прикажет: «Удались!»?..
А как нам распознать, что наше время значит
И что за будущее наше время прячет?
Весьма различны времена по временам:
То нечто, то ничто — они подобны нам.
Изжив себя вконец, рождает время время.
Так продолжается и человечье племя.
Но время времени нам кажется длинней
Коротким временем нам отведенных дней.
Подчас о времени мы рассуждаем с вами.
Но время это — мы! Никто иной. Мы сами!
Знай: время без времен когда-нибудь придет
И нас из времени насильно уведет,
И мы, самих себя сваливши с плеч, как бремя,
Предстанем перед тем, над чем не властно время.

Озарение

Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь в обмен на смерть мою.
Мертвец, я отдал смерть, присвоив жизнь живого.
Теперь ролями с ним меняемся мы снова.
Моей он смертью жив. Я отмираю в нем.
Плоть — склеп моей души — ветшает с каждым днем.
Обманчив жизни блеск. Кто к смерти не стремится,
Тому под бременем скорбей не распрямиться!
Страшитесь, смертные, дух променять на плоть!
От искушения избавь меня, господь!
Постиг всем существом я высшую идею:
Все то, чего лишен, и все, чем я владею,
И смерть моя, и жизнь со смертью наравне,
Смысл и бессмыслица содержатся во мне!

Какое же принять мне следует решение?
 Я смею лишь желать. Тебе дано свершение.
 Освободив мой ум от суетной тщеты,
 Возьми меня всего. И мне предайся ты.

Как бы он хотел, чтобы его целовали

Целомудренно-чиста,
 Поцелуй меня в уста.
 Робко, но не слишком вяло —
 Чтоб до сердца доставало.

Наслаждения порой
 Детской кажутся игрой,
 Если дочери Венеры
 Не имеют чувства меры.

Не кусай меня, не жги.
 Страсть сперва побереги.
 Округли сначала губки
 В виде дружеской уступки.

Покуражься, а потом
 Обхвати горящим ртом
 Рот, подставленный влюбленным,
 До предела распаленным.

Лишь простушка да простак
 Льнут друг к другу просто так:
 Вызывает трепет в теле
 Самый путь к заветной цели.

С ходу или не спеша —
 Делай, как ведет душа...
 Ну, а что зовется раем,
 Только мы с тобою знаем!

На смерть господина Мартина Опица

Так в Элизийские ушел и ты поля,
 Ты, кто был наших дней Гомером и Пиндаром,
 Кто, наделенный их необычайным даром,
 Жил, с ними славу и бессмертие деля.

О, герцог наших струн! Немецкая земля,
 Привыкшая к скорбям, объята пожаром,
 Сотрясена досель невиданным ударом
 И стонет, небеса о милости моля.

Вотще!.. Все сметено, все ~~сломано~~ и смято.
 Мертва Германия, прекрасная когда-то.
 Мать умерла. Теперь во гроб ложится сын.

Пал мститель, пал певец, пал праведник и воин!..
 А вам-то что скорбеть? Из вас-то ни один
 Подобного певца сегодня не достоин!

МАРТИН ОПИЦ

1597—1639. Крупнейший реформатор немецкого стиха, автор «Книги о немецком стихотворстве». Перу Опица принадлежат, помимо любовных песен, непосредственные стихотворные отклики на события Тридцатилетней войны, поэма «Везувий», многочисленные переводы.

К ночи и к звездам

Скажи мне, ночь, зловещей чернотою
Окутавшая доли и хребты,
Ужель пред этой юной красотой
Себя самой не устыдишься ты?!

Скажите, звезды, лунными ночами:
Глядящие с заоблачных высот,
Что значит свет ваш пред ее очами,
Чей ясный свет до неба достает?!

От этого пылающего взора
Вы, с каждой минутой все бледней,
Погаснете, когда сама Аврора
Зардеется смущенно перед ней.

Образец сонета

Вы, небеса, ты, луг, ты, ветерок крылатый,
Вы, травы и холмы, ты, дивное вино,
Ты, чистый ручеек, в котором видишь дно,
Вы, нивы тучные, ты, хвойный лес мохнатый,

Ты, буйный сад, цветами пышными богатый,
Ты, край песков пустынь, где все обожжено,
Ты, древняя скала, где было мне дано
Созвучие вплести в мой стих витиеватый,—

Поскольку я томим любовною истомой
К прелестной Флавии, досель мне незнакомой,
И только к ней стремлюсь в полночной тишине,

Молю вас, небеса, луг, ветер, нивы, всходы,
Вино, ручей, трава, сады, леса и воды,
Всех, всех молю вас: ей поведайте обо мне...

Свобода в любви

Зачем нам выпало так много испытаний?
Неужто жизнь в плену и есть предел мечтаний?
Способна птица петь на веточке простой,
А в клетке — ни за что. Пусть даже в золотой!

Люблю, кого хочу! То, что хочу, люблю я!
Играя временем, себя развеселю я!
День станет ночью мне, а ночь мне станет днем,
И сутки я могу перевернуть вверх дном!

Прочь рассудительность! Прочь постные сужденья!
 В иных страданиях таятся наслажденья,
 А во вражде — любовь. Ну, а в любви — вражда,
 В работе — отдых. Отдых же порой трудней труда.

Однако, приведя столь яркие примеры,
 Я остаюсь рабом и пленником Венеры,
 И средь ее садов, среди волшебных роц
 Я чувствую в себе свободу, радость, мощь!

РОБЕРТ РОБЕРТИН

1600—1648. Был членом Кенигсбергского общества поэтов.

Весенняя песня

Сойдя с заоблачных высот
 В круг бытия земного,
 Весна-красавица несет
 Свои улады снова.

И снова зелено в лесах,
 Луг блещет пестротой,
 А тучи светят в небесах
 Каемкой золотою.

Цветная радуга горит,
 И лед на реках сломан,
 И в рощах праздничных царит
 Счастливый птичий гомон.

Волшебной песнею своей
 Мир веселят огромный
 Днем ласточка, а соловей —
 Угрюмой ночью темной.

В лугах — стада, в садах — цветы,
 В ручьях, в озерах — рыбки —
 Весь мир исполнен доброты,
 Надежды и улыбки...

Лишь человек, кого господь
 Избрал венцом творенья,
 В себе не может побороть
 Неудовлетворенья!

Ничто его не тешит взор,
 Дух не бодрит уставший...
 Палач, себя казнивший! Вор,
 Себя обворовавший!

Как голова его седа,
 Как глубоки морщины!..
 Он видит Страшного суда
 Грядущие картины.

ФРИДРИХ ЛОГАУ

1604—1655. Автор более чем трех тысяч политических эпиграмм и философских миниатюр. После смерти Логау стихи его переиздал Лессинг.

Изречения и эпиграммы

Деньги

И старец и юнец — все алчут золотых:
Один — чтоб их копить, другой — чтоб тратить их.

Знатное происхождение

«Наши деды — паладины!»
«Наши предки — короли!»...
В чем-то, впрочем, все едины:
Все — от матери земли.

Дружба и вино

Дружба возле винной бочки
Не длиннее пьяной ночки.

Право и бесправье

Служитель права прав, когда страшится права,
А то и на него отыщется управа:
Давно бы окошел без жалованья он,
Когда бы все блюли порядок и закон!

Немецкая речь

Германия бедна... О, горестный удел!
Немецкий наш язык настолько оскудел,
Что у французского он занимает ныне
(Неримский Рим погиб с погибелью латыни).
В слабеющую речь, что теплится едва,
Испанские вползли и шведские слова.
Как признак тяжкого и злого нездоровья,
Немецкий сохранил одни лишь славословья,
Во всем же остальном — заемной речи груз.
Усилиями почти немых немецких муз
Живой язык еще звучит в стихах поэтов,
Еще порой блеснет в строках иных сонетов,
Но оголтелый Марс, воздев кровавый меч,
Терзает нашу мысль, пытается нашу речь
И делает ее безликой, бездуховной
В разорванной стране, бесправной и бескровной.

Служение музам

Может быть, читатель мой, пожалев меня, беднягу,
Молвит: «Что за крест такой — день за днем мараить бумагу!»
Ах, когда б он знал о том иль увидел бы воочью:
Все, что он читает днем, я мараю ночь за ночью!

Победа над собой

Да, бой с собой самим есть самый трудный бой.
Победа из побед — победа над собой.

ГЕОРГ ФИЛИПП ГАРСДЕРФЕР

1607—1658. Поэт и теоретик, основатель «Пегницкого цветочного ордена» — одного из самых знаменитых тогда литературных обществ. Кроме того, в 1641—1649 годах выпускал первую в Европе энциклопедию для женщин — «Женская игра в разговоры».

Загадки

Нуль или зеро

Одних мой вид страшит, других весьма забавит.
Все дело в том, куда меня мой мастер ставит.
Вхожу я в миллион, и в тысячу, и в сто,
Хоть я, как весь наш мир, сам по себе ничто.

Латынь

Рим был мне родиной. С приходом чужеземцев
Меня изгнали прочь. Теперь живу у немцев.

ДАНИЭЛЬ фон ЧЕПКО

1605—1660. Был правительственным советником, жил в Силезии, автор сатирических эпиграмм.

Предателю

Само предательство, боюсь, не слишком ценит
Того, кто предает: продаст или изменит.
Хоть, как предатель, он предательством любим,
Опасен он ему предательством своим.

ИОГАНН РИСТ

1607—1667. Основатель литературного кружка «Орден эльбских лебедей», автор многочисленных духовных песен, драматург и поэт. Его «ямбическая ода» — одно из первых на немецком языке стихотворений, написанных в этом жанре.

На приход холодной зимней поры

Ode jambica

Зима суровая настала,
Промчалась летняя пора.
Седая вьюга разостлала
Подобье белого ковра.

Застыли сосны перелеска,
Мой бедный сад в снегах увяз.

От металлического блеска
Полян замерзших режет глаз.

Что ж, коли так, необходимо
Дров натопить, огонь разжечь,
Чтоб из трубы побольше дыма!
Чуть уголька подбросить в печь...

Опустошая погреб винный,
Поймешь, сколь сладко в час ночной
Сидеть в натопленной гостиной,
Стакан сжимая ледяной.

И пальцами коснувшись клавиш,
Ты, милый, ты, сердечный друг,
Блаженной музыкой убавишь
Напор и натиск зимних вьюг.

Шутить и куролесить будем,
Снедь и питье боготворя.
Но и красавиц не забудем:
Кто не любил, родился зря!

Ведь не зима, а старость злая,
И с ней, глядишь, к нам смерть грядет!
И ныне мы живем, не зная
О том, что всех нас завтра ждет.

А если так, то выпьем, братья!
Веселью предадимся мы!
Богоугодней нет занятия,
Чем пировать среди зимы!

АНДРЕАС ЧЕРНИНГ

1611—1659. Профессор поэзии в Ростоке.

Девушке, выходящей замуж за старика

Да ты свихнулась, что ли?..
При облике таком
Самой по доброй воле
Сойтись со стариком?!

Ужель его седины
Твоих волос светлей,
А ветхие руины,
Чем новый дом, целей?

О, сколь сей брак неравен!
Стареющий баран
Ведь только шубой славен,
Хоть он и ветеран.

Гляди: в костре пылает
Пень, что давно иссох,

И понапрасну лает
Беззубый кабысдох.

Коробится с годами
И ржавеет металл.
Так ржавеем мы сами,
Коли наш срок настал.

Напрасно ищет сваху
Проворный старичок:
Смерть явится — и с маху
Подловит на крючок!

О, старость столь степенна.
Столь мудрости полна!..
Но истинно священна
Лишь молодость одна.

К отсутствующей

Ни пастбищем, ни пашней,
Ни мраморною башней,
Ни роскошью дворца
Свой взор я не унижу,
Покуда не увижу
Любимого лица.

Мне самый воздух душен:
Нет никаких отдушин,
Когда тебя здесь нет!
Мое ты сердце съела,
В мозгу моем засела,
Очей затмила свет.

Я до того скучаю,
Что смерть не исключаю:
Я близок к ней весьма!..
Сие предупрежденье
Шлю как бы в подтвержденье
Вчерашнего письма...

АНДРЕАС ГРИФИУС

1616—1664. Выдающийся поэт и драматург, и сегодня еще считается одним из крупнейших философских лириков Германии. Его влияние на последующую поэзию огромно. Непревзойденный мастер сонета.

К портрету Николая Коперника

О, трижды мудрый дух! Муж больше чем великий!
Ни злая ночь времен, ни страх тысячеликий,
Ни зависть, ни обман осилить не смогли
Твой разум, что постиг движение Земли.
Отбросив темный вздор бесчисленных лжедогадок,
Там, среди хаоса, ты распознал порядок

И, высшее познав, не скрыл от нас того,
 Что мы вращаемся вокруг солнца своего!..
 Все кончится, пройдет, миры промчатся мимо.
 Твое ж величие, как солнце, негасимо!

Одиночество

Я в одиночестве безмолвном пребываю.
 Среди болот брожу, блуждаю средь лесов.
 То слышу пенье птиц, то внемлю крику сов,
 Вершины голых скал вдали обозреваю,

Вельмож не признаю, о черни забываю,
 Стараюсь разгадать прощальный бой часов,
 Понять несбыточность надежд, мечтаний, снов,
 Но их осуществить судьбу не призываю.

Холодный, темный лес, пещера, череп, кость —
 Все говорит о том, что я на свете гость,
 Что не избегну я ни немощи, ни тлена.

Заброшенный пустырь, замшелая стена,
 Признаюсь, люблю мне... Ведь плоть обречена.
 И все равно душа бессмертна и нетленна!

Заблудшие

Вы бродите впотьмах, во власти заблуденья.
 Неверен каждый шаг, цель также неверна.
 Во всем бессмыслица, а смысла — ни зерна.
 Несбыточны мечты, нелепы убежденья.

И отрицания смешны и утвержденья.
 И даль, что светлою вам кажется, черна.
 И кровь, и пот, и труд, вина и невина —
 Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рожденья.

Вы заблуждаетесь во сне и наяву,
 Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству,
 Как друга за врага, приняв врага за друга,

Скорбя и радуясь, в ночной и в ранний час...
 Ужели только смерть прозреть заставит вас
 И силой вытащит из дьявольского круга?

К накрашенной

Ну что в вас истинного, детище обмана:
 Вставные челюсти или беззубый рот?
 О ваших локонах золотых парик ваш врет,
 А о румянце щек — дешевые румяна.

Набор густых белил — надежная охрана.
 Но если невзначай их кто-нибудь сотрет,
 Тотчас откроется — скажу вам наперед —
 Густая сеть морщин. А это — в сердце рана.

Наружностью всегда приученная лгать,
 Вы лживы и внутри, так надо полагать,
 Фальшивая душой, притворщица и лъстица!

О, сердцем лживая! О, лживая умом!
 С великим ужасом я думаю о том,
 Кто вашей красотой фальшивою прельстится!

Свадьба зимой

В долинах и в горах еще белым-бело.
 Теченья быстрых рек еще зажаты льдами.
 Измучена земля стальными холодами.
 Деревья замерли, и ветки их свело.

Еще седой буран разнузданно и зло
 Бесчинствует, кружась над нашими садами,
 И все ж огонь любви, сейчас зажженный вами,
 Смог чудо совершить, что солнце не смогло!

Так розы расцвели наперекор метели,
 Воскресшею листвою леса зашелестели,
 Воспрянули ручьи, отбросив тяжесть льдов...

О, больше, чем хвала, счастливым новобрачным!
 Цветы для них цветут под зимним небом мрачным!..
 Каких же осенью им сладких ждать плодов?!

ФИЛИПП ЦЕЗЕН

1619—1659. Автор многочисленных стихов, романов, исторических сочинений.
 Одним из первых жил исключительно литературным трудом.

Ога

Предрассветная звезда,
 Не беда,
 Если ты prospишь немного!
 Ожидаячи зарю,
 Говорю:
 — Ну помедли ради бога!

Солнце, задержись в пути,
 Не свети.
 Дай понежиться влюбленным
 Лишний час в ночном лесу
 И росу
 На ковре оставь зеленом.

Жарче всякого огня
 Для меня
 Тело дивное, родное.
 И без хитрости скажу,
 Что схожу,
 Ах, с ума схожу от зноя!

Кто ее оценит взгляд,
 Как велят
 Мне мой дар и долг поэта?
 Сердце, ты провозгласи:
 — Не гаси
 Эти звезды до рассвета!

Пусть пылают, пусть горят!
 Говорят
 (Сам господь тому свидетель):
 Радость юности нужна
 И дружна
 С пылким сердцем добродетель!

Ночь с любовью заодно!
 И вино
 В нас бурлит, к душе зывая!
 Ночь любви и ночь вина!
 Рождена
 Этой ночью жизнь живая.

ДАНИЭЛЬ ГЕОРГ МОРХОФ

1639—1691. В Ростоке обучался юриспруденции и гуманитарным наукам. В 1665 году переехал в Киль, преподавал ораторское искусство, поэзию и историю. Одним из первых в Германии начал систематическое преподавание литературы и грамматики немецкого языка.

Доктору Мартину Лютеру

Рим покори́л весь мир, а папство Рим сгубило.
 Он силой действовал, оно коварством било.
 Но Лютер папство смял и пересилил Рим,
 Как лезвием меча, разя пером своим.
 Что боги Греции? Что чудо-исполины,
 Когда перо сильнее Геракловой дубины?!

Виноторговцу, утонувшему в реке

Он перепил вина и поглощен водою:
 Такое плаванье кончается бедою.
 Но он и трезвым бы отправился на дно:
 Не зря с водой привык он смешивать вино.

Скряга

Он ходит по земле. Клад скрыт на дне оврага.
 Клад вынут из земли, а в землю ляжет скряга.

ХРИСТИАН ВЕЙЗЕ

1642—1708. Обучался в университете в Лейпциге. Был профессором в Лейпциге, затем в Халле. Автор сатирических стихотворений и романа.

Благие мысли при восхождении по лестнице

Неблагодарный мир!.. По лестнице тащусь
И вправду всякий раз ее постигнуть тщусь,
Поскольку поражен ее долготерпеньем.
Все вверх и вверх иду я по ее ступеням,
А благодарность где? Ну чем я ей плачу?
Не тем ли попросту, что я ее топчу
И причиняю ей одни лишь беспокойства?!
Так вот он — мерзостный закон мироустройства:
Чем мы услужливей, чем мы верней другим,
Чем безответнее, тем хуже нам самим.
Простите же меня, высокие ступени!
От вас не слышал я ни жалобы, ни пени:
Ведь я подобен вам. На службе у других,
Я унижаюсь сам и возвышаю их.
Они по мне, спеша, на самый верх шагают.
Не то что жалуют, не то что помогают,
А топчут! Верите ли, втаптывают в грязь,
Не зная совести, расплаты не боясь!
Как быть, коль на земле попрали добродетель?
(Вы это знаете, и я тому свидетель.)
Я утешение иное нахожу:
Кому могу служить, тому я и служу,
Стараюсь не роптать на горестную долю
И в этом высшую усматриваю волю.

ИОГАНН ХРИСТИАН ГЮНТЕР

1695—1723. После окончания гимназии в Швейднице обучался медицине в Лейпциге. Отец Гюнтера, возмущенный его увлечением поэзией, лишил сына всяческой материальной поддержки: Гюнтер был вынужден прекратить учение, влачил жизнь нищего, скиталеца и умер в возрасте двадцати семи лет в Йене. Гюнтер принадлежит к ранним немецким просветителям, своим творчеством проложившим дорогу немецким классикам. Его стихи были напечатаны вскоре после его смерти. В «Поэзии и правде» Гёте писал о Гюнтере: «Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий много-различными знаниями и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической». Гёте писал там же, что Гюнтер «может быть назван поэтом в полном смысле слова».

Терпимость, совестливость..

Терпимость, совестливость, миролюбье, честь,
Прилежность, набожность, усердие в работе...
Ну! Как вас там еще?.. Всех вас не перечесть,
Что добродетелями вечными слывете!
Клянусь вам, что не я — беда моя виной
Тому, что некогда вы овладели мной!
Но я служил вам и не требую прощенья!
Однако я постиг и понял вашу суть.
Спешите же других завлечь и обмануть:
Я вновь не попадусь на ваши ухищренья!

О, скопище лжецов, о, подлые скоты,
 Что сладко о добре и кротости вещають!
 Спасение сулят погибшим ваши рты,
 А нищим вечное блаженство обещают.
 Так где ж он, ваш господь? Где он, спаситель ваш,
 Который все простит, коль все ему отдашь,
 Как вы внушаете?.. Где сын его чудесный?
 А где же дух святой — целитель душ больных?
 Пусть явятся! Ведь я больней всех остальных!
 Иль маловато сил у троицы небесной?!

Личина сорвана, нелепых басен плод!
 И все же говорят: там нечто есть над нами,
 Что вечно нам грозит, беду и гибель шлет,
 И я... я избран им лежать в зловонной яме.
 Порой оно спешит, чтобы меня поднять,
 Но вовсе не затем, чтоб боль мою унять,
 А смертных поразить прощением притворным,
 То, указав мне цель, влечет к делам благим
 И тут же мне велит сопротивляться им,
 Чтоб счел меня весь мир преступником позорным.

Так вот он где, исток несчастья моего!
 Награда мне за труд — нужда, обиды, хвори.
 Ни теплого угла, ни денег — ничего.
 Гогочут остряки, меня узревши в горе.
 В бездушье схожие — заметь! — с тобой, творец,
 Друг оттолкнул меня, отвергли мать, отец,
 Я ненавистен всем и ничего не стою.
 Что породил мой ум, то вызывает смех.
 Малейший промах мой возводят в смертный грех.
 Душа очернена усердной клеветой.

Когда бы я и впрямь хотя б кого-нибудь
 Презреньем оскорбил, обидел нелюбовью,
 Насмешкой дерзкою неволью ранил в грудь
 Иль отдал бы во власть жестокому злоговью —
 То, веришь ли, господь, я даже был бы рад,
 Расплату понеся, навек низринуть в ад
 Иль стать добычею тех самых темных духов,
 О коих у твоих прилежных христиан
 За десять сотен лет в пределах разных стран
 Скопилось множество пустых и вздорных слухов.

О ты, который есть начало всех начал!
 Что значит поворот вселенского кормила?
 Скажи, зачем в ту ночь отец меня зачал?
 Зачем ты сделал так, чтоб мать меня вскормила?
 Когда б тобой на жизнь я не был осужден,
 Я был бы среди тех, кто вовсе не рожден,
 В небытии покой вкушая беспредельный.
 Но созданный твоей всевластной рукой,
 Вериги нищеты влачу я день-деньской,
 И каждый миг меня колотит страх смертельный.

Будь проклят этот мир! Будь проклят свет дневной!
 Будь трижды проклято мое долготерпенье!

Оставь меня, но вновь не тешься надо мной,
 Не умножай мой страх! Даруй мне утешенье!
 О, вседержитель мой! Я вновь тебе молюсь.
 В бессилии в твои объятия валюсь:
 Моя земная жизнь страшней любого ада.
 Я чую ад внутри, я чую ад вовне.
 Так что ж способно дать успокоенье мне?
 Лишь только смерть моя или твоя пощада!

*При вручении ей перстня
 с изображением черепа*

Сей дар любви, сей дар сердечный —
 Грядущий образ мой и твой.
 Да не страшится разум вечный
 Бесплотной тени гробовой!
 Но как сроднить вас, лед и пламень,
 Любовь и надмогильный камень,
 Вас, буйный цвет и бранный прах?
 Любовь и смерть! Равна их сила,
 Что все в себе соединила,
 И мы — ничто в ее руках.

Кольцо исполнено значенья.
 В червонном золоте кольца —
 Нетленность чувства, жар влеченья,
 Друг другу верность до конца.
 А бедный череп к нам взывает:
 В гробу желаний не бывает,
 Ни жизни нет там, ни любви.
 Мы строим на песке зыбучем!
 Так торопись! В лобзанье жгучем
 Миг ускользящий лови!

ИОГАНН КЛАЙ

1616—1656. Один из основателей литературного «Общества цветов».

*Праздничный фейерверк
 по случаю рождения мира*

Под грохот, под хохот, под клики, под крики
 Летают, витают, пылают гвоздики.
 И воздух весь в звездах, и в облаке дыма
 Кометы, ракеты проносятся мимо.

Та-ра-ра, тра-ра-ра! — кларнеты и трубы
 Играют, скликают вас в круг, жизнелюбы!
 И ноги с дороги так в пляске топочут,
 Как бой, как прибой, как грома не грохочут.

От градин-громадин, от ливневой бучи
 Смят сад. Ах! В лесах переломаны сучья.

Но град не снаряд! Вот загрохают пушки —
И ахнут, и лопнут, и хлопнут хлопушки!

Взвились, понеслись за ракетой ракеты.
Горят и парят огневые букеты.
Народ так и прет, разодетый красиво:
«Вот чудо так чудо! Вот диво так диво!..»

Неситесь! Светитесь! Чтоб тьма расступалась!
Земля, чтоб людей веселя, сотрясалась!
Война, чья вина не имеет предела,
Чадя и смердя, наконец околела!



О ЧЕ Р К И И А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

УМАТ-ГИРЕЙ НАУРБИЕВ,

бригадир бригады коммунистического труда автоскреперистов

★

КРАСНАЯ НАША ЗЕМЛЯ

1

Иа КамАЗ я приехал три года назад из Находки — прокладывал в тайге новые автотрассы. И до этого не сидел за блинами перед телевизором. Благодаря армии — там я заболел профессией строителя.

После службы попал на Украину, строил новые угольные шахты, потом поднимал целину Кустаная, закладывал в Семнозерном районе известный теперь совхоз «Терсекский», а в песках Кызылкумов — город золотодобытчиков Зеравшан... И вот приехал на КамАЗ.

Помню, была непогода, мела декабрьская поземка. Кругом все показалось диким, неприветливым, вдобавок ночевать негде — наплыв людей очень большой. Наконец попал в единственное место, где можно было скоротать ночь, — цех завода «Сантехдеталь». Какой-то хороший человек дал ему название «Отель «Мечта». Кровати, как в казарме, чемоданы и рюкзаки, кричат транзисторные приемники и дети. Здесь нужно было день-два пожить до оформления на работу. Я не стал унывать, вспомнил тот же Зеравшан: там, в пустыне, под завывание ветра, когда песок льется в уши, в нос, в глаза, под одежду, люди устанавливали щит с надписью: «Здесь по воле партии руками народа будет возведен город Зеравшан» — и, отойдя от щита, сами себе аплодировали. Тоже было дико вокруг, как будто край света в старинных книгах: пойдешь дальше — и проткнешь головой бумажную сферу и увидишь ослепительный синий мир, где крутятся гигантские синие и алые колеса, и радуги вместо приводных ремней... Но не эти колеса крутят мир! Свистел черный ветер, щит дрожал, но потом как-то и город вырос и люди в белые рубашки переоделись... «Ничего!» — говорил я себе и приглядывался к будущим камазовцам. Появились вагончики, за вагончиками полезли к белым облакам здания, а потом как-то все вокруг стало подниматься, и такими темпами, что в письмах к родным на Кавказ не успеешь рассказать — пока пишешь одно письмо, вырастет три улицы... Только телеграммами можно успеть.

Но не стало времени и для телеграмм.

В начале 1970 года мы еще только ждали технику. Работали грузчиками, плотниками, бетонщиками. Непросто это — мешок с цементом таскать или бревна катать, имея в кармане удостоверение шофера первого класса. Но люди подобрались такие — не лгуны. Не хватает у меня красноречия рассказать об этих людях.

...Как пришли автоскреперы, нам трудно пришлось — шоферы мы, не автоскреперисты. Да и сами автоскреперы только-только, с 1970 года, начали выходить в серию. Могилевский завод до 1970 года выпускал в основном подъемное оборудование, цеховые краны, а сейчас пошла серия скреперов. Новая марка «МОАЗ-546П», сменившая старую, «МАЗ-529», — отличная машина, прочная, мягкая, высокоманевренная и скоростная. Но это мы поняли позже. А в первые дни...

Помню 3 мая, первая весна КамАЗа. Вдали зеленая перезимовавшая озимь. Перед

нами — поднятая, но незасеянная зябь. Чернозем. Ходит с белым клювом грач... Около 100 квадратных километров площадочка. И мы стоим — смотрим с удивлением, радостью, боязнью на горбатые наши автоскреперы. Садимся и выезжаем. Вгрызаемся в чернозем, нас подталкивают тракторы, чтобы скорее заполнились ковши. Взяв груз, идем к отвалам.

Так странно было работать на новых для нас механизмах. У всех глаза от радости блестящие. Нужно сказать, что первые автоскреперы доверили шоферам только первого класса. Прошел месяц. Подвели итог — и лица у всех вытянулись! Даже тариф не выработали, только на харч. Асы мои обиделись, схватили за грудки работников отдела труда и зарплаты:

— Мы тут колотились... мы тут, как кроты, ее... Все ясно — нормы завышенные!

Часть шоферов тут же уволилась, бригадир тоже исчез в неизвестном направлении. Что делать? Мы растерялись. Помог нам начальник УМС Адам Израилевич Гольдман. Собрал он нас, посмотрел на наши перемазанные в масле и копоти лица, улыбнулся по-доброму (сам в прошлом шофер-ас, работал в войну на Ладоге, на ледяной трассе жизни под Ленинградом) и сказал:

— Зря раньше времени руки опускаете. Тут никто не виноват: ни дядя, ни папа, ни вы сами. Вся беда в том, что вы технику не знаете. Хотя вы и первоклассные шоферы, но эту технику не знаете. С кем угодно могу поспорить — вы еще будете чудеса творить на этих «горбачах!» Вы еще полюбите их! А сейчас не надо обижаться, давайте будем учиться.

Не пустые слова! Хозяйство у него огромное, а каждый свой день он начинал с посещения автоскреперных бригад — учил, показывал. А что лучше примера — если человек не на словах, а на деле показывает, как нужно. Конечно, сразу только солнце поднимается! Мы и в июне тоже мучились на неуклюжих, как нам казалось, неповоротливых горбатых машинах. Лопались от перегрузок шланги, трескались рамы.

А потом избрали меня бригадиром маленькой бригады. Семь скреперов и один трактор-толкач — вся наша техника. К концу лета нам присвоили высокое звание бригады коммунистического труда. Первая на стройке бригада коммунистического труда автоскреперистов! И все-таки я считаю: мы тогда часто выезжали на голом энтузиазме — были еще рабами техники. Предстояло учиться, думать, а если надо — видоизменить в чем-то машину! Ну, я об этом еще расскажу...

И вот я стал приглядываться к людям, и постепенно организовался костяк будущей бригады, о которой сегодня хорошо говорят. Алексей Григорьевский, Алексей Лебедев, Геннадий Недопекин вспоминают сегодня 1970 год с улыбкой, говорят, что едва не бросили тогда автоскреперы: здорово они тогда напугали. Сегодня Алексей Иванович Григорьевский — партгрупторг бригады, сменный бригадир. Всегда и во всем я с ним советуюсь. Прикинем как и что и лишь потом пускаем в жизнь. А если нужно решить что-нибудь более серьезное (например, в экстренных случаях на добровольных началах остаться на сверхурочные — бывает такая необходимость), он созывает коммунистов, ставит цель, а потом я тут же, через несколько минут, вместе с председателем совета бригады и профгруппоргом собираю всю бригаду, обсуждаем положение и приходим к единому решению.

Коротко: чего мы добились? В 1971 году мы установили всесоюзный рекорд по высшей выработке грунта на один кубоковш с дальним плечом перевозки, переработав за июль 250 тысяч кубометров грунта. Никто ни до нас, ни после нас пока этого не сделал. В 1972 году, опять в июле, мы повторили свой рекорд и как бы подтвердили случайность нашей высокой выработки — выдали 255 тысяч кубометров. В 1973 году мы не смогли ни в июне, ни в июле взять этот рубеж... В июле получилось всего 120 тысяч кубов. В чем дело? Как ни говори, «возраст» у техники, на которой мы сейчас работаем, уже четыре года, и она по выработанной кубатуре дважды себя перекрыла, то есть крепко износилась, и поэтому брать на ней рекорды сейчас не так легко, и все же я решил именно этой техникой показать, что если напрячься, то можно и сделать! Григорьевский и я поговорили с людьми и начали «пахать», итоги каждой смены объявляем на переменах — это стало необходимостью: контроль за выработкой нужен, иначе будет самоуспокоение, а уж потом, в конце месяца, не натянешь. Надо двигаться ритмично и стараться именно в первую половину месяца брать основной рубеж, тогда легче справ-

ляться с планом. Вот в таком духе мы идем сейчас. К середине августа мы подняли уже около 150 тысяч. Но дело не в рекордах.

Эти дождливые месяцы оказались исключительно напряженными. Да, это так. Но надо признать — не все резервы исчерпаны. Нас подводили целый месяц тракторы-толкачи, так как на них падает в основном нагрузка при тяжелых грунтах, а грунт сейчас мы берем очень-очень тяжелый, сырой. После затяжных дождей буксуют не только колеса автоскреперов, но и гусеницы толкачей!

Приходится все считать. Сколько времени тратит машина на рейс. Сколько кто перевозит. Надо мной иные бригады смеются: цифры на листочках, цифры на ногтях... И кто такую глупую легенду пустил! А я бы даже на зубах писал, если бы не слизывалось и делу помогал! Иногда меня еще упрекают, что вырываю для бригады больше, чем положено. Но как нам быть иначе, если аккордный наряд на четыре недели мы делаем за три или две недели? Скажите, когда бригадир должен требовать новую работу? Некоторые считают, что когда наряд закрыт. Ну-ну! В таком случае получается простой! А я рассчитываю все по дням — и начинаю действовать задолго до конца аккорда. И мои шоферы за два-три дня до конца уже знают, где что будем делать. Разве это рвачество? Это наш темп — и привычка к нему. Кстати, в 1971 году наш первый рекорд не свалился нам на голову как золотой подарок. Мы разделили сутки пополам, техника работала двадцать четыре часа, продумали маршруты, раскатали, как обычно делаем, себе дороги — не хуже асфальта, чтобы не на второй или третьей скорости возить грунт, а на четвертой и пятой! Даже емкость ковшей увеличили — приварили стальные полосы. Чтобы не дать себя обогнать, в вагончике нашем вывешивали еженедельный бюллетень, который я составлял по данным планового отдела. Вот так. Работаем и смотрим на него.

А времени нет совершенно.

Сегодня вот суббота, двенадцатый час ночи. Когда я пишу эти строки, рабочий день строители закончили, вторая смена — в девять-десять вечера, а мои братья по оружию гудят без перекура с пяти часов вечера: выпал тот самый экстренный случай. А вы знаете, какой соблазн — ведь сегодня идет по телевидению шестая серия телефильма «Семнадцать мгновений весны», про разведчиков, и утром люди поедут кто рыбачить, кто по грибы, а нам нельзя: ждем дождей и надо успеть дать фронт работы, подготовить место для тех, кто сегодня отдыхает.

Мы давно уже сняли верхний черный слой земли, он выситя горами в стороне, чтоб не мешал, — чернозем пойдет на клумбы, на озеленение города. Давно обнажился глиняный красный грунт. В этой-то красной тяжелой земле и копаемся.

Начнутся осенние дожди — и мы станем буксовать по-страшному, и глина будет застревать в ковшах, и автоскреперы и толкачи — все покроется красной глиной, липкой и скользкой. Вот так каждый год за годом, а в отпуск уходишь в самое худшее время года.

Темпы здесь высокие. Трудно выкроить два-три дня на какие-то личные выезды, всегда работа: то надо технику готовить, то план подогнать, чтобы не опередили другие. А если приходится в воскресенье отдыхать, то привычка к труду столь велика, что ощущаешь какую-то пустоту: вроде не хватает чего-то, какая-то будто вина на тебе... Не подумайте, что мы ущербные какие-то, ничего не читаем, ничего не любим. Что вы! Здесь чувства обострены, как в космосе!

2

...Нет абсолютно времени, мне едва ли остается четыре-пять часов на сон, прогноз погоды показывает, что не сегодня-завтра начнутся двухнедельные затяжные дожди, и, значит, механизмы в основном будут работать не с полной отдачей, все замедлится. Вот мы и стремимся сделать задел на следующий месяц, чтобы не сорваться при любых обстоятельствах. Кроме того, очень сказывается сейчас на нашей стройке нехватка кадров — специалистов среднего звена (прораб — мастер). Имеющихся же мастеров металлургостроевцы ставят на более слабые места, считая, что мы сами справимся. Так-то оно так, но вот результат — мне и приходится здесь торчать и после своего рабочего дня, чтобы не сбиться с проекта.

Мы сейчас стоим на одном из важнейших участков. Металлургстрой готовится с

Теплоэнергостроем-1 к пуску первой очереди ТЭЦ, для ТЭЦ нужна вода, водоем, подобный тому, что в Заинске. Мы готовим земляное основание под дренажные работы, здесь будет глухая плотина речушки Шельна тысячу триста метров длиной, метров сто шириной. После укладки дренажных труб мы вслед за металлургостроителями начинаем отсыпку высотной дамбы, укатывая грунт до необходимого коэффициента,— очень ответственная и трудная работа. Само строение плотины сложное, это не то что взял канал шириной столько-то— и гони. Нет, здесь ступенчатая разработка, со всевозможными кривыми.

Кроме основной работы, есть шефская — мы помогаем колхозам, даем часть техники рыть фундаменты под коровники и свинарники, прокладываем дороги, недавно отработали три дня бесплатно всей бригадой на колхозной дороге, ведущей в деревню Шельбанаш.. Все это в сжатые сроки, наряду с выполнением основного фронта работ, ну, и, конечно, это создает дополнительную нагрузку на оставшиеся машины в бригаде, силами которых надо выполнить нормы и тех, кто «далеко в поле».

Говорят, что кавказцы не могут рассказывать что-нибудь, не хваля свой дом, свою работу, иначе говоря, любят красное словцо. Не без этого. Как же не хвалить тот же Кавказ, если это красота! Я это к тому говорю, чтобы вы мой рассказ не приняли за какое-то самовосхваление — я далек от этого. Красоты Кавказа я вижу раз в два-три года, и то в такое время, когда из-за морозов затихают работы на стройке...

Дело в том, что наша бригада хорошо проявила себя в трудовых делах, стала заметной на стройке, и поэтому как только где появится узкое место, сразу вспоминают о нас. Вот, говорят, хорошо бы бросить туда бригаду Наурбиева. Они должны сделать.

«Горящий» участок — это, откровенно говоря, обычно самый низкооплачиваемый участок при большой затрате времени (иначе он бы не «горел»!). Так вот, затратить время и большой труд на этом участке, важном для стройки, поломаешь там половину техники, а своему плану и зарплате урон. В оставшиеся до конца месяца дни прижми уши и гони! Срочно отремонтируй машины и всеми автоскреперами, что на ходу, выполни и перевыполни план. Когда месяц кончится, там не спрашивают, трудную ты делал работу или нет, а смотрят на конечный результат: цифры и проценты.

В прошлом году мы работали на колесном заводе в Заинске, а на заводе дизелей в Челнах создалось трудное положение: нужно было срочно дать фронт работ под буро-набивные сваи. И вот снимают у меня половину автоскреперов и «бросают» в Челны, где, конечно, мои ребята поработали отлично и сделали все от них зависящее. Но вы спросите: как быть с оплатой? Те, что поехали в Челны, заработали вполтину меньше, чем оставшиеся в Заинске, а сил вложили не меньше, если не больше. Пришлось поделиться рублем, а ведь сами знаете, не каждый сможет из своего кармана отдать другому сотню, полторы, а то и две. Но мы еще до выезда звена в Челны договорились, что заработанное поделим поровну. Мы так делаем всегда.

Только мы эту работу на заводе дизелей закончили, как решили срочно бригаду в полном составе перебросить в район строительства. Вот тут и началось.

— Хватит! Гоняют с места на место!

— Ты бригадир, ты куда смотришь?!

И в самом деле. Перегоны не компенсируются, из плана они не вычитаются, а два-три дня пропали. Я молчу.

Когда мы приехали на своих горбатых машинах в Бегитшево, навстречу нам выкатилась не справившаяся с делом бригада автоскреперистов Каздорстроя. Мы их увидели — за сердце схватились. Их машины уходили — как танки с поля боя: поломанные ковши, рамы и прочее. Мы глянули под ноги и еще больше приуныли: участок, страшнее которого нет ничего для автоскреперов,— сплошной, словно бетон, грунт со скальной породой, пермские глины, песчаник.

Нам предстояло за десять дней стесать бугры высотой от метра до двух с половиной на площади двенадцать тысяч квадратных метров. Как быть? Глина из-за большой вязкости входит в ковш сплошной лентой и скручивается, от этого образуется пустотелость, недогруз. Или вообще переваливается через ковш! Трудно чистить ковш, нередко ломается задняя трубка высокого давления. Да это разве глина! Она была такой твердости, что втрое дольше нужно скрести ее, чтобы набрать ковш.. Мы бы уложились, если бы работать круглосуточно. Но наша бригада, само собой, должна была сдать площадь досрочно! И достигнуть производительности не 100, а 280—300 процентов ежедневно!

Автоскреперисты посмотрели вокруг, плюнули и сказали так:

— Делай сам. А мы посмотрим.

— Я не хочу рвать пополам свою машину...

— Тут атомной бомбой только брать!

Ну, я молчу. Устанавливаю в стороне наш вагончик (передвижной красный уголок), масляные емкости — в общем, занимаюсь хозяйственными вопросами, а сам смотрю, что будет дальше. Вот они только что кричали «делай сам», а уже, чувствую, смотрят исподлобья вокруг, ворчат, прикидывают, с какого края начать, как его лучше взять, этот грунт, чтобы и дело сделать и технику спасти. Подходят ко мне:

— Ну, что будешь делать, бригадир? Как будешь подступать?

Я уже примерно знал как, но сказал все наоборот. Эх, как тут понеслось на меня:

— Да ты в своем уме! Это что же будет, если так? От машин только рожки да ножки останутся. Не-ет, мы будем вот так.

Для меня их слова — как любимые песни Бюль-Бюля. Я знал, они покипятятся, но марку свою поддержат. Ты только, моё, попроси на помощь один еще трактор...

Отвлёкся я, вернемся к стройке в Бегишеве. Здесь была создана комиссия по пересмотру грунтовых данных. Инженеры-геологи и работники лаборатории грунтов КамГЭСа подтвердили, что грунты попались трудные, на нашем языке — от второй до шестой категории! При этом присутствовал представитель проектной организации Главкаучук из Москвы, так как генеральный заказчик строительства — это Нижнекамский химкомбинат. Таким образом, впервые в отечественной практике автоскрепер Могилевского завода вышел один на один с такими грунтами. Нам пригодилось то, что каждый член нашей бригады универсал: скреперист и сварщик, бульдозерист и электрик и т. д. Совет бригады постановил: электрогазосварка работает круглосуточно. Раньше мы теряли три-четыре дня, пока машина сходит в центральные мастерские на ремонт. В нашей бригаде ремонт будет производиться на месте. А все поломки обычно происходят в местах сварки. Во-вторых, мы решили приварить к ковшу мощные уголки, которые дробили бы глину, не давали ей выпадать из ковша и не давали ей скручиваться пустой лентой. Идею поддержало начальство, и все 15 машин за ночь были переоборудованы. И вышли единым фронтом... Жарко пришлось. Но мы доказали, что наш автоскрепер не хуже американского «катерпиллера». Ни в какой литературе вы не найдете еще сегодня, что автоскрепер может разрабатывать такие категории грунта.

Сейчас в нашей бригаде 20 автоскреперов — 15 старых и 5 новых, — 4 трактора-толкача и один автогрейдер. Мы пристроили на грейдере цистерну для полива дороги. Зачем? Смоченная дорога лучше укатывается, а для нас скорость — первое дело. Мы работаем в замкнутой цепи. Дороги укатываем до начала работы. Все рассчитано до секунды. Автоскрепер вгрызается в грунт, его толкает трактор «Т-180», автоскрепер уходит к отвалу, а трактор разворачивается — и перед ним уже другой «горбач». Тракторы ходят, как челноки, взад-вперед.

Многое можно бы рассказать. И о том, как по нашему совету на Могилевском заводе было изменено положение выхлопной трубы автоскрепера. Раньше она выходила у самой кабины, дым попадал к водителю, шум мешал работать. Теперь выхлопная труба над кабиной. Часто засорялись воздухоочистительные фильтры, потому что были на уровне колес. По моему предложению на заводе воздухозаборное устройство переделали. У нас и девятикубовый ковш принимает на четыре метра больше. В общем, как в каждом деле, есть свои хитрости.

Не все получается гладко, бывают и у нас срывы. Но главное — есть слаженность, есть упорство.

С уважением относимся мы к члену нашей бригады коммунисту Андрею Сергеевичу Гурьянчеву. Человек в возрасте, но работает — позавидуешь. Молодежи есть чему у него поучиться. Он прошел всю войну, кавалер многих орденов и медалей, демобилизовался в 1948 году и до 1970-го все эти годы «шоферил» в нефтегазразведке в Татарии, а с 1970-го у нас. Несмотря на возраст, в этом году он успешно окончил курсы повышения квалификации в Горьком и получил удостоверение шофера второго класса, а сейчас учится на заочном отделении автомехаников. Молодежь любит его и сама старается держать.

Всего у нас из бригады учится на заочном отделении автомехаников 30 человек! Это тоже огромная дополнительная нагрузка. Особенно если еще учесть, что многие

добрый десяток лет назад бросили школу, недоучились. 17 человек — члены добровольной дружины, один — член парткома, два — постройкома. У нас в бригаде замечательные комсомольцы. Хочу назвать Тимера Ганижева. Он из Чечено-Ингушетии. Бульдозерист Владимир Кашков приехал сюда из Комсомольска-на-Амуре. Автоскреперист Маирбек Бутаев — из Осетии. Комсорг Вячеслав Телега — прямо после армии, здесь получил специальность и вступил в партию. Владимир Пятыхин — член КПСС, с Урала. Павел Дербенев — с полуострова Мангышлак...

Со второй половины 1970 года работает со мной Владимир Фомичев, честный, прямой и очень трудолюбивый молодой человек родом из Литвы. Его напарник — Мирсалим Хайруллин, татарин, молодой коммунист. Марат Кагаров и Давлетшин — одни из лучших бульдозеристов бригады. А Виктор Порядочный и Раис Аглямудинов не просто хорошие бульдозеристы, а прямо-таки асы своего дела, воспитавшие не одного молодого механизатора! А еще — Виктор Мизин, Алексей Токарев, Алексей Смирнов, Вячеслав Кушнир, Александр Рягин, Ильгиз Латыпов. Вот она, наша золотая молодежь! Хочу еще упомянуть экипаж автоскрепера «4077» Шамиля Габбасова и Марса Нарифуллина. Много они делают полезного — технику знают отлично. О других хотелось бы сказать, все хорошие ребята, бывают, конечно, и фокусники. А где их нет?

О себе сказать?

За время моей работы на КамАЗе я видел бригадиров, которые достигали неплохих результатов в отдельные промежутки времени, а потом сходили с арены. Почему? Эти люди не имели перед собой звезды, они лишь стремились сорвать куш, их цель была — деньги, поэтому они не смогли долго продержаться, ведь рано или поздно все вылезает наружу. Чтобы продержаться у «руля» бригады все эти годы — четыре сезона, — надо не деньги любить, работу. Задачи бригадира — сложнейшие. Ты стоишь посередине между рабочим и администрацией, от механизатора и от начальства достается, и нужно сделать так, чтобы выполнить все требования администрации и удовлетворить потребности механизаторов. Тебя могут раскритиковать и снизу и сверху, но если ты на месте, то ты большая фигура, так как от твоей расторопности зависит план, дисциплина, состояние техники.

Полностью меня зовут Умат-Гирей Камбулатович Наурбиев. Год рождения 1935. Уроженец Чечено-Ингушетии, ингуш по национальности. Учусь заочно на автомеханика. В 1950 году после окончания токмакской школы механизаторов Киргизской ССР работал на колесном тракторе «СТЗ-ХТЗ» (со шпорами!), на комбайнах «Коммунар», «Сталинец-6», на автомобилях «ГАЗ-АА», «ЗИС-5», «Форд-6», студебеккере «Додж», «ГАЗ-67» и т. д., то есть знаком со всей техникой, что была после войны в стране. И позже моя жизнь практически немислима без техники, я врос в нее и без нее не могу.

Жена моя — Галина Ивановна Наурбиева, хорошая украинская женщина, мать четырех детей. Два сына. Старший — Умат-Гирей, работает в нашем же УМС автотрактором, поступил сейчас на второй курс Камского автомеханического техникума. Руслан учится в девятом классе, а дочери — Тамара в пятом, Людмила в третьем классе. В семью входит и Вячеслав Телега, младший брат жены, которого я воспитываю с годовалого возраста, сегодня он (я уже говорил) комсорг нашей бригады, один из лучших автоскреперистов. Так что вся моя семья, как только становится на ноги, идет по моей линии, и, строя сегодня КамАЗ, мы отдаем дань самому основному в нашей жизни.

Не могу не вспомнить о человеке, который привил мне любовь к технике, — это мой дядя Абу Гиреев, один из самых уважаемых сегодня шоферов Чечено-Ингушетии, доктор техники, как называют его на Северном Кавказе. Моя слава — это его слава. Я хотел бы немного рассказать и о нем. Но это чуть погодя.

3

Сегодня стало известно: мы перекрыли в августе все свои бывшие рекорды — переработали, несмотря на неблагоприятные условия, 262 тысячи кубометров! Переходящее Красное знамя Татарского обкома КПСС, Совета Министров ТАССР и Татоблсовпрофа, которое нам присудили за второй квартал — уже не в первый раз! — мы удержим. Но успокаиваться нельзя, скоро затяжные осенние дожди. Пока есть возможность, дальше, дальше!

Я хотел рассказать про своего учителя Абу Гиреева.

Был случай, когда, пользуясь авторитетом своего отца, я, еще малоопытный механизатор, получил возможность сесть за руль нового автомобиля. Услышав про это, Абу Гиреев тут же приехал в организацию в самый тот момент, когда я подписывал приемосдаточный акт. Он вежливо, по-восточному, поздоровался с директором, с завхозом, объяснил, что я ему экстренно нужен, забрал меня и повез якобы домой. Но машина круто завернула и пошла за город, в сторону гор. Я спросил, куда он меня везет, уже проскочили километров двадцать пять. Он ответил, что на месте узнаю. Откровенно говоря, я уже чувствовал, что именно Абу не даст мне сегодня выехать на новенькой полуторке. Когда подъехали к перевалу, где дороги вообще не было, я удивился: куда он? Он направился к одному из крутых склонов, сделал разворот (аж дух захватило!), но затем плавно спустил машину вниз, опять поднялся и повторил тот же маневр, вышел из кабины и спокойно сказал:

— Повтори то же самое раза три. Но предупреждаю — если перевернешься, больница далеко.

На первом самостоятельном заходе на самом подъеме я не выдержал напряжения (сильно крутой был подъем), машина задержалась и заглохла, я не сумел сообразить — и покатился назад, растерялся, крутанул руль, и машина легла набок, проскользила юзом метров десять. Часа через три-четыре мы подняли ее при помощи пары коней, которых взяли у пастухов. Вновь мотор запущен. И опять я полез вверх, взобрался, но на самой макушке опять положил машину. Второй раз поднимая машину, Абу сел сам за руль, и молча мы поехали к нему домой. Дома он мне сказал:

— Я начинаю на днях регулярные рейсы на высокогорные летние пастбища Кинес-Анорхой в горах Алаато в Киргизии. Хочешь — возму на три месяца на практику?

Больше ничего не сказал. Как я ни был молод, я понял его. Машина, которую я утром принимал, принадлежала заготконторе, и ей предстояло ездить изо дня в день точно по таким тропкам от отары к отаре, от выпаса до следующего, и причем с людьми. Да, это был мне урок жестокий... Утром я отказался от новой машины, сказал, что еду учиться. Я бы мог погибнуть сам, побить людей и машину. А вот когда я с Абу прошел трехмесячную практику в качестве грузчика на дорогах Киргизии тех лет, тогда он мне сказал:

— Теперь давай, Умат, давай самостоятельно — вперед! Совесть моя перед тобой, и собой, и людьми чиста, ты — водитель.

Не хочу хвалиться, но позже мне пришлось работать там, где можно только летать. В изыскательскую партию вела горная тропа тридцать пять километров длиной. Любая машина проходила здесь за три—три с половиной часа (спуски, подъемы, езда над самым обрывом). Ну, надо представить себе, что поднялся на высоту облака, оттуда пасущиеся внизу бараны кажутся мухами, — и вот резко спускаешься вниз. Я работал там на «ГАЗ-53», который только что получила хондзинская партия, и я проезжал весь этот путь за сорок пять минут, это в особых случаях, а если спокойней, то за час двадцать. Машину потом сдал без царапинки, в то время как на том пути через день машины «гремели под фанфары». Я там работал недолго, поэтому и не причисляю это к биографии, я вскорости уехал, потому что все мои товарищи ринулись на Дальний Восток.

О моей работе в Кызылкумах как-то писала газета «Самаркандская правда». «Ас пустыни (это, значит, я) пересек бурлящую реку, на ходу бросил конец троса и вытянул за собой готовую в любой миг перевернуться легковую машину, полную людей...» Такое действительно было. Там раз в году возле Зеравшана в конце апреля или в мае проходят такие бешеные ливни, что за полчаса в лощинах образуются стремительные потоки, они подхватывают не успевшие убежать машины, словно семечки! В таком случае бросай лучше машину и беги на возвышенность, там есть небольшие горы. Сейчас, конечно, другая картина — уже проложили автостраду и железная дорога есть. А тогда ездили по руслу такой вот речки, которая становилась рекой раз в году.

Хочу сказать одно: спасибо моему учителю Абу Гирееву, спасибо моим учителям — всем замечательным людям, которых я встречал и в песках, и в тайге, и на целине. Как память о целине у меня осталась медаль «За освоение целинных земель». И имена прекрасных моих учителей.

Здесь, на КамАЗе, я, в общем-то, осел, ибо здесь со мной в сборе семья и здесь я буду до конца стройки, а потом, в новой пятилетке — в десятой, — думаю, найдется

где-нибудь большая или малая, но важная государственная стройка, где нужны будут родине мой опыт, мои руки, я готов снова отправиться туда, где нет ничего, где опять будет трудно,— я люблю начальный этап строек, в этом я вижу свою жизнь, и к этому привык, и в это врос.

Некоторые думают, что такие люди, как мы, гоняются за деньгами. Ошибаются. Это профессиональная болезнь, болезнь кочующего строителя! Вот сейчас члены нашей бригады материально обеспечены по высшему классу! Но как только найдется новая большая стройка, они снова тронутся в путь. Я в этом уверен.

Алексей Григорьевский, Алексей Петров, Усман Халилов, Шамиль Габбасов, Павел Дербезев, Геннадий Иванов, Минсалим Хайруллин, Владимир Фомичев, Раис Аглямутдинов, Василий Ульянов, Владимир Пятыгин и еще и еще — имеют свои собственные новые «Жигули» и «Москвичи». Я уж не говорю про тех, у кого мотоциклы с колясками и без них. Люди имеют все, но тем не менее их так же влечет романтика новых мест и новых трудностей.

Мы много говорим про трудности. Но что такое трудность? Это слово растяжимое. Трудность — это когда ты остаешься в пустыне, на сотню километров — никого, пьешь воду из радиатора кипящего и боишься, как бы лишняя капля никуда не делась, иначе не доедешь! Это когда тебя застала пурга, а ты стоишь без бензина и не знаешь, где же дорога, а вокруг на сотни километров целина и никого больше нет. Трудность — это когда ты ночью шагаешь по дикой тайге, бросив поломанный автомобиль, не имея ни фонарика, ни спичек, идешь и ведешь за руку хнычущую девчонку-инкассатора с сотней тысяч рублей казенных денег. Трудность — это и когда ты свой автомобиль скидываешь в пропасть, чтобы дать дорогу другому, менее опытному, растерявшемуся шоферу. Трудность — когда людям нужно срочно помочь. А то, что сегодня мы имеем благоустроенные комнаты (да те же вагончики!), горячую воду, кино, автобус, столовую, бурчим подчас: «Трудно...» — нет, это не трудность, это просто хныканье. Грязь, слякоть, удлиненные смены, конечно, нелегко. Но это просто мощный труд на пользу дела.

Может, я не прав. Ведь я выражаю свое личное мнение и сужу по своей жизни... У меня в жизни было много эпизодов и подлинных трудностей много, но они идут своим чередом, я к ним привык, все в порядке вещей.

В канун Первомай мне в числе первых присвоили звание ударника строительства КамАЗа и выдали памятный значок. Я горд. Жизнь продолжается...

...И дожди, и ночью заморозки... Но пока земля еще не промерзла, вперед!

Влияние на нашу профессию времен года очень велико. Особенно это сказывается в условиях средней полосы России или, например, в Сибири. Автоскреперы в этих местах — машины сезонные, так как зимой, когда морозы доходят до двадцати и тридцати градусов (я уж не говорю о более сильных холодах), грунт промерзает на юлметра, на метр — попробуй возьми его автоскрепером! Стоят «горбачи». Так же как они не могут работать летом в песках Средней Азии. Там наоборот, можно только зимой или в дожди...

Впервые в СССР здесь, на КамАЗе, зимой по предложению А. И. Гольдмана начали пробы — как помочь автоскреперам работать круглый год? Как подготовить грунт? Есть буро-взрывной метод. Можно пилить грунт на клетки. Можно рыхлить грунт спаренными бульдозерами «С-100». И можно пахать землю одноклыковым рыхлителем на базе «ДЭТ-250». Прижился в основном последний вариант. И теперь зимою каждая автоскреперная бригада получает в свое распоряжение один или два таких самодельных рыхлителя. После рыхления важно не мешкать, не то снова грунт схватится! Производительность, конечно, меньше летней, но ничего, мы же пока еще только учимся!..

Морозы морозами, но самый опасный враг для автоскрепера — дожди. У меня сердце чернеет от тоски, когда я вижу дождь над КамАЗом.

Нынче осень была как и в 1971 году. Сплошные дожди. Из семи бригад план сентября выполнили две бригады — наша и Панкова. А в 1971 году в октябре никто вообще, кроме нас, ничего не смог сделать. Нужен навык. Вот мы все и учимся.

В соответствии со временем года колеблется и наша зарплата. В сезон (шесть месяцев) автоскреперисты зарабатывают рублей по 500—450—400 в месяц, а зимой получают не более 200. Правда, можно, если напрячься и хорошо использовать тот же рыхлитель, пройти на уровне 400, так как зимой еще есть дополнительные коэффициенты для

оплаты труда механизаторов. Конечно, «вал» позади — сейчас и работы сложнее и людей не хватает.

Если в 1970 и 1971 годах здесь, на КамАЗе, на автоскреперы подбирали шоферов только первого класса и второго с непременным условием стажа работы не менее трех лет на дизелях, то в 1973 году, особенно во второй половине года, брали уже с третьим классом и не смотрели на стаж. Не хватало кадров. Замечаю я одну интересную деталь: наиболее стабильно держится молодежь (если с ней проводить работу). В свое время от меня хотели уехать и Вячеслав Телега, и Алексей Токарев, и Александр Гунин, Тимур Ганижев... Мне пришлось убеждать их, говорить с ними, и они остались. Зато какие из них ребята вышли! Какие сегодня это мастера, какие комсомольцы!

Приезжают иностранцы — поражаются, как мы работаем, как мы рвемся в дело. Вот недавно был здесь корреспондент газеты из ФРГ господин Хуберт Кушник. Его слова: «Строительства такого гигантского масштаба я не видел ни в одной стране. Это проект коммунистического размаха. Большое впечатление производит и то, что строительство ведет молодежь. Это говорит о том, что в СССР молодые люди готовы всегда быть на переднем крае созидательного труда, обладают хорошей профессиональной подготовкой...» А другой журналист, американец Хендрик Л. Смит, так отозвался о нашей стройке: «КамАЗ произвел на меня ошеломляющее впечатление... Каждый корпус, каждый завод, можно сказать, — самостоятельное крупное предприятие... Я впервые побывал в Набережных Челнах. Но надеюсь сюда приехать еще...»

Так вот мы тут все и работаем. Если чего пока не хватает — я уверен, со временем будет! Главное — темпы КамАЗа!

Вы ждете, что я напишу о свободном времени. Его нет. Но мы и читаем, и музыку слушаем, и детей растим, как все! Перед сном, как бы ни устал, обязательно просмотришь свежие газеты. Вот что я выписал на 1974 год: 1. «Камские зори», 2. «Знамя коммунизма» (местные газеты); 3. «Советская Татария»; 4. «Известия»; 5. «Социалистическая индустрия»; 6. «Строительная газета»; 7. «Комсомольская правда»; 8. «Пионерская правда», журнал «Мурзилка» и еще что-то, я забыл, для детей; 9. «За рулем»; 10. «Вокруг света»; 11. «Наука и жизнь»; 12. «Человек и закон»; 13. «Наука и религия»; 14. «Здоровье»; 15. «Партийная жизнь»; 16. «Техника — молодежи». Почти столько же выписывают все мои товарищи.

Люблю Пушкина, Толстого. Библиотека у меня, честно скажу, слабая — была хорошая, да с переездами вся растерялась. Из музыки люблю народные песни, люблю слушать Русланову, Утесова, Бюль-Бюля, Нину Матвиенко.

Есть у меня одна идея. Собран богатейший материал по работе автоскреперов на КамАЗе (про нашу профессию еще никто не писал — она только-только входит в жизнь), что, если рассказать об этом опыте, написать книгу примерно под таким названием: «Отечественные скреперы на строительстве КамАЗа». Это было бы вроде передачи опыта. Ведь Стаханов, Виноградова, Бусыгин, Кривонос — герои первых пятилеток — не зря именно сюда, на КамАЗ, передали свою эстафету! Книга, во-первых, пропагандировала бы отечественные автоскреперы, а во-вторых, показала бы сегодняшнее социалистическое соревнование на различных этапах его, новые методы работы, впервые примененные именно здесь, на КамАЗе. Я считаю — на наших машинах можно делать чудеса. И хотел бы более обстоятельно об этом рассказать.

Это полезная была бы книга со всех точек зрения. Мне эту мысль подсказали в прошлом году на Могилевском автозаводе. Дирекция завода очень высоко оценивает опыт работы автоскреперов на нашей стройке. Конечно, сам я не осилю такую книгу — нужны помощь и время.

Со всех сторон вспыхивают звезды электросварки. В мутном небе мигают красные лампочки самолетов. Мне кажется, что сегодня КамАЗ заполнил всю вселенную... А отдохнуть — еще успеем.



ИГОРЬ ДУЭЛЬ

★

РЫБАЦКАЯ УДАЧА

Редакцию нашего журнала связывает крепкая дружба со многими трудовыми коллективами страны. Регулярно публикует журнал материалы о строителях Камского автозавода, одной из крупнейших строек девятой пятилетки. Писательские бригады «Нового мира» выезжали на Алтай, на Урал и в другие районы страны. Дружит редакция и с коллективом дальневосточного колхоза «Новый мир», о делах которого журнал рассказывал на своих страницах в 1971 и 1972 годах.

В третьем, решающем году пятилетки рыбаки колхоза «Новый мир» добились небывалого улова — добыли более 470 тысяч центнеров рыбы при задании 350 тысяч центнеров. Годовой план выполнили к 20 сентября. А к концу года перевыполнили его более чем на 30 процентов.

В нынешнем году рабочий класс снабдит рыбаков новыми совершенными судами. Председатель колхоза Иван Шпаричук уже подписал договоры на покупку двух средних траулеров-морозильщиков, трех рыболовных сейнеров. Бюджет выполнена и давняя мечта рыбаков: колхоз получит второй большой морозильный траулер.

Приняв всем сердцем «Обращение Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу», постановления о Всесоюзном социалистическом соревновании, рыбаки «Нового мира» прилагают все усилия, чтобы в определяющем году пятилетки достичь рекордных уловов, перевыполнить задание, значительно превышающее план 1973 года.

Сегодня большой морозильный траулер, который строят для колхоза, еще одевает листами обшивки, а правление «Нового мира» уже гадает, как бы скорее и лучше пустить его в дело. Колхоз обратился в Министерство рыбного хозяйства СССР с просьбой — разрешить траулеру выйти на промысел прямо с завода. Если эта просьба будет удовлетворена, БМРТ пойдет на Дальний Восток не традиционным путем на холостом ходу — вокруг Африки, через Индийский океан, что займет больше двух месяцев, — а пересечет Атлантику, Панамским каналом выйдет в Тихий океан и сразу отправится к берегам Аляски, где начнет промышленно ловить рыбу.

Летом прошлого года сотрудник нашего журнала Игорь Дуэль снова побывал в колхозе «Новый мир». В публикуемой очерке он рассказывает о необычайно трудной сайровой путине, когда извержение вулкана грозило сорвать план добычи рыбы десяткам судов. Это лишь несколько штрихов из жизни колхоза, но они характеризуют трудовые будни всего коллектива, показывают, как борются рыбаки за досрочное выполнение пятилетки.

Искоковый прожектор упирается в стену тумана. Воздух, обретший цвет и тяжесть, навалился на океан. Сейнер прорубает в тумане узкий лаз, как шахтный комбайн в толще пласта. Впереди — под напором прожекторного луча — разлетаются клочья мороси, рваные, стремительные. Туман на мгновение раздвигается, точно обозначив в форме разрыва фигуру сейнера — его неплавные обводы, низкую рубку, люстры, растопыренные над водой, словно весла. А за кормой мгла снова смыкается...

Этот сейнер в нынешнем году поймал меньше рыбы, чем другие рыболовные сейнеры колхоза «Новый мир», работающие здесь, на Южных Курилах, да, пожалуй, и меньше, чем все остальные суда колхозной флотилии. Словом, отстающий.

В прежние свои поездки я ходил на нескольких новомирских судах, но все на передовых, уловистых. А теперь вот достался неудачник.

Рыбацкая судьба — что крутая зыбь. То поднимет на гребень волны, то швырнет в седловину, так что водные громады нависают над палубой. Знал лучшие времена и этот сейнер. В позапрошлом году улов его был рекордным, имя гремело по всему краю, не то что год нынешний. Мне важно узнать, отчего происходят такие взлеты и падения. Не по одним же только передовым судам должно складываться представление о колхозе. Вот и стараюсь разобраться: приглядываюсь и слушаю, пока экипаж ищет рыбу, ловит, сдает, бункируется льдом и снова ищет.

Рыбаки о всех перипетиях нынешнего года рассказывают подробно, доверительно. Чтобы не злоупотреблять их откровенностью, я вынужден изменить название сейнера, фамилию капитана и тралмастера, о которых расскажу. Любой из нас не против, когда пишут о его успехах. А про неудачи никто не спешит оповещать мир — ими делятся лишь с близкими друзьями.

Да и не в именах дело. Речь пойдет об одной промысловой ночи, за которую экипаж сейнера поднял на борт 37 центнеров рыбы. Улов далеко не блестящий. Но тем-то и кажется мне интересным этот эпизод, что был он самым обычным, будничным.

А ведь именно из таких уловов складывается годовой улов колхоза — все его 470 тысяч центнеров. О том, как был взят каждый центнер, рассказать невозможно. Но, может быть, описание одной ночи, когда в копилку колхозных достижений была внесена малая толика — менее одной десятитысячной части, — описание того напряжения сил, и физических и душевных, которого потребовали от команды эти 37 центнеров, сделает более понятным, как работали колхозные рыбаки, чтобы обеспечить успех колхоза в третьем, решающем году пятилетки.

Итак, пусть наш сейнер будет называться «Альбатрос», а его капитан — Геннадий Воробьев.

Капитану тридцать два года. Невысок, худ, гибок и в синем тренировочном костюме, в вязаной шапочке с кисточкой выглядит много моложе. Только тонкие стрелки усов придают его скуластому лицу командирскую жесткость. Раньше была еще и окладистая борода. Но капитан ее сбрил после того, как «Альбатрос» засыпало пеплом во время недавнего извержения вулкана Тятя. В бороде засело много пепла — не промыть, не прочесать. Пытался и магнитом вытащить металлические частички, но до конца так бороду и не прочистил. Пришлось сбрить.

В походке Геннадия, во всех его движениях — цепкость, по которой легко отличишь бывалого моряка, большую часть жизни двигающегося по шаткой палубе. У окна рубки капитан не сидит и не стоит, а как бы висит: спиной упирается в узкий выступ боковой переборки, ногами — в какие-то железяки, торчащие под самым окном. В этой странной позе, согнувшись во всех суставах, проводит он ночи напролет. Глаза постоянно нацелены вперед. Но взгляд вязнет в сером месиве, как и луч прожектора.

В полутемной ходовой рубке уютная теснота. И под мягкое покачивание судна сам собою сплетается слово к слову неторопливый ночной разговор.

Почему-то всегда так: если уж не спишь ночью, то хочется говорить. Да и отгороженность малой человеческой группы от всего остального мира само собою быстро сближает людей. К тому же и я не совсем чужой. Хоть познакомились мы с Геннадием недавно, хоть всего несколько дней назад пришел я на «Альбатрос», но многих новоявленных колхозников знаю и оттого у нас с капитаном Воробьевым полк общих знакомых.

С упоминания об одном из них и начался первый наш разговор. Геннадий спросил меня, знаю ли я Эдуарда Вальдмана. А когда услышал, что знаю, что через Берингово море с ним шел, то весь просиял. Вальдман — его друг, давний, закадычный, самый близкий. Геннадий считает, что все удачи в его жизни пошли от встречи с Вальдманом. А свела их жизнь давно — пятнадцать лет назад в Петропавловске-Камчатском, куда оба приехали поступать в мореходку. Потом все годы учебы жили в одной комнате — койка к койке. А однажды и на каникулы не захотели расставаться. Вместе поехали на родину Вальдмана — в рыбацкий колхоз «Новый мир».

Здесь познакомился Геннадий с совсем еще молоденькой девушкой, дальней родственницей своего друга. Теперь она жена капитана. И такая это удача, такая у них

счастливая жизнь, что вот уж восьмой год женаты, двух детей родили, но спешит Геннадий после каждой путины домой, будто к невесте.

Сухопутный человек вряд ли станет рассказывать корреспонденту про жену. О жене чего говорить? Она каждодневная реальность, неотделимая от будней, слившаяся с ними. Ругать жену вроде не принято. Хвалить тоже: сантименты. Лучше промолчать.

Геннадий Воробьев не видел жену четыре месяца, не увидит до ноября, а нынче — август. И так из года в год. Большую часть жизни жена для него существует только в мечте, в мыслях. Каждая встреча с ней — не будни, памятные праздники. Оттого, когда качается сейнер в тумане, тянет рассказать о жене.

— Мы давно уже книги собираем. Она как что интересное купит, шлет мне на промысел: прочти. Я читаю. И тут двойная радость. Зряшной книжки она не пришлет — раз. Ну, и с ней вроде разговариваю...

Он замолкает. А я пытаюсь угадать не сказанные им слова. Наверно, они такие: без мысленных разговоров долгой разлуки не выдержать. От них и легче и труднее. Ведь это очень важно для рыбака — чувствовать, что на берегу о тебе все время думают!

— Пока плаваю, чего только жена не накупит, — говорит Геннадий, — и костюмы, и свитеры, и рубашки, и ботинки. И все самое красивое, самое лучшее. В смысле обуви, правда, у нас последнее время разногласия. Она покупает тупоносые ботинки — мода такая. Но мода не для моряков. Тупоносые походят на судовую обувь. А на берегу хочется, чтоб все было другим, чем в море. Вот и ботинки с узкими носами, на тонкой подошве, хоть не модные, лучше тупоносых. Вообще многие теперь любят одеваться чуть грубовато — то ли спортивный стиль, то ли от хиппи, — но все это для людей сухопутных. А себе она, пока меня нет, почти ничего не покупает. Почему? Вот и я ее спрашиваю — почему? Она так говорит: «Ты пришел, вместе пойдем и купим. Если я какую вещь с тобой вместе покупаю, я ее совсем по-другому чувствую. Она с тобой связана». После таких слов про форму ботинок уже не рассуждаешь. В тупоносых весь отпуск проходишь — только б ее не огорчить.

Он опять замолкает, думая свое, потом начинает размышлять вслух:

— В ихней семье все такие. У рыбацких жен своя гордость. Они на тех, чьи мужья береговые, смотрят как бы сверху вниз. Я, мол, про тебя, конечно, ничего плохого не думаю. Но великое ли дело верность хранить, если муж всегда под боком? Вот поживи, как я, тогда и можно будет сказать, умеешь ли по-настоящему любить. Это точно замечено: в нашем колхозе, если бывают разводы, так только с женами, которых привезли из городов, особенно с запада. Их тоже осуждать трудно. Они себя не готовили в рыбацкие жены. А местные женщины — те особого склада. Они ведь из поколения в поколение выходили за рыбаков. Провожали и ждали. У них это от матерей и бабушек — в крови.

...А туман по-прежнему густой и плотный. Луч прожектора вязнет в нем. Не видно сайры, нет ни одной рыбины ни впереди, ни под бортом. Но рыба этой ночью должна быть. «Альбатрос» идет на пеленг другого новомирского судна — «Гиганта». «Гиганту» повезло — наскочил на огромный косяк. Сам взял уже 100 центнеров и теперь зовет «Альбатроса» разделить удачу. Правда, до «Гиганта» еще несколько часов ходу, и потому хорошо бы найти свою рыбу — поближе.

Тралмастер Михаил Алексеевич Орленко уверенно говорит:

— Сами найдем.

Оптимист. Впрочем, он старик сварливый. И оптимизм его сварливый.

А прозвище Орленко — Карлсон. В колхозе работают люди 19 национальностей, много здесь внуков и правнуков эстонцев, которые окоренились на Дальнем Востоке еще в конце прошлого века. И потому Карлов и Карловичей попадается предостаточно. Я поинтересовался: какому это Карлу определили в сыновья Алексеича?

— Никакому! — рассмеялись ребята. — Мультфильмы на плавбазе взяли. Там вот и был Карлсон. Чудак такой: на брюхе кнопка, на спине пропеллер.

Значит, замешан здесь герой сказки Астрид Линдгрен — Карлсон, который живет на крыше. Ну, а Орленко при чем?

Все разъяснилось в первую же промысловую ночь. Как только тралмастер натянул на себя резиновый комбинезон, он — плотный, с брюшком, приземистый, толстощекий, с хитроватыми глазами — стал действительно похож на знаменитого Карлсона. Как бы для увеличения сходства Орленко большую часть ночи проводит на крыше — на верхушке бакдечной надстройки, где укреплен поисковый прожектор. Тралмастер уверен, что только он может найти рыбу, и потому никого не пускает к прожектору — отстаивает по две, а то и по три вахты. Достойтся, пока не посинеет. Тогда бежит в кают-компанию, пьет чай и только согрется — снова к прожектору.

Я как-то раз залез к Орленко на крышу, сел рядом на натянутые между жестких лееров веревки.

— Ну что,— говорю,— Алексеич? Скоро сайра?

Орленко вопрос не понравился:

— А ты-то чего тревожишься? Тебе все равно командировочные капаят.

— При чем командировочные?

— А ни при чем?

— Ни при чем.

— Верно,— сказал Орленко нарочито рассудительно,— ты ведь сюда тоже за уловом пришел. Наш улов — он и твой улов. А нет у нас рыбы — и ты в пролове. Крутишься по судну, с одним поговоришь, с другим, а писать в свой блокнотик нечего. Скажешь, не так?

— Так, так,— сказал я, хотя, конечно, не был согласен. А спорить не стал, потому что на бакдечной надстройке, да еще в тумане, да еще с непривычки замерзаешь почти мгновенно.

Тот разговор я запомнил. Ибо навел он, в общем-то, на простую мысль, которая все же раньше не приходила в голову: когда ты «наблюдаешь жизнь», она тебя тоже наблюдает десятками пар глаз, тоже ставит тебе оценки.

Так рассуждал я, вернувшись в рубку. Разглядывал сутулую спину Орленко и еще более удивлялся, как хватает его столько часов крутить там, на бакдечной надстройке, прожектор, да еще в ночь, когда почти нет надежды встретить в этих квадратах рыбу.

Слева от «Альбатроса» сквозь туман начинает проступать световое пятно. Оно приближается, и уже можно различить зыбкие контуры судна, бесплотного, состоящего из одного только света. Геннадий соскакивает со своего наместа, подходит к радиотелефону — «Кораблю».

— Эрэс! Эрэс! — говорит он в микрофон.— Ответь «Альбатросу»! Назови себя! Полчаса идешь с моего левого борта. Скажи, как тебя зовут.

Призрак отвечает густым басом:

— «Капитан Рябов».

— А куда бежишь, «Капитан»?

— Да вот хочу попробовать севернее взять.

— А ловится там?

— Да не знаю, попробую. А ты, «Альбатрос», старым курсом?

— Так точно, «Капитан»! — отвечает Геннадий с явной подковыркой.

— Пропусти меня, «Альбатрос», — спокойно говорит «Рябов». Он будто не уловил в тоне Геннадия ехидства. — Дай дорогу.

Наш сейнер резко берет вправо, и скоро «Капитан Рябов» растворяется в тумане. «Альбатрос» ложится на прежний курс.

Туманный разговор с «Рябовым» оставляет неприятный осадок: Воробьев не сказал соседу, что идет на верную рыбу. Поколебавшись, я спрашиваю Геннадия, почему промолчал.

— Он, гад, знает,— спокойно отвечает Геннадий,— слышал, как я с «Гигантом» переговаривался, но рассчитывает заловиться где-то поближе, а вот где — ни за что не сообщит. Их два таких индивидуалиста на всю флотилию. Этот и еще один. С неделю вдвоем брали отлично, но координаты ввали. По их точкам другие ходили — не было рыбы, а эти опять с полными трюмами. «Рябов» с нами не пошел, потому что долго добираться. Мы же только перед рассветом подойдем, нам много сегодня не взять. Но если повезет, полста центнеров поднять можно. Хорошо бы!

— А если «Рябов» поблизости не возьмет?

— Тогда, будь спокоен, подскочит к нам.

Геннадий снова зависает у окна, и разговор понемногу возвращается в прежнее русло.

Воробьев ходит в капитанах первый год, а плавает уже больше десяти лет. Его морская биография началась на Камчатке — окончив училище, служил в управлении тралового флота. Плавал на больших морозильных траулерах. Потом женился, дом в «Новом мире» был, а работал по-прежнему на Камчатке. Его не раз звали в колхоз. Но Геннадий не спешил: там его знают, сам себе нажил репутацию, а здесь всего-то и заслуг, что женат на коренной, местной — из рода первых переселенцев. Да, в общем, казалось ему, все равно, где работать: ведь работаешь в море. На берег сошел — домой добраться недолго. От Петропавловска до Владивостока всего четыре часа самолетом.

Но Вальдман как-то сказал: «Чудно получается. Ты по всем статьям свой парень, а плавать с нами не хочешь». И Геннадий перешел в колхоз. Это он тоже считает своей большой удачей. В колхозе Воробьеву нравится больше, чем в гослове. Почему? Геннадий это объясняет так. Вот, скажем, камчатское управление. Там сотни судов, тысячи работников. Да еще большая текучесть кадров. Люди толком не знают друг друга. Полгода плаваешь на одном судне, потом пошли отпуска, отгулы — может, никогда больше на этот траулер и не попадешь. С одним экипажем рейс отработал — и прощайся. Может, ни разу больше вместе в море ходить не придется. Вот и чувствуешь себя не как в своем доме, а как в гостинице: ты — временный жилец. И тут сколько к сознательности ни призывай, сам порядок против того, чтобы воспитывать у моряка чувство хозяина.

Есть там среди капитанов такие, кто только и мечтает новое судно получить и за год-другой на нем рвануть. Возьмет рекордный улов, а пароход угробит. Потом этого калеку отдадут другому, рекордсмен же к начальству подъезжает, чтоб ему как передовому опять дали новое судно. И снова та же история. Дело не в том, что начальство поощряет такие подвиги. Нет, конечно. Но при тысячном многолюдстве невозможно понять, кто чего стоит, какова цена иного рекорда.

— Вот мы теперь любим рассуждать про всякие АСУ. А я так скажу: на мой взгляд, управление, которое командует несколькими сотнями судов, практически неуправляемо. Хотя в каждый кабинет по сто вычислительных машин поставь, толку никакого. — И чувствовалось, что это плод долгих размышлений капитана, что это выношенная мысль.

От многолюдства в больших управлениях обязательно случайные люди. Геннадий с одним таким плавал.

Всю жизнь ходил тот капитан на больших торговых судах. А под старость его соблазнили высокие заработки добытчиков, и попросился он в рыбаки. Как опытного моряка его охотно приняли, дали большой морозильный траулер. На этом траулере Геннадий был вторым помощником. И свой рейс с торговым капитаном до сих пор вспоминает недобрым словом.

На промысле обычно так: где косяки, туда все и сбегаются. Иной раз на пятачке ловят сотни траулеров, друг дружку едва бортами не скребут. А капитан по торговым правилам привык плавать на просторе. Приказывает штурманам: ближе пяти-шести миль к судам не подходить! Приказ есть приказ. Подходить не стали. Плавают в гордом одиночестве. Столкновение, конечно, исключено, но и встреча с рыбой тоже. Целый месяц дергали пустыря, не за добычей ходили — за техникой безопасности.

Пришли штурмань к капитану, говорят: коли так работать, уловов не жди. Капитан в конце концов согласился, однако же на штурманов обиделся, а на Воробьева, который больше других говорил, затаил зло. Стал придираться по мелочам. Геннадий старался избежать капитанского гнева. Вахтенный журнал, к примеру, заполнялся без единой помарки, как в мореходке на практике. Но капитан находил, за что разнести. Словом, Воробьев перешел на другое судно. А торговый капитан и ныне командует рыбацкими траулерами.

В колхозе такого быть не может. Здесь всего 15 судов, 400 человек плавсостава. Не то что капитан, штурман или механик — каждый матрос на виду. Если раз-другой «отличился», вся флотилия будет об этом знать. С таким никто плавать не захочет.

Конечно, и в колхозе капитаны развье. Но если ты не **рыбак**, долго здесь не **провер-**тишься, раскусят. А те, кто давно работает,— мастера. Такие, как его учителя — Владимир Стукалов и Анатолий Сергеев.

О Владимире Стукалове я много слышал и до встречи с Геннадием, но не видел его ни разу. Как приезжаю в «Новый мир», Стукалов в море и всегда не в том районе промысла, куда я собираюсь. Зато второго учителя Геннадия знаю хорошо. Вот уж кто видом своим никак не похож на капитана, да еще знаменитого!

Однажды увидел я возле правления «Нового мира» странного человека. Маленький, толстый, с белесой редкой бородкой, он был одет совсем не по-здешнему: широкое клетчатое пальто-реглан и тирольская шляпа с узкими полями, тоже в яркую клетку.

Ну, думаю, комик районного масштаба. Приехал то ли концерт давать, то ли **на-**ниматься в руководители **самодеятельности**.

Когда мы с Сергеевым сошлись ближе, я рассказал ему, что про него подумал в первую встречу, Анатолий рассмеялся:

— Я и на судне комик. Это только в песнях — «капитан, обветренный как скалы». А на самом деле ни к чему ветриться. Если знаешь, где рыба и как ее ловить, можно быть и комиком.

Он-то знает. И не только где рыба. Геннадий говорит: плавать с Сергеевым — чистое удовольствие. Всем специалистам — доверие. Штурманам дает самостоятельность. Если же отчитывать — обязательно с шуточками. А безвыходных положений для него не существует.

Вот раз случилось. Работали на среднем траулере «Пертоминск». В шторм принял сигнал: один сейнер из соседнего колхоза вылетел на камни, второй пытался его сдернуть, но сел рядышком. Подошли, встали на якорь, завели буксир. Первого горемыку сдернули сразу. Больших повреждений у него не оказалось, и он смог двигаться самостоятельно. Зато со вторым мучились четыре часа. Два раза обрывался буксир. Но и этого стащили с камней. Пришвартовали себе под борт, пошли. А у сейнера большая пробоина. Как только оказался на плаву, стал тонуть и накричал своего спасителя. Сергеев зовет по радио ближе судно «Капитан Арон»:

— Эй, «Арон»! Будь другом, подхвати моего больного под левую ручку. А то он тяжелый, к рыбам меня тянет.

«Арон» быстро пришвартовался к сейнеру с другого борта. И тонущего кое-как удалось поддержать. Но шторм работает крепко, в тройной связке долго не простоишь — колотит суда друг о друга. Анатолий и тут придумал выход из положения. Решил: надо подвести сейнер к пологому берегу, разогнать сколько возможно и выбросить на песок, а самим в последний момент отдать концы — и полный назад. Капитан «Арона» согласился с Сергеевым: хоть и рискованный трюк, другого не придумаешь. Но под берегом пряталось от шторма множество судов. И разгон надо было брать в самой их гуще. Сергеев взял мегафон, вышел на крыло рубки. Пока выполнялся задуманный им хитрый маневр, он кричал встречным судам:

— Разбегайся, братва, зашибем! Тонущего под ручки тащим! А ну, дорогу «ско-

рой помощи»!

Сейнер подвели к самому берегу. Казалось, сейчас скребнут по дну. Но отскочили вовремя, когда под киллями оставался всего метр.

Вот у каких капитанов учился Геннадий Воробьев! Думал: после такой школы ничего не страшно. Получить бы сейнер и доказать — не зря учили, хотел уловами отблагодарить всех за добро. А вышло...

«Гигант» снова вызывает «Альбатрос» на связь. Он выводит сейнер Воробьева на рыбу с родительской заботливостью.

— Может, еще раз пеленг возьмешь? — спрашивает капитан Кузнецов. — Что-то долго тащишься, Сергееч.

— Да нет, Александрыч, всюю жму, — отвечает Геннадий. — Машина так раско-

чегарилась — вот-вот гайки в трубу полетят.

— А пеленг в тот раз точно взял?

— Точно!

— Давай все же еще раз нажму пеленжок. Кашу маслом не испортишь.

— Ну, нажми.

Прибегает радист и говорит, что пеленг взят.

— «Гигант» «Альбатросу»! — вызывает Геннадий и повторяет: — Пеленг взят.

— Сколько тебе, Сергеич, до меня? — спрашивает Кузнецов.

— Да мили три, не больше.

— Ну ладно, жми. А то я уже залился рыбой. Брал бы еще, да тары нет. Последнюю сеточку сейчас кинул — подниму, и все. Постою, тебя подожду.

— Я скоро, Александрыч, минут через двадцать.

— Ну, добро, «Альбатрос», жду.

В эфире многоголосый разговор промысловых судов — то строго официальный, то свойский, шуточный. Кажется, сами сейнеры обрели человеческие голоса и характеры.

Повезло «Академику Бергу» — и он звенит про удачу на всю округу, звенит молодым тенорком. А в нем торжество, мальчишеская гордость. Радует «Берг»: рыбы видимо-невидимо — на всех хватит. Новость катится по эфиру.

— Ты куда идешь, «Обаятельный»?

— За наукой топаю, за наукой!

— Это как же?

— К «Академику», значит. А ты?

— А я, задрал штаны, бегу за «Комсомольцем Забайкалья».

— Он много взял?

— Говорит, сто сорок.

— Дает! А далеко от тебя?

— Да думаю, за час добегу.

— А не хочешь со мной к «Академику»?

— Далековато.

— Ну, ясно-понятно. Кликни потом, скажешь, как там ловится. Может, завтра туда вместе подскочим.

— Кликну. Вместе веселей. Ну, до связи!

— До связи!

...Правление колхоза назначило Геннадия Воробьева капитаном «Альбатроса» в декабре. В январе сейнер должен был выйти из ремонта. Ремонт, увы, затянулся до марта. А в колхозных планах значилось... что сейнер уже ловит рыбу с января. Планы, утвержденные во всех вышестоящих инстанциях, пересматривать никто не стал. К моменту ухода «Альбатроса» на промысел на нем уже висела двухмесячная задолженность.

— Это бы еще можно пережить, — говорит Геннадий. — Мы на минтая пошли, к западному берегу Камчатки. Я в этих местах все годы рыбачил, да и минтая знаю хорошо, в общем, покрыла бы «долг». Но ты б глянул, что там творилось со сдачей. Некуда было сдавать — и все. Хоть разбейся — некуда!

Когда Воробьев начинает говорить о сдаче, он прикуривает одну сигарету от другой. И в голосе — обида.

Представьте себе такую фантастическую ситуацию: токарь, выточив на станке несколько деталей, должен бегать по сборочным цехам и уговаривать: возьмите, братцы, мои втулки — они хорошие, они вам пригодятся. Появись где-нибудь завод с такой внутрицеховой системой отношений, вряд ли хоть один настоящий мастер согласится работать — даже за большую зарплату. Потому как в беготне по цехам увидел бы самое обидное — неуважение к своему труду.

А рыбаку иной раз всю путину надо бегать и уговаривать. Поймать рыбу — да же не половина дела. Попробуй-ка ее сдать!

Сейнер голосом робкого просителя уговаривает плавбазу принять улов. Плавбаза посылает в эфир вежливый отказ почему-то чаще всего бархатным баритоном. И когда добытчик отвечает традиционным «ясно-понятно», которое вообще-то обозначает лишь то, что он расслышал ответ, улавливаешь в этих словах подтекст: мол, ясно, что у тебя есть какие-то свои дюже хитрые соображения.

Плавбаза всегда найдет тысячу оснований, чтобы принять рыбу или не принять, пропустить сейнер вне очереди или поставить в хвост. Жаловаться? Только попробуй: капитан-директор плавбазы, если и получит нагоняй, в следующий раз жестоко

сведет счеты. Чаще же всего ему от жалобы удается отвертеться: свидетелей нет, в море добытчик и приемщик один на один.

Хуже всего колхозникам. Свои сейнеры — из глослова — плавбазы обижают реже: им легче достучаться до начальства. А колхозному капитану добиться справедливости ой как трудно.

Нынешние неравные отношения приемщиков и добытчиков превращают плавбазы в неограниченных владык промысла, они вершат судьбы десятков сейнеров. Оттого снискать расположение начальства плавбаз стараются многие рыбацкие капитаны. Кому это удалось, тот может за свою судьбу не волноваться. Ведь в показатели работы записывают не выловленную рыбу — только сданную. Вот и выходит, что рыбаков иногда зачисляют в передовые не за высокие мореходные качества.

Геннадий Воробьев мастером сдачи не был. Простаивал в очередях все что положено — может, даже более того. А в июне, когда уловы пошли посolidней да постабильней, плавбазу, к которой был прикреплен «Альбатрос», невесть почему с промысла отозвали. Велели уходить и сейнеру. Воробьев просил экспедиционное начальство приписать его к другой плавбазе и дать еще порыбачить. Напоминал, что «Альбатрос» вышел из ремонта много позже планового срока. Но получил отказ. Пришлось вместе с другими бесхозными эрэсами раньше времени отправляться на сайру.

Полугодовой план Воробьев все-таки выполнил, но другие колхозные суда, работавшие с января, взяли намного больше рыбы. «Альбатрос» очутился в хвосте. Теперь все надежды были на новую пугину.

«Альбатрос» совершил переход от Западной Камчатки до острова Шикотан на юге Курильской гряды. Здесь экипаж поставил на сейнере сайровое оборудование, подброшенное из колхоза попутным судном. И опять пошла рыбака.

Первые дни промысла были счастливыми: сайра ловилась, сдача хлопот не доставляла. Думалось, и дальше так пойдет. Но потом было 14 июля, когда неожиданно взорвался вулкан Тятя.

Тятя молчал сто шестьдесят один год. И казалось бы, ему ничего не стоило отложить свой взрыв еще на три месяца — до конца сайровой пугины. Но ему понадобилось заговорить в самом ее начале, когда большие косяки сайры, повинаясь неведомому инстинкту, только начинали подходить к Курильским островам.

14 июля в три часа дня, не чуя беды, капитан Воробьев вывел «Альбатрос» из бухты Малокурильской. Вышли в море пораньше, чтоб до наступления темноты добраться к проливу Екатерины, где в то время ловилась сайра.

Через час Иван Носов, капитан шедшего впереди новомирского сейнера «Ставрида», передал по «Кораблю» тревожную весть:

— Всем судам, следующим в направлении пролива Екатерины! Говорит «Ставрида». С севера Кунашира надвигается туча пыли. Ветер несет ее в сторону Шикотана.

Сейнеры стали звать «Ставриду», пытались выяснить подробности. Она перестала отвечать. Туча двигалась быстро. С «Альбатроса» ее увидели через семь минут после сообщения Носова. Гигантская темная громадина не висела в небе, как положено тучам, а опускалась до самой воды, затягивая всю округу серой мглой. В ее чреве вспыхивали короткие молнии.

Воробьев попытался выскочить из тучи. Но скорость сейнера оказалась мала. Туча накрыла «Альбатроса», завалила пеплом. Видимости не стало: вытянешь руку — пальцев не разглядеть. Железные частички вулканической пыли вывели из строя радио, локатор, путали компас. Гонкая пыль, подгоняемая ветром, пробилась во все помещения. Сквозь задраенные иллюминаторы забралась в каюты, кубрики, камбуз. Пепел набился в глаза, ноздри, в рот, под одежду. Дышать было трудно, все тело зудело.

Воробьев положил «Альбатроса» в дрейф, а наутро, когда в туче явился просвет, привел сейнер в Малокурильск. «Альбатрос» не получил никакого ущерба. Вот только капитан лишился бороды.

Удивительная штука — про извержение вулкана капитан говорил куда спокойнее, чем про сдачу:

— Как только увидели тучу, я сразу понял, что заработал Тятя. А это на моей памяти шестое извержение.

И стал перечислять. В шестьдесят первом или шестьдесят втором — он даже точно не помнит — взорвался Карымский вулкан на Камчатке. Столб пепла поднялся на семь километров. Засыпало весь Петропавловск. Потом на учебной практике попал в район извержения Ключевской сопки — тогда и лава текла, с моря ее хорошо было видно. В шестьдесят пятом, когда ходил матросом на «Ламуте», заработал вулкан Шипашадина на Алеутах — они как раз мимо проходили. То и дело слышались взрывы. После каждого над кратером вздымался столб огня, в воздухе стоял запах серы. В шестьдесят шестом видел еще одно извержение Ключевской сопки. А в прошлом году на том же «Альбатросе» проходил мимо вулкана Алаида как раз в то время, когда он заговорил. Опять был гул, взрывы, зарево вполнеба.

Тятя работал две недели подряд. И почти все время облака вулканической пыли несло ветром на Шикотан. Остров засыпало семь раз. Слой пепла толщиной в десять — двенадцать сантиметров улегся на землю, на ветки деревьев, на крыши домов. Команды рыбацких сейнеров едва успевали: отмоют суда, а их снова засыпает пеплом. Все моряки, жители Шикотана, сезонные рабочие, приехавшие сюда на путину, ходили черные от Тятиной пыли.

Геннадий как-то был на берегу. Вышел с почты — и тут опять понесло. Навстречу капитану шла женщина. Одета модно, а лицо — будто только что из кочегарки. Воробьев увидел ее и рассмеялся. Женщина обиделась.

— Ты на себя посмотри, — говорит, — тогда, может, погромче захохочешь.

И точно — когда Геннадий вернулся на судно и глянул в зеркало, долго трясся от смеха. Толстый налет вулканической пыли лежал на лице, на форменной куртке, капитанских погонах.

Рыбозаводское начальство распорядилось поставить дополнительные фильтры на вентиляционные решетки, дважды и трижды очищали воду, прежде чем подавать ее в цеха рыбообработки. Словом, все сделали, чтобы пепел не попал в консервы.

Но для рыбаков наступило тяжкое время. Вулканический пепел разлетелся примерно на восемьдесят — сто километров. Тятя методично раз за разом посыпал поверхность океана — именно те квадраты, куда приходили к середине июля крупные косяки сайры. В свои излюбленные районы сайра не пошла и после того, как кончилось извержение. Чем ей мешал пепел, точно пока неизвестно. То ли он погубил планктон, лишив рыбу кормовых полей, то ли вступал в реакцию с морской водой, менял ее химический состав. Так или иначе, но участки океана, где раньше удавалось брать хорошие уловы, сайра старательно обходила. Ее скопления показывались то в одном отдаленном квадрате, то в другом — за пределами того места, куда сыпался пепел. Было непонятно, почему мечутся косяки, где их можно ждать в следующую ночь. Оставалось только везение.

Геннадий часто прикидывал с капитанами из своего колхоза, из соседних, куда пойти. Делили между собой квадраты, чтобы прощупать океан на большей площади. Если кто находил рыбу, сообщал остальным. Но сайра с редким постоянством оказывалась в дальних от «Альбатроса» районах. Пока он добирался туда, наступал рассвет, рыба уходила на глубину, растекалась по океану. На следующую ночь «Альбатрос» бежал в уловистый район, но сайры здесь уже не было. Воробьеву все время попадалась лишь небольшие разреженные косячки — плана на таких не возьмешь. «Альбатрос» отставал все сильнее.

...На экране локатора в ближнем секторе обозначилась группа сейнеров. Один из них стоял в стороне, близко к «Альбатросу». Туман поредел, но все еще оставался густым, хотя не походил больше на толщу пласта, а стал просто самим собой — плотным туманом. Сквозь него мерцали огни судов. И время от времени среди пятен белых огней на доли секунды ярко вспыхивал красный. Это значило, что здесь идет лов. Красную люстру всегда врубают перед подъемом сайровой ловушки.

И голос «Гиганта» стал слышен теперь отчетливей, будто легче проходил сквозь поредевший туман. Капитаны при вызовах перестали говорить названия судов, а обращались прямо друг к другу по отчествам, как это принято у моряков.

— Это ты, Александрыч, стоишь левее кучки судов?

— Вроде так, Сергеич. Я тебя, кажется, вижу. Ты ко мне с кормы подходишь?

— С кормы.

— Пройдись-ка для верности по корме прожектором, Сергеич. Ну, точно, это ты и ешь!

— Как стать, Александрыч?

— А прямо на мое место и вставай. Я сразу пойду. Тебя ждал. Воткни мне луч по правому борту, по лучу и подтягивайся.

— Понял, Александрыч. А ты вперед двинешься?

— А я вперед, Сергеич. И огоньки пригашу, чтоб рыбу за собой не тянуть. Давай не табань. Времени у тебя мало.

— Двигайся. Прямо на тебя иду!

— Не бойся, успею отскочить. У тебя ловушка готова? Моряки на местах?

— Порядок.

— Ну, я пошел. Есть рыба?

— Есть, Александрыч! Спасибо!

— Жми, Сергеич, жми! До встречи.

А вокруг «Альбатроса» уже кипела сайра. Подтянутая лучом прожектора к борту, она грелась под люстрами. На освещенной палубе металась рыбаки в ярких оранжевых робах. Тралмастер Орленко свистком подавал команды, поторапливая ребят. Сам же Алексеич носился по палубе с быстротой и легкостью, столь неожиданной для его возраста и комплекции, что казалось — он, как настоящий Карлсон, включает на спине невидимый пропеллер. «Своей» рыбы не удалось найти — теперь вся надежда на эту. И вот уже прыгает над ловушкой сайра.

— Подъем! — кричит из рубки Геннадий и запаливает красную люстру. — Ну, — говорит он, и видно, как напряжение долгой ночи сходит с его лица, — похоже, заловимся.

Он закуривает новую сигарету, выскакивает на крыло рубки. Свесившись, смотрит, собирается ли под бортом рыба. Собирается! Густеет серебряный цвет, закрывая собой воду, изумрудную под лучами люстр. Пляшет под бортом сайра. И темп ее движений передается рыбакам. Каплёр за каплёром сыплется в трюм рыба.

Первую ловушку освобождают быстро, хотя груз немалый — центнеров двадцать. Геннадий опасливо поглядывает на часы: уже пятый. А рассвет для него сейчас — роковое время. Перестанет на сайру магически действовать свет, разбежится косяк. И капитан торопливо дает команду — подъем. На этот раз ловушка оказывается вполностью легче.

В рубку влетает тралмастер.

— Поспешил, Сергеич, — говорит он капитану, — не дал толком собраться.

Геннадий пальцем стучит по часам:

— Видишь?

— Ничего! Еще одну сеточку успеем поднять. Только раньше времени не дергай.

Геннадий выжидает, напряженно поглядывая то на воду под бортом, где опять собирается сайра, то на небо — вот-вот начнет светать.

— Пора? — кричит Воробьев тралмастеру.

Орленко кивает.

И в это время в сайру под бортом «Альбатроса» втыкается прожекторный луч. Словно скальпель, разрезает он косяк. Большая часть рыбы бросается за лучом. От плотной серебряной массы остаются лишь отдельные искорки, сквозь которые проступает зелень воды.

Геннадий подлетает к «Кораблю».

— Эй! — кричит он. — Кто это у «Альбатроса» рыбу из-под борта выметает?

— «Капитан Рябов», — спокойно отвечает аппарат.

— У тебя совесть есть?

— А ты что, всю рыбу в океане присвоил?

— Но это ведь моя! Я ее собирал!

— Ну, извини. Случайно моряк по тебе шваркнул.

— Все у тебя случайно. Координаты путаешь — случайно. Курс не сообщаем — случайно. Рыбу чужую тянешь — случайно.

— Некогда мне ругаться! — повышает голос «Рябов». — Сеточку пора поднимать. До связи! — Аппарат щелкает и замолкает.

— Как таких вода держит! — Геннадий бросает микрофон, подбегает к окну и кричит тралмастеру: — Ладно, Алексеич, берем что есть.

Орленко невесело кивает, явно огорченный, что так обернулся его совет.

Последний замет едва тянет на семь центнеров. Геннадий не может унять негодования:

— Добрых двадцать центнеров «Рябов» упер, а называется именем хорошего человека!

Каплёр еще вычерпывает из ловушки остатки рыбы, а туман на востоке начинает освещаться, и светлая полоска все выше поднимается над океаном. Разбегаются сайра, начавшая было собираться под нерабочим бортом. Воробьев задает вахтенному штурману курс, и мы спускаемся с мостика: капитан зовет перед сном на чай.

В его каюте на небольшом столике, похожем на столик железнодорожного вагона, появляются две дымящиеся кружки, сахар, хлеб, масло, миска пирожков с сайрой — фирменное блюдо кока «Альбатроса».

Капитан опускается на койку. Он устал до того предела, когда ни на одно движение нет сил. Но взгляд не гаснет, глаза на скуластом лице горят.

— Ох, до чего же трудно быть капитаном! — взрывается Геннадий. — Старпомом в тысячу раз легче. Мне когда дали судно... я во сне стал видеть, как рыбу беру, как со сдачей мучаюсь. Все теперь на мне. И стыдно! Понимаешь, стыдно! Я за все колхозу благодарен. Мне помогли, научили. «Альбатроса» дали. А я вот чем отвечаю! Своим морякам хоть в глаза не смотри. Они мне во всем доверились, а я не могу взять рыбу. Чертовое невезение! Потом слава пойдет — необычный капитан. Такое с себя надо смывать многие годы. Да удается ли еще?

Эти слова нельзя было произнести на мостике, где рулевой и вахтенный штурман. Только здесь, в каюте, с глазу на глаз. Их никто из экипажа не должен слышать. А копились давно. И сказаны мне, потому что был долгий ночной разговор, когда душа распахивается сама. И еще потому, что я знаю Эдуарда Вальдмана, Анатолия Сергеева. Их имена — как пароль. И я испытываю гордость, что мне доверено признание. Надо чем-то отвечать, а что сказать — не знаю. И мои ватные утешительные фразы похожи на выражение соболезнования. Я что-то бормочу, а по глазам капитана понимаю — не того он от меня ждал.

— Ладно, давай спать, — говорит он, — ты этого не поймешь. Если ребята перестанут мне верить — значит, я уже не капитан. Вот в чем вся штука.

Чувствуется: он зол на себя за то, что доверил мне, может быть, самое для него сейчас важное. Обидно. Потянул же меня нечистый на речи. Мне бы молчать да кивать. Ведь не совета у меня спрашивал Геннадий — душу излить хотел.

...Просыпаюсь около двенадцати дня. «Сайровый» сон, сдвинутый с обычных часов на время меж рассветом и полуднем, не освежает, встает с тяжелой головой. Вылезаю на палубу проветриться и сразу натыкаюсь на тралмастера Орленко.

Усевшись на палубном настиле, он чинит порванную ловушку. На мое «здрасьте» едва кивает, работает молча — с остервенением вгоняет иглицу в сетевое полотно. Чтоб как-то начать разговор, задаю вопрос про настроение, которое, в общем-то, достаточно ясно выражают его руки. Алексеич пробурлачивает меня злым взглядом и раздражается длинной непечатной речью. В бога и черта несет он нынешнюю путину, вужкан Тято, а заодно и путинное начальство.

— Это холостым еще ничего! — кричит тралмастер. — А у меня семь ртов! Их чтоб прокормить — сколько денег надо! Если так ловить, лучше на берегу работать!

Спрашиваю Алексеича, не собирается ли он списаться. Мне известно — сейчас кое-кто спешит уйти в отпуска, в отгулы: уловы-то невелики.

Полное лицо тралмастера наливается кровью:

— Я? Списаться? Дезертиром никогда не был! Ты знаешь, кто списывается? Кто моря толком не нюхал, кто рыбу понять не может. Вот эти как уловов нет — в отпуске, как появилась рыба — из отпусков. Это не ловцы... — он несколько секунд подбирает слово, — шелупонь. Точно и есть: ше-лу-понь. Я-то знаю: наша рыба — впереди. Это уж точно. Будем мы с рыбой. Не бойся!

Я молчал.

— Да что ты вообще можешь понимать в рыбаках? — распаляется он еще сильнее. — Кто ты есть? Когда-то там проплавал путину да с нами два замета поднял. Что ж ты от этого, моряк? Что в тебе рыбацкого? Только что в качку блевать не тянет? Так это от устройства брюха зависит, а не от устройства мозгов. А у рыбака голова на особый манер построена, по-особому все понимает...

И тут Орленко осекается, видимо, поняв, что нарушил святой закон морского гостеприимства, строго-настрого запрещающий так разговаривать с гостем.

— Ты пойми,— говорит он наставительно,— как судно отстает, на него всякие проверяльщики начинают ходить. Все в блокнотики пишут. Одни ругаются, другие сочувствуют. А если корреспондент — обязательно начинает ссоры искать. Один как-то был — меня спрашивает: капитан у вас неопытный, а вы старый кадр, не обижает ли? Ишь чего захотел! Наш капитан всю ночь в рубке торчит, приборы до дырок изглядит, людей слушать умеет. Из таких рыбаки и вырастают.

И радостно становится у меня на душе. Жаль только, что не слышит этих слов Геннадий Воробьев. А Орленко, настроившись на поучительный тон, говорит по-стариковски дого. И я уже не жалею, что неосторожно задел тралмастера.

— Это ведь только случайные люди сейчас ахают: «Ах, Тятя, Тятя! Что ты натворил!» У нас всегда что-нибудь такое есть: не вулкан — так цунами, не цунами — так циклон, или оледенение, или просто шторм. А наш «Альбатрос» и при них рыбу сколько раз брал. И еще возьмет. Он рыбу ловить умеет.

Из тумана выплывают зеленые скалы Шикотана. Грани их остры, и легко догадаться, как молод, как тонок еще слой почвы, прикрывший камень. Ему не удалось сгладить острые каменные ребра. Лишь пристроился кое-как в неровностях и выбоинах, одел скалы травой да редким кустарником. Причудливо изрезанный берег неожиданно открывает вход в бухту, запахнувшуюся от океана двумя высокими мысами.

Геннадий, как положено, спрашивает по «Кораблю» разрешение на вход.

— Можешь зайги, «Альбатрос»! — отвечает берег.

И «Альбатрос», который умеет ловить рыбу, входит в бухту Малокурильскую. Его ведет капитан, который еще не знает, что суждено ему со временем стать настоящим рыбаком. А на палубе сидит, доштопывая ловушку, тралмастер Орленко — Карлсон, который живет на крыше, который знает все про рыбацкую удачу.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ЮГ США: СПОР О МАГНОЛИЯХ

США

«You can't eat magnolias».
New York. 1972.
«Нельзя питаться магнолиями». Нью-Йорк. 1972.

В Соединенных Штатах в издательстве «Макгроу-Хилл» вышел сборник, озаглавленный «Нельзя питаться магнолиями», посвященный актуальным проблемам американского Юга. Из предисловия явствует, что сборник следует считать современным ответом на аналогичный по тематике коллективный труд, вышедший в 1930 году под названием «На том стою. Юг и аграрная традиция».

☆

Своеобразие исторического развития Юга США обусловило весьма резкое в прошлом отличие тамошнего духовного климата от «северного». Это обстоятельство способствовало необыкновенной устойчивости родившегося после Гражданской войны и вжившегося далеко в XX век пресловутого «южного мифа» — о добром, старом Диксиленде, о его будто бы особом историческом пути. Попытка теоретического оформления этого мифа и была предпринята на страницах сборника, названного словами припева старой конфедератской песни: «На том стою». Его авторами значились двенадцать южан — поэтов, прозаиков, литературных критиков и филологов, объединившихся в Нашвилле, штат Теннесси, при местном университете. Ведущими среди этих «аграриев», как их стали называть, были А. Тейт, Р. П. Уоррен и Дж. К. Рэнсом.

«Аграрии» обрушились с филиппиками на капитализм, который они отождествили с индустриальным обществом. Историческую прогрессивность капитализма они не принимали, стояли на том, что только в аграрном обществе осуществим гуманистический идеал жизни. Реальностям капитализма они противопоставляли идеал патриархального общества (в этом отношении они повторили славянофилов). Этот надуманный, эстетский по преимуществу идеал «аграрий» попытались отождествить с историческими реальностями американского Юга, тем самым подхватив реакционный плантаторский миф. Расписавшись в верности «старому Югу», нашвиллцы неизбежно разделили и самый тяжкий его «грех» (как выразился У. Фолкнер), софистически извиняя рабовладение (хотя формально и осуждая его). Несостоятельность «аграрианизма» обнаружилась очень скоро, и, вероятно, на сегодняшний день он был бы уже основательно позабыт, если бы не одно партикулярное обстоятельство.

«Аграрианизм» считают побочным продуктом такого замечательного явления, как южный ренессанс, — в нем видят попытку вывести систему общественно-политических взглядов, исходя из некоторых мировоззренческих установок его художественной практики (связь выражается и в частичном совпадении круга авторов «фолкнеровской школы» с кругом «аграриев»). Разумеется, объективное значение творчества мастеров «южного романа» и историко-социальных экскурсов «аграриев» далеко не однозначно, есть не только определенный зазор в направлениях их воздействия на умы, но подчас и явное противоречие. Но потому, что работы «аграриев» со временем осветились отраженным блеском южного ренессанса, а также потому, что и в них, в этих работах, ставилась проблема гуманизма в общественных условиях, крайне для него неблагоприятных — хотя все решение вопроса было ложным, «опрокинутым» в прошлое, — они и сейчас вызывают интерес. И приглашают к диалогу.

И вот новый объемистый сборник задуман как «непредвзятое» осмысление реаль-

ностей Юга на нынешнем, поворотном, этапе его истории, как ответ на прозвучавшее сорок с лишним лет назад тревожное «камо грядеши?». Двадцать семь авторов сборника — экономисты, теологи, публицисты, политические деятели и губернаторы — тоже все южане. Стараясь избегать не в пример «аграриям» философических эмпириев, они, как правило, ведут разговор в ином регистре — практическом, «деловом».

Констатируя «громадные перемены», которые претерпел Юг за истекшие сорок лет, авторы увлечены и вместе с тем озабочены перспективами «нового Юга». Новый Юг... Между прочим, скептики напоминают, что сам этот термин справляет уже свое третье рождение: в первый раз он появился на свет в 80-е годы прошлого века, во второй раз — в нашем веке, в 20-е годы. И всегда выходило по французской поговорке «чем больше оно меняется, тем больше оно остается прежним» — из новых одежек неизменно выглядывал «старый Юг». Так, может, и теперь так?

Нет, все-таки локомотив истории удержать невозможно. Перемены, происходящие на Юге, и вправду значительны. Визжат электропилы в магнолиевых рощах, громоздят железобетонные конструкции быстро растущие города, где в автобусах черные бабушки уже не спешат уступить место белым молодцам и где у памятников павшим конфедератам проводятся — кощунство! — такие северные новшества, как «сит-ин» и «лав-ин». Индустриализация, урбанизация, интеграция (расовая) — эти задачи фигурируют первыми в порядке дня. Еще вчера мирившийся с положением задворков Америки, Юг сегодня не только преодолел былую инертность, но и стал самым быстро растущим экономически из всех районов страны, в связи с чем прекратился постоянный прежде отток населения оттуда и нетто-эмиграция сменилась уже нетто-иммиграцией.

Правда, это опережение в темпах роста объясняется тем, что Юг все еще значительно отстает от других районов по абсолютным экономическим показателям, все еще «лидирует» по бедности, все еще остается наполовину сельским. Но, так или иначе, бум сейчас в разгаре и его дыхание ощущается в бодрых призывах «антиаграриев» (назовем их так условно) покончить с «чертополохом мифа», свести счеты со «старым Югом — этой заставляющей камень Горгоной», в их трезвенной деловитости и в мажорной убежденности, что «Юг сумеет стать полноправным участником, а может быть, даже лидером, в возрождении счастливого и плодотворного периода американской жизни».

Несмотря на мажорную тональность, эта фраза содержит косвенную констатацию того факта, что нынешний период американской жизни не является ни счастливым, ни плодотворным. Вряд ли кого-нибудь прельщает перспектива такого нового Юга, который оказался бы простой копией Севера — антигуманность капитализма, ясная для «аграриев», сегодня обнажилась окончательно. Поэтому и «антиаграрии» озабочены тем, как бы «избежать ловушек Севера и создать гуманную городскую цивилизацию на базе аграрного прошлого».

Но как избежать трансформации южного общества в «толпу одиноких» по северному образцу — расчетливых, отчужденных (или «одномерных», как принято теперь говорить с легкой руки Маркузе)? «Антиаграрии» уповают на то, что в споре с этой северной инфлюэнцей возьмут верх такие традиционные качества южан, как их религиозность, их общительность, простосердечие, учтивость (уживавшаяся, поскольку речь идет о белых, со столь же традиционным хамством в отношении черных сограждан). Сокрушаются — и тут уж ниоткуда спасения не ждут — из-за натиска стандартизированной «массовой культуры», грозящей «убить» негритянские джазбанды (некоммерческие) и новоорлеанские карнавалы, как она уже «убила» уличных скрипачей.

Можно чуть не бесконечно взвешивать сравнительные изъяны и достоинства аграрного образа жизни и урбанизированного. Дело, однако, в том, что речь идет (в условиях капитализма) о двух разных формах одного негуманного по своей сущности общества. Проблема человеческих отношений является частью более широкой проблемы общественных отношений — двуединой проблемы города и села. Оппоненты «аграриев», не разделяя их преубеждений против индустриализма, в то же время готовы усмотреть в аграрном наследии некое здоровое нравственное начало, которое они хотели бы как-то привить растущему индустриальному городу, — замысел заведомо бесплодный.

Долгое время говорили об «исключительности» социальной обстановки на Юге.

Это вызывалось двурасовым характером южного общества, наличием в нем многочисленного негритянского меньшинства (раньше составлявшего несколько менее половины всего населения). Исторически сложилось так, что силовые линии социальной напряженности на Юге располагались обычно между расовыми полюсами, ступенью тем самым глубинные, классовые антагонизмы.

Нынешнее движение за расовое равноправие резко активизировалось примерно с середины 50-х годов, когда еще «старый Юг» чувствовал себя превосходно и готов был оказать яростное сопротивление малейшим посягательствам на вековую традицию сегрегации. Борьба — ее развитие связано с именем Мартина Лютера Кинга — была упорной, сторонникам Кинга приходилось брать с боем каждый «пятак» гражданских прав: право сидеть в автобусах рядом с белыми, право на место у стоек закусочных и т. п. Борьба оказалась затяжной, за нее заплатили жизнью сам Кинг, многие его сподвижники и белые «попутчики» — как северяне, так и южане.

Она не оказалась напрасной. Сегодня десегрегация зашла уже сравнительно далеко даже в славящихся особой заскорузлостью нравов штатах так называемого «глубокого Юга», так что «антиаграрии» и не ставят вопроса о том, быть или не быть десегрегации, считая его в принципе раз навсегда решенным положительно. Но поборники расового равноправия стюдно не торопятся бить в литавры, потому что до полного уравнивания прав, даже формального, остается сделать еще очень многое. «Негр. — констатирует К. Грейвз, — по-прежнему подвергается социальной, экономической и политической дискриминации и эксплуатации».

Итак, битва за десегрегацию продолжается, хотя ясно, что даже полная победа в этой битве окажется лишь прелюдией к битвам грядущим. Это убедительно подтверждает пример Севера. Расовый вопрос был «импортирован» на Север с Юга вследствие массового переселения туда негров начиная с 40-х годов и примерно до конца 60-х (в результате чего почти половина негритянского населения страны оказалась за пределами южных штатов). С Севером черные южане издавна связывали мечту об освобождении, но переселившись туда, они обнаруживали, что, хотя сегрегации там нет, расовая дискриминация существует, только принимает она иные формы — экономические, психологические и т. д. Когда в конце 60-х годов черные гетто городов Севера взорвались мятежами, их подавляли с такой же свирепостью, как и на Юге, к вящему злорадству расистов-южан. Стало очевидным, что «расизм позорит не только Юг, это трагическая национальная болезнь».

«Болезнь», конечно, слово более уместное, чем «грех»; болезнь требует лечения, тогда как грех наводит на мысль об искуплении. А искупает грех, согласно хитро-сплетенной мистике религиозного мышления, необязательно тот, над кем он тяготее. Уже Фолкнер в некоторых своих романах обращает к негру надежду на «очищение» за видимой неспособностью белого освободиться от одолевающей его тяжести «греха». Этот взгляд получил дальнейшее развитие в 60-е годы под непосредственным впечатлением «негритянской революции». Его формулировал в своих публицистических работах Уоррен, утверждающий, что «именно негру суждено сыграть главную роль в искуплении Америки».

И Фолкнер в своих публичных выступлениях в последние годы жизни, и Уоррен в своих книгах и статьях (а также в беседах с М. А. Кингом, записанных последним) не раз высказывались за десегрегацию, но при этом выдвигали на первый план ее внеправовой, индивидуально-человеческий аспект. Продиктовано это скорее всего боязнью отчуждения, обезличивающего, «функционализирующего» человеческие отношения. Но при существующих условиях такой подход к делу, во-первых, все-таки чреват недооценкой буквы полезного закона. Если суть происходящей на Юге перемены в расовом вопросе сводится к тому (обращаемся к свидетельству «антиаграриев»), что «южане научились кое-каким северным хитростям: так, например, отказывая негру в работе, ему теперь отвечают «нет, сэр» вместо прежнего «нет, ниггер», — то ясно, что и такая перемена неважна: хотя существо отношений не изменилось, формальное «сэр» куда лучше патриархального «ниггер», ранившего достоинство черного южанина. Во-вторых, такой подход парадоксальным образом обернулся, по выражению критика Х. Мура, «романтизацией негра как вновьявленного спасителя деградирующей цивилизации». Вчерашнее отношение к негру как к статисту исторической

драмы, лишь «обременяющему» белого человека, сменилось надеждой, что именно негр с его не по-современному истовой религиозностью, с его «душевностью» «вывезет» дело духовного обновления нации.

Быть может, не стоило бы специально останавливаться на этой поздней метаморфозе «аграрианизма», если бы не некоторые заблуждения насчет «бремени черного человека» в стане самой «негритянской революции». Уже проповедям М. Л. Кинга не были чужды «богоизбраннические» мотивы. Его знаменитая «Мечта» — «о том дне, когда... сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сесть вместе за стол братства», — гуманистическая в своей сущности, не лишена была вместе с тем религиозно-мистической окраски. Мироззрение Кинга сложилось под заметным влиянием Р. Нибура, известного философа и теолога (белого южанина), его теории религиозно-духовного преображения мира волею «очищенных страданием» угнетенных. И все же Кинг был политическим реалистом, чутко прислушивался к насущным нуждам черного меньшинства, старался сообразовывать с ними свою практическую деятельность. Этого нельзя сказать о некоторых нынешних активистах «негритянской революции», отдавшихся наивно-мессианским настроениям (кое-где соседствующим с перехлестами «черного расизма»).

Ну, а по другую сторону «расового фронта» — как себя чувствует сейчас старый Юг?

Года три назад группа нью-йоркских политологов предприняла эмпирическое исследование «политических структур» Юга. Характеризуя широту и упорство реакции в южных штатах, авторы пишут: «„Пересмешник еще поет в магнолиях“¹, и призраки бравых солдат Ли маршируют в сером на пыльных дорогах» («пыльные дороги» тоже следует отнести к их «видению», так как дороги на Юге сейчас, кажется, столь же хороши, как и на Севере).

«Видение» это вызвано прежде всего «иррациональным», как его иногда называют, движением Джорджа Уоллеса. «Антиаграрии» как будто стыдливо обходят это имя (оно упоминается лишь вскользь), в последние годы ставшее символом реакции не только на Юге, но и в национальном масштабе. Но движение Уоллеса невозможно обойти, и его рассматривают под благовидной вывеской «нового популизма», давая ему весьма противоречивые оценки (об этом ниже).

Фигура демагога давно стала традиционной достопримечательностью политической сцены на Юге, «феномен Уоллеса» не представляет в этом отношении чего-то радикально нового. Уже с конца XIX века упадок аристократических домов повел к возрастанию политической роли площади, где всегда отличалась особой шумливостью та специфическая категория, которая в литературе о Юге обозначается устоявшимся термином «белая шваль». (Эту перемену декораций зеркально отразил ку-клукс-клан: рожденный к жизни зловещей фантазией пристрастных к мистике и ритуальности плантаторов, он с 30-х годов укомплектовывается почти исключительно «плебсом».) Площадь обусловила потребность в умелых дирижерах, способных направлять ее недовольство.

До сих пор галерею «южных демагогов» составляли деятели местного масштаба, размах же Уоллеса оказался много шире. Родной Алабамы ему было мало, он объявил «поход на Вашингтон», посягнув на президентское кресло. Он заявил о своем намерении еще больше «объюжить» Север — вопреки и назло победителям при Аппоматоксе.

В мае 1972 года роковой для него выстрел выбил Уоллеса из седла, так что сейчас губернатор Алабамы передвигается при помощи костылей, и пока не ясно, есть ли у него политическое будущее. Несомненно, однако, что даже в случае ухода Уоллеса не исчезнут настроения, обеспечившие ему широкую поддержку.

Его типичный последователь — мелкий собственник, фермер, зараженный собственной психологией рабочих; это так же хорошо известно, как и то, что подкармливают Уоллеса монополисты. Расизм — лишь один из ингредиентов «комплекса маленького человека», придавленного госмонополистической системой, растревоженного «демоном перемен», склонного во всех своих реальных невзгодах винить мифических заговорщиков. Такому человеку импонирует уоллесовский рекламный образ руба-

¹ Слова из походной песни конфедератов.

хи-парня, режущего правду-матку, предлагающего «простые и радикальные решения» наболевших проблем («решения», получившие скандальную известность: «высокособых прохвостов» с их портфелями выбросить в Потомак, бунтующих ниггеров перестрелять, у либералов повыдергать зубы и т. д. и т. п.). Уоллесовские «решения» показались привлекательными для многих и на Севере. Алабамец задел чувствительную струнку американского характера — ностальгию по давно минувшим временам, когда мелкий собственник, энергичный, самоуверенный, линчующий², мог чувствовать себя хозяином положения.

На Юге этот общеамериканский комплекс приправлен наследственностью старого Диксиленда — той особой в Америке косностью мышления, которая побуждает вспомнить о недоумке Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера, способном воспринимать улицу лишь в определенном направлении — слева направо от памятника конфедератам. Конечно, символы старого Юга — конфедератские флаги, серые конфедератские каскетки — имеют для площади несколько иное значение, чем для аристократических домов, сознательно культивировавших реакционную традицию. Плантаторский миф был подан площади, так сказать, в облегченном варианте, без аристократического пассажа — как идеологический стержень «южной самостийности», неподатливого «почвенничества». Уоллес, например, охотно фотографируется в своем кабинете под потемневшим от времени портретом генерала Ли и вместе с тем афиширует свою прагматическую складку: «Мы не думаем об истории, или теории, или еще о чем-то таком, мы просто идем вперед, а история, черт возьми, позаботится о себе сама».

У «антиаграриев» можно найти верную, хотя далеко не полную характеристику «нового популизма» как «подводного течения провинциальных обид, «демократической» подозрительности и почвенничества». Точно отмечена его «тенденция искать козлов отпущения при решении проблем». Странной после этого представляется декларируемая (тем же автором У. Хамильтоном) надежда, что «новый популизм сможет стать средством утверждения ценности и достоинства личности перед лицом возрастающей сложности социальных, экономических и политических структур». Даже среди буржуазных наблюдателей редко у кого вызывает сомнение ретроградный характер этого движения, которое историк Г. Давенпорт назвал «великим походом назад».

В пестроте социальных и культурных реальностей Юга, где крик общеамериканской моды соседствует с вопиющими анахронизмами, не так-то просто разобраться, где, собственно, новый Юг, а где старый. Между прочим, из поля зрения «антиаграриев» совершенно выпала такая «подробность» нового Юга, как «жирные коты» — капиталистические монополии. «Аграрии» в свое время адресовывали стрелы антикапиталистической критики в сторону Севера, к порочному граду Нью-Йорку. Сейчас у Юга есть «свои» монополии — это монополии Техаса, стремительно набиравшие силу в послевоенные годы за счет развития новейших отраслей промышленности и уже борющиеся за влияние с монополиями Северо-Востока. Так вот, именно денежные мешки Техаса — в отличие от северо-восточных конкурентов с их традиционно-либеральной ориентацией — всячески поощряют идеологию консерватизма и ультраконсерватизма. Деляческий прогрессизм уживается у них с привязанностью, как принято говорить, к «зеркалу заднего вида». Похоже, что им хотелось бы, «чтобы все изменилось для того, чтобы все осталось прежним» — примерно так перифразировал французскую поговорку герой Томази ди Лампедузы.

Сборник «Нельзя питаться магнолиями» завершает призыв «начать прагматистский диалог... вместо риторики». Прагматизм, ползучий оппортунизм (эта конечная «мудрость» буржуазии) — вот ответ «антиаграриев» на умопостроения нашивалских литераторов. Двадцать семь пропели отходную старому Югу, что при нынешних обстоятельствах отнюдь не выглядит актом чрезвычайной дерзости. Они фактически обошли вопрос о «гармонической жизни», как его называли «аграрии», искусственно связавшие этот вопрос с антитезой города и села (капиталистического города и докапиталистического села), но, по крайней мере, однажды поставившие его. На «аграриа-

² Линчевание, поскольку оно применялось не в отношении негров, было буржуазно-демократической традицией (см. об этом в кн.: В. Петровск и Я, Суд Линча, М. 1967).

нистское» «не хлебом единым» «антиаграрии» ответили своим «не магнолиями едиными», где магнолии — символ и превратно выраженного устремления к гармонической полноте, и давнишней человеческой слабости идеализировать прошлое при неудовлетворенности настоящим.

Еще и сегодня в Америке нет недостатка в абстрактном понимании гуманизма. Вот почему выжила и «аграрианистская» схема «гармонического общества», она только оторвалась от реальностей Юга, вернув себе первоначальное качество повисшего в воздухе чистого умозрения. Есть в этом утопическом взгляде справедливая критика подлинных американских невзгод: разобщенности, бездуховности, неукорененности бытия, разлада с природой, наконец. Но никакого решения проблем эта утопическая схема предложить не может — ничего, кроме ностальгического всматривания в туманное прошлое.

Маркс писал: «Так же, как смешно тосковать по этой первоначальной полноте индивида, так же смешно верить в необходимость остановиться на нынешней полной опустошенности. Выше противоположности по отношению к этому романтическому взгляду буржуазный взгляд никогда не поднимался, и поэтому этот романтический взгляд, как правомерная противоположность, будет сопровождать буржуазный взгляд вплоть до его блаженной кончины»³.

В этих словах Маркса — существо спора, затеянного с «аграриями» их нынешними оппонентами.

Ю. КАГРАМАНОВ.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 105—106.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ



ГЛУБИНА ФРОНТА

Этическая тема в лирике военного поколения

Дialog с самим собой:
— О них мало писали?

— Много. Об этической теме тоже много писали.

— На что ж ты надеешься?

— Надеюсь, во-первых, несколько иначе подойти к этической теме в поэзии. Надеюсь, во-вторых, рассмотреть лирику фронтового поколения не под тем углом зрения, под каким о ней писали. Надеюсь, в-третьих, ввести эту лирику в контекст поисков нашей сегодняшней поэзии, на тридцать лет отошедшей от войны.

— И ты думаешь найти у воевавших поэтов то, что критики называют этической темой?

— Нет, не думаю. Если под этикой понимать тему, существующую в поэзии «наряду» с другими темами, ну, скажем, это вот про войну, а это про то, как быть хорошим, то такой темы, конечно, не найдешь у военных поэтов. Но, строго говоря, ее вообще не найдешь ни у одного настоящего поэта. Этика не тема, а строй ценностей в поэзии. Для меня этот строй важнее эстетического строя, потому что эстетика в поэзии вбирается в этику как ее выражение.

— А если без ученых терминов?

— Интересна не «гамма стилей» от Луконина до Слуцкого и от Орлова до Самойлова — интересна их версия человека, выраженная в разных эстетических вариантах, но выявляющая нечто более важное, чем эти варианты, — их духовный путь.

— Их путь достаточно описан в критике.

— В критике он описан скорее эмпирически. Здесь то же соотношение: война существует как тема наряду с другими темами их поэзии — или пусть даже как

всепоглощающая, но тема. И война может быть осмыслена как сформировавший их души, абсолютный для них катаклизм. Меня интересует: какими она сформировала их души? То, что они теперь дают нашей поэзии, не только «рассказ о войне», это именно присутствие определенного душевного строя, войной когда-то сформированного, но теперь важного, теперь!

— В теперешнем контексте?

— Конечно!

— Что ты имеешь в виду?

— Ту поэтическую драму, которая разыгралась в последнее десятилетие. Была версия послевоенных мечтателей: поиски человеком места в структуре мира, в структуре целого. От нежного юноши, не поспевшего на фронт, до ультрасовременного мыслителя, распявшего себя на космических противостояниях (ясно, чьих лирических героев я имею в виду?), — это все одна версия: человек мучительно осмысляет свою невключенность в структуру, мучительно переживает необходимость выбора, мучительно оплакивает свою «свободу». Этой версии противостоит в нынешней лирике другая, также представленная в разных эстетических вариантах: человек растворен в лоне, в целом, в Едином. Это может быть трогательное единение с милой околицей, а может быть самозабвенное растворение в бунтующей пугачевской массе (я опять-таки не буду ссылаться на имена — не в них дело) — дело в том, что версия и здесь одна: человек изначально впаян в Целое и вообще не испытывает чувств индивидуума — проблема выбора не встает...

— Единое, Целое... Что-то абстрактно все это. И уж точно: ни один поэт не

мыслит ни себя, ни мир в этих отвлеченных категориях. Даже те, что, как ты говоришь, «растворены в Едином», предпочитают писать конкретно: «О, русская земля!» Да и те, что «мучительно осмыслили свою исключенность в структуру», выражались куда проще: они хотели на фронт, а оставались — но возрасту — «в тылу — стране детей и женщин, в тылу — стране очереди».

— Да, верно. Но так мы никогда не отодремся от фактуры и эмпирики. Ведь с этой точки зрения все поэты будут похожи, все будут дети своего времени, и мы не уловим ни разницы, ни своеобразия. У Евтушенко: «Была война. Была на фронте мама. Мы жили в доме с бабушкой одни». И у Рубцова: «Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая не дает проходу». Но все-таки Евтушенко и Рубцов дают разные версии человека!

— На каком же фланге располагается по этой схеме «версия» поэтов-фронтовиков?

— На третьем. Вернее, в глубине... В иной плоскости. Здесь очень остро ощущается структурность мира, и очень резко выявлен индивид, и очень жестко стоит проблема выбора пути. Но здесь человек осознает себя именно в связи со структурой целого...

— Опять «структура целого». Не мыслили они так! Конкретно-исторически они мыслили! И конкретно-классово. Революция — советская власть — освободительная война — мировой коммунизм — за это, если надо, прими пулю! — вот их язык. Для них не было никакой отвлеченной «структуры» и никакого абстрактного «времени». А было «время большевиков», ясное и точное. Это были боевые ребята!

— Но отличаются же чем-то боевые ребята сорок первого года от боевых ребят шестьдесят первого и семьдесят первого? В самом характере их поэзии? Или дело только в том, какой кому вышал жизненный материал?

— Поэт мыслит и живет только в «материале».

— Хорошо, проследим и в материале их версию человека. В конце концов, это верно, что все наши нынешние критические схемы и формулы — лишь бледный сколок с того, что существует полноценно лишь в плоти книг...

— В луконинской «Необходимости», в «Днях» Самойлова, в «Годовой стрелке» Слуцкого?

— Надо начинать раньше.

— Раньше? С луконинского «Сердцебиенья»? С «Памяти» Слуцкого? С межировской «Дороги»?

— Нет, еще раньше. Еще на десять, на пятнадцать лет раньше. С того поэтического преддверья, когда и в них-то самих все это начиналось. В них, в их соратниках-сверстниках. С того дня надо начинать, когда декабрьским утром тридцать девятого года разнеслось по коридорам Литературного института: «Война с белофиннами!» И впервые «поколение опоздавших», «поколение не поспевших к гражданской войне», «поколение ожидавших своего часа» почувствовало: час бьет.

* * *

Начало поэзии фронтовиков в предвоенные годы — Коган, Кульчицкий, Майоров.

Почему я беру именно этих троих? При жизни они не печатались, их стихи были известны узкому кругу студентов и преподавателей: в Литинституте, в университете, в ИФЛИ. Через много лет их стихи были собраны, извлечены из старых записных книжек, разысканы у знакомых; они были изданы, эти стихи, под обложками алого цвета — именно как стихи безвременно погибших. Поэзия тогда уже далеко ушла от рубежей 1940 года; полные несовершенство стихи Когана, Майорова и Кульчицкого уже не встали звеном в цепочку ее живого развития. Они остались — как документ, как реликвия: овеянные воспоминаниями, бережно сохраненные, оплаканные — прошлые. А между тем их поэзию, еще не ставшую «литературным фактом» в 1940 году и уже не ставшую им в 1946-м, интересно понять именно как звено в цепи. Причем звено первое.

Точнее сказать, это завязь, из которой пошла потом долгая ветвь.

Те, кто потом «высказался до конца» — Луконин, Слуцкий, Наровчатов, Межиров, — развили их темы, довели до завершения их первоначальные попытки; у этих, позднейших, осложнилось индивидуальным опытом то, что тогда, перед войной, было для всех общим. Но что подготовило их всех к этой судьбе? На какую психологическую и нравственную почву пало это испытание? Где тот первоначальный пласт, из которого все здесь берет начало? Где росток?

И вот я беру их за мгновение до испытания. Я беру их в момент, когда они еще

не знают точно, где и как оно начнется, когда они лишь предчувствуют свое назначение и называют себя «поколением сорокового года».

Из разных городов, из разных вузов собираются они (из Харьковского университета — Кульчицкий, из ИФЛИ — Коган и Наровчатов, из Сталинградского педагогического — Луконин и Отрада, из МГУ — Майоров), но в них уже есть ощущение братства, они одно поколение, одна когорта.

Потом жизнь и смерть разведут их — оставшиеся пойдут своими путями в поэзию, разлетится когорта.

Но чтобы понять их роль в поэзии 50—70-х годов, надо понять именно их начало. Понять их в сороковом году.

Итак, 1940-й. Их положение в поэзии? Самые молодые. Но они не чувствуют себя ни начинающими, ни новичками. Они мыслят себя качественно новой поэтической волной.

В «признанной» поэзии 1940 года главные фигуры — Тихонов, Луговской и Асеев. Уже наметилось новое противостояние поэтических принципов: романтическому напряжению Сельвинского создается новый противовес — народная простота и ясность (Сурков, Твардовский...). В этом противостоянии, меж этими полюсами ищет себя следующая волна: Смеляков, Симонов, Алигер нащупывают новую дорогу, где романтическое напряжение соединилось бы с простотой и ясностью, где Асеев «примирился» бы с Твардовским.

Поколение сорокового года, вступив в это магнитное поле поэтических поисков, сразу отказывается от такого примирения. Поколение сорокового года решительно поворачивает к «старикам» — к Сельвинскому, Луговскому, Асееву.

«В те годы, — вспоминает С. Наровчатов, — мы, молодые поэты, настойчиво стучались в двери не журналов и издательств, но своих учителей в поэзии. К ним в первую очередь надо отнести И. Л. Сельвинского, у которого многие, в том числе и я, прошли тогда серьезную школу стиха. Всегда мы ощущали на плече могучую длань незабвенного «дяди Володи» — В. А. Луговского. С требовательным доброжелательством выслушивал наши новые стихи Н. Н. Асеев. Это были основные наши «прописки» в поэтической Москве...»¹.

Интересно: кто начал чуть позже и осознал себя поэтом уже в реальности самой войны, тот называет уже иных учителей — Исаковского, Твардовского... К. Ваншенкин, например. Война всех бросила к земле. Те, что успели почувствовать себя поэтами до войны, проголосовали за высокую условность в поэзии. Поколение сорокового года начинает отнюдь не с простоты: оно круто поворачивает в сторону сверхнапряженного слова. Это поколение мыслит себя не столько в эмпирической реальности (реальность их судьбы — впереди, они предчувствуют это), сколько в системе символических ценностей высокой культуры, созданной невиданной эпохой. Да, они книжники. Они числят своих поэтических предтеч десятками, вбирая в себя все: от Киплинга и Александра Грина до Тредиаковского и «Слова о полку Игореве». Но в той книжной сокровищнице, из которой черпают они вдохновение, три имени овеяны особой любовью: Маяковский, Багрицкий, Хлебников. Это значит: трибунная мощь слова, плюс его языческая сочность, плюс его артистическая утонченность. Мощь страсти в сочетании с вполне технологическим интересом к «хорошей строчке». То самое сочетание напора и изящества, которое годы спустя — целую войну спустя! — дало у их поэтических соратников (и прежде всего у ярчайшего из них — у Семена Гудзенко) уникальное сочетание «барокко и реализма», мощной символики и «грубой» реальности деталей.

Что ж было предметом их раздумий? На чем они первоначально собирали свой дух? Какова их этика?

Самое потрясающее в их довоенном творчестве — они знают свой конец. Все. Коган: «Мы, лобастые мальчики невиданной революции... в двадцать пять — внесенные в смертные реяджи». Кульчицкий: «На двадцать лет я младше века, но он увидит смерть мою». Майоров: «Когда умру, ты отошли письмо моей последней тетке, зипун нестираный, обмотки и горсть той северной земли, в которой я усну навеки...»

Сельвинский поражался тому спокойствию, с которым они говорили о смерти. Как это: «Пулю прими и рухни»? — спорил он. Наше поколение чувствовало иначе: «А пулю съест придется — переварю и пулю!»

Да, это совсем новое поколение. В них уже нет того брызжущего жизнелюбия, которым отмечены «родившиеся вовремя»

¹ Сергей Наровчатов. Стихи. М. 1965, стр. 11.

сверстники Сельвинского и Багрицкого. Те были «счастливые», а эти — нет; эти «опоздали» к гражданской, опоздали к «счастью». Вернее, их счастье окрасилось в иной цвет; они почувствовали, что не к празднику подспеют, а к смертельной схватке, смерть свою близкую они тоже приняли как праздник, как высокий долг, но не брызжущим жизнелюбием обернулся праздник, а строгой собранностью; и зазвучала в их голосах какая-то удивительная и спокойная готовность выполнить свой долг: «мальчишки, рыцари, аскеты», они пошли на встречу своей гибели так легко, словно это и не гибель вовсе.

И вот характерное свойство их мироощущения: они все время думали и писали о смерти, но ощущения смерти, к о н ц а нет в их стихах. Прочтите у молодого Луколина:

Взять чемодан и сказать:
пока!
Я на войну!..
Улыбнуться слегка
И повернуться спиной к слезам,
К зовам маминым.
На вокзал!..—

сравните эту подчеркнутую «обычность» тона с тою тяжелой, почти обессиливающей патетикой, которая окрасит тему смерти или даже едва приблизившейся старости у следующего поколения — у того же Евтушенко в «Поющей дамбе», — и вы почувствуете парадокс мироощущения воевавших: мысль о смерти есть, а с м е р т и — нет, нет ощущения ее трагизма, ее непоправимости, ее внутренней безвыходности. «Ты стоишь на пороге беды, за четыре шага от счастья...» — с этих строк Павел Коган начал свой роман в стихах: гибель на фронте есть счастье.

Разгадка этой поразительной психологической стойкости в том, что они чувствовали за своими плечами солидарную армию: соратников, товарищей, все трудовое человечество. Еще раз: этот мир был мобилизован, и они — на острие...

Каков был нравственный облик их героя?

Я начну от противного: начну с того, как они мыслят себе своего морального антитипа. Им ненавистно все промежуточное, все неустойчивое, все приспосабливающееся. Из Маяковского, Хлебникова, Багрицкого они вынесли святую ненависть к «мещанству», к «дряни», к «лабазникам», но это высокое чувство не успело одеться у них в броню конкретного социально-исторического мышления, и они сохранили в

своей ненависти первоначальный этический импульс: в мещанстве нет и д е и; оно тупо и бессмысленно; оно приковано к вещам, самые вещи ненавистны поэтам сорокового года, потому что это все косная масса, потому что не вобрано в смысл! «В них стержня нет, в них нет болта» — Коган точно и просто выявил природу своей ненависти. Значит, исходный пункт какой? Мир — это идея и смысл! Мир прекрасен как структура, как движение вперед, как полет по прямой. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Все выпадающее (косное, межеумочное) — тормос. Кульчицкий сказал об этом сложнее и ярче: «И встанут над обломками Европы прямые, как доклад, конструкции, прозрачные как строфы из неба, стали, мысли и стекла». Майоров переживал точно то же чувство, но он мыслил лаконичнее: «Только ветер да дождь, идущий по прямой...»

Их пароль — прямая, их мир — целесообразно устремленная вперед система, где нет, не может быть лишнего, ничемных, не работающих, необязательных элементов. Теперь сказали бы, что они мысляли жизнь структурно-функционально; они так не формулировали, но мысляли очень последовательно: нет жизни «самой по себе»; жизнь есть функционирование, работа, путь к цели; да, да, жизнь не самоцель, она нужна лишь для великой цели, и мир работает для этой цели. В конечном счете ощущение мира как работающего завода с системой «приводных ремней» восходило к Маяковскому; у поэтов сорокового года это ощущение было осложнено любовью к сочности красок Багрицкого, но у них самих не было такой сочности — скорее тоска по ней; они оставались, по их собственным словам, аскетами долга, и это ощущение всецелой включенности их судьбы в систему целостного и работающего мира составляло фундаментальную основу их нравственного облика.

Отсюда сквозной для них мотив памяти, памятника, причем памятника не помпезного, а «работающего»: грузовик, тяжелая книга, пропеллер...

У Когана:

...А вы поставьте зло и косо
Вперед стремящиеся упрямо,
Чуть рахитичные колеса
Грузовика системы «АМО»...

У Кульчицкого:

...Но если потная рука
В твой взгляд слепнёт «бульдога»
никелем—
С высокой полки на врага
Я упаду тяжелой книгой...

У Майорова — знаменитые стихи:

...Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
как ощущение вечной высоты
пропеллер неисправный положили...

Говоря о безостаточно отмобилизованном мире, каковой ощущало в себе и вокруг себя поколение сорокового года, надо очень точно представить себе характер этого мира: он отнюдь не гармоничен. Теперь слова «героика» и «гармония» часто ставят рядом, желая похвалить того или иного автора. Но если вернуть этим понятиям старый и точный смысл, согласно которому они располагаются все-таки на противоположных полюсах этического целого, и героика связана с тем, что личность как бы восполняет ею недостаток гармонии в себе и в мире, — то умонастроение поэтов предвоенной поры ясно и резко сдвинется к первому полюсу. Они не видели и не искали в мире завершенной и безмятежной гармонии. (И теперь, когда «гармония» сделалась чуть ли не хорошим тоном в лирике, — и теперь поэты фронтового опыта, заметьте, вовсе не гармоничны и ищут в мире, но об этом ниже.) Тогда же, в сороковом, и вовсе не пахло в мире гармонией: он был полон борьбы и драматизма; в грядущей схватке каждый знал свое место, но эта вкованность в строй не была «гармонией»; само слово такое им в голову не приходило. Они мыслили свою роль иначе: преданность, отданность, даже заданность цели; иди, если говорить их языком, точность: «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков». Пароль этого мира — борьба, преодоление, атака. Их мир был вовсе не «дисгармоничен» — он был внегармоничен, он просто был замешан на иных дрожжах. На героике.

И мир этот был огромен. Не «часть» мира, не близкий тебе фрагмент его, не «малая родина», а именно весь мир, единый мир, схваченный как целое, как моноструктура.

Лобастые мальчики невиданной революции, дети первых советских лет, пионеры

30-х годов, они с молоком матери впитали идею всемирного коммунистического братства; эта идея сливалась у них воедино с конкретным чувством родины не потому, что родина — твоя, а потому, что она — авангард человечества.

Ощущение мироздания как целого поставило в центр их поэзии образ земного шара — одну из глубочайших ассоциативных опор их мышления. Войну спустя, когда свинцом наполнился их первоначальный опыт, Сергей Орлов выдохнул строчку: «Его зарыли в шар земной». Этот образный ход, всех тогда поразивший, имел глубокие основания, он восходил к тому изначальному чувству, с каким Кульчицкий писал о себе «шарземец», и Коган называл Россию «земшарной Республикой Советов», и Майоров верил: «Нас не забудут потому вовек, что, всей планете делая погоду, мы в плоть одели слово «человек»...» Не этот ли лейтмотив «земшара» откликнулся потом и у Луконина в стихах об окруженце, который выходил к своим по школьной карте полшарий: «И в памяти моей так и живет он: даль оглядывая, несет из окруженья шар земной.» Воистину им легче было представить себе шар земной, чем две последние версты: их мышление было основано на ощущении не частностей, но целого, единого, целесообразного.

Они все были поэты государственного мышления. Таков Коган — самый последовательный из них, поэт напряженного политического пафоса, оперирующий вереницей исторических имен едва ли не всех времен и народов. Таков Кульчицкий — самый вольный из них, озорной и неожиданный в слове, он одержим идеей продолжения России как страны всемирного поиска. Таков и Майоров — самый глубокий из них, поэт дальних исторических предчувствий, сопрягавший древнее и грядущее, прикованный к загадке смысла всемирной истории. Поэты государственного склада, они в полной мере обладали тем, что называется ясно осознанным патриотизмом, и ни позднейшей политической лирики Слуцкого, ни нарвчатговской любви к Древней Руси, ни державинских интонаций теперешнего Самойлова не понять вне этой изначальной основы.

Наконец, человек. Как мыслят они человека в этом едином работающем мире? Как мыслят они его в потоке Истории?

Мир всецело создается человеком, его волей, его активностью. Более того: чело-

век сам себя создает. Ощущение человека как центра мира вообще свойственно советской поэзии, но разные поэтические поколения по-разному интерпретируют этот мотив. У поколения сорокового года активная личность не знает опор вне себя, она всецело расплачивается собой, она весь мир чувствует точкой приложения своей воли. Это ощущение серьезной и монолитной природы, отвечающей за свою судьбу, хорошо передано Коганом:

Когда, сопя и чертыхаясь,
бог тварей в мир пустил бездонный,
он сам создал себя из хаоса,
минуя божие ладони.

«Сам создал себя...» Сравните этот мотив с тем, как двадцать лет спустя встревожено спросит себя лирический герой послевоенной волны: «Наделили меня богатством. Не сказали, что делать с ним» — и вы почувствуете суть: герой поэзии сорокового года ничего не получив извне, из чужих рук, у него нет этого просвета между «я» и «не я», для него весь мир — это «я» и «я» — это весь мир.

Вот почему мотив грядущей гибели не носит у них ни малейшего оттенка самопожертвования. Они готовы погибнуть ради победы, но это не кажется жертвой, они мыслят не в той этической системе... «Принявши целый мир в родню», они не знают по отдельности своей судьбы и судьбы мира, поэтому они могут так легко проповедовать, например, «крушение личности»: личность как нечто этически отдельное от общности была для них просто недоразумение, и они не знают такого состояния.

Отсюда всеразрешающий мотив их лирики — чувство долга. Но опять-таки не в том варианте, каким это чувство пришло к поэтам следующих поколений; у лириков сорокового года долг — не веленье, не волевое решение, не категорический императив, предполагающий бытие, изначально предшествующее долгу и ему подчиняющееся. Долг — это нечто настолько естественное для них, что они и слово-то «долг» почти не употребляют, для них полная включенность в структуру мира, в дело мира — состояние до такой степени само собой разумеющееся, что вопрос тут стоит не о факте долга, а лишь о предельности самоотдачи, или, используя известную поэтическую метафору, о степени пригнанности приводного ремня в великой работающей машине истории: «Она заставит выжать все уменье, какое ты обязан был

иметь» — вот как для них ощущалось чувство долга.

Солдаты истории, они не хотели знать альтернатив. Их не мучила «проблема выбора пути». Для них не стоял вопрос: идти или не идти? В их душах словно и не было органа для такого вопроса и для таких чувств. Выбор был сделан где-то в изначальной стадии, и как будто не ими, а их судьбой. Им оставалось быть верными своей цели.

«Сегодня мы обращаемся к ним с вопросом: «Как жить?» Мы хотим услышать ответ от них, видевших это... Потому что они знали, что делали. И им не из чего было выбирать. Когда началось это, они пошли навстречу ему и сделали все, что смогли. Там, на войне»².

В этом рассуждении, написанном о них много лет спустя литературным критиком невоевавшего поколения, — точное чувство их состояния и того, каким их состояние стало видеться людям следующих десятилетий.

Наконец последнее. Стиль поэзии фронтового поколения был доведен впоследствии до совершенства блестящими мастерами, по именам которых он и вошел в критические исследования: луконинский ритм, межировская музыка, прозаизмы Слуцкого... Но принцип был найден сразу: уже в ранних, неотшлифованных, иной раз неумелых стихах дебютантов сорокового года был уловлен, пойман, воплощен тот конфликт «реалий и символов», который составил основу целой поэтической школы.

Их стих насыщен реалиями. Еще не потянуло порохом, еще не грянул первый разрыв, еще не засвистели пули, под которыми прижмется к брустверу поэзия Луконина, еще звонким парадом по брусчатке проходит поэзия завтрашних солдат, а уже предчувствует она вторжение прозы в свои строчки.

Прозаизм в поэзии — вещь относительная. Сегодня это прозаизм, а завтра поэзия настолько осваивает его, что этот самый прозаизм воспринимается как высокая поэзия. Но я попробую все же продемонстрировать здесь один излюбленный мотив поэтов сорокового года.

Их герой курит. Папиросный дым, горький, мужской, — вот один из сквозных элементов их поэтики. Знаменитой коганов-

² Игорь Золотусский. Там, на войне. «Юность», 1965, № 5, стр. 81.

ской строчке о лобастых мальчишках невиданной революции предшествует строка о любви, которую они затаптывают, «как окурки». После Маяковского такой элемент, может быть, и не кажется вызывающим, и все же в русской поэтической традиции существует некий инерционный след, оставленный этой деталью. Строчка Некрасова «И горек дым сигары» в некрасовские времена, да и теперь воспринимается как принципиальный антипоэтизм³. Возможно, что у Когана («О, молодость! Вино, да ужин, да папиросы, да Она...») такая деталь есть вовсе не деталь комфорта, а поэтический символ, но что бесспорно — это символ поэтики сугубо «мужской», мужественной, реальной. Крылатая, вошедшая в легенды строка Майорова «о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», предстает сейчас как чистая поэзия, но нельзя отрицать того вызова «чистой поэзии», который содержался в этой строке в сороковом году: это был вызов соловьям и розам — еще не ступив на свой путь, поколение войны искало поэтический стиль, развернутый в сторону грубой реальности.

И при этом их стиль оставался предельно насыщен символикой. Детали быта не размывали высокой условности их стиха, не уводили его к «народному говору» — туда, куда шел Твардовский. Наоборот, чем реальнее, грубее делались детали, тем мощнее становилась скрытая в них символика; война прижала эти стихи к земле, при этом предельно концентрируя в них жажду неба, жажду смысла.

Соединение высокой символики и грубой прозы было заложено в их поэзии с самого начала, хотя понадобилось вторжение войны в их опыт, чтобы это соединение оказалось фактом, обновляющим всю нашу поэзию. Ни Когану, ни Кульничкову, ни Майорову не было суждено дожить до этого момента. Но то, что сделал в нашей лирике Семен Гудзенко, есть не что иное, как реализация возможностей их стиля: деталь вырастает в стихах не как признак

³ «...«Сигара»... уже решительно не может быть введена в цепь поэтизмов и как предмет, вещь, и как деталь внепоэтического мира, — пишет современный исследователь. — И бедность и богатство могли быть предметом поэтизации — комфорт решительно располагался вне сферы искусства» (см. в кн.: Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Структура стиха, Л. 1972, стр. 209).

реальности, но как символ смысла, хотя по плоти своей это деталь невиданной реальной прямоты. Строка Гудзенко «И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую» потрясла когда-то Илью Эренбурга. Я хочу привести здесь отрывок из выступления Эренбурга на творческом вечере С. Гудзенко 21 апреля 1943 года не только потому, что здесь дана точная характеристика поэзии самого Гудзенко, но потому, что эта характеристика вскрывает одну из коренных особенностей стиля всей поэзии фронтовиков.

«Что поражает в стихах Гудзенко? Плотность и конкретность. Здесь нет никакой истерики, никакой духовности, которая почти бесплотна, как пар, которая абстрагируется. Здесь нет также высокого увлечения ритмом. Эта поэзия всецело на земле. Все ее находки сводятся к опознанию мира гораздо более, чем к изучению каких-то подводных и воздушных течений. Эта поэзия может некоторым показаться мало дерзкой. У нас есть теперь эпигоны дерзости, которые запомнили, как кто-то дерзал 25 лет тому назад, и считают, что тот, кто не повторяет этого, является по существу малодержающим... Было бы нелепостью подходить к этой поэзии с поисками той импрессионистической ритмики, которая была свойственна эпохе 25 лет тому назад... В ней есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом... Это вы услышите в стихах Гудзенко»⁴.

В широком смысле эта характеристика выявляет главный стилевой принцип целого поколения: грубая реальность деталей плюс «бароккальная» символичность их — это и у Слуцкого, и у Луконина, и у Межирова, и у Самойлова. Это и у тех, кто не дождался...

Менее всего этот стилевой принцип означал для них формальную находку (это потом, десять, пятнадцать лет спустя, послевоенные поэты нашли и как находку вынесли в свои стихи их ритмику). Для поэтов же сорокового года такой символический натурализм был естествен как дыхание. Структура стиха, ритм, стиль — это ведь только в чистой теории «форма», в реальной поэзии сквозь них проглядывает судьба.

⁴ «Литературное наследство», т. 78, книга первая. М. 1966, стр. 96.

Предсмертные стихи Майорова были уже напоены той мощью, которая несколько лет спустя обновила, потрясла нашу поэзию.

...Лежат убитые наши разведчики.

Поэт видит в этой картине почти бытовую деталь: они раздеты. И вдруг именно из этой детали вырастает высокая и неповторимая символика подвига:

Возьми шинель — покроешь плечи,
Когда мороз немогого,
А тем — прости: им было нечем
Прикрыть бессмертья наготу...

...Майоров не дождал. Но в свой час его поэзия встала в цепь как звено, без которого прервалась бы эта цепь. Поколение сорокового года нашло свой стиль, свой пафос и свою дорогу, и те, что пошли дальше, понесли свои ценности сквозь молодое возбуждение 50-х годов, сквозь поэтические сенсации 60-х сюда, к нам.

* * *

— И здесь, у нас, эти тяжелые ценности противостоят легкой и подвижной поэзии послевоенных мечтателей? Но когда теперь вчитываешься в поэтов сорокового года, приходишь к мысли, что ситуация развивалась не так просто, как выходит по этой «противительной» схеме. Конечно, противостояние тяжелого и легкого в лирике последних десятилетий — факт, но ведь конкретные пути поэзии очень парадоксальны. Во всяком случае в стилистике сорокового года предсказана отнюдь не только будничная весомость поздних стихов Слуцкого, но и праздничная легкость стиля его оппонентов...

— Ты, наверно, о новых рифмах? Поэт Юрий Панкратов, который в пятьдесят девятом году оспаривал у поэта Евгения Евтушенко честь открытия этих рифм-созвучий, был, наверно, весьма озадачен, прочтя впоследствии у Когана «Грецию», рифмованную с «грацией».

— Коган не характерен, хотя у него все это есть. Коган — поэт-идеолог, поэт-мыслитель. Главный формотворец у них — Кульчицкий. Вот уж у него-то все можно найти! И если Евтушенко заморозил читателей своего поколения рифмой: «лейтенант — ледеят», то именно у Кульчицкого все это было, да еще с вызовом:

Я раньше думал: «лейтенант»
звучит: «налейте нам».
И, зная топографию,
он топает по гравию...

Вообще Кульчицкий сделал бы, наверно, все то, чем впоследствии прославились и Вознесенский и его антиподы из лагеря деревенских «формотворцев». У него все можно найти: и фантастическую ассоциативность и глубокую звукопись; строчка «скользит по пахоте пехота» до сих пор вызывает зависть нынешних музыкантов языка...

— Так что же? Это говорит только о том, что обогащение поэтической стилистики, произведенное послевоенными поэтами, было объективной необходимостью: если бы этого не сделали они, это сделали бы другие.

— А мотив «нежности», хранимой под «жестокостью»? Эренбург говорил о Когане: он был жесток и был нежен...

— Еще одна чисто внешняя аналогия! То, что для Евтушенко стало «программным состоянием», то, что для Фирсова составило коллизию судьбы, вовсе не было таковым ни для Когана, ни для Майорова. Конечно, молодые поэты пятидесятых годов учились «у всех»: но корневую рифму они взяли скорее у Цветаевой, чем у Кульчицкого, и мотив «нежной злобы» — скорее у Павла Васильева, чем у Павла Когана. Я повторяю: здесь нет прямой эстафеты.

— Прямой нет. Но опосредованная есть. Поколение сорокового года передало свое мироощущение молодым поэтам послевоенного поколения многими каналами. Через ораторскую интонационную прямоу Слуцкого. Через винокуровскую приземленность детали. Через нарочатовский напор страсти. Разве не предсказана у Нарочатова «русская тема» не только молодых лириков пятидесятых годов, но и шестидесятых?

— Нет, не предсказана.

— Ну как же! «Россия-мать! Свете мой безмерный, которой мезтью мстить мне за тебя?!» Это написано в сорок втором году, за двадцать лет до «Муромских срубов» Вознесенского, за двадцать пять до того, как мы прочли Рубцова. У Нарочатова все это было.

— Не это. Не «это» было у Нарочатова! Хотя, конечно, мотив сходный: Россия, Русь. Но сходство мотивов по отдельности не определяет родства в поэзии — родство должно быть лишь по целостной характеристике. Нарочатов, между прочим, рифмовал «путь» и «пуль». Но ты же не скажешь, что он предтеча ломкого и нервного героя Евтушенко?

— Корневая рифма у Наровчатова — элемент почти случайный. А вот стилевая «славянщина» — элемент решающий, программный. Не этот ли посев взошел столь обильно?

— Думаю, что не этот. И знаешь почему? Нигде у Наровчатова «древность» не предстает как древность, как прошлое, прошедшее, бывшее. У него «древность возникает в новизне» — «новизна раскрывается в присловьях старины»: по самой природе лирического переживания Наровчатов — поэт динамики, поэт нового, завтрашнего, и его славянизмы — не более чем филологическое оружие; он такой же мнимый архаист, как Хлебников или Асеев. Вчитайся в наровчатовское:

И сольется с новью преданье,
Раз в единый и кровный ряд
Встали Люблин рядом с Любанью,
Рядом с Белгородом Белград! —

в этих строчках скорее словесное озорство начала века, чем нынешнее стремление хранить слова, возвращать им коренную прочность...

— А послевоенные мечтатели? Разве не они подхватили это озорство? «Осенбри» Вознесенского не откуда?

— Нет. Их озорство ломкое, что ли, мальчишеское. Лукавое какое-то. С игрой и немного «понарошку». В них такого напора нет. Ты вспомни стихи Наровчатова: это ж какое-то неостановимое бешенство страсти, тут «заломлено набекрень» не из игры и не из дерзости, а из ощущения всеоключающей внутренней разогнанности жизни:

Хорошо я свой мир устроил!
По-над миром монм
Вперехлест
Чертогон незапамятных троек
С четким риском стандартных колес...

Тут старорусские тройки втянуты в такую скорость! И знаешь, что в этих стихах главное? Опять-таки полная включенность в структуру, в ритм времени. И свинцовая тяжесть... Разве послевоенные мечтатели вынесли бы такой образ: «И девушки библейскими гвоздями распяты на райкомовских дверях»? Вот оно — соединение символики с реализмом... И ощущение истории как глобального, всеосмысленного процесса. Оно было намечено, прочерчено, предчувствовано у поэтов сорокового года. Оно тяжестью опыта налилось у Гудзенко, у Наровчатова — завершилось...

— Не потому ли и не был напрямую подхвачен молодыми этот гудзенко-наровча-

товский вариант стиха, что он оказался предельно завершенным?

— Именно поэтому. Это как бы сердцевина того ствола, какой идет из сорокового года. Здесь стих монолитен, в нем нет трещинки, нет «кача», нет свободного просвета — так он сомкнут с судьбой их создателей. Молодые подхватили не этот стилистический вариант. Мостик от поколения сорокового года к поколению шестидесятых пролег не там, где можно было бы ожидать прямой содержательной преемственности. А там, где музыка стиха была менее жесткой, менее строгой — там, где ощущалось больше стиховой свободы и ритмическую структуру легче было оторвать от пережитой там судьбы, вывернуть на свое.

— А проще сказать?

— Проще: не у Гудзенко, не у Наровчатова и не у главных «формотворцев» сорокового года взяли молодые поэты следующего десятилетия ритм...

— Разве ритм — это так существенно?

— Ну, пусть будет «гул», по Маяковскому! Дыхание стиха очень существенно. Это же запись психологической основы личности, такие же ворота к пониманию ее судьбы — социальной, исторической...

— Так какой же вариант ритма, открытый фронтовиками, подхватили послевоенные поэты?

— А вот слушай. Помнишь сенсационные стихи Евтушенко:

Двадцать?
Так быстро?
Неправда.
Нет.

Не может быть.
Ведь вчера еще только...
Неужели мне двадцать лет?
Неужели мне столько?

Ну? Кто открыл в поэзии этот захлебывающийся говор?

«Я просыпаюсь — четыре стены» —
вот начало.
Четыре стены! — вот начало тревоги!
Четыре стены! —
Как это все-таки мало
Юности,
для которой
мир по экватору —
это немного!

— Луконин!

— Точно. Вот через Луконина-то и идет мостик к послевоенной лирике. Пути поэзии парадоксальны: все-таки по ощущени-

ям сорокового года ведь не луконинская линия казалась главной. Прямая шла через Багрицкого к Кульчицкому. Луконин стоял чуть особняком, он был где-то рядом с Николаем Отрадой: чуть проще, чуть народнее, чуть дальше от «чистой формы», чуть ближе к «простому говору». Но именно на него пала эстафета, и именно луконинский вариант стиха был подхвачен молодыми.

— Подхвачен и переиначен?

— Да! Что они сделали с этим стихом — особая тема, и очень интересная. Сначала уясним себе, что они получили. Что Луконин дал им. Что дал он развитию нынешней лирики вообще. Ведь перед нами замечательная поэтическая судьба.

* * *

Он попал на фронт раньше других — на финский фронт. Вернувшись, он мог говорить сверстникам, что старше их на одну войну. Это соотношение сохранилось и потом, когда все они прошли через Отечественную: судьба общая, но Луконин шел первым. И в поэзию он вошел первым — здесь не было той томительной задержки, какую узнали Слуцкий и Самойлов: первые стихи Луконина появились в печати до войны, первые книжки его вышли сразу после войны. Наконец, я думаю, что именно Луконин первым нашел стиль: тот тяжелый стиль отвоевавшего поколения, который вырос на фундаменте мальчишеского идеализма; впоследствии все крупные поэты фронтового опыта дали варианты этого стиля, но первый вариант был все-таки луконинский — этот вот хрипловатый говор, этот неровный ритм, этот сменивший космическую дерзость земной опыт: «Налезли муравьи в мой маленький окопчик, а я траву высокую поставил над головой, чтобы меня среди травы не разглядел летчик...»

От этих военных стихов до последних книг, до «Необходимости» и «Лирики» поэтическая эволюция Луконина подробно разобрана в критике: он и здесь был первым, о нем ранее других писали статьи, потом книги. Не буду подробно вдаваться в оценки, хотя думаю, что лирика перевесит у Луконина его поэмы; это бывает: Тютчев писал много программных стихов, а в мировую поэзию вошел денисьевским циклом; может быть, и из Луконина сто лет спустя станут перечитывать: «Цветы поливать перестала...» — но нас ведь интересует другое: не все многообразие луконинского

творчества, а лишь развитие в его стихах моральной темы, эволюция духовного состояния, то, что называется личностной моделью.

Вошел он в войну мальчиком из «поколения сорокового года». На войне из отрока стал мужем, но верен остался своим первым клятвам.

В 1946 году — это счастливый победитель, капитан, дарящий своей любимой обручальный дар — Садовое кольцо; мир ему смеется, и он миру; сосны брянские кричат ему: «Живешь?» — и он отвечает им радостно: «Живу!» В этом единстве с миром он хранит свою юношескую неприязнь ко всяческой серединности, к межумкам, к «овалам», но нет у него конфликта с миром, словно мир, завоеванный им, весь состоит из однополчан.

И вот — духовный слом 60-х годов: в переменившемся мире появляется противник. Нравственный антипод. Не «враг» простой и понятный, как гитлеровец сорок третьего года, а именно нравственный противовес твоему опыту: в близком человеке, в любимой женщине, чуть ли не в тебе самом. И это присутствие духовного антипода в лирическом мире Луконина вывело его поэзию к предельному напряжению страстей: тяжелому противопоставилось легкое.

Не надо думать, что перед нами линейное противостояние «хорошего» героя «плохому». Тут очень сложная гамма чувств: от ярости и презрения до мучительной попытки понять, чуть не до подавленной полузависти. «Кошачья игра двоедушия, хитрости, лживости» вызывает яростный гнев. Но во фразе: «Играй. Осваивай другое дело. Вживайся в образ, становись совсем иному» — ощущается сдержанное неприятие, допускающее, что в другой системе оценок и гра может оказаться праздником фантазий. К этой игре, к живой прихотливости чувств, к свободному их обновлению луконинский герой относится с тяжкой горечью: словно не может освободиться от гипноза, словно прикован к этой лукавой, подвижной, праздничной, легкой, изменчивой антидуше, и ненавидит эту свою прикованность. «Ты — пересвет такой, что путаю слова. Ты — пестрота цветов и звуков перемена... Их дымные извивы нельзя предугадать, как молодость твою. А тем и хороша. И потому загадка...» Вот точная интонация: заморожен, а

все ж знает — не мое! Ненавидит — и прикован.

Вот облик «антигероя» в луконинской лирике: ложь — двоедушье — игра — свободная переменчивость — порыв — нежная слабость, прикрытая апломбом, — любопытство к новому — падкость на эффекты. Легко все принимает этот антигерой, легко все забывает, живет он весело, ходит шибко; он и в притворстве артист, наивное дитя, праздничное, пустое, порожнее.

Теперь постройте «от противного» систему этических самооценок — и вы получите тот нравственный кодекс, который вынашивает поэзия Луконина: прямота и серьезность — последовательность — грузная устойчивость — монолитная верность однажды избранному. Поэзия Луконина не просто тяжесть, это реакция тяжести на легкость. Он не приемлет ни вкрадчивой, гибкой нежности, ни юного удивления миру, ни тяги к переменам. Лирический герой Луконина не знает этой тяги. Он испытывает к новому не столько удивление, сколько горькое чувство: все было, все пережито... столько пережито, что хватило бы на двоих.

Я возьму несколько лейтмотивов, чтобы выявить систему этих моральных ценностей по контрасту с той, которую дали поэты следующей волны.

Лейтмотив — перевал. Это у всех поэтов-фронтовиков. У Самойлова⁵, у Левитанского⁶, у Луконина. Преодоление, упорное движение к какой-то предельной точке, за которой — «откроется». У поэтов послевоенного поколения нет этого мотива, у них простор, выход, разбег, старт, воля... Здесь — перевал: путь к единственной точке, к решению: «На перевале, на гребне лет, не пряча взгляда, — да или нет? Да или нет? — ответить надо...»

Сравните это альтернативное «да или нет» с поэзией того же Евтушенко, vibrating между городом «нет» и городом «да», — и вы почувствуете контраст ценностей.

Еще лейтмотив: слияние, сцепление, соединение частей мира (у «послевоенных» — уход, расщепление, высвобождение). На барже надпись: «Не чалиться!» Как это не чалиться? — возмущен Луконин. Да весь мир взаимопричален! Ужас — это когда один из двоих отрывается от спасательного круга. Ужас одиночества, непоправимость

одиночества, пустота одиночества... Крушение любви — это разрыв нитей, это начало неприкаянности, ничемности: «Не любишь ты, и я — никто, ничей, как беглая волна...»

Сравните это полное боли «ничей» с ликующим криком Вознесенского: «Нас несет Енисей. Как плоты над огромной и черной водой, я — ничей! Я — не твой, я — не твой, я — не твой!» — и вы почувствуете, какой праздничной свободой обернется для него луконинская «пустота»...

Р. Рождественский думал: вышли в мир романтики. Для них «мир» — некое пространство, некое незаполненное поле, куда можно войти. У Луконина нет вообще такого ощущения мира, у него мир не протяженность пространства, а тесный строй вещей, предметов, душ. Возьмите любой пейзаж Луконина — и вы увидите эту плотность реалий, этот рабочий ритм жизни, эту наполненность: «Земля просыпается, празднично дышит. Все готово к цветению — от дерева до дровка. Расселись над городом, навалились на крыши белокаменные облака, и, крыльями оттолкнувшись слегка, птицы поднимаются выше. Прогудев по мостам ажурным, в город врываются поезда...» Мир заполнен вещами, делами, пустоты просто нет, а если она есть, тогда — катастрофа...

Еще одна сквозная нравственная антитеза Луконина: он не любит ничего случайного, неожиданного, прихотливого, он упорен памятью, он не умеет забывать, его книга неспроста называется «Необходимость». «Необходимость поэзии — спасение мое». Случайность — химера, обман, «случайностями все опьянены», это все «фантазии», и если нравственный антипод Луконина легко сходится и расходится, то герой его буквально рвет от сердца, он очень трудно прощается, он всю жизнь прощается, он не прощает прощанья: «Прощение тебе не обещаю, но вечное прощание дарю». Откуда эта прочность зарубок? Откуда это желание врубить навсегда, эта тоска оттого, что все проходит, и «узкие следы твои на берегах смывают заплески»? Не от ощущения ли прочнейшей внутренней структуры мира — того самого работающего, целесообразного мира, в котором когда-то нашло себя поколение сорокового года? Весь драматизм луконинской лирики — от желания отстоять это структурное целое, этот строй мира. Вот поразительные строки о любовном разрыве, строки, быть может, лучшие

⁵ «Второй перевал» — книга Д. Самойлова.

⁶ «Но, на некий взойдя перевал...»

у позднего Луконина, «непонятно чем» действующие:

...И так поломала немало
В разгуле своей пустоты.
Цветы поливать перестала.
За что ты казнила цветы?..

В чем секрет? Миропорядок нарушен, жизненный ритм сломан. Не любовь кончена — структура мира сломана, оскорблена, искажена... до цветов неполитых.

Луконинский герой никогда не мог бы сказать возлюбленной, подобно герою Рождественского: «...я прошу, робея,—помоги мне в себя поверить, стань слабее».

Это потом женственное вошло в душу молодого героя, и он словно поменялся ролями со своей Прекрасной Дамой, отдав ей инициативу и ответственность. Луконинский герой мог бы смело повторить известную фразу Маркса: в мужчине — сила, в женщине — слабость; этот герой — воплощение мужественности, и да позволит мне странная цепочка аналогий — мужественность эта связана с его приверженностью к закону и форме, строю и долгу — она связана со всем складом его духа, с его последовательностью, жестокостью и крепостью: воистину душевная организация этого героя похожа на крепость, но не на площадь: здесь нет ни крика, ни раскрытости «для всех», ни той податливой и мягкой лукавости, которая отличает человека, живущего посреди площади — на виду.

Луконинская душевная структура предполагает дом, прочную связь, возврат.

Прямая линия его жизни (Сталинградский тракторный завод — московский Литературный институт — война — литература) со стороны может показаться безоблачно типичной, но это не так: в судьбе Луконина есть глубокий драматизм. Есть драма ухода из родных мест, есть глубоко спрятанная тоска по ним, есть жгучее, почти до ощущения стыда, стремление вернуться, загладить вину. Завод мой, зачем я ушел когда-то? — это еще один сквозной мотив его лирики. «Все к одному придут из поиска!» Нет, он не кочевник, кочевье душу ему выматывает, и, как блудный сын, он все тянется к родному берегу: «Волга, приду и щекой небритой прижмусь к твоему рукаву. Волга, слышишь, в глаза взгляни ты, скажи мне: так ли живу?»

Луконин и здесь попадает в горячую

точку современной лирики: поэзия возврата — это же целое направление 60-х годов, это Фирсов и Лысцов, Рубцов и Поликарпов, Передреев и Жигулин... И вот что интересно: возврат шестидесятников к околице был воспринят в поэзии именно как отказ от общего в пользу частного, как отход к конкретному, как отрицание «безличной» городской толпы.

«Волжская ностальгия» Луконина не знает такой антитезы, у него любовь к «кусточку земли» соединена с любовью к «планете», и нет разрыва.

Почему?

Вот тут-то мы и подходим к главному.

Его поэзия изначально ориентирована на целое; она выстроена на фундаменте неотменимой социальности. Он никогда и не знал ничего другого. Вдумайтесь в его поволжское детство: это не «окраина», но самая гуща событий, это толчея заводской улицы, азарт футбольных сражений, теснота общежитий — тесный мир формировал человека социального, в сознании которого пятючок его родной земли был сразу и навсегда вписан в структуру целого. Только в этой системе нравственных координат возможно было такое обращение частицы к целому: «Я жил у Москва-реки, я не думал, страна, что поэзия и война так предельно близки». Страна — не громада «над» тобой и не простор «вокруг» тебя, страна — это ты, это твоя «ровня».

Прорисовываемый социальный контекст луконинской лирической судьбы, не минует темы России. И вот опять контраст: нет у Луконина того ощущения простора, пространства, гулкой протраженности, которое вошло в стихи послевоенных лириков. Позднее Кушнер станет искать себя в этих снежных горизонтах, и Цыбин ахнет: «Влево, вправо — нет концов» — и Евтушенко будет перекиривать эту гладь и встревоженно сообщать нам: «Не докричишься».

Луконину все это чуждо. Для Луконина Россия не пространство, а теснейшая наполненность. «Хорошо, что мы оба родились в России. Ведь мы же могли не увидеть друг друга?!» Достаточно родиться в России — и искать смешно: все равно встретиться — все близко, все твое...

Это вот ощущение принадлежности (не «причастности», а именно принадлежности) к целому и обуславливает кардинальное чувство луконинской лирики: «Я — шпала на пути твоём». Это не жертвенность, не выбор судьбы, не «акция». Это естествен-

ное состояние человека, не знающего той пустоты и той отрицательной свободы, при которой надо делать выбор. Это и есть счастье цельности.

Вот теперь, когда мы держим в памяти систему этических мотивов луконинской лирики, я и процитирую ту эмблему-строфу, которую все знают наизусть. Нужно услышать в этой строфе не только сюжетный эпизод — возвращение с войны, но весь глубинный мировоззренческий резонанс эпизода: и отрицание всяческой пустоты, и незнание драмы выбора, и понимание мира как целого, втянувшего человека безостаточно в огневую орбиту:

В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой,—
Но лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

В сорок четвертом эти строки были — исповедь поколения. В семьдесят третьем они — позиция в новом этическом поиске нашей поэзии. Позиция не менее существенная, чем тот ритмический строй, который Луконин открыл для своих преемников.

* * *

— Слушай, а не слишком ли ты загнипнотизирован той прямой связью, какую намечает между Лукониным и молодыми поэтами шестидесятых годов? По ритмике они действительно его прямые преемники. Но согласишься, этому открытию была уготоваана странная судьба: подхваченное поэтами совершенно иного опыта, оно начисто переменяло свой смысл — свободно-разговорный луконинский стих сделался празднично-легким, возбужденным, бегуче-подвижным, его внутренняя несвязанность ритмом обернулась демонстративной, блестящей, нежной, податливой, подкупающей, откровенной и милой доверительностью. В этой новой душевной атмосфере луконинский стих был преобразен, расщеплен, распродан: он стал неслышанно популярен, но у совершенно иных поэтов и, главное, в совершенно иной нравственной интерпретации: то, что у Луконина было рождено ощущением «долга», у его последователей было порождено ощущением «свободы». Если хочешь, это ритмическое преемство настолько парадоксально, что я начинаю думать, что и у Луконина в условиях его «прочной души» этот «непрочный ритм» оказался случайностью...

— Ни в коем случае! Вот уж где никако-

го парадокса и все предельно ясно. Ты обратил внимание на то, как часто Луконин признается: не знаю слов, не могу соединить, не знаю, как написать?.. Подумай, что звучит в этих признаниях? Думаешь, неуверенность? Никогда! Уверенность звучит в этих «не знаю» и «не умею»! Луконин настолько уверенно чувствует прочность мироздания, что ему не важно, как об этом скажется — как сказал, так и ладно, все равно прав. Вольный ритм его поэзии, эта сознательная небрежность — знак заведомой тяжести фундамента. Знамя положится как хочет, если древко стоит твердо.

— Ну, хорошо. Давай все-таки отрешимся от этого сцепления литературных школ через преемство ритма. Допустим, что именно Луконин более всего и ранее всего повлиял на поиски следующего поэтического поколения в смысле формы. Но морально-этический план, избранный нами для разговора, шире этих ритмов-тактов.

— И что же?

— Не поискать ли нам среди лириков фронтового поколения такую поэтическую судьбу, где решали бы чисто ценностные ориентации, а прямое стиливое сцепление с преемниками не осложняло бы картины?

— Ты думаешь, что в поэзии ценности могут существовать «вне стиля»?

— Не могут! Но стиль может не быть программным пунктом. В поколении сорокового года, кстати, далеко не все поэты были так строго ориентированы на стилистическую последовательность, как Кульчицкий или Луконин. Было и другое: просто стихи, просто рассказ о солдатской судьбе. «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат, всего, друзья, солдат простой, без званий и наград...»

— Понял. Поговорим об Орлове.

* * *

Он действительно не попал в предвоенную литературную когорту, в круг звонких молодых поэтов, людей, ощутивших себя творцами нового стиля. Не успел. Они до хрипоты спорили в аудиториях московских вузов, а он еще кончал школу в тихом Белозерске, «старинном городке с крепостным валом и множеством церквей». Они писали о Планете, об Истории, о Грядущем. А он писал о тырке, которая лежит в огороде рядом с брюквой «и, кажется, вот-вот от счастья громко хрюкает и хвостиком махает». Они мучительно искали себе предтеч среди

великих реформаторов стиха: Хлебников? Маяковский? Багрицкий? А его «тыкву-хрюшку» заметил добрый доктор Айболит, Корней Чуковский, и похвалил в газете «Правда»: стихотворение было представлено на пионерский поэтический конкурс в Ленинграде и автор его, безвестный белозерский школьник, получил премию.

Считанные месяцы спустя они пошли в огонь: и вчерашние школьники и вчерашние светила студенческих семинаров.

Орлов горел в танке. Первую книжку издал в 1946 году. «Стихи танкиста» — определил их тогда Павел Антокольский: простота и безыскусность военных стихов Орлова растрогали старого мастера. Простота действительно подкупала в них, сила этой простоты заключалась в том, что она не таилась: Сергей Орлов не только часто употреблял эпитет «простой», но и действительно был внутренне склонен к «простым словам». В его ранних и военных стихах не улавливаешь сколько-нибудь явных следов той или иной поэтической школы — это некая общерусская «последушкинская» стиховая манера, мягкая, податливая, временами неуклюжая, временами трогательная; если и есть у раннего Орлова «следы влияния», так это влияние простых народных песен: березка белая, трава зеленая, мать родимая... Так или иначе, перед нами поэзия, никак не ориентированная на «стиль», и если выдвинулся Орлов своими военными стихами, то не «системою» стиха, а поразительно простыми прозрениями вроде строк о зарытом в шар земной солдате — неприхотливая ткань орловской лирики тянется за такими строками-иглами, в них было все дело, в них не литературная уместность отзывалась, а страшный, реальный опыт войны.

Поэзия Орлова так и осознавала себя — как поэзия простого опыта — в пик поэзии «слов», «строк», «тем» и «символов». Что там поэтика, критика — «я, может быть, какой-нибудь эпитет — и тот нашел в воронке под огнем! Что там «вселенная» и всякие поэтические условности: «пять машин КВ ушло в атаку» — вот вся правда, простая и исчерпывающая. Что там «стихи», расхваленные критикой в статьях, — он писал фронтовые «не как стихи», а просто про друзей своих...

Мы сталкиваемся здесь с удивительной и сквозной для военного поколения убеж-

денностью: поэзия — ничто перед жизнью. Это основа всех их «эстетических воззрений». Луконин готов отдать все свои поэтические тома, чтобы какой-нибудь сержант обогрелся, растопив ими печурку. У Орлова нет луконинской обостренной дерзости чувства — он просто рассказывает, как читал свои стихи колхозникам, так вот это и был экзамен: найти в строчках что-нибудь, достойное их трудодня.. Эта идея будет варьироваться у Слуцкого, у Самойлова, у Межирова. Потом следующее поколение противопоставит этой идее идею «мастерства», словесной виртуозности, профессиональной незаменимости поэтического ремесла; теперь же отметим только: Орлов пришел в поэзию как человек реальности, реального опыта.

Его опыт — война.

Он описал войну. Выплёснул опыт. И растерялся.

И побежал по вологодским лесам, по районным городкам, по домам, по избам — искать темы?..

Критика, по-прежнему ожидавшая от Орлова стихов о войне, сочла, что он в кризисе. Впрочем, такого рода «кризис» пережили все поэты-фронтовики; это был естественный кризис поиска «второй книги»; кризис становления чистого профессионализма, усугубленный у фронтовиков тем, что, делаясь отныне профессионалами стиха, они продолжали относиться к «профессионализму» настороженно и в глубине души по-прежнему считали себя поэтами опыта. Может быть, это был и кризис, если считать поэзию «производством хороших стихов». Но поскольку поэзия, по-моему, не производство хороших стихов, а выражение судьбы, то можно примириться с тем, что стихи стали «хуже», — важно другое: что в этот период Орлов, в сущности, определился как поэтический характер, пока, впрочем, на случайных для себя темах.

Он определился как характер мягкий, подвижный, импульсивный, отходчивый и чрезвычайно открытый. Ни страстной упорности Луконина, ни железной последовательности Слуцкого, ни заторможенного межировского меланхолического вглядывания в «суть»... У лирического героя Орлова легкий характер. Он глубоко лю-

¹ Я заимствую эту характеристику Орлова дословно из прекрасной статьи С. Наровчатова о военных поэтах (см. «Известия» № 287 за 1963 год).

бит, но сравнительно легко смиряется с разрывом — легко от альтруизма: значит, кому-то другому будет счастье. По природе он склонен видеть в мире не драму, но гармонию: если вы помните, с какой болью Есенин описал жеребенка, отстающего от поезда, то оцените и то умиротворение, с каким Орлов пишет жеребенка, бегущего за грузовиком, «будто за лошадей», а народ стоит, улыбается... Орлов не испытал того обостренного, ревнивого беспокойства, которое охватило некоторых поэтов-фронтовиков, когда мимо них стремительно вышли в поэты подростки послевоенные мальчики и понеслись к своей «эстрадной» славе. Орлов был слишком деликатен, чтобы равняться с ними, он не вывешивал на грудь медали, чтобы попрекнуть этих «нынешних», и если «нынешние» не понимали его, то он не вступал в объяснения, он смотрел на вещи мудрее: «Наше — нам, юность — юным, и мы не в обиде. И зачем ему, Витьке, за нас нашей памятью мучиться. Ах, зачем, все равно у него не получится...»

Может быть, вот эта готовность понять другого и помогла Орлову сохранить величайшее любопытство ко всему тому новому, что пронеслось в те годы над поэзией, — к новым веяниям, людям, темам, рифмам... Орлов испытал все: и интерес к старым книгам, воспринятый им от ленинградцев, и охоту к перемене мест, поведшую его в европейские и всесветные круизы, и тягу к родным нивам и русским древностям. В его стилистике промелькнули и прокофьевские народные самоцветы, и мировые ассоциации в духе Вознесенского. В его стихах Бартоломей Диас встретился с Петром Великим, голубизна фресок Ферапонтова монастыря соединилась с голубизной байконурского ракетного неба, скрытая цитата из Пастернака сомкнулась со скрытой цитатой из Тредиаковского, и вот уже появился новейший пункт дискуссий: «Трещит башка от размышлений, так что же все-таки народ?...»

По-своему прекрасно было это освоение безбрежного мира. Одно мучило: его зыбкость. Зыбким было кружение впечатлений, стран, книг, районных центров и столичных библиотек. Но чтобы зыбкость эта определилась, стала поэтическим фактом, что-то незыбкое должно было встать в кружении впечатлений: стержень, знак незыблемости.

Так шел к своему «второму перевалу» Сергей Орлов, а как почувствовал он перевал — это могло быть делом случая. «Старый снимок нашел я случайно в столе, среди справок, в бумажной трухе, в барахле... Шлем ребристый кирзовый да чуб в три кольца, зубы белой подковой, веснушки — что солнца пыльца...» И затосковал, закричал вдруг, словно вспомнил что-то: «Светит солнце на траках, дымится броня. Можно просто заплакать, как мне жалко меня. Время крепости рушит, а годы летят... Ах, как жаль мне веснушек ржаной звездопад!»

Так обнаружилась стабильная точка в этом кружении впечатлений. Молоденький танкист встретился глазами с вечно спешившим профессиональным поэтом, и от взгляда этого прояснился в жизненном потоке смысл. Мальчишка-лейтенант завидует поэту: «там, в огне ревушем», он «верит в мирного, далекого меня». Но вот приходит далекий мир, и в этом мире поэт завидует мальчишке-лейтенанту.

Почему?

«Там друзья, там поровну махорка...»

А здесь?

Здесь что угодно, да не то все... «Здесь нет ячеек пулеметных, не рвутся мины на пути, но там хоть был устав пехотный, а здесь не знаешь, как идти...»

Так вернулась война в поэзию Сергея Орлова. Не как «тема» вернулась, а как знак смысла. Как знак закономерности бытия, его внутренней оправданности, его «структурности». Определился внутренний конфликт зрелой поэзии Орлова, выявилась «сюжет» в его лирическом мире: поиск незыблемости среди зыбкости, поиск прочности среди скольжения, поиск внутреннего смысла среди пьянящего потока впечатлений.

Три лейтмотива вступают в поэзию Орлова как носители незыблемости: памятники, любовь, история.

Памятники встают среди этого мира как маяки вечности; они тормозят забвение, гасят шум, отрицают мельтешение. Памятники встают в стихах Орлова не просто как символы скорби, но как опорные точки мироздания, как узлы его структуры. «Солдатским обелиском белеет в мгле земная ось» (не здесь ли воскресает то давнее, первое: «его зарыли в шар земной?») — мир есть целое, шар, единство...

Любовь? Орлова нельзя в отличие от

Лукинина назвать поэтом любовной драмы — он слишком отходчив для этого. Любовь возникает в поэзии Орлова как знак все той же незыблемости: «Стирает время в пыль державы, и гордая стареет вновь, бессмертная проходит слава легко, как дым. И лишь любовь летит поверх барьеров Рима, сквозя все века и времена — добра, безжалостна, гонима, беспомощна, как смерть сильна».

Рим как традиционный символ холодной рациональной мощи выдает в стихах Орлова фундаментальные исторические штудии их автора. История действительно входит теперь в его стихи. Он думает о предках и о потомках, о державах и о великих мужах истории. Но интересует Орлова в истории не логика ее свершений и не драматизм ее путей (как, скажем, Д. Самойлова). Орлов видит в истории лишь одно: гарант против хаоса, против тления и бессмысленной смены веяний. Глядит в окно пригородного автобуса и видит: «...витязи торчат в дозоре». Значит, вечность с нами! «Мосты над реками толпятся, в бензинном дыме провода... И ничего не может статься с весной и Русью никогда». История — это закон, это стабильность.

Орлов и теперь страшно любопытен ко всему новому, он и теперь пишет обо всем, что видит в своих странствиях — от кубинской сафры до русской ухи... Но переменялся строй его поэзии. Нет более ни упоения новым, ни тайной робости перед ним. В поэзии Орлова 70-х годов современный антураж присутствует уже как привычный: здесь есть все, что сейчас привлекает внимание, но это все не главное. А главное — вот то пронзительное, надо всем поднявшееся, простое и вечное желание осознать последний смысл, исторический итог, единый стержень судьбы. «Мы за все заплатили сами». Такой пристальной жажды смысла судьбы, такого острого желания взвесить судьбу поколения как нечто целое, понять его единый облик, его единственность в истории — этого в поэзии Сергея Орлова еще не было. Прежде все буряло от невысказанной боли. Теперь — молчание. Ощущение невыразимости последней правды. Ощущение того, что перед этой правдой суэта слов бессильна и лишь благодать молчания некошунственна. «В соседях ближних, в землях дальних сильнее слов любых гремит молчание ме-

моральных гранитных пискаревских плит...»

Прежде непосредственный опыт неудержимо бил в стих, и единственная секунда между выстрелом и разрывом наполнялась торопливыми мечтами, воспоминаниями, непрожитым и неотошедшим. Теперь жизнь сжимается в простую и ясную фразу, в единое мгновение, в прямой штрих Истории: «А завтра надо призваться, а послезавтра умирать».

Было — ликование и горе, счастье и ненависть, нетерпенье и юная наивность. А стало — тишина и ясность. И ощущение судьбы, которая дается один раз, и, значит...

И, значит, судьба эта есть момент всеобщей великой борьбы за «мировую справедливость», и в этом — счастье. И в этом — возвращение поэзии Сергея Орлова к той первоначальной монолитной цельности, каковой были отмечены люди его поколения, молодые участники классовых битв с фашизмом, «мальчики державы», «мальчики невиданной революции». Не успевши встать в ряды поэтов сорокового года, Орлов все равно пришел к ним. «Мальчишка, искра грозной бури», он душой так и не постарел за эти тридцать лет. Он понял, что именно держит его изнутри:

...Стар я стал и, как мальчишка, ясен
И доверчив. Видно, те года
Одарили верой, и не к счастью,
И уже, как видно, навсегда.

Держит его та первоначальная, предвоенная, и свято на всю жизнь принятая вера, которая может пройти через сомнения и трудности, через смену настроений, слов и веж, но при всем том уже никогда не отменится и не подменится в ней тот фундамент, на котором сложилась личность: человека научила верить.

* * *

— А знаешь, все-таки лучшие стихи их — о войне. Вот бегут они от нее и не хотят о ней писать, но выходит все то же: все сильное, ими написанное, — о войне.

— Не о войне. Войною. Помнишь Маяковского? Можно писать не о войне, но нельзя не писать войною... Они и пишут всю жизнь войною.

— Ты понимаешь, что это означает? Поэзия одной судьбы, одной темы. Поэзия поколения. Вот и выходит, что наша литература пятидесятых — шестидесятых го-

дов выдвинула замечательных представителей поколений, но не выдвинула фигуры поэта всенародного.

— Где грань?

— Попробуй назвать Пушкина поэтом поколения декабристов — и ты увидишь грань.

— Вот что я на это отвечаю: Пушкин никогда не стал бы поэтом всенародного звучания и всенародной идеи, если бы он не был поэтом своего поколения — поколения, разбуженного Отечественной войной, без этого он просто не состоялся бы как характер. На фоне следующего поколения, смятого эпохой Николая, «выходки» Пушкина, как вспоминал Вяземский, уже казались дикими. Пушкин как будто дорожил последними отголосками «беззаветного удалства» своих сверстников...

— Знаю. Два поколения не пуганных татарами русских вышли на Куликово поле, два поколения не битых плетью дворян вышли на Сенатскую площадь... Не слишком ли простая механика?

— Механика простая: стать поэтом всенародного звучания может лишь поэт, выразивший судьбу своего поколения, смысл этой судьбы.

— Вернемся к поэтам последней войны. Речь ведь о них?

— О них. Так вот, говоря о них, надо прежде всего отрешиться от представления о них как о поэтах только войны. И если поэзия ищет сейчас нравственные модели, сравнивает их, сопоставляет, сталкивает, то здесь поэты-воины и защищают сейчас главную свою позицию.

— Именно. Она-то и является сейчас их словом в поэтическом развитии. Потому что логика развития поэзии объясняется не стилевым преемством или отталкиванием (даже если «стиль» понимать максимально широко), а развитием, сопоставлением и столкновением разных этических версий. Луконин и Орлов, Слуцкий и Самойлов — поэтические миры разные, стилевые школы разные, а этическая версия — одна.

— Поговорим о Самойлове?

! * * *

Самойлов стоит несколько особняком среди поэтов своего поколения. Не потому, что судьба его иная; наоборот, Самойлов и начинал со всеми и чашу испил сполна: в восемнадцать лет — ИФЛИ, сти-

хи, занятия, в двадцать один — солдатский эшелон. А вот в поэзию вошел очень поздно, когда уже заполнила критика все обоймы, и одиноко как-то вошел, вне «школы», и негромко, вне шума поэтических дебютов 1958 года, и, наконец, непривычно вошел: без «ранних» опытов, а сразу — сложившимся и зрелым мастером. Других критика подолгу вела, привыкала к ним, учила жить, осмысляла повороты. Этот явился готовым. Законченным. Не отсюда ли несоразмерная его таланту бледность критических о нем отзывов? За крупными поэтами всегда влачит критический миф. В самом деле, Луцкий — это угловатая жесткость, Луконин — разговорная открытость, Межиров — музыка... А Самойлов — что такое? И то, и другое, и третье? И в слове крепко, и в пафосе волен, и в ритме певуч? В. Кожин писал, что Самойлов строит все на точности слова — так это о любом поэте можно сказать. Б. Сарнов писал об «умном, незаметном мастерстве» Самойлова. Еще одно общее место. Вл. Соловьев, критик чрезвычайно чуткий к стилистике и автор лучшей (с моей точки зрения) статьи о Самойлове, попытался дать колористический анализ его лирики. Вышло: цветовой гаммы нет, полутона неуловимы, любимый цвет Самойлова — серый... Проще сказать, результаты анализа нулевые, и через цвет Самойлов тоже «не ловится»... Впрочем, я-то думаю, что цветом не мыслит никто из поэтов военного поколения, это не Ахмадулина с ее оранжевыми видениями и не Цыбин с его солнечным золотом... Стиховая пластика воевавших поэтов либо акустична, либо осязательна, стихи Слуцкого, Самойлова или Межирова легче определить по шкале: раскаленность — ооченение, жесткость — мягкость, музыкальность — немзыкальность, чем по шкале цвета — это не «живописцы»... Но Самойлов, похоже, вообще ни по какой шкале не улавливается, его стих традиционен, но без нарочитости, прост, но без грубости, культурен, но без изысканности. Вл. Соловьев долго бился над этой неуловимой поэзией, писал о ступенчатости лирического «я», говорил, что это хорошо, а потом рассердился и припечатал: стерильность! Давление общей культуры! Литературный блеск!

Я все же попробую начать с другого края. Не со стиховой пластики (мы к ней вернемся), а с основного жизненного воп-

роса, в приверженности к которому Самойлов един с другими поэтами своей судьбы, а в решении как раз и стоит особняком.

Этот вопрос — боевая юность. То, что для Луконина стало предметом героического самоопределения, для Слуцкого — моментом жесткого обнажения истины, для Межирова — трагическим словом прежней судьбы... Для Самойлова это нечто совершенно иное. «...Были такие минуты, когда, головой упав на мешок, думал, что именно так почему-то жить особенно хорошо...» О войне писали с болью, с горечью, с торжеством победителей... Но так светло и спокойно — нет. «Война гуляет по России, а мы такие молодые!» Вот ощущение: война и молодость словно слились для Самойлова в таком свободном и гармоническом единстве, что война и осталась у него символом этой легкой, просторной, светлой, почти веселой свободы: «Вот окончено главное дело, вот и юность моя пролетела!.. Отмало мое поколение годы странствий и годы ученья... Да, испита до дна' круговая, хмелем юности полная чаша. Отгрелась война мировая — наша, кровная, злая, вторая. Ну а третья уж будет не наша!..»

Оттуда — и осталось от нее: молодость, простор, дороги, странное ощущение свободы и счастья.

Какой же склад душевный обусловил у Самойлова это удивительное восприятие войны? Что держит изнутри эту душу? Какова этическая версия жизни, столь светло явившейся в стихах? Что он любит? Что видит в мире?

Вот эмблема — маленькое стихотворение 1952 года, в итоговом сборнике Самойлова напечатанное курсивом:

Стройный мост из железа ажурного,
Застекленный осколками неба
лазурного.
Попробуй вынь его
Из неба синего—
Станет голо и пусто.
Это и есть искусство.

Что тут главное? Синева? Нет — это почти школьное обозначение цвета неба. Лазурь? Ближе, но и этот бесцветный простор — лишь «сырье» для пейзажа. Суть картины — ажурная сетка моста, тонкий рельеф нитей, графический строй, дающий рамку, смысл и структуру прозрачным и блеклым далям. Самойлов любит просторные городские предместья, он любит смо-

треть на город издали, когда даль прочерчена нитями проспектов, и все — как на ладони, и на этом собранном рисунке реют вертикали шпилей, указывая в пейзаже великий замысел природы, великий замысел людской. Прозрение строя и замысла — вот объяснение любви Самойлова к мостам на фоне неба, к ажурным оградкам парков, наконец, к проводам, линиующим дали за окном поезда, а провода эти — любимый символ самойловских пейзажей. Он любит раннюю, светлую, солнечную осень — время ясности. Он любит строй и гармонию, он не приемлет хаоса. Он не скажет о буре или вьюге, что это «бунт», «разгул», «стихия». Он скажет, что это месса, то есть взрыв страстей, вознесенный, так сказать, к Смыслу. Природа обусловлена, оживлена, осмыслена. Если искать предтеч такому пониманию стихий, придешь к позднему Заболоцкому (Самойлов знает это, у него есть стихи о Заболоцком, пронизанные пониманием и преданностью). Но самойловский мир все же лишен той стройной, завершенной, почти математической ясности, которая отвердевает в стихах позднего Заболоцкого, Самойлов — легче, и его стиховая пластика чрезвычайно текуча. Вы улавливаете в ней не столько состояния, сколько устремления и переходы. Вы не можете сказать, холодно его стиху или горячо, но вы остро чувствуете, замерзает он или оттаивает... Так вот: у Самойлова он преимущественно замерзает, и в этом есть своя последовательность: на смену летнему буйству зелени приходит пора сухого и нежного листопада, и первый голубой ледок кладет конец туманным разливам, и мороз скрепляет все — и воцаряются в природе строй, и гармония, и красота структуры.

Вот он, мостик от Самойлова к его поэтическим однополчанам; я говорил: все они так или иначе поэты структур. По-разному, конечно. Возьмем Слуцкого, он воспевает в структуре целесообразность, прочность, истинность; можно сказать, что Слуцкий воспекает в структуре структуру. Самойлов — красоту, стройность, спасительную уравновешенность. У Слуцкого строй мира противостоит пустой легковесности, у Самойлова он противостоит хаосу страсти. У Слуцкого миростроение пребывает, у Самойлова проступает, проглядывает, становится...

Вот инвектива Слуцкого, обращенная к молодым поэтам:

интерпретации этого понятия, когда мир пронизан Смыслом и человек живет не в окружении вещей, а в сиянии мировых звезд, не в контакте с бытом, а в системе бытия, когда судьба державы, страны, родины становится той «мировой» сферой, в которой обретает смысл личность.

Сын своего поколения, Самойлов как поэт не избегал, конечно, той «глобальной метафоричности», с помощью которой мыслили мальчики великой державы. И у Самойлова «земля на какой-то скрипучей оси поворачивается» под колесами военного эшелона. Но все же это ощущение мира как единого целого всегда имело у Самойлова тягу не к вещной осязаемости «глобуса», а к ощущению бесспорного смысла мировых событий. Папа читает больному мальчику «Песнь о вещем Олеге», и больной ребенок плачет «над брэнностью мира», над Олегом, над судьбой, и в нежное сердце его входит, как стержень, мысль: что-то есть в этом потоке: смысл, судьба, возмездие. Это — начало. Но будет и продолжение, и кульминация, и невообразимое ощущение счастья двадцатилетнего солдата, идущего умирать за державу.

Лирический герой Самойлова — человек, нашедший свое место в структуре мира и истории. Антипод Самойлова — герой, не находящийся этого места. Мечущийся. Ищущий. Нерешительный.

При всей широте своих чисто поэтических симпатий, однажды Д. Самойлов с неожиданной резкостью обрушился на одного молодого поэта, отказав ему чуть ли не в праве писать стихи. Вот строчки, вызвавшие гнев Самойлова:

Мир наполняют
послевоенные люди
послевоенные вещи
нашел среди писем
кусочек довоенного мыла
не знал что делать
мыться
плакать...

В отличие от Самойлова я считаю Владимира Бурича, написавшего эти стихи, интересным поэтом. Но я понимаю, что именно в этих стихах так вывели из себя Самойлова. Вряд ли его, искусленного в переводах с польского, могла покоробить столь непривычная для нас свободная форма стихов Бурича. Но дело в том, что Бурич пишет человека потерянного, неприкаянного, осиротевшего; у него и спущенные удила ритма, и отсутствие знаков препи-

пания — все передает это оцепенение сиротства. Никогда герой Самойлова не знал этого состояния! Никогда не было ему ведомо то самозабвенное плутание, в котором осознал себя, скажем, герой Евтушенко. И никогда самойловскому герою не пришло бы в голову пожаловаться: помогите мне! Разберитесь во мне! Я запутался, я сломался... а может, еще не сломался? Самойлов знает про себя совсем другое:

Не ведающий лукавства,
Доверчивый ко словам,
Плутал я — не заплутался,
Ломал себя — не сломал.

И еще яснее:

...Спасибо тем, кто нам мешал!
И счастье тем, кто сам решал —
Кому — не помогали!

Так что вряд ли исчерпывается Давид Самойлов теми определениями, которые закрепились за ним в критике последних лет: поэт гармонии, поэт культуры, поэт соразмерной простоты. Все верно! Только чтобы связать все это воедино — и соразмерные исторические сюжеты, и «невидимое мастерство», и культ гармонии, и счастье мальчишки, попавшего на фронт, и пленительную стройность суховатой и нежной ритмики: «Он слышал зарождающийся ритм. Еще глухое, еще далекое: О, Litwo, Ojczyzno moja!» — нужно почувствовать во всем этом единую нравственную задачу, почувствовать еще один вариант той судьбы, которая выпала державным мальчикам сорокового года, почувствовать, наконец, что в поэтической дискуссии наших дней о человеке «узловое поколение» имеет прочную и определенную позицию. И очень серьезную.

* * *

— Завершим дело определением?

— Не получится. То есть можно, конечно, определить тот или иной «срез» поэзии воевавших. Можно сказать, что на их творчестве видно, как высокая революционная вера проходит испытание огнем, как романтика подкрепляется трагическим опытом, как гуманистическая убежденность утверждает себя в ходе кровопролитнейшей из войн, как любовь к родине становится выстраданной. Но всего не исчерпает определениями. Поэзия неисчерпаема... как атом. Она познается эмоционально-практически. И в ходе сопоставления ее с поэзией другого опыта, с другими поэти-

ческими «системами». Притом пусть эти поэтические «системы» на наших глазах исчерпываются.

— Ты хочешь сказать, что поэзия молодых послевоенных мечтателей, не поспевших на войну, исчерпала себя?

— Да.

— То есть? Опровергнута жизнью? Зачеркнута новой реальностью? Изжила себя?

— Ни в коем случае! Что за слова: «изжила», «опровергнута»! Поэзия не борьба за существование и не высаживание слабых из круга. Там, где речь идет о духовном опыте, не может быть никакого «зачеркивания» и «опровержения», а есть лишь исчерпывание и преображение. Опыт исчерпывается, передается другим, в сопоставлении с другим опытом он преображается, дает новые ценности. Начнись все сначала — молодые мечтатели с Евтушенко во главе должны были бы повторить свой путь, исчерпать свой опыт. А поэты войны должны были бы его восполнить. Не опровергнуть, а именно восполнить.

— А опыт воевавших не исчерпан?

— Нет! Недаром их сейчас читают больше и охотнее, чем в период триумфа ассоциативно-эстрадной поэзии. Почему этическая версия «узлового поколения» приобрела вес? Именно потому, что иные версии сейчас исчерпались. Поэзия послевоен-

ных молодых была построена на ощущении индивида, готового отдать себя общему делу, ищущего свое место в структуре целого — и не находящего: то была жажда самоопределения. Поэзия мечтателей «сельских» была ответом: она строилась на прямо противоположном ощущении — на ощущении изначальной связи, нерасчлененной монолитности, природной естественности целого, когда проблема самоопределения просто снимается. Вот теперь и почувствуй, почему в этой ситуации так ценна оказалась поэзия воевавших. Образно говоря, эти поэты утвердили то самое, о чем мечтали их послевоенные молодые собратья: войти в строй мира.

— Похоже, что ты нашел истину в последней инстанции.

— Нет. Нет в поэзии истин в последней инстанции! Только в первой — то есть из первых рук. Только опыт, личный опыт. Истина в поэзии — путь данного человека, путь данного поколения, урок данного исторического этапа. Другой человек, другое поколение на другом историческом этапе будут решать свои проблемы заново. И если я говорю, что, по моему убеждению, самые глубокие этические ценности создают сейчас в нашей поэзии бывшие фронтовики, то это не значит, что их опыт способен заменить мой опыт. Каждый решает свои проблемы сам. Но просто моей душе хорошо оттого, что они — есть.



А. ЖЕЛОХОВЦЕВ



«ДОЛОЙ ТЕОРИЮ ВДОХНОВЕНИЯ!»

Литературная политика маоистов

В результате «культурной революции» в Китае восторжествовал «новый порядок» и в основу политики были положены «идеи» Мао Цзэ-дуна. Прошел достаточный срок для подведения итогов, для того, чтобы на фактах убедиться в результатах маоистского «эксперимента» в литературе и искусстве Китая.

Общезвестен факт, что маоисты отказались от культурного наследия человечества, в том числе от классической культуры Китая; что особо злобному поношению подвергались китайская прогрессивная литература и искусство 30-х годов, развивавшиеся вне влияния «идей» Мао Цзэ-дуна, а также советская литература и искусство. Сам Мао Цзэ-дун выразил полное пренебрежение к культурному наследию, презрительно именуя классиков прошлого «покойниками». Он потребовал полного устранения «феодалного и буржуазного искусства» в своей резолюции о работе творческих организаций в декабре 1963 года¹.

Вступая в «культурную революцию», маоисты приняли программный документ с замысловатым заглавием: «Протокол совещания по работе в области литературы и искусства в армии, которое было создано т. Цзян Цин по поручению т. Линь Бяо». Совещание проходило в Шанхае с 2 по 20 февраля 1966 года, сам протокол был опубликован 29 мая 1967 года, затем ежегодно в течение четырех лет торжественно праздновалась годовщина публикации, пока падение Линь Бяо не заставило маоистов сделать вид, будто протокола и вовсе не существовало.

Маоистский протокол проникнут неисто-

вым антисоветизмом: «Борьба с иностранным ревизионизмом в литературе и искусстве не может ограничиваться людьми типа Чухрая. Надо браться за крупных, надо браться за Шолохова и смело бить его. Он заповедал ревизионистской литературы. Его «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» оказали очень большое влияние на некоторых писателей и читателей Китая»² и т. п.

В каких выражениях было принято говорить и писать о советской литературе в современном Китае, хорошо видно на примере выступления одного из цзаофаней в Пекине, рассказывавшего о своей деятельности: «Мы создали бригаду по критике литературы и искусства, подняли критическое оружие и открыли огонь по хваленым «великим личностям» литературы и искусства советского ревизионизма: Шолохову, Симонову, Эренбургу. Мы напали на их длинные и гнусные основные произведения: «Тихий Дон», «Дни и ночи», «Оттепель». У нас нет никаких заумных теорий. Мы разглядели насквозь «великих личностей», у каждого из которых на заднице стоит клеймо «ревизионист». Мы насквозь разглядели их произведения, так называемые «шедевры», на любой странице которых стоит штампель «контрреволюция»...»³.

Цзаофань сказал, что у них нет заумных теорий. Но донельзя примитивная и нежизнеспособная теоретическая схема у них есть. Набор идей и догм небогат, зато насаждаются с беспощадной свирепостью и доскональным педантизмом. Начинать следует с вопроса о творческом методе, поскольку сами маоисты свое размежевание с

¹ «Жэньминь жибао» от 28 мая 1967 года.

² «Жэньминь жибао» от 29 мая 1967 года.

³ «Жэньминь жибао» от 3 июня 1968 года.

литературой и искусством социалистических стран начали именно с вопроса о творческом методе.

Мао Цзэ-дун заявил, что творческим методом китайской литературы и искусства должен быть «метод сочетания революционного реализма и революционного романтизма». Он сделал это заявление в беседе с Чжоу Яном, который в своей статье изложил его устные указания⁴. В то время Чжоу Ян исполнял обязанности заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, и его выступления имели директивное значение, но само «основополагающее» высказывание Мао Цзэ-дуна так и не было опубликовано. Го Мо-жо, например, тогда же пояснил, что новый метод есть шаг вперед по сравнению с социалистическим реализмом, дальнейшее развитие на более высокой ступени и т. д.⁵.

Заявление Мао Цзэ-дуна преследовало разные цели: и прославление собственной личности, и размежевание с советской культурой и культурой социалистических стран; на первых порах, в 1958 году, это размежевание шло в теоретической сфере, но затем быстро последовали и практические шаги китайского руководства, приведшие к сокращению вплоть до полного прекращения всяких советско-китайских культурных связей.

Установив свою диктатуру с помощью «культурной революции», маоисты, опираясь на политическую власть, стали рьяно насаждать собственные идеалы и осуществлять «революционный курс» Мао Цзэ-дуна в литературе и искусстве.

3 января 1968 года «Жэньминь жибао» опубликовала «новые высочайшие указания» Мао Цзэ-дуна, в которых, в частности, говорилось, что надо «бороться с эгоизмом и критиковать ревизионизм».

В литературе и искусстве «борьбу с эгоизмом» направили против «эгоизма» авторского: ставить свое имя на собственном произведении — эгоизм, получать гонорар — не просто эгоизм, а уже «буржуазное корыстолюбие», так как литературный труд должен идти на одном энтузиазме. В результате имена авторов на китайских произведениях исчезли. Спасаясь от обвинений в эгоизме, все начали прикрываться коллективным творчеством. И короткие газетные заметки, не говоря уж о серьезных пространственных статьях, стали подписываться

от имени бригад, групп, звеньев, ревкомов и т. п.

Однако даже для маоистов отказ от индивидуального авторства оказался не во всем удобен и потребовал «жертв». Дело в том, что «образцовые» пьесы составлялись при непосредственном участии Цзян Цин. Возникла проблема: как воздать ей должное, если принципиально невозможно признать индивидуальное авторство? Китайские газеты в 1967—1969 годах источали в адрес Цзян Цин нескончаемые хвалы в изысканном стиле придворных панегириков. Псевдоним «Три бойца» писал: «...т. Цзян Цин высоко подняла великое красное знамя идей Мао Цзэ-дуна и повела решительную борьбу с контрреволюционной линией в литературе и искусстве, которую проводили прежний отдел пропаганды ЦК КПК, прежнее министерство культуры КНР и прежний пекинский горком КПК. Т. Цзян Цин лично руководила погрязшей весь мир революцией в театре столичной драмы, революцией в балете и революцией в симфонической музыке. Она утвердила целый ряд образцовых революционных спектаклей, излучающих свет идей Мао Цзэ-дуна, и открыла новую эру пролетарской литературы и искусства»⁶.

Захлебываясь в славословиях Цзян Цин, газеты наконец выговорили сакраментальную фразу: «...т. Цзян Цин создала лучезарные образцовые революционные спектакли»⁷... Казалось бы, создатель — синоним автора? Но нет, авторство, видимо, настолько отрицательное, скомпрометированное «эгоизмом» понятие в глазах маоистов, что признания авторства даже самой Цзян Цин так и не последовало.

В театре и кино развернулась борьба против «ячества» творческих работников. Газеты рассказывали об артистах и режиссерах, зараженных ячеством.

Индивидуальное авторство стало в Китае опасным. Критические материалы и проработки все сплошь шли от имени коллективов. Столбцы газет заполнялись псевдонимами с многозначительным смыслом вроде «Орлы — защитники востока», «Красный солдат истории», «Бороться до конца». Несомненно, что за многими псевдонимами стояло действительно коллективное сотрудничество.

В передовой статье «Жэньминь жибао»

⁴ «Хунци», 1958, № 1.

⁵ «Жэньминь вэньсюэ», 1959, № 1, стр. 4.

⁶ «Жэньминь жибао» от 26 мая 1968 года.

⁷ «Гуанмин жибао» от 1 апреля 1968 года.

от 31 мая 1967 года «Великолепные образцы революционного искусства» были провозглашены образцовыми пять опер национального жанра цзинцзюй, два балета и одна симфония, которую, правда, назвали не симфонией, а симфонической музыкой, чтобы подчеркнуть размежевание с иностранными понятиями. Все эти образцовые спектакли — коллективное творчество. Они подписаны от имени поставивших их групп, а создателем симфонической музыки назван весь состав оркестра.

Начиная с 1972 года оживилась издательская деятельность маоистов, начали печататься романы, повести и рассказы. Немалое их число опять-таки принадлежит коллективному творчеству. Первый роман был объявлен в рецензии газеты «Гуанмин жибао» 12 июня 1972 года. В сложившейся в Китае ситуации выход в свет первого романа, каков бы он ни был, — событие. Ведь последний китайский роман о солдате — маоцзэдуновском герое Оуян Хае вышел в 1965 году⁸, так что перерыв составил семь лет.

Роман «История борьбы в Хуннани» написан коллективом — творческой бригадой, специально созданной для написания романа. В бригаду вошли: крестьяне, бедняги и середняки «низшего типа», низовые партийные работники, а также «кадры из профессионалов». Творческая бригада работала в Шанхае. В этом крупнейшем городе Китая литераторов всегда хватало. Творческие силы из Шанхая, несомненно, были привлечены для анонимного участия в этом коллективном труде, а крестьяне и партийные работники представляли материал, участвовали в обсуждениях и т. п.

Бригадный метод создания романов имеет в глазах маоистов особые достоинства. Прежде всего, коллективная ответственность надежнее обеспечивает соответствие произведений «идеям» Мао Цзэ-дуна. Далее, работа в бригаде лишает ее участников всякого общественного признания. Они остаются неизвестными, безымянными, «винтиками» пропагандистской машины, и вопрос об их личных заслугах или правах не возникает вообще. Расправившись с китайской творческой интеллигенцией, маоисты никому не доверяют в полной мере. Бригадный метод позволяет по-

кончить с такими неприятными вещами, как литературная известность, популярность у читателей, творческая индивидуальность.

В 1972—1973 годах сначала робко, а потом чаще стали ставить авторские имена. Фактически же литературное производство маоистов остается коллективным. Возьмем для примера тот случай, когда новоявленный автор с подкупающей откровенностью поделился опытом работы перед всем миром в журнале, предназначенном для заграницы.

Молодая девушка Гао Хун в 1969 году оставила вуз, завершить образование ей не удалось (помешала «культурная революция», добавим мы от себя). Она была назначена работать в часть китайской армии на метеорологическую станцию в отдаленном районе. Знаний по метеорологии у девушки не было никаких, о чем она сама откровенно и пишет. По какой специальности она готовилась работать после вуза, Гао Хун умалчивает. Так или иначе, на станции ей пришла в голову мысль написать одноактную пьесу из жизни метеорологов.

Хотя пьеса Гао Хун официально признана авторской, девушка считает за благо откеститься от своего авторства. Она пишет: «От замысла и до завершения работы над этой короткой пьесой, и текст и постановка многим обязаны бескорыстной помощи и советам командования и коллег по работе. Это не работа одного человека, не индивидуальная работа: она отражает коллективный опыт и мудрость коллектива»⁹.

Такие декларации, разумеется, порождены особыми условиями современного Китая. Автор должен непрерывно переписывать рукопись заново вслед за меняющимися установками маоистов, а потом, когда она превращается в печатную продукцию, публично откестиваться от собственного вклада, чтобы на него не пала тень подозрения в преступном «эгоизме»... Последние семь лет дали множество примеров этому.

Автор романа «Песня об Оуян Хае», который вышел последним до «культурной революции» и еще в мае 1967 года считался «образцовым», Цзинь Цзин-май писал о своем детище в приложении к роману: «Без внимания, забот и указаний команди-

⁸ См. В. Валицкий. Последний китайский роман. «Иностранная литература», 1968. № 12, стр. 204—210.

⁹ «Чайнис литерачер». 1973. № 8, стр. 117.

ров всех ступеней этот роман вообще никак не мог бы быть написан». Романист сообщил, что инстанции не просто предоставляли ему материалы; инстанции отбирали из рукописи конкретные эпизоды, определяли развитие сюжета и характеры действующих в романе лиц. Автор пространно благодарил за заботу все инстанции и перечислил их поименно: командование и политработников воинской части № 6900, гуйянский уездный комитет КПК, редакцию журнала «Шоухо», военное издательство.

Возобновление литературного конвейера в 1972 году, когда вновь пошел поток изданий, принесло маоистам весьма специфические тревоги. Новые маоистские авторы, не претендуя на оригинальность и художественность опубликованных ими сочинений, тем не менее, вероятно, попросили уплатить им причитающийся гонорар. Только этим можно объяснить публичную отповедь маоистского руководства. В открытой печати появилась статья Хай Биня «Сначала надо стать революционными»¹⁶.

Хай Бинь без обиняков, откровенно заявляет, что верность маоистскому политическому курсу «во многих смыслах гораздо важнее, чем писательское мастерство или писательские способности». Так как ни о каких литературных заслугах в современных китайских условиях никто не смеет и заикнуться, значит, и литературная работа должна быть чисто «революционной». Мечты о гонораре — «корыстные помыслы», а лекарство от «микроба корысти» — «революционизация идеологии» по хорошо известному маоистскому рецепту: высылка в захолустные районы, работы с мотыгой и коромыслом, изоляция без права переписки, сбор фекалий, чистка вужников...

Ни в одной стране мира сейчас невозможно прочесть ничего похожего на надменно-презрительные тирады в адрес людей творческого труда, которые и составляют главный пафос статьи Хай Биня. «Наши писатели всегда должны помнить свое место», — покрикивает маоистский чиновник на страницах пекинской газеты. Но презрительного тона и грубых команд мало, Хай Бинь еще подводит теоретический базис под свою позицию, возводя ее в незабываемый принцип. «Писатели — все-

го лишь протоколисты эпохи, — пишет он, отказывая литературе в праве активно воздействовать на сознание людей. — Писательское мастерство неспособно справляться с объективной действительностью...»

Извращая известное положение, что реальная жизнь является единственным источником творчества, Хай Бинь ухитряется найти в нем повод для принижения писателей, да и самого понятия художественной литературы.

«Жизнь богата и разнообразна, борьба сложна, и ход ее неровен, — рассуждает Хай Бинь. — Произведение в максимально наилучшем случае способно только отражать жизнь и описать какую-нибудь из побочных сторон борьбы; оно подобно песчинке в море. Наилучшие произведения всего только глубоко воспроизводят некоторые важные стороны борьбы в революционной жизни некоей эпохи».

Смысл такого рассуждения прост и ясен: никакой шедевр особой ценности не представляет; это всего лишь «песчинка в море», «побочная сторона», да еще «некоей эпохи»... Стоит ли церемониться с шедеврами? По логике маоистского теоретизирования, явно не стоит, вот они и не церемонились, сжигая книги в угаре «культурной революции», а теперь теоретизируют, подводя базу под ликвидацию шедевров, а заодно и мотивируя глубокое презрение к литературе и литераторам, даже обслуживающим их собственный «правильный» курс.

«Культурная революция» унаследовала от предшествующего периода ничтожный набор произведений. В фонд новой маоистской культуры вошли стихи Мао Цзэ-дуна, восемь образцовых спектаклей, два кинофильма, подправленные массовые песни. При малом числе отдельных произведений они представляли почти все роды и виды искусства: поэзию, национальную оперу цзинцзюй, балет, драму, кино, симфонию, фортепианный концерт, массовую песню, живопись и скульптуру. Шедеврами новой культуры сами маоисты признают прежде всего «образцовые» спектакли и очень много и часто о них пишут в пространных панегирических статьях.

Речь идет о специфическом явлении — маоистском положительном герое, «новом человеке эпохи Мао Цзэ-дуна», как говорят они сами, но здесь нас интересует прежде всего эстетическая концепция,

¹⁶ «Гуанмин жибао» от 11 августа 1973 года.

то есть только одна сторона «идей», на которой и будет сосредоточено внимание.

В упоминавшейся статье новых героев характеризуют следующим образом: «Художественные образы пролетарских героев, созданные в образцовых революционных пьесах,— это новые люди, которые вооружены идеями Мао Цзэ-дуна и полностью порвали с традиционными понятиями тысячелетней давности; это самые новые, самые прекрасные, самые благородные художественные образы, которых не было, да и быть не могло прежде в истории мировой литературы и искусства»¹¹.

Действительно, в прогрессивной китайской литературе 30-х годов, да и после образования КНР подобных героев не было. Новизна кажется бесспорной. Но взгляды пристальней в самого героя. О нем высказался очень компетентный человек, и притом с полной откровенностью: Цзинь Цзинь-май, автор романа «Песня об Оуян Хае», армейский политработник, который писал с военной прямоотой: «С тех пор как в частях началось в широких масштабах изучение сочинений председателя Мао, появилось немало таких бойцов, чей культурный уровень до выступления в армию был настолько невысок, что они могли высказать очень мало путного: первая книга, которую они прочли до конца после поступления в ряды революционной армии, была «Служить народу» (одна из четырех популярных статей Мао Цзэ-дуна.— А. Ж.). Однако, выучив одну фразу, они сразу же применяют ее в жизни; как председатель Мао сказал, так они и поступают, поступают от всего сердца и с чистыми помыслами, поистине они достигли душевной чистоты без грана эгоизма или корыстолюбия. Это новые люди шестидесятых годов, новые люди, поднявшиеся от примитивного понимания до вооруженности идеями Мао Цзэ-дуна»¹².

Идеал человека, который раскрывает Цзинь Цзинь-май, по сравнению с прошлым изменился не столько в главном, сколько внешне. Идеи, которые он усваивает, не изменяют и не развивают его сознания, кругозор его, по существу, остается тем же, он подчиняется «наивысшим указаниям» и приучается к безропотному их исполнению, поскольку в его глазах они окружены ореолом духовности и мудрости,

исходящей от высшего авторитета. Изначальная чистота, «незараженность» культурой вплоть до полной неграмотности для новых героев не препятствие, а благо, и не беда, что человек «очень мало высказывает путного»; после изучения специально подобранных выдержек и отдельных коротких статей он становится образцом для других, если научится весьма немногому: уметь представлять любые диктуемые здравым смыслом поступки как вдохновенные свыше, предугаданные «идеями» и «указаниями». Маоисты убеждены, что догматический образ мышления лучше всего усваивается именно такими людьми.

О пьесе «Взятие горы Вэйхушань» говорилось, что она «открыла новую эру в литературе и искусстве», а главный герой Ян Цзы-жун назван «типом пролетарского героя, созданным на основе пролетарского мировоззрения, средствами пролетарского искусства»¹³. Когда же от общих фраз в статье переходят к характеристике важнейшей «классовой сущности» героя, то она определяется только преданностью «великому вождю» и «непобедимым идеям». Классовая сущность остается, таким образом, пустым словом, прикрывающим заскорузлое понятие верноподданства.

Автор статьи откровенно заявляет: «С момента появления на сцене Ян Цзы-жун — зрелый пролетарский герой...» Никакие жизненные коллизии не влияют на этого героя. Он остается внутренне законченным и статичным. Этот момент послужил предметом конфликта с внутренней оппозицией.

По ходу пьесы Ян Цзы-жун проникает во вражеский стан, маскируясь под бандита. «Критиканы» требовали, чтобы в этих сценах герой вел себя правдоподобно, камуфлируясь под врагов. Подобные взгляды были осуждены и отвергнуты. Теперь Ян Цзы-жун в любом положении выглядит только как герой и образец; здравому смыслу непостижимо, почему его не разгадали враги, но суть в том, что с точки зрения нового искусства понятия правды, подлинности, правдоподобия, реалистичности уже несущественны. Чрезвычайно важно, что они несущественны принципиально, отвергаются целиком и полностью, бескомпромиссно. Перед нами

¹¹ «Гуанмин жибао» от 6 октября 1969 года.

¹² «Вэньибао», 1966, № 3.

¹³ «Жэньминь жибао» от 25 октября 1969 года.

с очевидностью возникает новая художественная система с совершенно новой совокупностью ценностей и новыми художественными критериями, система, ориентированная не на действительность, не на жизнь народную, а на заданный схематический идеал, искусственно сконструированный маоистскими теоретиками.

Главный герой для этой схемы весьма показателен. В официальной коллективной статье шанхайской театральной группы герой охарактеризован как доминирующий над всей пьесой: «Сильные и четкие классовые чувства любви и ненависти, вооруженные идеями Мао Цзэ-дуна; могучая воля, устремленная к революционной борьбе, и величественные идеалы китайской и мировой революций; возвышенный дух отваги, бросающий вызов небожителям и стихиям, хладнокровный тонкий расчет как особенность характера — и все вытекающие отсюда второстепенные свойства, которые можно определить одной фразой: «В груди у него утреннее солнце»...»¹⁴.

Все обстоятельства жизни героического персонажа в произведении прямо и открыто подчинены единой задаче его возвеличивания. Все происходящее на сцене должно «оттенять его дух революционного оптимизма, революционного героизма и непреклонной героической воли к борьбе»¹⁵. Псевдоним «Красная стена» воодушевлен изображением войск. «Командиры храбры и дальновидны, — пишет он. — Бойцы полны энтузиазма и рвутся в бой, начальники и подчиненные между собой как родные, подобны рукам и ногам одного человека, боевых соратников вдохновляют чувства дружбы»¹⁶... Ни сучка, ни задоринки, ни пятнышка — все легко и просто, в бою — как на прогулке. Критик пишет, что такое «пролетарское» искусство должно «проникать за явления, глубоко изображать и объяснять сущность вещей и явлений, которую людям разглядеть нелегко»¹⁷. Вообще отношение «новой литературы и искусства» к реализму — большой вопрос для китайской критики и предмет особой озабоченности. Псевдониму «Красная стена» в своей

статье среди славословия не удалось избежать знаменательных признаний: «В революционной образцовой пьесе «Взятие горы Вэйхушань», — пишет он, — каждая мизансцена, каждый мотив строго основаны на реальной жизни, но жизнь, которую пьеса отражает, не есть обычная повседневная жизнь».

Здесь критик останавливается перед словом «идеал», которое он сам не решился произнести, но подобное идеализированное олеографическое изображение жизни следовало бы прямо назвать схемой и шаблоном. Возникает вопрос: а в чем же смысл существования пьесы? И если не «обычную повседневную жизнь», то что же изображает пьеса? И тут в статье приводится характерное заклинание: «Следуя революционному курсу председателя Мао в отношении литературы и искусства, посредством творческого метода сочетания революционного реализма и революционного романтизма пьеса создает славный образ пролетарского героя Ян Цзыжуна». Вот ради чего писалась пьеса: реальная, или повседневная, жизнь китайского народа для пьесы не нужна, она решает одну задачу создания образцового героя вне зависимости от повседневной. То есть реальной и живой китайской действительности.

Принципиальный разрыв с действительностью, с жизнью и реалистическими принципами ее отображения выступает как программный пункт в десятках статей. За основу искусства берется не действительность, а идеи, искусство поверяется не действительностью, а идеями.

Новое китайское искусство и литература имеют ярко выраженную идеалистическую основу. Они отошли не только от принципов социалистического реализма, но и от реализма вообще. Именно здесь пролегла грань между апологетами маоистского искусства и оппозицией в Китае. Нынешний официальный критик Синь Вэнь-гун приводит конкретный пример. При постановке пьесы «Красный фонарь» «критиканы», ссылаясь на Станиславского, старались, чтобы главный герой, рабочий Ли Юй-хэ, выглядел действительно похожим на рабочего в старом Китае, например ходил небритым и в рваной одежде. Для искусства реалистического тут нет ничего запретного. Иное дело в новом идеализированном искусстве. «Я вижу в этом крайнее извращение героического об-

¹⁴ «Жэньминь жибао» от 17 декабря 1969 года.

¹⁵ Там же.

¹⁶ «Жэньминь жибао» от 25 октября 1969 года.

¹⁷ «Гуаньмин жибао» от 6 октября 1969 года.

раза Ли Юй-хэ! — негодует Синь Вэнь-туэ. — Посмотрите! Выдающийся представитель рабочего класса Ли Юй-хэ, гордо вскинув голову и устремив взор вдаль, полный достоинства и отваги, в правой руке держа красный фонарь, широкими шагами выходит на сцену. Какой это величественный образ пролетарского героя! И какими близорукими и низкими выглядят в сравнении с ним Станиславский, его ученики и последыши!¹⁸

Итак, перед нами в лице нового маоистского героя не живой человек, не реалистический образ, не документальный портрет. Это идеал, принципиально не связанный ни с действительной жизнью китайского народа сейчас, ни с реальной исторической борьбой его за освобождение от гнета и эксплуатации в прошлом. Его функция — формовать себе подобных из живых людей — зрителей или читателей. Его цель — наглядная агитация, зрители же призваны, таким образом, к элементарнейшему участию — простому подражанию. Они должны получать со сцены предметные образцы для собственного поведения и с возможной точностью их усваивать. Ни для размышлений, ни для какого-либо духовного развития в системе новой культуры не остается места.

Часть китайских читателей, видимо под влиянием неустанной пропаганды, тоже начала воспринимать искусство лишь как изображение идеального, совершенного. Во всяком случае, уже упоминавшаяся нами Гао Хун рассказывает, что когда она поделилась со своими сослуживцами замыслом написать пьесу о метеорологах, ей сказали: «Пусть героиня в твоей пьесе не будет такой, как ты сама. Ты всю ночь вертелась в постели, потому что не сумела правильно предсказать грозу и дать сигнал тревоги. Твоя героиня должна уметь правильно предсказывать грозы и брать верх над стихиями»¹⁹.

Воздействие героев «образцовых» спектаклей и их место в системе маоистской пропаганды с годами крепнет. Недавно уже упоминавшийся нами Хай Бинь потребовал, чтобы сами китайские писатели брали пример именно с них, сами старались во всем походить на сценических маоистских героев.

«Надо постоянно проверять и перепро-

¹⁸ «Гуанмин жибао» от 16 октября 1969 года.

¹⁹ «Чайнинз литерачер», 1973, № 8, стр. 117.

верить себя, — поучает Хай Бинь китайских литераторов, — надо убеждаться, в чем именно и насколько расходятся твои мысли, высказывания и поступки с героическими персонажами; надо до конца освободиться от старой идеологии, и только тогда можно выправиться и крупными шагами пойти по новой дороге»²⁰.

Так возникает обратная связь: литераторы сами должны думать, высказываться и действовать точно так же, как ведут себя идеальные, не существующие в жизни шаблонные герои.

Отмечая очередной юбилей выступлений Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства в Яньани, китайская печать еще раз провозгласила официальный статут «образцовых» спектаклей: «Надо еще больше учиться опыту образцовых спектаклей... надо твердо и последовательно придерживаться творческого принципа «выдвижения трех»; с высокой революционной ответственностью, преисполнившись пролетарского воодушевления, упорно трудиться над созданием типических образов пролетарских героев, критиковать утверждение «положительное не подавит отрицательного» и прочие приемчики искажения положительных героев»²¹.

Здесь перед нами еще одно эстетическое открытие маоистских теоретиков: принцип «выдвижения трех», прилагаемый ныне ко всем родам и видам искусства, будь то роман, опера или фильм.

Китайская печать любит привлекать внимание читателя таинственными, на первый взгляд непонятными для непосвященных выражениями с числовыми показателями: эта старая традиция идет еще от китайской древности. На самом деле смысл возведенной в догму формулы «выдвижения трех» предельно прост: «Среди всех персонажей выдвигать на первый план положительных персонажи; среди положительных персонажей выдвигать на первый план героев; среди героев выдвигать на первый план главного героя»²².

Такая трехступенная система «выдвижения» может, по мысли китайского автора, сделать фильм еще более «возвышенным», чем театральный спектакль, поставить

²⁰ «Гуанмин жибао» от 11 августа 1973 года.

²¹ «Жэньминь жибао» от 23 мая 1973 года.

²² «Жэньминь жибао» от 26 октября 1971 года.

фильм «выше сцены». Китайские газеты совершенно серьезно писали о фильмах, снятых по «образцовым» спектаклям, о том, что только главный положительный герой имеет в них право на подачу крупным планом, а для героев отрицательных допустимы только общие планы, показывать их крупным планом нельзя, чтобы не совершить политическую ошибку и не впасть в русло «черной линии»...

Для новой культуры, создаваемой маоистами, весьма существенны еще два теоретических понятия: опытное поле и искусство пересадки.

«Опытным полем т. Цзян Цин» впервые была названа труппа пекинского театра цзинцзюй, куда Цзян Цин пришла в 1963 году ставить современные «образцовые спектакли»²³. Первые годы после «культурной революции» казалось, что не только одна труппа, но и весь китайский театр, наконец, вся культура Китая превратилась в нечто вроде «опытного поля», на котором проводились маоистские эксперименты. Однако десятилетие «революции в театре» в 1973 году не праздновалось, накануне X съезда КПК в китайских газетах в течение двух месяцев безудержно восхвалялась новая современная опера «Бой на равнине»: в июле—августе 1973 года этому спектаклю было посвящено только в центральной прессе несколько десятков статей.

4 июля 1973 года «Жэньминь жибао» полностью напечатала текст либретто оперы «Бой на равнине», напечатал его и журнал «Хунци» (№ 7 за 1973 год). Именно так поступали в годы «культурной революции» в отношении прежних «образцовых» спектаклей. Но времена не те, и в нынешней кампании была заметна разница. Для приличия над текстом либретто был указан автор — Чжан Юн-мэй, о «личных заслугах» Цзян Цин уже не говорилось ни слова... Но самое важное: среди пустопорожного бахвальства в помпезных статьях проскальзывают следы сомнений, колебаний и даже внутренней полемики. В газетных статьях к грубым звукам фанфар примешиваются оправдания: «Революционная современная опера цзинцзюй отнюдь не уничтожила основные качества цзинцзюй, а на основе традиций отбросила старое и создала новое. Революция в опере отнюдь не ликвидировала театр

²³ «Жэньминь жибао» от 26 мая 1968 года.

цзинцзюй, а спасла и воскресила цзинцзюй, развила цзинцзюй. Все ошибочные теоретические, обвиняющие или ставящие под сомнение пролетарскую революцию в литературе и искусстве за то, что она якобы отрицает традицию, не имеют под собой почвы»²⁴.

Эти сетования означают, что до сих пор, хотя прошел уже десяток лет, как Цзян Цин принялась «революционизировать» китайский театр, в Китае по-прежнему говорят об уничтожении и ликвидации национального театра и осуждают отрицание традиций. За эти доводы в свое время маоисты жестоко расправились с Чжоу Яном, Тянь Ханем и другими руководителями и творческими деятелями, не затрудняя себя полемикой, а просто навешивая на них ярлык «контрреволюции». И вот снова полемика, на этот раз в канун X съезда КПК. Перед нами налицо еще одно свидетельство разногласий и раздоров, показатель внутренней политической неустойчивости маоистского курса в Китае.

Очевидно, опытное поле принесло не те плоды, на которые рассчитывали маоистские экспериментаторы. Но где есть опытное поле, там не обойтись и без пересадки. В китайском написании даже иероглифы слова «пересадка» по форме связаны с садоводством, но применяется это понятие теперь в литературе и искусстве. Журнал «Хунци» торжественно объявил, что к тридцатилетнему юбилею выступлений Мао Цзэ-дуна в Яньани в Китае в совершенстве овладели методом пересадки в искусстве²⁵.

Пересадка на языке китайской прессы означает особый навык быстро и ловко переключать любое произведение, если оно снискало одобрение свыше, в любой другой жанр или вид искусства, поскольку уже санкционированный сюжет легче утверждать по всем инстанциям и меньше шансов пострадать под огнем очередной проработочной кампании. В деле пересадки в Китае действительно поднаторели, потому что каждую пересадку громко объявляют «очередной победой курса председателя Мао».

Например, был балет «Красный женский отряд» — из него изготовили одноименную оперу. По опере «Шацзябан» написали симфоническую музыку. Арии из оперы «Красный фонарь» составили концертную

²⁴ «Жэньминь жибао» от 2 августа 1973 года.

²⁵ «Хунци», 1972, № 3.

программу под фортепианный аккомпанемент. Недавно по опере «Взятие горы Вэйхушань» написали симфоническую музыку. Далее, все «образцовые» спектакли были сняты и существуют в виде фильмов-спектаклей, по ним специально сняты еще телефильмы. Выпущены книжки-картинки для детей и малограмотных — опять-таки на сюжеты все тех же «образцовых» спектаклей. И это еще далеко не все «пересадки», кроме них существуют и обыкновенные переработки, когда спектакль подгоняется под новые лозунги. Не удивительно, что на изданиях «образцовых» пьес точно указывается, что публикуется вариант от такого-то числа, месяца и года, чтобы не было сомнений в его «правильности».

Новое искусство маоистов, если условно согласиться так его именовать, выработало собственные понятия и критерии, перед ним стоят специфические проблемы вроде «пересадки» или «выдвижения трех», у него свое понимание авторства и, соответственно, творческой практики. Для подобного маоистского эксперимента потребовалось также отрицание основных понятий, связанных с творческим трудом. Не удивительно поэтому, что китайская печать начала систематическую кампанию против понятия вдохновения и литературного таланта.

Поводом для кампании послужил тот факт, что Линь Бяо в каком-то неназванном документе употребил слово «вдохновение» и сравнил его с «блеском молнии и искрой от кремня, которые вспыхивают и тут же исчезают»²⁶.

Повод для кампании призван лишь замаскировать суть дела: новое искусство маоистов не нуждается во вдохновении принципиально, никакие литературные таланты ему не нужны, поскольку талант в силу своей природы неизбежно направляется на осмысление современной окружающей его китайской действительности, а не на повторение одних и тех же догм. И вот появляется статья под симптоматичным заглавием «Критика ошибочного взгляда о необходимости «особой одаренности» для работы в литературе и искусстве»²⁷. Маоистский критик обвиняет своих врагов в том, что они постоянно утверждали, будто для «литературы и искусства нужен особый талант». Однако, при

всем своем воинствующем пафосе, китайский критик делает оговорку: «Мы вовсе не отрицаем гениальность. Так называемая гениальность — не что иное, как несколько более развитый ум, несколько более высокие способности. Вопрос о том, откуда берутся ум и способности». И далее критик подходит к механическому заключению, что признание самого существования таланта и одаренных людей «отдает позиции в литературе и искусстве в монопольное владение меньшинству — буржуазной духовной аристократии». Здесь китайский критик грубо передергивает: ведь не само по себе физическое существование одаренных, талантливых и гениальных людей создает «буржуазную духовную аристократию», а социальные условия эксплуататорского общества. Об этом еще в январе 1918 года говорил на Третьем Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»²⁸.

Далее китайский критик прибегает к демагогии, чтобы подвести теоретическую базу под преследования творческой интеллигенции в Китае. «В нашем социалистическом обществе, под руководством революционного курса председателя Мао, — заявляет критик, — приняты многочисленные эффективные мероприятия, которые в настоящее время постепенно сокращают различие между умственным и физическим трудом, так что рабочие и крестьяне могут заниматься философией, наукой, литературой и искусством, а работники философии и науки, деятели литературы и искусства могут заниматься трудом в промышленности и сельском хозяйстве». За этой гладкой, обтекаемой фразой стоят массовые преследования, невольное признание печальной действительности сегодняшнего Китая, когда работники философии и науки, деятели литературы и искусства как раз своим профессиональным трудом и не могут заниматься...

²⁶ «Гуанмин жибао» от 13 октября 1973 года.

²⁷ «Жэньминь жибао» от 16 мая 1972 года.

²⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 289.

Тема борьбы с вдохновением оказалась весьма актуальной, критик Синь Да-вэнь прямо потребовал: «Долой теорию вдохновения!.. Надо сорвать покровы с теории вдохновения и развеять ее ядовитый туман, тогда работники революционной литературы и искусства смогут преобразовать себя и сознательно вести творческую работу ради революционного дела»²⁹.

В 1973 году вдохновение стало символом преступности в глазах маоистов. Даже простое упоминание этого слова сделалось невозможным и вызывало вспышки гнева на страницах печати. «Русский буржуазный критик Белинский открыто (!) проповедовал, что вдохновение является источником всякого творчества», — уличает «Жэньминь жибао»³⁰.

Наконец, со статьей, предназначенной «до конца раскритиковать» вдохновение, выступил критик Цзе Шэн-вэнь³¹. Он утверждает, что признание вдохновения препятствует погружению в жизнь и участию в практической «борьбе», что вдохновение препятствует преобразованию мировоззрения в маоистском духе, а также «отрицает обучение работников литературы и искусства в процессе творчества и использование ими художественных приемов типизации, отрицает творческий метод соче-

тания революционного реализма и революционного романтизма».

Анализируя выступления Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства в написанной десять лет назад статье, советский критик Е. Сурков пришел к заключению, что «становится очевидной невозможность создания на этой основе каких бы то ни было художественных ценностей»³². И действительно, в Китае отвергают социалистический реализм и вдохновение, карают авторский «эгоизм», там процветают различные пересадки и переделки, выпускаются бригадным методом безличные стандартные романы, повести, рассказы и очерки, воспевают в стихах и песнях Мао Цзэ-дуна, но создать художественные ценности маоисты оказались не в состоянии. Догматическое теоретизирование остается пустоцветом на оголенной почве. Эксперимент с насаждением маоистской догмы был проведен с тотальной последовательностью и доскональностью, но доказал только одно: маоистский курс ведет к творческому бессилию, в тисках догмы нет места ни для литературы, ни для искусства в настоящем, серьезном смысле слова. «Революционный курс председателя Мао в отношении литературы и искусства» ведет в тупик — таков естественный вывод из судеб китайской культуры за последние десять лет.

²⁹ «Гуанмин жибао» от 10 августа 1972 года.

³⁰ «Жэньминь жибао» от 23 мая 1973 года.

³¹ «Гуанмин жибао» от 13 октября 1973 года.

³² Е. Сурков. Амплитуда спора. М. «Искусство». 1968, стр. 138.



К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина

СТ. РАССАДИН



НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости.

Пушкин—жене.

В первой сцене трагедии «Скупой рыцарь» Жид, ростовщик Соломон, так отвечает рыцарю Альберу, который просит денег, а взамен дает рыцарское слово:

Ваше слово,
Пока вы живы, много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (боже сохрани), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.

Метафорическое сравнение понадобилось не только для того, чтобы выразить бесполезность слова, хозяин которого умер. Это проявление ростовщического мировосприятия, его грубая материальность. Ведь единственная цена слова, которым кичится Альбер, для ростовщика состоит в том, что оно способно, подобно ключу, отпирать сундуки. Только и всего.

Однако дело не только в Соломоне. Подобное отношение к рыцарскому слову, то есть к чести, не шокирует и самого Альбера. Только что он, отчаиваясь вырвать у Жида деньги, возмущался: «Иль рыцарского слова тебе, собака, мало?» — но вот ростовщик ответил ему своим убийственным сравнением: слово — ключ, — и Альбер меняет тон: «Ужель отец меня переживет?» Это его единственная реакция на слова Соломона. Альбера поражает возможность умереть прежде отца, не успев воспользоваться его богатствами, а не бессилье честного рыцарского слова, не недоверие к нему.

Торгашеская психология ростовщика, чья профессия как бы символизирует новый, «железный» век, который много позже назовут веком буржуазии, — эта психология уже впитана и рыцарем, оплотом и символом отходящей феодальной эпохи.

Об этом сказало нам слово «ключ», единжды употребленное в первой сцене. Во второй оно употребляется дважды, и больше того — материализуется, превращается из понятия в вещь, которую держит в руках Барон, отпирательный свои сундуки:

Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.

Для маньяка-убийцы, с которым жестоко и бесстрашно сравнивает себя Барон, нож не орудие, с помощью которого тот добывает себе хлеб. Ножом маньяк добывает себе удовольствие, по-своему, по-звериному понимаемое им счастье; нож — живая часть его существа, орган наслаждения. Таковы же и ключи для Барона.

Даже образ собственной смерти страшен для него прежде всего тем, что связан с потерей ключей:

...Украл ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.

Рыцарская душа Барона поражена и отравлена силой власти ключа, и в парадоксальном сочетании «скупой рыцарь», где важны оба слова и важен контраст между

ду ними, победу суждено одержать все-таки слову «скупой». Это доказано и третьей, последней сценой.

Оговорив перед Герцогом своего сына, обвинив его в желании ограбить отца и услышав от Альбера: «Вы лжец», Барон сперва ведет себя в полном соответствии с истинно рыцарскими правилами. Он бросает сыну перчатку:

Так подыми ж, и меч нас рассуди!

Две наиглавнейшие эмблемы рыцарского состояния — перчатка, которую швыряют в лицо тому, кто задел честь, и меч, которым эту честь отстаивают, — торжествуют в предпоследней реплике Барона. Но последняя реплика такова:

Простите, государь...
Стоять я не могу... Мои колени
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?
Ключи, ключи мои!..

Умирая, рыцарь хватается за эмблему ростовщичества.

Бесхитростное и, так сказать, профессиональное сравнение дворянского слова с ключом, употребленное Жидом в первой сцене, обернулось в финале мрачным и сбывшимся пророчеством. Рыцарское отступило перед «буржуазным», булат вопреки стихотворению самого Пушкина спасовал перед золотом, да и то, что кажется достоянием не какой-то одной эпохи, а изначальным свойством человеческой природы — родственная связь между отцом и сыном, Бароном и Альбером, — свелось к корысти.

* * *

Всего одно слово — «ключ» — взято на пробу, и оно уже показало нам структуру, плоть, «состав» маленькой трагедии Пушкина, как малая доля воды, добытая из океанских глубин, говорит о составе массы океана. Такова пронизанность «Скупого рыцаря» мыслью, которую непременно хочется внушить нам Пушкин.

Проба обнажила и расстановку сил в драме по отношению к власти денег, к власти ключа. Альбер всего лишь вынужденно применился к этой власти. Ростовщик, человек дела, воспринимает ее соответственно — по-деловому, Барон, человек страсти, воспринимает ее чувственно.

...Уже первая фраза Альбера (и первая фраза трагедии) — словно бы его визитная карточка. «Во что бы то ни стало на турнире явлюсь я» — нам сразу ясна и при-

надлежность Альбера к определенному слову, и его стремление выполнять обязанности рыцаря и не упускать рыцарских прав. Однако тут же выясняется, что и то и другое зависит от оскорбительной и как будто бы посторонней причины. На турнир явиться не в чем и не на чем: пробит шлем, износилось платье, захромал конь.

С первых строк рыцарь Альбер попадает в положение Акакия Акакиевича Башмачкина: как тому нужна новая шинель, так Альберу нужен новый шлем.

Аналогия не просто внешняя: ведь от состояния шинели зависело самосознание гоголевского чиновника, которому уже невтерпех было сносить издевательства товарищей над «капотом», и самосознание Альбера зависит от его бедности. Его Иван — слуга, лакей, холоп! — и тот пытается пробудить в хозяине рыцарскую гордость, напоминая ему, как прекрасно отплатил он графу Делоржу за удар копьем в шлем; но Альбер упорно сворачивает все туда же:

А все ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,
А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.

Это лексикон не рыцаря, а торгаша: «не в убытке», «гроша ему не стоит», «покупать». И дело не только в лексиконе; чувства Альбера уже исковерканы бедностью, и, вспоминая о турнире, он сожалеет об одном: «Зачем с него не снял я шлема тут же!» Причем это не случайно вырвавшееся сожаление, не напраслина, которую можно возвести на самого себя сгоряча. Это то, на что Альбер и вправду вполне способен: «А снял бы я, когда б не было стыдно мне дам и герцога».

Только стыд перед собравшимися, а отнюдь не внутренняя гордость удержали Альбера от низменного, мещанского поступка. Стало быть, в душе он уже не рыцарь. Даже то блистательное отмщение Делоржу, о котором вспоминает утешающий барина слуга, имело вовсе не рыцарскую причину:

Взбесился я за поврежденный шлем;
Геройству что виною было? — скупость.

Сам Альбер сознает это с горечью.

В пушкинской драме «Сцены из рыцарских времен» герой ее, мещанин Франц, мечтающий о том, чтобы пробиться в сословие рыцарей, тоскует: «...И никогда не подыму я пыли на турнире, никогда героль-

ды не возгласят моего имени, презренного мещанского имени, никогда Клотильда не ахнет...»

То, о чем безнадежно мечтал Франц, вполне доступно Альберу; и бедность не помеха ни восхищенно-испуганному вскрику Клотильды, ни здравицам герольдов:

Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал,
А я с открытой головой пришпорил
Эмира моего, помчался вихрем
И бросил графа на двадцать шагов,
Как маленького пажика; как все дамы
Привстали с мест, когда сама Клотильда,
Закрыв лицо, невольно закричала,
И славили герольды мой удар.—
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!

Оба персонажа, и Франц и Альбер, остро ощущают свою неполноценность. Франц — общественную, Альбер — душевную. Положение Альбера завидно и недостижимо для Франца, а для самого Альбера все обесценено оттого, что у него нет денег. Франц наивно тянется к рыцарям, не понимая, что даже в случае удачи ему суждено быть лишь мещанином во дворянстве; Альбер оказывается дворянином в мещанстве. Стыдное желание снять с Делоржа его шлем обнажает нелепый парадокс, рабом которого стал Альбер: чтобы почувствовать себя полноценным рыцарем, чтобы вернуть себе достойное место в дворянском обществе, нужно дать волю мещанским инстинктам.

В пушкинском плане окончания «Сцен из рыцарских времен» один из персонажей-рыцарей охарактеризован как «воплощенная посредственность». Таков и Альбер из «Скупого рыцаря». Он был бы нормальным, полноценным и заурядным рыцарем, если бы тому способствовало его имущественное положение и характер эпохи, — но наступает век капитала, а денег у Альбера нет, и вот его заурядность, как ей и положено, оборачивается моральной нестойкостью. Он не выдержал испытания бедностью и унижением.

Это испытание с честью выдержал другой пушкинский герой. Не бедный рыцарь Альбер, а «рыцарь бедный», персонаж гениального стихотворения.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Только первая строка применима и к Альберу. Все остальное, и в особенности

строка четвертая, к нему отношения не имеет.

Герой стихотворения, бедный и не гонимый за богатством, добровольно отказавшийся от соблазнов, которых так жаждет Альбер, сохранил свое сердце высоким, а не измельчавшим, как сердце Альбера. Конечно, он исключительная личность. Альбер обычен, он как все; «рыцарь бедный» — феномен. И, как всякий феномен, нуждается в индивидуальном объяснении его исключительности.

Пушкин это объяснение и дает. Герой стихотворения выделен среди прочих своей страстной, земной любовью к неземной женщине, к богородице, и этот род высокого помешательства (сродни безумию Дон Кихота), это состояние высочайшего духовного напряжения удержало и укрепило его личность в первоначальной цельности.

«Рыцарь бедный» — феномен. Альбер — «воплощенная посредственность». Он страдает от безденежья, но, разбогатев, несомненно, будет счастлив, и собственное духовное измельчание вряд ли станет доставлять ему боль. К нему, вероятно, возвратится безмятежное ощущение собственной полноценности, он обретет рыцарские добродетели, станет добрым и благородным — до тех пор, пока снова не обнищает и пока его нравственность не подвергнется новым испытаниям.

Заурядность Альбера широко показана Пушкиным; в частности, она выражена и столкновением двух взглядов на Барона — сыновнего и пушкинского.

Барон появляется только во второй сцене, но в первой о нем говорят много и подробно. И его первоначальный образ, данный через восприятие Альбера, традиционен банален; для сына Барон — обычный скупердяй, собака на сене, заедающая чужую жизнь. Альбер рисует отца жалким и ничтожным, словарь его монолога уничижителен, и страсть отца к деньгам изображена самым низменным образом:

О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, все бегаёт да лает.

«Псом», «собакой» привычно именуется Альбер презираемого им ростовщика Соломона; как видим, и отец для него пес, существо низшее. Хуже того: пытаюсь найти слова унижения, достойные, по мнению

Лишь зазочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится...

Деньги дают Барону все, на что он уже не имеет права помимо них, на что у него без них не достало бы ни телесных сил, ни страстей. И он сознает это.

Маркс писал, говоря об отчуждающей силе денег: «Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила... Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила сводится на нет деньгами».

По этому закону отныне будут бездумно и привольно жить нормальные буржуа, эксплуатируя объективную силу денег. Но философ Барон живет не бездумно, не слепо. Мощный ум подсказывает ему опасность, которая может подстергать здесь нормального буржуа, и он эту опасность хочет предупредить. Он понимает, что могущество и свобода, которые ему дают деньги, могут быть легко потеряны, обесценены, если угаданный им закон использовать утилитарно. То есть осуществлять то, что сказано Марксом: «Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину». В таком случае можно вскоре снова оказаться в плену собственных немощей, собственной неспособности пользоваться земными благами.

Вот почему Барон отказывается вульгарно покупать. И картина обладания всем миром не случайно начинается словами: «Лишь зазочу...» Он может захотеть, но не хочет — это особенно бесит Альбера, отказывающегося понимать отца.

Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания...

Именно поэтому Барон живет жизнью Дон Гуана или Сальери, живет не умозрительно, а страстно, не рискуя в то же время столкнуться с печальной реальностью (так ему, во всяком случае, кажется), не обделяя полноты своего бытия возможностями старческого тела. Больше того: он словно бы предусмотрел все опасности, подстерегающие «настоящих» Гуана и Сальери, опасности земные.

«Так я...» — сравнивает он собственное свидание с золотом и любовное свидание

«молодого повесы». Но о предмете любви этого повесы сказано с презрением: «С какой-нибудь развратницей лукавой или душой, им обманутой». Предмет любви самого Барона не лукав; в его верности Барон убежден. И чувства, близкие чувствам убийцы Сальери («и больно, и приятно»), он испытывает, не совершая убийства собственноручно. Ключ все-таки не нож, он лишь дает такое же удовлетворение.

Да и крах царя Бориса и подобных ему властителей Барон как будто тоже предусмотрел. Судьба Годунова зависит от «бессмысленной черни», которая «изменчива, мятежна, суеверна». Судьба Барона вверена куда более надежным подданным — деньгам. И вот Борис, достигнув «высшей власти» и еще ничего не зная о явлении Самозванца, уже признается: «Но счастья нет моей душе». Барон же вознагражден своей «державой»: «В ней счастье, в ней честь моя и слава!»

И надежность его подданных как раз в отсутствии характера, в том, что деньги — это условные знаки, с помощью которых люди договорились определять стоимость, и они только дают возможность приобрести блага жизни, сами по себе этими благами не являясь. Барон захотел — и сумел — задержаться на грани, увидев счастье именно в возможности наслаждения, а не в наслаждении: «...с меня довольно сего сознания».

Конечно, союзница мудрости Барона — остывшая старческая кровь, и все же нельзя не подивиться его уму, который в самой абстрагирующей сути денег разглядел возможность получить не утилитарную, не гедоническую, а духовную освобожденность от разнообразных зависимостей.

Альбер ошибался, считая, что Барон служит деньгам, как цепной пес; для его отца деньги не цель, а средство. Цель же его вполне соответствует идеалу рыцаря: это свобода, независимость, достоинство и гордость. Причем именно деньги, которые возвели Барона на его высоты, могли дать полную, неурезанную свободу. Таковую, какой в реальных обстоятельствах не было и быть не могло, — не только в условиях грядущей победы буржуа, но и при «чистом» феодализме.

На своем «гордом холме», образованном богатствами, Барон — рыцарь в смысле идеальном для всякого реального рыцаря. Он осуществил мечту, недоступную, хотя и

желанную для любого из его собратьев. Рыцарское состояние предстает перед ним только в свете своих достоинств, без каких-либо недостатков. У Барона есть права и нет обязанностей. Он только созерцает и ни для кого не является вассалом: «Мне все послушно, я же — ничему...»

Это абсолютная свобода.

Но, идя к своим рыцарским высотам, Барон шагает через кровь.

Как известно, император Веспасиан, додумавшийся до налога на отхожие места, сказал своему сыну Титу, шокированному отцовским решением: «Деньги не пахнут». Это одна из первых и гениальных формул политэкономии, тогда еще не существовавшей; Веспасиан выразил именно условную, абстрактную суть денег.

Однако что касается Барона, то его деньги пахнут. Он не капиталист или рантье будущего, который может не знать и не думать о том, чья кровь и пот реализовались в его доходы. Барону приходится переступать через конкретные страдания конкретных людей.

Его опьянение собственной свободой и властью на «гордом холме» можно сравнить, прибегая к современным аналогиям, с самочувствием пресловутого «человека у кнопки», которому кружит голову сама возможность уничтожить или пощадить мир. Но дорогу к своему «холму» Барон прокладывает, как рукопашный боец. Он различает запах каждого дублона:

Тут есть один дублон старинный... вот он. Нынче

Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя...
А этот? этот мне принес Тибо —
Где было взять ему, ленивцу, плуту?
Украл, конечно; или, может быть,
Там, на большой дороге, ночью, в роще...

Здесь Барон неотличим от Соломона, человека древней профессии (ростовщичеством занимались еще египтяне, древние греки и римляне), но одновременно человека, за которым недалекое будущее.

Три персонажа «Скупого рыцаря» (я не говорю о Герцоге, чья роль сравнительно служебна) представляют три варианта отношения с эпохой. Альбер в наибольшей степени человек прошлого. Новая сила, золото, одолевшее булат, ему нужна только для того, чтобы сохранить иллюзию рыцарской полноценности. Он должен тратить деньги, чтобы в мире побеждающих бур-

жу чувствовать свою призрачную дворянскую свободу.

Ростовщик, напротив, при всей традиционности своей профессии, человек современный. Время работает на него, и он добывает свою независимость от дворянчиков вроде Альбера тем, что в отличие от них копит деньги. У него нет никаких иллюзий, и в этом своего рода цельность Соломона, его ироническая и циническая свобода. В разговоре с Альбером, когда тот кидается от пренебрежительности к заискиванию, он не изменяет себе, не обращая внимания на оскорбления (пока что — ваша сила!) и не отступая от своих целей (но она переходит к нам!).

Таковы Альбер и Соломон, фигуры контрастные. В Бароне если не сами эти герои, то олицетворенные ими состояния сошлись вместе. Как и Альбер, Барон — человек прошлого, он рыцарь. Но как Соломон, он скупой, он копит деньги и ищет свою свободу в собирании, а не в тратах.

В этой контрастности, в соединении, казалось, несоединимого — историческая новизна фигуры Барона. Его ростовщическая профессия нова для него, да и не только для него, но для всего его сословия. Барон — христианин. А в средние века, в расцвет феодализма, богословская литература настойчиво проводила мысль о недопустимости взимания процентов. Богословие поддерживалось и законами: за ростовщический процент грозило отлучение от церкви, запрет христианского погребения, то есть кары тяжкие.

Соломону как нехристианину они не страшны, ему не нужно переступать через запреты. Барон через них переступает. И в этом смысле на его стороне новая эпоха: развитие товарного хозяйства уже размывает старую мораль, отменяет старые законы.

Барон, таким образом, очевиднее всех других персонажей трагедии, очевиднее Альбера и Жида говорит о наступлении новых, буржуазных, времен. В отличие от сына и от Соломона он меняется. Но вот что удивительно: сами эти перемены нужны ему для того, чтобы остаться прежним.

Именно так. Все действия Барона — это уловка рыцаря сохранить свои привилегии, свое самосознание, свою эпоху с помощью средств, позаимствованных у новой эпохи.

Чистоту своего дворянского меча Барон оберегает с помощью золота. И наоборот:

При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат...

Только в их союзе видит спасение «скупо-пый рыцарь». И гибнет, когда вдруг понимает, что средства победили цель, что цель переродилась.

Третья сцена трагедии, действие которой происходит в замке Герцога, является как бы непосредственным откликом на конец первой сцены — там Альбер принимал решение идти к Герцогу с жалобой на Барона: «Пускай отца заставят меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье»; изложением этой жалобы и открывается третья сцена. И происходит странная вещь: Барон, также явившийся к Герцогу и пытающийся очернить своего «самозванца», ненавистного наследника, ведет себя так, словно и в помине не было величавой второй сцены, словно единственное, что мы знаем о Бароне, — презрительный рассказ о нем его сына: «алжирский раб», «пес цепной», «всю ночь не спит, все бегаёт да лает».

Барон будто нарочно хочет подтвердить правоту этих уничижительных слов: он клеветает на сына, лжет много, путано и нелепо. Сперва объясняет свою скупость тем, что Альбер якобы «не любит шумной, светской жизни»; потом, наоборот, упрекает его в том, что «он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких»; когда и это не действует на Герцога, Барон говорит, что Альбер хотел его убить и обокрасть. То есть он ведет себя точно так же, как вел бы себя, допустим, беззастенчивый ростовщик Соломон. Высокая цель заслонена низменными средствами.

И только когда подслушавший все это Альбер кричит: «Барон, вы лжете», его отец вспоминает о своем рыцарском достоинстве:

Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

С точки зрения нормальной логики эта реплика бессмысленна. Барон и сам прекрасно знает, что лгал, знает, что ложь постыдна, знает, что сын прав, обвиняя его во лжи, — к чему же тогда спрашивать: «...иль уж не рыцарь я?» Не рыцарское это дело — ложь. Да и разве самое страшное в том, что Альбер посмел сказать об этом вслух, а не в том, что Барон пал так низко?

Но именно алогичность реплики показывает, с каким грехотом рассыпается возведенный Бароном «гордый холм». Именно нелепость ее, которой не хочет замечать Барон, говорит, что его попытка скрестить два века, спасти прошлое с помощью настоящего, безнадежна. Логика обернулась абсурдом, чем и доказала свою беспочвенность.

Выяснилось, что Барону, как и зауряднейшему Альберу, важнее не то, что происходит в его душе и с его душой, а то, как выглядит его рыцарство со стороны, «перед нашим государем».

Алогичен, нелеп, чудовищен и поступок Барона, следующий за репликой, как нелеп и ответный поступок Альбера. Отец бросает сыну перчатку, и тот ее подымает — «поспешно», как отмечает в ремарке Пушкин. И при этом говорит истине кухонную фразу: «Благодарю. Вот первый дар отца», — то есть и в этот трагический момент извист, напоминая об отцовской скупости. Эта свара чудовищна именно с точки зрения рыцарской морали, которая строго блюла фамильную чистоту, чистоту рода, чистоту крови, — вот отчего в такой ужас приходит Герцог, хранитель рыцарских обычаев; ему отвратительны оба: «Молчите: ты, безумец, и ты, тигренок!..» Классическая рыцарская ситуация — это ситуация корнелевского «Сида» (которым, кстати сказать, восхищался Пушкин): сын немедленно вступает за оскорбленного отца и убивает обидчика, хотя тот — отец его возлюбленной. И та, в свою очередь, считает своим долгом требовать смерти для любимого.

Классицист Корнель, правда, заставляет Сида и Химену примириться, победить в себе феодальный обычай ради идеи государственного блага — государственного в новом, абсолютистском смысле. Рыцарская вольница вынуждена смириться. Но, смиряясь, она не распадается и не деградирует, а передает государству все лучшее, что имеет: свою верность, честь, достоинство. Просто отныне эти качества рационализированы, целенаправлены, объединены.

В «Скупом рыцаре» все наоборот. Отец и сын не вступаются друг за друга, а поднимают один на другого руку. Государство — в лице Герцога — бессильно примирить их: ведь герцогский запрет не снимает обоюдной ненависти. И торжествует не рационализм, а абсурд. Не объединение, а распад.

Рыцарского чувства Барону хватает только на то, чтобы умереть от потрясения, от оскорблений, которые ничуть не тронули бы Соломона, человека буржуазного будущего. Да и то, умирая, Барон трижды взывает не к «честному булату», а к золоту: «Где ключи? Ключи, ключи мои!..» Умирает он потому, что еще рыцарь, но ведет себя при этом как скупой.

Финальное падение Барона страшнее, чем падение Альбера. Это в прямом смысле падение; Барон падает со своего «гордого холма», с недосыгаемой высоты, на которую он себя возвел. Что до Альбера, то он каким был в начале трагедии, таким и остается в финале. Он уже не имеет права стать героем трагическим. Барон это горькое право заслужил.

Смерть его психологически оправданна. Слишком много потрясений свалилось на старика: собственная низость, вдруг ясно осознанная; презрение сына; гнев Герцога и справедливость этого гнева; гибель гармонии, которая мнилась Барону на «гордом холме». Однако конец скупого рыцаря — факт не только художественно-психологический, но исторический: вместе с ним гибнет надежда на союз двух веков, на сохранение дворянского мира.

«Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть...» (Баратынский).

Все это было для Пушкина предметом мучительных и постоянных размышлений.

* * *

...В 1832—1833 годах в неоконченной поэме «Езерский» Пушкин с грустью писал:

Мне жаль, что сих родов боярских
Вледнеет блеск и ниннет дух.
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит шут Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Теряет грамоты царей
Как старый сбор календарей.
Что исторические звуки
Нам стали чужды, что проста
Из бар мы лезем в tiers-état,
Хоть нищи будут наши внуки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

Сам Пушкин никак не хотел быть «ветреным боярином», теряющим царские грамоты; в «Моей родословной», писавшейся двумя годами раньше «Езерского», он говорил с достоинством:

Под гербовой моей печатью
Я киву грамот схоронил...

«Схоронил», то есть не кичусь грамотами, но и не теряю их. Помню о прошлом — отечественном и собственном: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

И если в «Моей родословной», отвечающей нападкам «Фиглярина» на пушкинских предков, Пушкин со смиренным сарказмом именуется себя «русским мещанином», представителем «tiers-état», «третьего сословия», то лишь потому, что временщики и выскочки оттеснили пушкинский род в сторону, а тягаться с ними Пушкину не пристало: «И не якшаюсь с новой знатью...»

Как известно, Пушкин настойчиво подчеркивал забытые заслуги своих предков перед Россией. Например, в той же «Родословной» повторял: «Водились Пушкины с царями... Бывало, нами дорожили...» Или заставлял царя Бориса особо выделять их среди бояр: «Противен мне род Пушкиных мятежный». Или просто выводил Пушкиных на первый план истории, как он сделал это с Афанасием и Гаврилой Пушкиными в «Борисе Годунове».

Известно и то, что он порою, как говорится, выдавал желаемое за действительное.

Советский историк С. Б. Веселовский писал в прекрасной работе «Род и предки А. С. Пушкина в истории», что Пушкин ошибался, думая, будто род его отличался «мятежностью» и знатностью на протяжении всей своей истории. Гаврила Пушкин был скорее ловким человеком, чем опасным смутьяном, а Иван Грозный, «гнев венчанный», пощадил Пушкиных просто напросто потому, что они не были на виду: половина их при Грозном служила даже не в дворянах, а в городских детях боярских, а это, говорит Веселовский, для «родовитых людей было большой „потерькой чести“».

Что же лежит в основе этих добросовестных заблуждений?

Веселовский считал, что дело было в общей нехватке исторических сведений:

«А. С. Пушкин очень интересовался вопросом об исторических судьбах русской «аристократии». За неимением фактических данных он пытался осветить его при помощи сравнения привилегированных сословий Руси и государств Западной Европы. Наше боярство обладало в средние века большими привилегиями и боль-

шими земельными богатствами, но не породило аристократии, привилегированного сословия, ограничивающего власть монарха. В самом деле, недаром князата и бояре уже в XV веке в своих челобитных именовали себя холопами, то есть как бы рабами великого князя».

Несомненно, историк прав. И в то же время была тут еще одна — субъективная — причина и еще одна аналогия, возможно невольная: Пушкин сравнивал старое боярство не только с аристократией Запада, но с положением и настроениями современного ему дворянства.

А оно в ту пору переживало значительнейший кризис.

Герцен так определял «большую перемену» в общественном мнении России после 1812 года: «В обществе стали часто распространяться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей».

То был важный симптом внутреннего (да и внешнего) разобщения вчера еще относительно единого класса — дворян. Разобщения тем более естественного, что принесенная с войны «французская болезнь» (выражение Вяземского) лишь обострила уже давно возникшее противоречие между потомственными дворянами и «новой знатью», жалованным дворянством, которое возникало из небытия и спешило пользоваться прихотливой милостью царей.

Так, говорит Пушкин, произошло «совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа». А противостоять новой знати могло, по мысли его, дворянство потомственное.

«Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом», — писал Пушкин в незаконченных заметках «О дворянстве», над которыми работал примерно в то же время, что и над поэмой «Езерский».

В тех же заметках он не отделял права дворян, гарантированные им потомственностью, от обязанностей. Привилегии истолковывались как возможность наилучшим образом исполнить долг перед обществом:

«Что такое дворянство? потомственное сословие народа высшее, т. е. награжден-

ное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целью? с целью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами...

Чему учиться дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».

Точнее, вероятно, было бы сказать — «должно учиться»: отпрыски старинных родов все более вытеснялись фаворитами и наследниками фаворитов, вытеснялись тем безнадежнее, что самодержавию вовсе не были нужны «мощные защитники» народа, о которых заботился Пушкин, — ему были нужны холопы. А главное, дело было не только в намерениях трона, но в глубинном процессе разорения и расслоения старого дворянства перед лицом буржуазного прогресса.

Поэтому идеал, нарисованный Пушкиным, был неосуществим.

Была, однако, и еще одна причина его недостижимости. Пушкин надеялся обеспечить древней гарантией потомственности те достоинства дворянства, которые были в значительной степени новоприобретенными (вспомним слова Герцена) или, во всяком случае, обостренными пробуждением общественного самосознания после двенадцатого года. Больше того. «Рыцарские чувства чести и личного достоинства», обращение к искательству и холопству — те благородные качества, которые ценил Пушкин в потомках старых родов (щедро оделяя этими прекрасными качествами и предков), во многом потому-то и пробуждались с такой очевидностью, что родовые дворяне, отодвигаемые на второй план, теряя силу, ненавидели победителей, а вместе с ними их низменные качества. То чувство личного достоинства, о пробуждении которого сказал Герцен, было и защитным, так сказать полемическим. Культивирование «независимости... благородства (чести вообще)» было, помимо прочего, гордым, но, увы, вынужденным ответом унижаемого дворянства.

Короче говоря, светлый образ дворян начала века, создаваемый Пушкиным, вопреки его уверенности не был порождением некоей исторической традиции боярства, якобы отличавшегося гордостью и «мятежностью». Не имел он, к несчастью

для дворян, и будущего. Будущее было за «новой знатью», все более капитализирующейся.

Пушкин не мог не видеть этого, но тем менее хотел он мириться с беспощадной тенденцией. Его государственное мышление, его заботы о благе государства (которые раздражали царя, считавшего себя монополистом заботы о государстве) заставляли отстаивать цельность и нерушимость того сословия, которое имеет хотя бы «гарантию независимости», пусть и не абсолютную...

В 1832 году в России было учреждено звание потомственного почетного гражданина — для особенно заслуженных лиц купеческого и иных низших сословий. Оно должно было открывать людям образованным и богатым выход в сословие, свободное от телесных наказаний, от рекрутчины и подушной подати.

Вот об этой-то реформе — несомненно, прогрессивной, как и всякая уступка феодального государства «третьему сословию», — у Пушкина состоялся спор с великим князем Михаилом Павловичем, с которым он встретился «у Хитровой», то есть у Елизаветы Михайловны Хитрово. В пушкинском дневнике сохранилась запись от 22 декабря 1834 года: «Потом разговаривались о дворянстве. Великий князь был противу постановления о почетном гражданстве...»

Осмелился на полуфразе прервать пушкинскую запись: почему же великий князь был «противу» этой демократической уступки? По-видимому, она раздражала его аристократический гонор?

Оказывается, ничего подобного. Наоборот, Михаил Павлович считал, что уступка недостаточна: «...зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers-état, сию вечную стихию мятежей и оппозиции?»

Что же отвечал великому князю Пушкин?

«Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступить из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством. Что касается до tiers-état, что же значит наше старинное дво-

рянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

Странная, казалось бы, картина. Великий князь выступает за демократизацию дворянства, он хочет пополнить его за счет «третьего сословия», а великий поэт словно бы брызжит и ретроградствует.

Но самому Пушкину ясен был парадоксальный комизм этого спора. Недаром он заключил спор шуткой: «Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравниатели», — которую Михаил Павлович охотно подхватил: «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы!..» Хотя на самом-то деле оба, Михаил Романов и Александр Пушкин, оставались на своих местах. Пушкин ратовал за сохранение того сословия, которое имеет гарантию своей независимости от тирании. Романов стоял за доступность дворянского сословия потому, что в таком случае о независимости и речи быть не могло: новоиспеченные дворяне всем были бы обязаны непосредственно властям.

Парадокс спора «у Хитровой» отзывался и в литературе, где «демократы» Булагин и Полевой травили «аристократов» Пушкина, Вяземского и Дельвига. Холопы обвиняли оппозиционеров в боярской кичливости.

Отстаивание потомственного дворянства (и связанная с этим идеализация старинных родов, противопоставленных выскочкам, временщикам, холопам) было формой оппозиции.

Правительство это понимало. Не зря оно по мере сил отдавало предпочтение отпрыскам новых родов.

Любопытна в этом отношении история первого, пушкинского выпуска царско-сельского лица, создание которого было результатом одного из либеральных порывов Александра I и — по замыслу — должно было дать власти одаренных и мыслящих советников. Постановление о лице так и определяло его цель: «Образование юношества, особенно предназначенного к важным частям государственной службы».

Лицей был обязан учить как раз тем

достоинствам дворянина, о которых писал Пушкин: «Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)». Было объявлено, что он будет единственным закрытым учебным заведением России, в котором запрещены телесные наказания, а это с первых шагов оберегало личное достоинство лицеиста. Александр даже намеревался воспитать в лицее своих братьев Николая и Михаила; это, правда, не осуществилось, но само намерение говорило о многом. Отношения одноклассников мало располагали бы к холопству, естественнее было бы чувство равенства.

По правилам приема в лицей могли быть зачислены лишь те, кто занесен в пятую и шестую части родословных книг. То есть отпрыски родов, отмеченных титулами, и древних дворянских родов. Родовитость была вступительным цензом.

Однако что вышло? Не говоря о том, что сам лицей постепенно деградировал (так что когда туда поступил двенадцатилетний Миша Салтыков, от прежнего духа и следа не осталось; писатель Щедрин впоследствии никак не мог назвать Царское Село своим единственным «отечеством»), — не говоря об этом, и судьба воспитанников лицея складывалась не так, как предполагалось. Из тридцати лицеистов золотого пушкинского выпуска к «важным частям государственной службы» добрались только двое: Горчаков, кончивший жизнь государственным канцлером (высший чин в России), и отчасти Корф. Прочие остались на третьих и четвертых ролях, несмотря на то, что лицей был богат дарованиями. Вернее, не несмотря, а благодаря тому.

Правда, к старости были назначены сенаторами Матюшкин и Яковлев, но это было скорее почетной наградой за труды, а не реальным допуском к управлению государством. Да такой возможности сенат — законодательное учреждение в неконституционном государстве — и не давал.

Мало того: первый выпуск лицея дал государству вечного возмутителя спокойствия — великого поэта и мелкого чиновника «десятого класса Александра Пушкина», и трех врагов самодержавия — декабристов Пуштина и Кюхельбекера, а также графа Сильвера Броглио, участвовавшего в революционном восстании в Пьемонте и, по слухам, погибшего за освобождение Греции.

Вст каким образом проявлялись «рыцарские чувства чести и личного достоинства» (Герцен), противостоящие «совершенному отсутствию чести и честности в высшем классе народа» (Пушкин).

«Так разобились для молодой России понятие чести с понятием служения царю. Честь стала заполняться новым содержанием — служение не царю, а род и не...»³.

Автор этих слов М. В. Нечкина вспоминает в связи с ними пересказанный Н. Лорером эпизод допроса Николаем I братьев Раевских. Их обвиняли в том, что они, зная о декабристском заговоре, не донесли..

«Где же ваша присяга?» — спросил царь.

И услышал в ответ: «Государь! Честь дороже присяги».

Так мог бы сказать и Пушкин. Да и не только мог, но сказал.

Марина Цветаева увидела «жутко автобиографический элемент» в диалоге Пугачева и Гринева:

«Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли ты по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — ответил я. — Сам знаешь, не моя воля: велют идти против тебя — пойду, делать нечего».

Цветаева права, это очень похоже на знаменитый разговор Николая с Пушкиным:

— Где ты был бы 14 декабря, если бы ты был в городе?

— На Сенатской площади, ваше величество!

Сходство несомненно, но как переменялось представление о чести! «Не моя воля» — и моя воля. Моя честь, которая дороже присяги.

Да, Пушкин был не вполне историчен, когда видел в средневековом русском боярстве, именовавшем себя холопами государей, традицию независимости по отношению к тирании или когда романтизировал собственных предков, создавая нечто вроде рыцарской легенды о «суровом» и «мятежном» роде, якобы выступавшем к тому же на первых ролях. Может быть, отчасти это было потому, что для родового дворянина начала XIX столетия история была в некотором смысле семейным делом: ее творили в прошлом или, по крайней мере, в ней представлялись люди, прямые потомки которых Пушкину были

³ М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы, М, 1951, стр. 288.

близко знакомы,— так отчего же и его предкам не выйти на авансцену истории? Может быть, дело было и в том, что поэту вообще нужны реальные корни, нужна родословная, и если она его не вполне устраивает, он может придумать или полупридумать ее, как позже Лермонтов полупридумывал романтических предков, то шотландца Лермонта, то испанца Лерму.

Главным, однако, для Пушкина было утверждение в обществе того, без чего, казалось ему, жить невозможно: личного достоинства, независимости. Этим проникнуто и государственное, и частное, и литературное самосознание Пушкина.

Но «гарантия независимости» оказывалась непрочной. Ведь внутренняя независимость Пушкина определялась в первую очередь вовсе не родовитостью его; происхождение призывалось на помощь, чтобы установить равновесие между независимостью внутренней и внешней, чтобы добиться не самоуважения (оно, слава богу, зависело от более значительных и менее случайных причин), а уважения в глазах государства. Но равновесия не было.

Достоинство и гордость защищают с такой яростью лишь тогда, когда на них посягают — и постоянно. В пору, когда звание литератора еще не обеспечивало независимости, а звание родового дворянина уже не обеспечивало, когда все решали богатство и чины, в эту пору русский гений, имевший несчастье быть небогатым помещиком и коллежским секретарем, не мог не ощущать своей межеумочности.

Чем выше и благороднее было его чувство чести, тем меньше желала его признавать, тем беззащитнее оказывался Пушкин перед обществом самодержавной России.

Невольником чести гениально назвал Пушкина юноша Лермонтов. И неволя эта — тяжелейшая.

В 1820 году, когда Пушкин был переведен к Инзову, кто-то распустил слух, будто его высекли в тайной полиции. Гнев Пушкина был отчаянным, он едва не натворил серьезных бед, о чем писал пять лет спустя в неотправленном письме к императору Александру:

«...Разнесся слух, что я был вызван в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным перед светом, я потерялся, дрался — мне было 20 лет! Я размышлял, не приступить ли мне к самоубийству или... Но в первом случае я сам бы

способствовал к укреплению слуха, который меня бесчестил, а во втором я не смысывал никакой обиды, потому что обиды не было: я только совершал преступление и приносил жертву общественному мнению, которое презирал... Таковы были мои размышления; я сообщил их одному другу, который вполне разделял мой взгляд. Он советовал мне начать попытки оправдания перед правительством: я понял, что это бесполезно. Тогда я решился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и в моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною как с преступником. Я жаждал Сибири как восстановления чести».

Конечно, вовсе не исключено, что Пушкин намеренно делал попытку показать царю, будто его дерзкие сочинения были спровоцированы самим обществом. Тем более что в письме содержалось и такое: «Я был глубоко тронут великодушными мерами правительства относительно меня, которые окончательно уничтожили смешную клевету...» Но само воспоминание об оскорбленной чести так воспламенило Пушкина (через пять-то лет!), что даже по стилю письмо резко выделяется среди прочих пушкинских писем.

Чувство собственного достоинства, чувство личной чести, сознававшееся особенно остро оттого, что было в ту пору новоприобретенным, руководило героями 14 декабря. И оно же стало двигателем тех, кто хотел и мог быть внутренне независимым; проявления этого чувства были разными, но стимул — одним.

Оно заставило Пушкина написать это яростное, отчаянное и полужантасическое письмо (ибо не все в нем согласуется с фактами). Оно же толкнуло его к барьеру — защищать свою честь и честь жены.

Все это было вопросом и личного самощущения Пушкина, определенного особенностями положения и судьбы. Но и общим вопросом тоже. Пушкин уловил и воплотил одну из основных перемен в жизни целой эпохи.

Трещина, как обычно, прошла через сердце поэта...

Блок говорил в речи о Пушкине, что на поэта, «сына гармонии», возложены три дела: «...во-первых — освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих —

внести эту гармонию во внешний мир». Совершая два первых дела, поэт зависим только от себя самого. Но едва он начинает совершать третье, на его свободу посягают: «Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью».

Это изначальная трудность искусства, но как важно, что в одном из своих знаменитых стихотворений Пушкин из всей многоликостью черни выбрал книгопродавца, торгаша.

«Разговор книгопродавца с поэтом» — это встреча поэзии с капиталом в той его форме, которая поэтам наиболее знакома: в издательской. И книгопродавец говорит поэту слова, часть которых словно бы повторена потом в тексте «Скупого рыцаря»:

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век
железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!

Так мог бы сказать Жид, если бы он умел философствовать подобно Барону. Или Барон, обладай он низменным практицизмом Жида.

Эпоха средневековья, изображенная в «Скупом рыцаре», впервые столь ясно поставила вопросы, определившие характер пушкинской эпохи, и фигура Барона, при всей ее средневековой определенности, содержала вполне современный смысл.

Горько размышляя о гибели потомственного дворянства и связанного с ним комплекса дворянских добродетелей, Пушкин не переставал надеяться найти выход из

гибельного положения. Для этого он писал заметки «О дворянстве», для этого пытался вразумить великого князя. Постоянные размышления воплотились и в «Скупом рыцаре», хотя, весьма возможно, такой ясной задачи Пушкин перед собою не ставил.

И маленькая трагедия дала ответ более безыллюзорный, чем заметки или доводы в споре.

История Барона — как бы опыт, проведенный художником в лабораторно чистой обстановке; в среде условно средневековой, когда цивилизация переживает свой детский возраст, в котором всегда все яснее и отчетливее, чем в зрелости. Опыт гениально удался. Трагедия «Скупой рыцарь» — одна из самых больших побед пушкинского историзма.

В Бароне соединились знатность и богатство, не соединившиеся в самом Пушкине. И, соединившись, дали герою ощущение сверхъестественной свободы, неприкасаемой чести.

Но — ненадолго. Барону лишь кажется, что деньги помогли ему остаться рыцарем. Больше того, поддержка «буржуазного» богатства коварна: в самом Бароне буржуазное начало одерживает верх и рыцарь умирает с ростовщическими словами на губах.

Противостоять до конца черни и ее миру — золоту мог в пушкинскую эпоху только тот, кто сохранил личное достоинство (то есть, по сути, душу) напряженной духовностью, «виденьем, непостижимым уму».

В пушкинских стихах это «рыцарь бедный».

В николаевской действительности — сам Пушкин.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Амлинский. Какая музыка была...—**Феликс Бурташов.** Молодая поэзия древнего континента.—**Юрий Нагибин.** Свидание не состоялось.

ПОЛИТИКА И НАУКА

О. Орестов. Ленинским курсом мира. — **С. М. Троицкий.** Обобщающий труд по истории русской культуры.

Литература и искусство

КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА...

Юрий Бондарев. Собрание сочинений в четырех томах. М. «Молодая гвардия». 1973—1974.

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попраала...

Та музыка взорвалась и погасла уже без малого три десятилетия назад, и развалины, что были явью моего детства, обнаженно пугающие, ржавые каркасы, зияющие следы разрушенного, еще недавно казавшегося прочным и устроенным человеческого жилья и быта сохранились теперь в единичном числе, как памятник эпохи, охраняемый государством...

Уходят понемногу и те, кто командовал фронтами и армиями, имена их, знакомые по сухим медально-четким строкам военных сводок, по приказам Верховного Главнокомандующего, звучавшие в списках и по отдельности, становятся названиями пароходов, улиц, отливают бронзой и золотом, превращаются в легенду, а сами рядовые участники, те парни, что выжили и принесли победу, которых я видел плачущими от счастья в майской Москве сорок пятого года, перешагнули за полувековой жизненный рубеж и называются теперь ветераны. А стзвук той музыки все звучит, ранящий

и волнующий, обращенный в равной степени и к прошлому и к будущему, к тем, кто помнит, и к тем, кто слышал, знает, к тем, кто прошел судьбой и кто проходит по учебникам; музыка та, услышанная так пронзительно Межировым,— вечная, ибо не только война была, а было испытание трагедией. Испытание отдельного человека и испытание народов...

И, отдаляясь во времени, в осмыслении историков, в поиске художников, в человеческой памяти, она открывает время, события и людей все новыми и новыми гранями, может быть, даже ранее не различимыми, слившимися в нерассеянном дыму взрывов.

Вспомним то, что писалось и что обжигало и звало к действию в дни войны: страстную, яростную публицистику Шолохова, Эренбурга, Алексея Толстого, вспомним романтический голос Константина Симонова, «личностность» его восприятия войны; вспомним «Март—апрель» Кожевникова, где угадывался контур прозы, которая придет позднее; вспомним то, что создавалось сразу после войны,— прозу и публицистику Бориса Горбатова, Василия Гроссмана, Анд-

рея Платонова, а несколько позднее появляются книги уже с иным видением, где патетика загнана внутрь и словно придавлена бытом войны, а самый этот быт, трагически обнаженный, видится простым, пристальным, как бы неудивленным взглядом: это «Спутники» Пановой, «В окопах Сталинграда» Некрасова и «Звезда» Казакевича, поразительная по скрытой, как бы с трудом сдерживаемой мощи лирического напряжения. И еще много книг, нужных если не как открытие, то как свидетельство, как штрих к великому, находящемуся в вечной работе полотну.

А в середине и в конце 50-х годов с новой силой и искренностью, с конкретностью иного, осмысленного временем и более детального, как бы обостренного далью лет зрения зазвучала проза лейтенантов той войны, тех, для кого война была не одним из звеньев их биографии, а, собственно, в сей биографии, судьбой, ибо ничего до войны у них не было — только детство и отрочество, да и то оборванное жарким летом сорок первого года. Оттого, что каждый день их фронтовой юности мог стать последним, они по-особому ощутили свободу и легкость бессмертия. «Как это было! Как совпало — война, беда, мечта и юность...»

Если мое литературное поколение, тоже навсегда задетое войной, помнило ее всю жизнь, но, возмужав и нравственно осознав себя в послевоенные годы, искало свою тему в разных событийных и человеческих пластах и рознилось не только отношением к жизненному материалу, но и самим этим материалом, то фронтовое поколение, к которому принадлежит Юрий Бондарев и его сверстники, все вошло на войну, и ему с годами война виделась все большее, шире, острее, вызывая жгучую потребность выразить то, что было и как было. Она стала той самой отдаленной и вечно близкой «провинцией» в гудзенковском смысле, той высшей нравственной инстанции, которая многое может простить, не простит лишь неправды. Открывающаяся истинность человека, правда отдельного, личного его поступка, слитая с правдой общенародного дела, острая искренность переживания пронизывали повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» и «Последние залпы».

Тогда же появились и повести Григория Бакланова с их графически острым нерва-

ным рисунком, писателя, схожего - биографией, часто упоминавшегося в одной литературной обойме с Ю. Бондаревым — и хвалебной и критической. Позднее тема юности, разорванной войной, звучала в прозе В. Быкова, В. Богомолова, В. Астафьева, О. Смирнова, А. Ананьева.

До военных своих повестей Ю. Бондарев был автором рассказов, носивших следы мастерской Паустовского: с его вниманием к атмосфере, к тщательной отобранности эпитета, к осязаемой вещности предмета, к пейзажу и, конечно, к человеческому чувству, до поры скрытому, осторожному, целомудренно невыявленному. В рассказах Ю. Бондарева ощущались и вкус и достаточная пластическая свобода, пожалуй, им не хватало подлинного самовыражения. Рассказчик рассказывал, а не открывался, не исповедовался, не прикасался к какому-то главному опыту своей жизни, к какому-то главному переживанию, хотя событийно оно и присутствовало...

Писатель мало говорил о войне, еще меньше о войне и о себе. Мир, увиденный в мимолетных переживаниях, встречах, поездках и командировках, как это часто бывает, казался более легким для освоения, чем мир обожженный и выстраданный, исполненный самых сильных и потому особенно трудных для передачи переживаний.

К этому миру Бондарев прикоснулся в «Юности командиров». Повесть эта, чистая и свежая по интонации, во многом была удачной, но не стала открытием.

Труден путь к самому себе.

«Батальоны просят огня» — эта работа саккумулировала душевный опыт, который требовал выхода. В ней писатель рассказал свою войну, и этот рассказ, переключившийся и по фону и по ситуациям со множеством других, нес тем не менее черты неповторимости. В ней ощущался тот неистребимый запас пережитого, то личное боевое, незажившее, драгоценное, из кладезя которого писатель еще мало черпал, хранил его до того момента, когда возникнет острая душевная необходимость высказаться... А может быть, время открыло ему и сделало понятным то, что вчера еще мерцало смутным, неясным светом, время, которое, сохранив свежесть впечатления, стерло сиюминутное, несущественное... Едва ли писателю нужно было что-то вспомнить. То, что было, никогда не забывалось.

Он взял краткий отрезок времени, взял батальон и поставил в условия, что возникали часто в этой войне, условия решающего, возможно, последнего боя, требующего всех сил, что у человека есть и еще что существуют «сверх» того и выявляются в момент, когда все кажется исчерпанным. Война, и без того открывающая человека со всей беспощадной открытостью, в ситуации критической высвечивает до дна все его нутро — здесь не спрятаться, не уползти, не притвориться.

Писатель почти с публицистической открытостью затрагивает нравственную проблему ответственности командира перед подчиненными, человека перед людьми. Было бы просто и удобно сказать, что эти два оттенка ответственности всегда гармоничны и взаимосвязаны. Да, часто связаны, но иной раз они приходят в мучительное столкновение.

Целесообразность и стратегическая необходимость операции отбрасывают на второй план тех, кто был еще вчера на переднем краю атаки, кто ждал огня и не получил его, кто не имеет теперь почти ни одного реального шанса спастись, чье назначение теперь — погибнуть, отвлекая противника. Но те, кто зарылся в землю на узкой, в две сотни метров ленточке плацдарма, тянувшейся вдоль Днепра и простреливаемой с трех сторон, не видят перед собой карты фронта и не знают сегодняшней сверхзадачи наступления. Они видят желтые леса на том берегу и трассы немецких пулеметов.

То, чего не знают они, знает командир дивизии полковник Иверзев.

В повести этой, где люди выписаны тщательно, детально, со множеством точных подробностей, характеризующих писателя с обостренным и памятьливым зрением, образ Иверзева занимает особое место. Румяный, светловолосый, с холодными глазами, одетый в прекрасно сшитый стального цвета китель, большой, с тонким карандашом в маленьком, крепко сжатом, повелительном кулаке — он даже портретно выписан так, как пишут отрицательных героев. Весь отбор деталей, характеристик дает образ несколько неподвижный, статичный в некой своей однозначности, тем более в резком контрасте с другим старшим офицером, мягким и человеческим полковником Гуляевым. Такая одноплановость поначалу настораживает, и с чем большей страстью написан бой, в котором батальон задыхает-

ся от нехватки огневых средств и теряет бойца за бойцом, чем острее отчаяние капитана Бориса Ермакова, тем более явственной, персональной видится ответственность Иверзева за гибель батальона. Более того, это уже не ответственность, а вина.

Но правда, человеческая, художественная, и трагичнее и менее определена.

Да, писатель ясно и даже несколько подчеркнуто рисует первый, бросающийся в глаза слой: жесткость Иверзева, неумную беспрекословность, самодовольство, силу, но не ту, что ведет за собою, а скорее ту, что принижает людей. Но тот же Иверзев обнаруживает в решающий момент и способность к самопожертвованию, отвагу, командирскую инициативу, умение перешагнуть за незримый рубеж, где люди видятся через призму отношения к нему, способность возвыситься над личной обидой.

Иверзев «не прост». Так думает о нем полковник Гуляев. Он не прост для подчиненных, для офицеров, воюющих с ним рядом. Он не прост, потому что писатель не останавливается на первом слое, идет вглубь, открывает в характере все новые и новые черты, часто противоречивые, как бы взаимоисключающие, дающие ощущение не простой и не однозначной жизненной правды.

«Он не прост», — будет думать в более поздней работе Бондарева, романе «Горячий снег», член Военного совета Веснин о генерал-лейтенанте Бессонове; и действительно, Бессонов очень не прост, увиден тонко и в поступках своих, и в подготовке к этим поступкам, и в самых малых движениях души, во множестве граней крупного, неординарного характера. Но о Бессонове позже.

Не прост и бегло очерченный Гуляев. Храбрый в бою, бессильный перед командиром дивизии... Непростота эта — не литературное построение, отталкивающее от ученической однолинейности, это поиск объема, глубины, стремление обнажить все те часто наносные пласты, за которыми угадывается суть человеческой личности, ее первооснова. В этом смысле открытие характера в минуту наивысшей опасности, наисильнейшего испытания таит для писателя наряду с очевидными преимуществами и определенные слабости...

В таких случаях неуволимо приманивает к себе некая схема наоборот: вот человек

в повседневном и в буднях казался таким, но настал час — и мы увидели нечто противоположное тому, что могли себе представить. Неприязнь к литературному ходу, к жесту оберегает Бондарева от этого. Интонация его письма — эмоциональная, прерывистая, со спадами и подъемами — почти всегда естественна.

Пожалуй, только в первой сцене, где мы видим Ермакова и Шуру вместе, возникает некое отражение страсти, а не сама страсть, и плач Шуры, и неожиданное заклинание: «Тебя убьют... убьют. Такого...» — и излишняя жалостная откровенность ее сетований на ту роль, которую она играет при Борисе Ермакове, — все это выглядит чем-то мелодраматическим на фоне истинной общей драмы, сурово и зрело выписанной художником.

Любовь и война, любовь на войне. Тема чрезвычайно важная для Бондарева, присутствующая и в повестях его и в романе «Горячий снег».

Помню, что кое-кто из критиков упрекал Бондарева за некую эмоциональную и даже сюжетную повторяемость любовных минут, за некоторое однообразие и похожесть героинь. Вот Шуручка из «Батальонов», «тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем (Кравчуке.— В. А.) трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревяно едко говорил, что Шуручка из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде...».

Вот Лена из «Последних залпов».

«И Новиков, видя ее маленькую точеную фигуру, ее порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности...» Или Зоя из «Горячего снега», любой приход которой «ревниво раскрывал что-то каждому, как будто на ее слегка заспанном лице, порой в тенях под глазами, в ее губах читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсанбатскими молодыми врачами...».

Действительно, есть общность первых внешних характеристик, похожесть рисунка, сходство реакций героев на первое появление женщины. Есть в каждой из этих

героинь нечто на первый взгляд грешное, плотски влекущее, и за этим всегда открывается иное, женское, прекрасное, почти неправдоподобно светлое среди пота и грязи войны, среди ожесточившихся, огрубевших людей, как бы волнующе доступное и вместе с тем становящееся вопросом жизни и смерти для Кондратьева, для Новикова, для Кузнецова, хранящее некую вечную неразгаданную тайну любви.

Женщина у Бондарева, сурового реалиста, при всей своей плотской грешности, всегда романтична. И в этом почти условно поэтическом видении я не вижу ни красоты, ни неправды.

Женщина у Юрия Бондарева такая, какой увидена глазами людей, по сути дела не знавших любви, тех, что «сердцем до мая ни разу не дожили». Кондратьев думает с удивлением и печалью: «В жизни бывает так: можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить...» Да и женщину ли он любит, скорее свое воспоминание, свою довоенную мечту... Не важно, в сущности, кого, главное в нем — сама эта юношеская, мучительная, светлая потребность в любви, поиск истинного чувства, поиск себя в этом чувстве, навсегда оборванном войной.

Тоска молодого сердца, ожесточившегося, но не ставшего жестоким, боль человека, призванного убивать во имя жизни, но хранящего то, без чего человеческая судьба убога и обделена: потребность в любви написана Бондаревым пронзительно, с той светлой печалью и горечью, с какой всегда создавала образ борющейся непобежденной любви, чистой, несмотря на всю грязь мира, русская литература.

И Шуручка и Лена — это и живые медсестры, женщины, почти девчонки, воюющие и любящие, земные и возвышенные, те, кого презрительно называли «ППЖ», и те, на кого молились, солдатки и сестры, но прежде всего они символ и образ любви, мерцающей над дымным и гибельным миром. И последний крик Кравчука, последнее его признание, последнее его разочарование на земле тоже обращено к женщине: «Искал. Выбирал. Строгую... Ее и детей на руках бы носил... Детей люблю. Увидел тебя, подумал: «Вот она...» А ты... не та... Не постоянная... Не мать...»

Это не только прощание с жизнью, но — что может быть еще трагичнее! — прощание с несостоявшимся в жизни.

Сдержанный лиризм, присущий Бондаре-

ву, как бы взрывается криком, поднимается на пронзительно высокую ноту. В отдельные редкие моменты Бондарев не боится открытого чувства, сентиментальности. Обозначение это стало в литературе бранным словом, но иногда — не часто, в определенные моменты, подготовленные художником, — не только не кажется лишним, но и подымает произведение.

Есть еще одна вечная тема, к которой упорно возвращается Бондарев. Это война и смерть.

Казалось бы, как близко стоят два эти понятия.

Война в массовом масштабе порождает смерть, лишает ее всех покровов тайны, делает ее безобразно будничной. Она отнимает у человека не только право на жизнь, но и право на смерть, право на то, чтобы его проводили те, кого он любил, с кем жил рядом.

И когда человек перестанет воспринимать смерть ближнего как трагическое потрясение, это значит, что и он сам нравственно омертвел. Бондаревские герои жестоко промерзли на ледяных ветрах войны, огрубели, но не омертвели.

Даже тайна чужой, неприятельской смерти волнует Кузнецова в «Горячем снеге», и на мертвого мальчика-немца он смотрит без ненависти, скорее с удивлением и некой горечью: «Что он думал, на что надеялся, когда шел на таран?» Жизнь неведомая, непохожая, молодая волею многих обстоятельств и сил столкнулась с его жизнью и оборвалась.

Почему в свое время с такой неожиданной горечью прозвучало стихотворение Светлова «Итальянец»? «Никогда ты здесь не жил и не был.. Но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах...» Что здесь? Торжество и справедливость победителя... Нет, что-то еще, о чем пока не время говорить, что потом придет, после войны, — горечь по человеческой жизни, ставшей игрушкой, сметенной шквалом. Если гибель противника вызывает не только торжество, но и раздумья, значит, человеческий интеллект, загнанный на время «в вещмешок, шинель и скатку», жив.

И никакая целесообразность не охранит живой дух от боли и мучительного размышления, если гибнут с в о и, особенно тогда, когда их можно было сохранить, и никакая спасительная мысль о том, что лес рубят — щепки летят, не поможет, не убе-

режет. Вот что говорит майор Бульбанок перед своей гибелью: «...Мне, может, и умереть судьба. А вот людей... людей... не уберег... Как член партии говорю. Первый раз за всю войну не уберег. Ничего не мог сделать».

Война снижает ценность человеческой жизни, но все-таки эта ценность существует, иначе сама победа потеряла бы смысл. Эта мысль о ценности человеческой жизни даже в те минуты, когда она беззащитна, подставлена под огонь, все время присутствует у Бондарева.

В «Горячем снеге» лейтенант Дроздовский посылает рядового Сергуненкова, мальчишку, еще ни разу не брившегося, с двумя гранатами на немецкие танки. Сергуненков идет, повинувшись приказу, идет с безнадежностью на верную и, в общем-то, бессмысленную гибель. И огонь, который сжигает Сергуненкова, как бы вспышкой освещает главное в характере Дроздовского, до того казавшемся сложным и противоречивым: он жесток, для него ничто другая жизнь. Мы еще не знаем этого точно, скорее угадываем, еще не все сказано до конца. Может быть, в этой жертве и был хотя бы один процент целесообразности, но Кузнецова, прошедшего все муки и ужас войны, видевшего сотни смертей, потрясает эта гибель. И к боли примешивается чувство некой искусственно нарушенной, неразрывной солдатской и людской связи и взаимной ответственности...

Но я забегая вперед. Это уже из другого романа. А сейчас повесть «Последние залпы» — гибель Новикова, и Лена, раненная, будто ворожа, уговаривая себя, произносит слова, без которых непереносимо человеческое страдание: «Боль пройдет, боль пройдет...»

Так заканчивает Бондарев свою повесть «Последние залпы».

Я познакомился с Юрием Бондаревым, когда он стал широко известен как автор этих двух повестей. Он говорил тогда, что нужно отойти от войны, что ему хочется написать повесть о любви, о послевоенной Москве...

Ему было тридцать пять лет. Возраст, когда писателя принято причислять к молодым. Помню, как в критических статьях мелькало: «молодые писатели» Бондарев, Бакланов... Они были в хорошем возрасте, как бы на первом рубеже писательской

зрелости. Но молодыми они были давно, в те дни, когда сражались Новиков, Ермаков, их сверстники, так и оставшиеся молодыми навсегда.

Был вполне понятен интерес Бондарева к невоенному, новому материалу. Слишком явно просвечивал сквозь грозное детство тот ускользающий образ мирного, довоенного Арбата и Замоскворечья, далекий отсвет первой любви и что-то еще обаятельное, юное, обещающее возвращение к этим истокам и к тому, что было пережито уже за рубежом войны.

И в следующей работе Бондарев доказал, что он писатель не только военной темы, что ему важны и подвластны и другие пласты жизненного материала. Но было также ясно, что та прежняя музыка еще владеет им и все, что происходило в послевоенной жизни, так или иначе освещено войною, она не как воспоминание, а мерило мужества и добра, порядочности и слабости, достоинства и предательства.

Этот роман назван очень прозрачно и хорошо — «Тишина».

После первой мировой войны Гертруда Стайн придумала емкое обозначение, подхватившее Хемингуэем, — «потерянное поколение». Случайный, но точный образ приобрел силу социального обобщения. Но даже при самой враждебно-недобросовестной аргументации невозможно было бы назвать «потерянным» поколение победителей, выдержавшее самое страшное испытание, отстаивавшее свободу и жизнь народов. А теперь измученная страна ждала их для восстановления, для возрождения из пепелищ и руин к жизни. Но при всем этом было бы неверно упрощать тот сложный психологический барьер, который должен был преодолеть человек, возвращающийся к иной, во многом неведомой мирной жизни, к каждодневному труду, к семье, профессии, или начинающий все сначала, потому что за его спиной ничего нет.

Тема возвращения с войны почти так же огромна, как и сама тема войны. Тишина мирной жизни, желанная, столько раз возникавшая там, обманчива, иллюзорна. Здесь тоже есть заминированные пространства. Их не обезвредишь с той же точностью, как на войне.

Роман «Тишина» разбит на три части, обозначенные датами. Две из этих дат являются вехами в жизни страны: сорок пятый и пятьдесят третий годы.

С той же изобразительной щедростью, густотой и свежестью мазка, которой отмечены батальные сцены военных повестей, пишет Бондарев отнюдь не тихую, не умиротворенную, кипящую страстями, оживающую, как после тяжелой болезни. Москву.

Конфликт «Тишины» лежит в той же плоскости, что и конфликты военных повестей: честен ли ты перед собой, перед другими, каков твой истинный, нравственный потенциал, тот ли ты, кем хочешь казаться? И оказывается, что обнажение, а главное, разоблачение человеческой низости на войне было более легким и полным, чем здесь, в тишине. Эти конфликты «Тишины» подчас обострены почти публицистически. Тех полутонов, той сложной лепки, что была почти в каждом образе в «Последних залпах», нет, скажем, в образе Уварова. Это не Иверзев, данный в разных проявлениях — от почти трусости до героизма. Уваров очерчен резко, с некоторой даже нарочитой ясностью: увертливый, живучий негодяй, умеющий выныривать со дна, он и не открывается каким-то иным планом. Похоже, писателю не так уж важно это. Уваров — это способ проверки людей, на отношении к Уварову выявляются человеческая доброкачественность и порядочность.

Так же, как на войне Бондарева интересовали трагические моменты, так и здесь, в мирной жизни, его занимают сложные процессы того времени, в котором не так-то просто было сопротивляться лживому слову, клевете, навету. Но понятие о справедливости и человеческой и общественной окрашивает роман в оптимистические тона, дает ему как бы некую историческую перспективу: люди и время все поставят на свои места.

В финале романа, вдруг вырываясь из его сдержанно-суровой тональности, тревожно и яростно звучит мысль о высшем даре, спасающем человека в самые тяжкие минуты, о даре любви, о том, что нетленно, неподвластно ни оружию, ни беде. «Что было бы со мной, если бы не она?» — с острой нежностью думает Константин об Асе. «За что она любит меня?» Вот так же когда-то в шквальном огне, на вспученной земле, не зная, будет ли завтрашний день, Новиков говорил Лене: «Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...» Свет любви освещает долгую ночь ожидания, боли, тревоги и надежд.

Следующей работой Бондарева была по-

весть «Родственники», написанная интересно, ставящая вновь проблему совести и долга, предательства и расплаты за него. Концовка этой вещи, как бы построенная по законам античной трагедии, тема неизбежного рока, придает этой повести оттенок заданности и дидактичности.

После этих двух чем-то перекликающихся с другом произведений писатель публикует роман «Горячий снег».

Что такое Главная книга писателя? Это книга ненаписанная, потому что писатель, осознавший себя автором написанной Главной книги, как бы сознательно лишает себя горизонта, подводит черту подо все, что им сделано.

Мне кажется, что Главная книга — это мечта о максимальном самовыражении, о том, что ты скажешь что-то такое, о чем все догадывались, но не смогли или не захотели сказать. Главная книга — это нечто очень личностное, хотя личность автора может быть персонифицирована, в тысячах героев.

Бондарев в одной из своих статей косвенно говорит, что все, что он делал, это лишь подступы к Главной книге.

«Горячий снег», по-моему, лучшее из того, что было сделано Бондаревым. Может быть, это одно из звеньев его еще не написанной Главной книги. Отдаленный от двух военных повестей десятилетием, роман глубинно, органически с ними связан, продолжает и развивает многие их темы, мотивы, а порой и характеры. Некоторые критики увидели новые качества этого романа в расширении масштаба, в увеличении оперативного простора — в прежних вещах действовал батальон, а теперь армия, там были лейтенанты, самое большее полковники, теперь — генералы, командующие армиями, фронтами...

Однако не в изменении масштаба, не в большем обзоре событий и действий, не в генеральских сединах и погонах и не в переносе действия от плацдарма роты к штабу армии видятся мне новые черты бондаревской прозы.

Важно не то, что Бондарев в «Горячем снеге» расширил свои позиции, — существеннее то, что он продвинулся вглубь. В романе он дает героев с той же степенью нравственного обнажения в решительную для них минуту, что и в прежних своих работах, но раскрытие это более длительно,

противоречиво, трудно готовится исподволь, здесь не мгновенная вспышка блица, а пристальное и как бы осторожное приглядывание не только к человеческому поведению, не только к поступку, но и к мотивам его.

Не тем, в конце концов, интересен генерал-лейтенант Бессонов, что он человек сильной воли, мужества, знаний, не тем, что он суховат, колюч, нелюдим, а на самом деле раним и по-своему душевен... Такое сочетание встречалось, и не раз. Характер и судьба его затрагивают и волнуют потому, что он несет в себе некий второй трагедийный план — не просто рану от потери сына, а нечто более болезненное, он все время как бы испытывает собственную веру в человека, в людей, в сына; испытывает и тогда, когда ему задают трудные вопросы, а он отвечает не так, как, возможно, полагалось бы, ибо не хочет мыслить задним числом; испытывает, приказывая отдать под суд танкиста, и, задумавшись, внезапно отменяет решение...

Масштаб этого характера в остроте и художественной осязаемости человеческого страдания, в ежеминутном подавлении боли, в том, что человеческая душа открывается одновременно расщепленной и измученной и неизменно цельной, гордой, сильной в отношении к долгу, к подчиненным, к родине. Бессонов, пожалуй, самый «непростой» из всех бондаревских образов, соткан из живого, кровоточащего материала... Какие чувства он вызывает? Восхищение? Да, и это. Но также подчас неприязнь и жалость, именно жалость, не побоясь этого слова. Рядом с гордостью в нем ощущается какая-то не соответствующая его жизненному опыту незащищенность. Его «жалеешь» в старом, исконном смысле этого хорошего слова.

В романе есть линия то исчезающая, то возникающая, пунктирно-прерывистая: Бессонов — Дроздовский. Как бы провод душевной связи, идущей от Бессонова к молоденькому лейтенанту.

Не зная Дроздовского, мучительно вспоминаю его фамилию, знакомую по гражданской войне в Испании, глядявываясь в облик этого «строгаго юноши» с его пылкой готовностью погибнуть, если надо, он видит, узнавая и не узнавая, своего потерянного, попавшего к врагу сына.

Узнавая и не узнавая. Бессонов-коман-

дир подавляет все время боль Бессонова-отца.

Бессонов-отец, выйдя на гребень высоты, где еще недавно сражались и погибали на ледящем декабрьском ветру его солдаты, вновь ищет взглядом того юного лейтенанта, ибо для него, может быть, самое важное сейчас, чтобы лейтенант остался жив. А Бессонов-командир, дисциплинируя Душу, закаляя ее для «грядущих маршей и атак», считал, «что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех мельчайших деталях видеть подробности боя в самой близи, видеть своими глазами страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции выполняющих его приказание людей; уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще вьедаются в душу».

Парадоксально, что именно в Дроздовском видит Бессонов ускользающий, почти нереальный образ сына. Писатель мог легко перенести это на Кузнецова, сделать его, а не Дроздовского тем юношей, что вызывает у генерала горькую и волнующую ассоциацию. Так было бы вроде бы логичнее. Но в том-то и удача художника, что в противовес четкой логике он дал этот рефлекс боли, пульсирующей и возникающей при виде Дроздовского. Человеческая боль ведь тоже стихийна и лишена логики так же, как и ассоциативная связь, рождающая в глубине существа ранящее воспоминание. Художественный ход здесь правдив иррациональностью, как и подсказавшие его, лежащие вне логики ощущение и чувство.

Кто такой Дроздовский, и почему он так важен в романе? «Еще в училище он выделялся среди других будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица — лучший курсант в дивизионе, любимец всех командиров-строевиков». Вот он моется на снегу, «тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро натирал снегом сильное порозовевшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами». Подчеркнутая образцово-показательность нарастаживает. Рождается ощущение, как в детстве, в кино: вот этот красивый — он плохой. Но не будем спешить. Еще не раз в различных обстоятельствах автор потряхнет своего героя. Мы видим его во время бомбежки с воздуха — он храбр, в нем есть готовность к сражению, он слов-

но бы создан быть профессиональным военным, кадровым офицером.

И вовсе не театральность, не любование собой, столь свойственное иным молодым офицерам, и даже не чрезмерное командирство составляют опасную сердцевину этой натуры. Как тип социально и художественно точно наблюденный, он опасен беспреклонностью ложного решения, амбициозностью, ставящей на первое место его собственную роль в деле, а уж потом и самое дело. Возрастающая власть и звания не делают таких людей ответственным и зреем, наоборот, власть открывает им еще больше возможностей подчинять и подавлять. В нем ощутима и рефлексия добра и вины, но след ее слаб, невнятен.

Не исключено, что такой человек может совершить и подвиг. Сила честолюбия — это мощная пружина, с одинаковой инерцией она может толкнуть на зло и добро, в зависимости от данной ситуации и момента.

Наиболее беспощадно Дроздовский открывается в сцене гибели Сергуnenкова. Но перед этим он открывается в своей любви.

Любопытно, что писатель одного из главных своих героев проверяет не воинским долгом, а его чувством к женщине, его способностью любить. Здесь, в условиях фронтовой связи, на виду у всех, когда каждую минуту эта связь может прерваться навсегда и вовсе не от ослабления чувств, Дроздовский все время мельчит. Есть как бы все атрибуты любви, он ревнует и ждет встреч, но вместе с тем прячет свою любовную связь, грозящую его авторитету командира. Писатель рисует каменистое и как бы дотла выжженное человеческое нутро: для созревания такой души нужны были и свои причины. Одиночество, испытанное в детстве, рождает отчуждение. И если человек не находит в себе иных сил, противопоставленных этому, то он навсегда утрачивает вкус к добру, теплу, ту энергию сердца, которая необходима для проникновения в чужую душу... Причины такого душевного развития показаны писателем скупо, обрывисто, но они дают точное представление о сложных и болезненных истоках этого характера.

Зоя Елагина, любящая Дроздовского, как бы продолжает тот женский ряд, который был в прежних бондаревских повестях. И то ощущение, которое рождается у лейте-

нанта Кузнецова при виде ее, и неосознанная его ревность заставляют вспомнить Новикова из «Последних залпов», его влюбленность, ревность и душевное смятение, вызванное появлением Лены.

Зоя врывается в его жизнь «празднично чистая, зимняя, будто из другого, спокойного, далекого мира». Но она не Снегурочка в зимнем военном лесу, среди одичавших солдат, не видение, не выдуманная Кузнецовым мечта о счастье и даже не та дразнящая и лукавая Шурочка из «Батальонов». Зоя освещена иным светом, в ней видится большая внутренняя сила, цельность, жертвенность и терпение, читается в ней и след разочарований и утрат в еще довоенной ее женской жизни. Она печальнее и старше тех бондаревских героинь. И не так она красива, как они, просто она кажется в этом мире без женщин красивой, воплощением женственности.

Новый, необычный для прежних героинь Бондарева горестный человеческий план, молчаливая боль неразделенного чувства, постоянное скрытое страдание придают этому характеру достоверность и значительность. Впрочем, драма ее вовсе не в том, что Дроздовский не любит ее или любит не так... Драма ее гораздо сложнее. Она в несообразности огромного и цельного чувства и душевной малости того, кому оно отдано. И еще драма ее в том, что она женщина на войне, среди страха, свинца, среди истосковавшихся, изголодавшихся по любви мужчин, в том, что она перестала бояться смерти. И гибель ее, гибель женщины на войне, видится более трагедийно, чем любая из потерь,— это ветвь, живая, вечная, плодоносящая, обрублена.

И вновь писатель подводит нас к вопросу, всегда волнующему и угнетающему ду-

шу: почему слепая и тщательно организованная сила гасит свинцом маленький, бьющийся на ветру костерок человеческой жизни, человеческого бытия?..

Последний бой в романе «Горячий снег» написан Бондаревым с динамической протяженностью во времени, с собственной драматургией, с отзвуком той самой музыки, трагической и суровой, в которой общее, светлое, реквиемное звучание не заглушает отдельных тем, отдельных судеб.

Пластичностью, художественной памятью, жестокой живописью всегда были отмечены батальные сцены у Юрия Бондарева. Но здесь есть образ не единичного и даже не батальонного подвига, есть образ общего, огромного, солдатского усилия и героизма. Подвиг этот вывел вперед, к Сталинграду, туда, где небо «широко и аспидно кипело черным с багровыми проблесками дымом».

Небо это поглотит и дым и пожарища, как поглотило когда-то Бородино, и Аустерлиц, и Марну, и Халхин-Гол, и еще тысячу других битв и сражений. Может поглотить оно и память, если летописцы и художники не будут эту память тревожить и будить.

Вечное небо сохранит и это мгновение истории, кровавый отблеск горячего снега зимы сорок второго года.

Мгновение, казавшееся людям бесконечным, вобравшее в себя человеческие жизни, страсть, мужество и любовь, будет еще темой многих книг и сегодня, и завтра, и всегда. И среди них, я уверен, будут книги Юрия Бондарева, искренне и мужественно рассказавшего о победе и смерти, о повзрослевших юношах дымной, грозовой эпохи.

Владимир АМИНСКИЙ.



МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ ДРЕВНЕГО КОНТИНЕНТА

Поэзия Африки. Вступительная статья Р. Рождественского.
Составление и примечания М. Вансмахера, Э. Ганнина, И. Ермакова и др. М.
«Художественная литература». 1973. 688 стр.

Издательство «Художественная литература» выпустило в свет очередной том «Библиотеки всемирной литературы». Порядковый номер тома — 131-й, серия — третья (литература XX века), емкое и лаконичное название — «Поэзия Африки».

В антологии собраны стихотворения почти 180 поэтов из 32 стран Африки. Это

первое в мире столь представительное собрание современной поэзии африканских народов. Знаменательно, что такая книга могла появиться только сейчас, во второй половине XX века, когда поэзия континента, рождаясь как выражение истинных чувств и устремлений пробудившихся к новой жизни африканских народов, стано-

вится на наших глазах классикой мирового значения. Африканская поэзия входит в семью мировых литератур уверенно и достойно, щедро даря общечеловеческой культуре совершенно новый мир образов и мыслей, она несет в ее сокровищницу свои не схожие ни с какими другими ароматы и мелодии, краски и ритмы.

Ритмы в свете,
Ритмы в цвете,
Ритмы в звуке,
Ритмы в движении,
Ритмы в шагах окровавленных ног,
Ритмы в крови, текущей из-под ногтей,
И все это ритмы...
Ритмы...
О, голоса истерзанной Африки!—

пишет выдающийся ангольский поэт Агостиньо Нето.

Книга эта — серьезный вклад в мировую поэзию, значительное событие в культурном взаимообогащении народов. Без преувеличения мы можем говорить и о принципиальном успехе советской переводческой школы, ибо труды подобного масштаба имеют двойную ценность — и как возможность для широкого читателя встретиться с новыми для него поэтическими мирами, и как весомое доказательство все возрастающей роли искусства перевода в благородном деле сближения народов всей планеты.

«Поэзия Африки» — работа, которая подводит определенный итог многолетнего напряженного труда большого коллектива наших поэтов-переводчиков. Над переводами, включенными в том, в разные годы активно работали такие ветераны поэзии и перевода, как недавно ушедший от нас М. Зенкевич, как С. Шервинский и П. Антокольский, Е. Долматовский и Б. Слуцкий. В создание книги внесли немалую лепту и Д. Самойлов, Н. Матвеева, М. Ваксмахер, М. Кудинов, Ю. Левитанский, М. Курганцев и многие другие — около 50 человек, мастеров поэтического перевода.

Составители тома сумели, как нам кажется, выбрать и включить в него самые значительные произведения, представить нам поэтов, творчество которых, при всем разнообразии их взглядов, тем и настроений, определяет поэтический пейзаж Африки наших дней.

Почти все стихотворения, собранные в книге, написаны в последние двадцать пять — тридцать лет, от начала 40-х до начала 70-х годов. Всемирно-истори-

ческие события этой эпохи (разгром фашизма, рождение и укрепление мощи и влияния новой исторической формации — социалистического лагеря, нарастание национально-освободительных движений практически во всех африканских странах и получение многими из них политической независимости) не могли не найти отражения в литературах стран Африки.

Не претендуя здесь на классификацию этапов поэзии Африки последнего тридцатилетия, представляется возможным условно отметить следующее. 40-е годы можно рассматривать как период пробуждения самосознания широких слоев африканского населения, накопления сил, как годы зарождения стихийного протеста, время поэзии стонов и крика, время перехода от жалоб и молитв к призывам начать борьбу за свободу («Мы не будем рабами! Счастье добудем сами! Солнце над нами взойдет. Жизнь отдадим без страха, чтоб уничтожить гнет!» — писал в стихотворении «Трудящиеся» известный египетский поэт Ибрахим Мухаммед Наги). 50-е годы вносят в поэзию новые акценты и темы — мотивы смелого разоблачения античеловеческой сущности колониализма, разрыва с религиозным смирением. Это и отстаивание права быть хозяином своей судьбы и своей родины, утверждение мировоззрения и, что особенно важно, появление нового героя — борца за свободу, за освобождение от всех форм эксплуатации: «Пою любовь — любовь к стране, к свободе, святое политическое чувство» (Малек Хаддад, Алжир).

Начало 60-х годов — период появления большого числа независимых африканских государств, и, как следствие этого, поэзия полна торжества и ликования, она воспевает победивший народ:

Начинается новая эра —
эра Сорванных Пут,
и Разбитых Оков,
и Расправленных Плеч...
Слышу голос твой,
Африка,
юный,
ликующий голос.

Так пишет в стихотворении «Голос Африки» суданский поэт Мухаммад аль-Фейтури. Гвинеец Нене Кхали вторит ему: «Солнца — как много солнца в небе Африки!»

Но кончаются дни праздничных шествий, фейерверков и танцев — и наступают

будни, приходит время понимания того, что с получением свободы политической не кончается, а только начинается созидание нового общества. Становится ясно, что колониализм не хочет и не отдаст без борьбы своих позиций, а потому рядится в новые одежды, оставаясь в нутре своем столь же, а скорее и еще более жестоким и беспощадным, чем раньше. К концу 60-х годов в литературе Африки зазвучали новые вопросы, рожденные социальными сдвигами в коренных областях жизни ее народов. Это время переоценки многих ценностей, поисков новых дорог. Старый ганский поэт Майкл Дей-Ананг, как и многие африканцы, задумывается над судьбами родного континента:

Но край обетованный —
Где он?
Ответь мне, Африка,
Куда плывешь ты?

На крутых поворотах истории нет легких ответов. Вглядываясь в будущее, поэт не дает ответа на мучающие его вопросы, но продвижение вперед неизбежно: «Изведаны дороги. Парус поднят. Плыви, о Африка...»

Говоря о главном в «Поэзии Африки», ловишь себя на том, что хочется цитировать все новые и новые строки — так густо «заселена» книга добрыми и нужными мыслями. Стихи о свободе, о любви, о родине, о верности идеалам борьбы, о смысле жизни, о человеческом достоинстве, о месте Африки в семье народов мира, о братстве людей Земли:

Черные руки—
руки брата,
я протянул к тебе
над океанами и горами,
чтобы слились воедино
цвета наших рук,
чтобы тебя найти
и приветствовать,
Друг!

Строки эти принадлежат Бернару Буа Дадье, поэту из Берега Слоновой Кости. В них чувства передовых людей континента, хорошо понимающих, что будущее свободной Африки, ее «край обетованный» — в дружбе и единстве с народами всех континентов.

Книга «Поэзия Африки» требует чтения небыстрого, неторопливого. К некоторым произведениям читатель будет возвращаться неоднократно, открывая каждый раз

что-то новое, созвучное его настроению, мимо чего он ранее прошел не задумываясь. Не в этом ли постоянном обогащении, откровении и открываемости заложено зерно истинной поэзии?

Читая книгу, следует помнить, что существуют заметные различия в поэтических традициях и условиях развития этого древнейшего литературного жанра между отдельными странами и районами огромного континента. В странах Северной Африки, где практически все население говорит на одном, арабском, языке, современная поэзия опирается на многовековую историю развития поэтического мастерства всего арабского Востока, на разработанную письменность, на великолепные образцы творчества бесчисленных гранильщиков и шлифовальщиков художественного слова, из среды которых вышли великие поэты прошлого, ставшие корифеями мировой литературы. В странах Тропической и Южной Африки, население которых до сих пор говорит на десятках различных языков и наречий, картина намного сложнее. Письменность на родных языках народов, живущих здесь, появилась лишь в последние десятилетия, а зачастую отсутствует и до сих пор (правда, имеются сведения, что в прошлые века здесь выработывались специфические системы записи слов, но они, будучи весьма примитивными, не выдержали испытания временем). Поэтому в этих странах поэзия сегодняшних мастеров слова, уже имеющая в своем активе значительные художественные произведения, создается главным образом на языках бывших колониальных метрополий — английском, французском, португальском. Эта поэзия наряду с другими жанрами литературы получила широкую международную известность, она участвует в формировании нового сознания широких слоев населения и уже не может и не должна быть оторвана от той национальной почвы, на которой родилась.

Проблема двуязычия — развития литературы на родном и на том или ином из европейских языков — сложна и требует длительного периода для своего логичного решения. К тому же решается она в атмосфере острой идеологической борьбы. И не случаен поэтому интерес, который проявляют африканские писатели к решению подобных вопросов в многонациональных литературах Советского Союза, где содру-

жество национальных языков и русского языка, ставшего языком межнационального общения и дружбы народов-братьев, ведет к взаимообогащению культур, к росту наших интеллектуальных и художественных ценностей.

Однако при всех отмеченных выше и других не упомянутых здесь за неимением места различиях существует большая общность в поэзиях африканского континента. Между поэзиями Северной Африки и стран Тропической и Южной Африки нет литературной Сахары. Общность и родство поэзий африканских стран вырастает из богатств традиционного народного творчества, из самобытного искусства, создававшегося веками. В них запечатлелись неповторимые особенности национального характера народов Африки — их страстность, артистичность, чувство прекрасного, чувство неразрывного единства человека и окружающей его природы. Из глубины веков дошли до наших дней африканские легенды и сказки, пословицы и поговорки, удивительная устная народная драматургия, объединяющая в едином действе и слово — песню и стих, и движение — пантомиму, жесты и танец, и изобразительные средства — красочные костюмы и известные ныне всему миру африканские маски. И понять африканскую поэзию — и прошлых эпох и современную — можно, лишь учитывая эту органическую неразрывность слова и действия, красок и музыки.

Нельзя говорить об африканской поэзии, не коснувшись ее лирической первоосновы — верности африканских поэтов вечной теме человеческой любви. Естественно, далеко не каждое стихотворение обращено к волюбленной, говорит о страданиях или радости встретившихся сердец, но образы, одухотворяющие строки большинства произведений, полны восхищения и преклонения перед величайшим чудом природы — красотой женщины. Всмотритесь, как нежен и прекрасен образ африканки, воспеваемой Леопольдом Седаром Сенгором:

Обнаженная женщина, непостижимая
женщина!
Спелый, тугоналившийся плод, темный
хмель черных вин,
губы, одухотворяющие мои губы;
Саванна в прозрачной дали, саванна,
трепещущая
от горячих ласк Восточного ветра;
Тамтам изваянный, тамтам напряженный,
рокочущий

под пальцами Победителя-воина;
Твой голос, глубокий и низкий, — это
пенье возвышенной
Страсти.

Южноафриканец Мазиси Кунене влюбленно сравнивает лицо любимой с самым великим, что живет в его сердце, — с очарованием окружающего его мира: «Оно красиво красотой многоликой земли».

Торжествующая и застенчивая, несмелая и открытая, поющая гимн и рыдающая в ночи — такой предстает перед нами Любовь. Образ ее далек от слащавых «сантиментов», он перерастает рамки интимной лирики, становится центральным героем, или, точнее, героиней, всей книги, ибо Любовь — это Свобода, Любовь — это Мать-родина, Любовь — это Африка, «гордая, красивая, исполненная мудрости», по словам либерийца Роанда Тамбекая Демпстера. Любовь — это будущее континента! — утверждает нигериец Деннис Чукуде Осадебей в стихотворении «Женщинам новой Африки».

Среди множества характерных особенностей современной поэзии Африки хотелось бы отметить ее высокую гражданственность и интернационализм.

Уже перечень имен поэтов — авторов этой книги показывает, что они не кабинетные затворники, бегущие от гула и стонков каждодневной битвы, а активные участники совершающихся событий, берущие на вооружение, как замечает в предисловии к «Поэзии Африки» Роберт Рождественский, и авторучку и автомат. Среди них великий сын Африки Патрис Лумумба, чья благородная жизнь и трагическая смерть сделали его имя символом возрождающейся Африки, Агостиньо Нето — председатель партии Народного движения за освобождение Анголы (МРЛА), президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор, один из руководителей ФРЕЛИМО — освободительного движения в Мозамбике — Марселино душ Сантуш и многие другие, для которых слово «поэзия» созвучно со словом «борьба». Тюрьмы, ссылки, трибуны митингов и вооруженные схватки знакомы им не по книгам. А отсюда накал их стихов, их откровенная публицистичность и «политизация», отпугивающая иных ревнителей чистой поэзии. Но жизнь требует именно такого искусства, которое служило бы сплочению народных масс, было бы доходчивым и легко запоминающимся. А если учесть широкое распространение древних традиций

устной поэзии, которые столь популярны среди масс еще неграмотного африканского населения, то ясно, как активно используется этот вид искусства для политической пропаганды. Стихи встают на службу освободительному движению.

Идеалы свободы, цели борьбы за независимость и счастье всегда и везде в своем главном нерве одинаково близки и понятны всем народам. Они не зависят от широт и меридианов, от цвета кожи и образа жизни. И отсюда рождается чувство равенства и братства борцов, чувство солидарности и интернационализма. Настоящий поэт всегда патриот, но патриотизм — это не возвеличивание и укрепление своего дома за счет унижения соседей. Известный малийский поэт Гауссу Диавара в одном из своих выступлений так сформулировал эту мысль: «Человечество идет через национальное к интернациональному. В этом смысл всей культуры». Эту же идею человеческого равенства и единства Леопольд Седар Сенгор вкладывает в уста главного героя своей поэмы «Чака»: «Не может быть мира под гнетом, и не может быть братства без равенства».

Национально-освободительные движения, разбудившие большинство стран континента, подняли на своем гребне и новых поэтов, которые сумели выразить самые глубокие надежды своих народов, найти самые нужные слова, быстро становившиеся лозунгами и песнями. В эту эпоху полностью раскрылись дарования таких поэтов, как уже цитировавшиеся выше М. Дей-Ананг из Ганы и Бернар Буа Даде из БСК, как сенегальцы Леопольд Седар Сенгор, Давид и Бираго Диоп, как нигерийцы Джон Пеппер Кларк и Гэбриэл Окара, анголец Агостиньо Нето и мозамбিকেц М. душ Сантуш, как поэты арабской Африки — алжирцы Мухаммед Диб и Башир Хадж Али, египтяне Ибрахим Наги и Ахмад Рами и многие-многие другие. После победы в сражениях за свободу эти поэты и поэты молодого поэтического поколения, выросшие в годы битв и становления новой жизни, делают все для сплочения и укрепления единства Африки, видя в нем фундамент счастливого будущего всего континента. Солидарность африканских писателей и поэтов в защите интересов своих народов неизбежно привела их к контактам и встречам с единомышленниками, живущими и творящими на других континентах

Земли, и прежде всего с поэтами и прозаиками братских стран Азии, положив в середине 50-х годов начало движению писателей стран Азии и Африки.

Историческими вехами на пути афроазиатского движения писателей были их встречи в Ташкенте и Каире, Бейруте и Дели, и, наконец, Пятая юбилейная встреча состоялась в сентябре прошлого года в столице Советского Казахстана — Алма-Ате. Она подвела итог проделанному писателями двух континентов пути за пятнадцать лет существования Ассоциации писателей стран Азии и Африки и явилась той деловой трибуной, с которой литераторы двух континентов и гости конференции заявили о своем понимании сегодняшних задач, стоящих перед человечеством, о месте писателя в современном мире, о первостепенной важности его общественно-политических и творческих позиций.

В приветствии Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, направленном участникам алма-атинской встречи, говорилось: «Содействовать тому, чтобы процесс разрядки напряженности, отвечающий жизненным интересам народов, охватил весь земной шар, — высокая и благородная задача, стоящая перед художниками слова». Пятую конференцию писателей стран Азии и Африки нужно рассматривать не как отдельное, пусть и весьма важное мероприятие, но как форум борцов, наметивших общую программу дальнейших действий. Конференция уже стала историей Движения, но само Движение продолжается, оно набирает силы, берется за решение новых, более грандиозных задач. Алма-Ата — это ответ лучших писателей двух великих континентов на злободневный и сегодня вопрос Максима Горького: «С кем вы, мастера культуры?»

В этом невиданном в прошлые эпохи общественно-литературном процессе, каковым является Движение, еще ждущее своих исследователей и пристального внимания теоретиков мировой литературы, активную роль играют и советские писатели и поэты, переводчики и литературоведы. Вышедший в свет в канун алма-атинской встречи том «Поэзия Африки» является еще одним наглядным подтверждением внимания и интереса, которые проявляются в нашей стране к творчеству лучших представителей современной литературы Африки.

Феликс БУРТАЦОВ.



СВИДАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Фильмы Чаплина. Сценарии и записи по фильмам. Составитель и автор предисловия А. Кукаркин. М. «Искусство». 1972. 769 стр.

Пусть читатели рецензии не ждут от меня анализа единственного в своем роде творчества Чарльза С. Чаплина. Это сделано весьма обстоятельно и убедительно в предисловии А. Кукаркина, являющегося одновременно и составителем сборника «Фильмы Чаплина». А. Кукаркин раскрывает истоки, направленность и социальный пафос творчества Чаплина, развитие и трансформацию главного его героя. Мне же хочется поговорить о другом: целесообразно ли было издание этой толстой и весьма соблазнительной по содержанию книги? Еще бы не соблазнительной! Все главные произведения Чаплина собраны под одну крышу: тут и «Мальш», и «Пилигрим», и «Золотая лихорадка», и «Огни большого города», и «Новые времена», и «Великий диктатор», и многое другое вплоть до «Графини из Гонконга», самой последней работы престарелого мастера.

К сожалению, я прихожу в решительное противоречие со второй половиной предисловия А. Кукаркина, доказывающего, что такое издание не только целесообразно, но очень полезно и радостно. «Закономерен... успех публикаций сценариев или, если они отсутствуют, записей по фильмам. При чтении их возникает известная иллюзия просмотра; кроме того, они имеют научную ценность». Сразу оговорюсь: последнее утверждение, насчет научной ценности, принимаю безоговорочно. Но вот насчет «иллюзии просмотра»... А что делать, если такой иллюзии не возникает? Не то чтобы вообще не возникает при чтении записей по фильмам, а именно от записей чаплинских фильмов. А. Кукаркин же предусматривает такую возможность и грозит толстокожим читателям плетью самого Белинского, который «отмечал, что способность к постижению комического представляет собой вершину эстетического образования».

Сказано крепко, а главное, от души: ведь все записи, кроме «Огней рампы», сделаны тем же А. Кукаркиным. Вот уж поистине: «Сама садик я садила, сама буду поливать».

Да, основная моя претензия к этим записям: мне не было смешно. И все же я отказываюсь признать себя эстетическим дебилом и даже просто лишенным юмора человеком. За последние годы «чаплиниана» с небывалым успехом прокатилась по все-

му миру. Сборники чаплинских короткометражек, его большие немые фильмы («Парижанка», «Золотая лихорадка»), полунемые («Огни большого города», «Новые времена»), звуковые (блестательный «Великий диктатор», несколько сентиментальные «Огни рампы», ядовитый «Мсье Верду», обличительный «Король в Нью-Йорке») шли на экранах Европы, Азии, Африки, и во время поездок за рубеж я не пропуская случая вновь и вновь прикасаться к этому искусству, полонившему мою душу в далекую пору детства и отрочества, возвращавшемуся не раз в годы вгиковской учебы и профессиональной жизни в кино — на просмотрах в ЦДК и Госфильмофонде. Порой и я смеялся до слез, а случалось, и плакал так, что сам себе становился смешон. Нет, клянусь, я вовсе не похож на тех каменно-невозмутимых зрителей, которым «все не смешно», ну, хотя бы на зрителей из «Огней рампы», равнодушно уходящих с представления старого, потерявшего цирковой кураж Кальверо.

И мне ничуть не кажется удивительным, что с некоторого времени на экране вновь ожили чаплинские приемы, вроде бы давно устаревшие, сданные в архив, все эти пощечины, пинки в зад и подзатыльники, бесконечные погони с полицейскими. Достаточно сказать, что такой серьезный, глубоко социальный художник, как Стэнли Крамер, не побрезговал грубоватой чаплинадой мак-сеннеттовского периода в финале своего горького фильма «Этот безумный, безумный, безумный мир».

Но читаешь записи лучших, классических фильмов Чаплина «Граф», «На плечо!», «Мальш», «Пилигрим», «Золотая лихорадка» и не только не улыбнешься, но не можешь преодолеть чувства неловкости и скуки. И если ты сам не видел этих фильмов, то невольно задумаешься: как могли люди более полувека упиваться столь плоским и грубым шутством! Трудно сказать с полной достоверностью, в какой мере виновата тут форма записи по фильму, ибо не с чем сравнивать — ни один чаплинский сценарий той поры до нас не дошел. Можно предположить, что сценария в нашем нынешнем понимании и вовсе не было, хотя в отношении сложной «Золотой лихорадки» это трудно допустить,

а были лишь общие наброски, нечто вроде либретто, все же остальное являлось плодом импровизации, разработки сцен непосредственно на съемочной площадке. Кстати, такова и точка зрения самого А. Куаркина.

Рисуется следующая картина: вот Чаплин-сценарист поставил точку под несколькими беголо исписанными страницами, содержащими наметку будущего фильма, отложил перо, наклеил усики, надел узкий пиджачок и широкие брюки, натянул непомерные ботинки, взял в руки тросточку и превратился в Чаплина — гениального актера-импровизатора, и в Чаплина — великого режиссера, и в Чаплина — тонкого музыканта, и в слиянии всех этих качеств происходит чудо рождения искусства. К слову говоря, пример Чаплина заставляет думать, что если кино и синтез нескольких искусств, то синтез этот происходит внутри одного человека. Тогда становится понятной исключительность Чаплина.

Но вдруг мы ошибаемся и Чаплин работал вовсе не так, а записывал свои сценарии («киношники» никогда не скажут «писать сценарий» — только «записывать», следуем их обычаю) обстоятельно, продуманно в мельчайших деталях, что он включал сюда все пинки, тычки, пощечины, которыми так щедры его фильмы? До чего трудно в это поверить! Да нет же, конечно, буффонада рождалась прямо на площадке — по наитию и вдохновенно озорной души актера. Неужели серьезный и задумчивый наедине с самим собой, со своим сердцем Чаплин, исполненный вечной жалости к малым и сирым мира сего, писал бестрепетной рукой: «дает пинок в зад», «бьет по голове»? Он записывал историю почти всегда грустную, даже сентиментальную. Но он вводил в викторианскую слезницу гротеск современного безумия, абсурда, снимал налет сентиментальности, осмеивал все и вся, а под конец с ловкостью иллюзиониста превращал пустые слезы смеха в слезы сочувствия ко всем обездоленным и бесприютным.

Но все-таки напряжемся и вообразим, что, не полагаясь на свой импровизационный дар, Чаплин все свои трюки «учитывал» в сценарии. Тогда возникает вопрос: как это было «записано» у самого Чаплина? Ведь можно одну и ту же зуботычину «записать» так, что она будет выглядеть и просто хулиганским действием, и знаком некой высшей жизни. Чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую — и совершен-

но разный эффект, ведь в искусстве все дело в этом «чуть-чуть».

Мы знаем, как бережно и уважительно относится Чаплин и к своему таланту, и к своей работе, и к своей биографии. Несмотря на преклонные годы, он полон сил, активности и вполне мог бы восстановить утраченные сценарии, если б видел в том прок, если б считал их достойными опубликования. С годами Чаплин вообще стал более снисходителен к себе, он искренне восторгается слабой, провальной «Графиней из Гонконга», не ленится печатно и устно защищать ее, но он и пальцем не пошевелил, чтобы «подарить» нам сценарии своих ранних фильмов.

Так вот, правомочна ли вообще система записей, дающая в лучшем случае представление о скелете фильма, но никак не о его живой, цветущей плоти, коль скоро дело касается сложного и тонкого творчества Чаплина? Другое дело запись детективов, вестернов или даже психологических драм, особенно в звуковом кино, где многое решает диалог.

Свою полную несостоятельность запись по фильму обнаруживает в одном из самых блистательных, остроумных и трогательных произведений Чаплина — «Золотой лихорадке». Те, кто видел этот фильм хотя бы в детстве, никогда не забудут гениальную эксцентриаду танца с булочками или обеда голодных золотоискателей из... вареного ботинка Чарли, несказанно трогательное отношение маленького бродяги к красавице Джорджии и странную печаль счастливого финала, где чудом разбогатевший Чарли позирует фотографу в своих старых нищенских тряпках — под вывеской миллионера остался тот же продрогший человек с наивной, доброй и незащитной душой. В записи пропадает и юмор, и блеск эксцентриады, и глубокая человечность зрелища. Все выглядит плоским, грубым, да что там — просто глуповатым. Людям, не видевшим фильм, будет казаться, что «Золотая лихорадка» — убогое детище ранних дней кино. Возможно, что запись пригодится студентам ВГИКа — не сценаристам, конечно, тут учиться нечему, а киноведам, историкам кино. Но ведь не на них рассчитывало издательство, выпускающая книгу массовым тиражом.

В столь же обедненном виде предстают и такие шедевры Чаплина, как «Огни большого города» и «Новые времена».

И прямо-таки досада и грусть охватывают, когда читаешь неуклюжую «стенограм-

му» «Великого диктатора» — вершины чаплинского творчества, где, впервые полностью слившись со своим героем, Чаплин поднял его и себя на высоту трибуна. Хорошо еще, что фильм звуковой и в финале нас потрясает могучая речь Чаплина, клеймящая тиранию и восславляющая вечный свет человечности.

В своем предисловии А. Кукаркин пишет: «Любая система записи чаплинских фильмов в еще большей степени, чем произведений любых режиссеров, значительно обедняет их. Но это уже — неизбежно. Однако привнесение при этом в записи каких-либо элементов субъективного восприятия представляется особенно недопустимым. Очевидно, принципам максимально возможной документальности, фиксирующей в изобразительном ряду только необходимое — сам объект съемки, а не оставаемое им впечатление, — следовало придерживаться и при записи довоенных фильмов».

Вот в чем корень зла. В этой начисто опровергнутой результатом работы «теоретической» предпосылке. Прежде всего как определить «в изобразительном ряду только необходимое»? Если судить по записям А. Кукаркина, к «необходимому» относятся все пинки, затрецины, подножки и т. п. Да, они необходимы в фильме, неотделимы от режиссерской и актерской манеры Чаплина, от его мироощущения наконец, но в голой литературной фиксации выглядят донельзя плоско, убого. Они лишены той нагрузки, которую несут на экране. И почему надо отказываться от «субъективного восприятия»? Неужели А. Кукаркину кажется, что он записывал фильмы с беспристрастием и механической точностью работа? Ребяческое заблуждение! Все равно он делал это по-своему, не так, как сделал бы кто другой, пусть и стоящий на его же позициях. Кстати, слащавые «Огни рампы» выглядят живее, интереснее всех других записей (если исключить чудовищный перевод песенок Кальверо, в таком виде просто компрометирующих Чаплина), быть может, именно в силу того, что Ф. Монтессанти не так уж стремился к исключению «элементов субъективного восприятия», отважившись на робкое сотворчество.

Записи чаплинских фильмов только тогда получат право на существование, когда сами станут искусством, то есть будут окрашены индивидуальностью записывающего, в чем-то конгениального Чаплину. Прошу

понятие конгениальности рассматривать не по Остапу Бендеру — как «высшую гениальность», а как созвучие, совпадение. И заиграет живой, теплый чаплинский свет, пусть преломленный через линзу чужого восприятия. Кому под силу такое? Возможно, тому же А. Кукаркину, если он скинет добровольно наложенные на себя «теоретические» оковы.

Теперь обратимся к настоящим сценариям Чаплина. Их в сборнике два: «Мсье Верду» и «Король в Нью-Йорке». Нужно ли говорить, как резко не похожи эти произведения на записи и как в отличие от записей близки к своему кинематографическому образу? Полагаю, что никаких доказательств тут не требуется. В них есть все, за что мы любим Чаплина: его веселость и его грусть, острая буффонада рядом с вечной заботой о человеческом достоинстве, остроумие и дерзость, чуть старомодная чувствительность и прорывы сильного гражданского пафоса.

Едва ли в каком другом, самом серьезном и патетическом фильме найдешь такое яростное осуждение маккартистской Америки, как в комедии «Король в Нью-Йорке». Смешной король-изгнанник, король-призрак (недаром же его фамилия Шэдоутень), столкнувшись с уродством американского образа жизни, вдруг оказывается самой реальной человеческой фигурой в призрачном мире лжеценностей. А когда он встает на защиту обесчещенной души мальчика Руперта, которого сделали предателем, то комедийный образ обретает черты высокого лиризма.

Куда сложнее определить свое отношение к талантливому «Мсье Верду». Этот сценарий уже печатался на русском языке много лет назад и в ту пору производил совсем иное впечатление, нежели сейчас. Гротескный образ обаятельного убийцы, любящего мужа и отца, идущего на преступление ради безмерно жалких близких существ, воспринимался как некая горестная условность, допустимое в искусстве преувеличение. Вот, мол, до чего может довести уродливая социальная действительность, общество, где все основано на чистогане. Чаплин оказался слишком хорошим пророком: ныне мсье Верду из фигуры воображаемой, острокомедийной превратился в кошмарную реальность. Он существует и в самом прямом образе брачного афериста, не брезгующего убийством, и в виде симпатичных парняг, убивающих

из самоутверждения, и в виде кумира хиппи — композитора и проповедника Мэйсона, ставшего «автором» одного из самых мерзких убийств века, и в тех стрелках, которым все равно по кому вести огонь — по президентам, сенаторам, борцам за справедливость, черным или белым. Все эти люди находятся, как и мсье Верду, в конфликте с породившим их обществом, но при этом они олицетворенное зло с любых социальных позиций, ибо их отвратительная жестокость, кровожадность, страсть к уничтожению не имеют ничего общего с настоящей борьбой за человека.

В конце сценария мсье Верду рассуждает почти по Раскольникову, но в отличие от героя Достоевского остается при убеждении, что в мире насилия убийство дозволено и оправдано. И сейчас это не выглядит ни суровым «предупреждением», ни дерзким — полувсерьез — эпатажем. Ты не хочешь сочувствовать Верду-убийце, к чему тебя всей силой своего искусства зовет Чаплин. Время решительно сработало против идейно-художественной сути вещи.

Чарльз С. Чаплин не избежал судьбы многих творцов-долгожителей: не смог покинуть искусство раньше, нежели оно покинуло его. «Графиня из Гонконга», поставленная после многих лет затворничества, — прямое тому доказательство. Некоторые критики видят неуспех наивного фильма в самом намерении Чаплина поставить немудреную, заведомо старомодную комедию положений с простеньким сюжетом и одномерным характером. Как ни странно, основная посылка Чаплина была верна. Старый киноволок, он правильно учуял, что после всех изысков, которыми перекормили публику Годары, Трюффо, Шаброли, Антониони, Феллини, настоящий большой успех должен прийти к чему-то очень простому, житейскому, но освежающему современного зрителя интимно-человеческим. И ведь А. Хиллер, поставивший

«Любовную историю», доказал справедливость такого намерения. Незатейливой любовной историйке двух студентов выпал на долю ошеломляющий всемирный триумф.

«Графиня из Гонконга» в своем жанре не смогла решить сходной задачи — максимального приближения к рядовым зрителям. «Любовная история» дает освобождающий выход в слезах, «Графиня из Гонконга» не дает выхода в добром, чуть старомодном, от души, от всего сердца, безмятежном смехе. Не блещет юмором и сценарий, во многом определивший неуспех фильма своими убогими квипрокво, достойными начала века. Старомодность не украшает искусства, но устарелость, обветшалость стиля, приемов убивает его.

Каковы же итоги? Они неутешительны. Сценарные записи в том виде, в каком они сделаны сейчас, имеют право на существование лишь в качестве учебных пособий, напечатанных на стеклографе. Из двух самостоятельных сценариев несомненной ценностью обладает лишь «Король в Нью-Йорке». А ведь на этот сборник в 770 страниц, изданный тиражом в 50 тысяч экземпляров, загублена целая роща деревьев — при нашей-то нехватке бумаги! А сколько интереснейших современных сценариев мастеров западного кино остаются неизвестными нашему читателю! И как важно было бы сейчас, когда неизмеримо повысилась роль и ответственность сценариста в светской кинематографии, издавать возможно больше сценариев наших, отечественных авторов. Наконец, стоило бы издать монографию о Чаплине-сценаристе, присоединив в качестве иллюстрации «Короля в Нью-Йорке» и насвежо, с душой и талантом сделанную запись, скажем, «Золотой лихорадки» или «Великого диктатора». Ибо ныне наше свидание с Чаплином-сценаристом не состоялось.

Юрий НАГИБИН.



Политика и наука

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ МИРА

Цикл брошюр. М. «Знание». 1973.

Неоспоримо, что за последние годы стал мягче политический климат на нашей планете. Отступили морозы «холодной

войны», люди стали дышать свободнее, и страх перед ядерной катастрофой постепенно рассеивается. Уже ни у кого не воз-

никает сомнения, что решающую роль в смягчении международной обстановки играла и играет миролюбивая политика Советского Союза, Программа мира, принятая XXIV съездом КПСС. Именно поэтому человечество с таким неослабным вниманием следит за каждым внешнеполитическим шагом нашей страны.

В Обращении Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу говорится:

«1973 год отмечен важными положительными сдвигами на мировой арене, дальнейшим ростом международного авторитета нашей ленинской партии, социалистической Родины. Идеи Программы мира, активная, инициативная международная политика КПСС, осуществляемая в тесном единстве с братскими странами, еще более укрепили сплоченность социалистического содружества, оказали благотворное влияние на всю политическую атмосферу планеты. Налицо поворот в развитии международных отношений — от напряженности и «холодной войны» к разрядке и мирному сотрудничеству государств с различным социальным строем».

Активная инициативная внешняя политика нашей партии, Советского государства ведет к таким сдвигам и изменениям в мире, что их благотворное влияние начинают ощущать на себе люди во всех уголках земного шара.

Редакции газет и журналов получают тысячи писем по вопросам международной политики. Пишут рабочие и ученые, колхозники и домохозяйки, военнослужащие и пенсионеры. Авторы писем выражают поддержку внешнеполитических акций Советского Союза, гневно осуждают международную реакцию и империализм, просят дать разъяснения по отдельным событиям за рубежом. Письма наглядно показывают, как неуклонно растет политический уровень советских людей, их четкое понимание всего, что происходит в мире.

В нашей стране работает большая армия агитаторов, пропагандистов и лекторов. Как правило, залы, где читается лекция по международному положению, бывают переполнены. Нередко слушатели и час и полтора не отпускают лектора, забрасывая его вопросами по самым различным аспектам мировой политики.

Вполне понятно, что и у самих агитаторов и лекторов, работающих во всех районах нашей необъятной страны, возникает

потребность в систематизированном, обширном теоретическом и фактическом материале, который они могли бы использовать в своей важной и полезной работе. Этой цели служит, в частности, выпущенная издательством «Знание» библиотечка из 12 брошюр, объединенных общим названием: «Ленинским курсом мира». В ее создании приняли участие видные специалисты в области международной политики, дипломаты, экономисты, журналисты, ученые.

Библиотечку открывает брошюра Ю. Л. Молчанова и В. А. Кузнецова «Ленинская внешняя политика КПСС — действенный фактор оздоровления международной обстановки». Авторы рассказывают об основных принципах и целях внешней политики КПСС и Советского государства, о факторах, которые гарантируют эффективность этой политики.

В основе работ два основных принципа советской внешней политики: принцип пролетарского интернационализма и принцип мирного сосуществования с государствами с иным социальным строем. Таковы брошюры: А. В. Вахрамеева «Упрочение позиций мирового социализма»; А. Д. Шуртова «Международное коммунистическое движение — авангард революционных сил»; Г. Ф. Кима и А. С. Кауфмана «Советский Союз — оплот борьбы народов за независимость и социальный прогресс». Как явствует из самих названий, они посвящены трем главным силам современного революционного процесса: мировой системе социализма, международному коммунистическому и рабочему движению и национально-освободительному движению. Это те гигантские силы, союз и взаимодействие которых играют решающую роль в определении судеб современного мира и которые гарантируют конечную победу народов в борьбе против империализма, колониализма, неоколониализма и расизма.

Хотелось бы сказать несколько слов о проблемах, затронутых в брошюре Г. Ф. Кима и А. С. Кауфмана. Судя по всему, размеры книжки не позволили авторам коснуться многих жизненно важных вопросов, связанных с национально-освободительным движением народов Азии, Африки и Латинской Америки и его поддержкой со стороны Советского Союза и других социалистических стран. Тема эта настолько широка, что, возможно, ее следовало бы расчленивать, посвятив ей не одну, а две бро-

шюры. Читателей библиотечки может заинтересовать вопрос о поддержке Советским Союзом вооруженной борьбы африканских народов против их поработителей. Это потребовало бы более подробного рассказа о положении в ЮАР, Родезии, Намбии, португальских колониях, о создании Республики Гвинея-Бисау, об участии СССР во всемирной борьбе против расизма и апартеида. Нельзя пройти и мимо весьма представительного движения неприсоединившихся стран, которое было высоко оценено товарищем Л. И. Брежневым.

Больших успехов добился Советский Союз и в осуществлении на практике принципа мирного сосуществования с государствами с иным социальным строем. Визиты Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева во Францию, ФРГ и США заложили прочную основу нормализации и улучшения наших отношений с крупными капиталистическими государствами.

Брошюра Б. Д. Пядьшева «СССР—США: от конфронтации к сотрудничеству» подробно рассматривает историю советско-американских отношений начиная с рождения Советского государства и кончая визитом президента Р. Никсона в СССР и товарища Л. И. Брежнева в США. Эта брошюра, написанная наиболее живо и доходчиво, повествует о важнейшем явлении современности — попытках двух величайших держав мира найти путь не только к нормализации отношений, но и к прочному постоянному взаимовыгодному сотрудничеству.

Не менее важные сдвиги происходят в Европе — главной арене второй мировой войны. Брошюра А. И. Степанова «Европейскому континенту — прочную систему безопасности и сотрудничества» рассказывает о том, как благодаря непрерывным усилиям Советского Союза и других социалистических стран удалось добиться созыва Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. К сожалению, библиотечка издательства «Знание» вышла примерно в момент начала первого этапа общеевропейского совещания в Хельсинки, и автор не мог рассказать читателям о том, как продолжалась его работа — второй этап совещания — уже в Женеве.

Советский Союз твердо убежден, что нынешний процесс разрядки международной напряженности может и должен распространяться на все районы земного шара.

Одним из таких обширных районов с крайне сложными проблемами, противоречиями и даже конфликтами до сих пор являлась Азия. Но и здесь происходят позитивные перемены, которые создают хорошую почву для коллективных усилий народов по обеспечению мира на этом гигантском континенте. Брошюра И. И. Тамгина «О коллективной безопасности в Азии» говорит о стремлении СССР, одной из крупнейших азиатских держав, добиться, чтобы на месте замкнутых военных группировок была создана система коллективной безопасности с участием всех азиатских народов. Идея коллективной безопасности в Азии, выдвинутая Советским Союзом, находит горячую поддержку великого азиатского государства — Индии, которую в прошлом году посетил с официальным дружественным визитом товарищ Л. И. Брежнев. В речах индийских руководителей, особенно премьер-министра Индиры Ганди, во время визита была дана самая высокая оценка усилий Советского Союза по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с азиатскими странами, по превращению Азии в континент мира и сотрудничества.

Говоря о том, что в Азии существуют благоприятные предпосылки для создания системы коллективной безопасности, автор брошюры не упомянул, что для народов азиатского континента эта идея не новая, что они уже предпринимали коллективные шаги для защиты мира в этом регионе. Достаточно вспомнить Бандунгскую конференцию 1955 года, принявшую Декларацию о содействии всеобщему миру и сотрудничеству, подтвердив принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Противником идеи коллективной безопасности и разрядки напряженности в Азии выступает пекинское руководство, которое навязывает свое лидерство развивающимся странам и пытается вбить клин между ними и социалистическим сотрудничеством. М. А. Ильин в брошюре «Маоизм: подрыв дела социализма и мира» прослеживает все этапы ренегатства маоистов и эволюцию их политического курса, которая привела к тому, что Пекин превратился в открытого соратника всех международных реакционных сил и сомкнулся с ними на позициях оголтелого антисоветизма. Автор подробно говорит о резком сдвиге вправо во внешней политике Пекина, о выдвинутом им клеветническом тезисе «двух сверхдер-

жав», который используется маоистами для нападков на Советский Союз.

Брошюра М. А. Ильина ясно характеризует последовательную интернационалистическую позицию Советского Союза по отношению к Китайской Народной Республике. Как заявил Л. И. Брежнев в Ташкенте 24 сентября 1973 года, «Советский Союз, наша Коммунистическая партия неизменно и последовательно выступают за нормализацию отношений с Китаем, более того — за восстановление советско-китайской дружбы, что, по нашему глубокому убеждению, отвечает интересам как советского, так и китайского народов и более широким интересам дела мира, социализма и прогресса во всем мире».

Библиотечка издательства «Знание» правильно обращает внимание своих читателей на вопросы идеологической борьбы в современных условиях. Проблемам идеологии посвящена брошюра Ю. Б. Кашлева и Л. М. Максудова «Мирное сосуществование и идеологическая борьба».

За последнее время из уст западных буржуазных пропагандистов можно часто слышать утверждения, что принцип мирного сосуществования якобы должен означать отказ от классовой борьбы между социализмом и империализмом. Ловко орудуя этим тезисом, идеологи капитализма призывают использовать обстановку разрядки напряженности для усиления борьбы против социализма, для идеологических диверсий в социалистических странах. Известно, что на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе некоторые западные представители пытались воспользоваться обсуждением вопроса о контактах в сфере культуры, обмена идеями и информацией для навязывания социалистическим странам «психологической войны», подрывной пропаганды, распространения идей расизма, милитаризма, насилия, столь чуждых нашему обществу. Советский Союз не может согласиться с подобным толкованием вопроса о контактах, обмене идеями и информацией, считая, что сотрудничество в этой области желательно, но оно не может осуществляться в нарушение суверенитета, законов и обычаев каждой страны.

Что касается принципа мирного сосуществования, то брошюра Ю. Б. Кашлева и Л. М. Максудова дает четкий ответ, сводящийся к тому, что классовая борьба двух противоположных систем велась, ве-

дется и будет вестись, так как она исторически неизбежна. Однако идейно-социальные различия отнюдь не исключают взаимовыгодного сотрудничества, и в первую очередь в сфере укрепления международной безопасности.

Л. И. Брежнев в докладе о пятидесятилетии образования СССР на торжественном заседании в Кремле 21 декабря 1972 года говорил:

«КПСС исходит и исходит из того, что классовая борьба двух систем — капиталистической и социалистической — в сфере экономики, политики и, разумеется, идеологии будет продолжаться. Иначе и быть не может, ибо мировоззрение и классовые цели социализма и капитализма противоположны и непримиримы. Но мы будем добиваться, чтобы такая исторически неизбежная борьба перешла в русло, не угрожающее войнами, опасными конфликтами, бесконтрольной гонкой вооружений. Это будет огромным выигрышем для дела мира во всем мире, для интересов всех народов, всех государств».

Но и сейчас, в обстановке смягчения международной напряженности, наша партия, как подчеркнул апрельский (1973) Пленум ЦК КПСС, вновь обращает внимание на необходимость постоянной бдительности и готовности давать отпор любым проискам агрессивных, реакционных кругов империализма. Г. В. Средин, автор брошюры «Высокая бдительность и готовность к отпору агрессивным кругам империализма — важное условие упрочения мира», рассказывает о Варшавском договоре — истинно оборонительном союзе братских социалистических стран и о том, как Советские Вооруженные Силы стоят на страже безопасности нашей родины.

Совершенно очевидно, что нынешних положительных сдвигов в международной обстановке нельзя было бы добиться, если бы миру капитализма не противостояло экономическое и оборонное могущество социалистического содружества, и прежде всего Советского Союза. Решающее влияние на современный мир оказал коренной перелом, происшедший в пользу мирового социализма в отношении сил между ним и мировым империализмом.

В брошюре Н. Н. Барышникова и Л. Г. Истягина «Рост экономического могущества Советского Союза — основа успешного выполнения Программы мира» подчеркивается, что улучшение политической

атмосферы в мире — в значительной степени непосредственный результат героического труда советских людей, успехов советской социалистической экономики. Успешно закончив 1973 год, решающий год девятой пятилетки, советский народ приступил к выполнению огромных планов четвертого года пятилетки, твердо зная, что его ударный труд служит не только процветанию нашей родины, но и делу мира во всем мире.

ЦК КПСС, обращаясь к партии, к советскому народу, заявил:

«Наши новые социальные и экономические достижения будут иметь огромное интернациональное значение, еще более увеличивать притягательную силу социализма, способствовать дальнейшему росту международного авторитета Страны Советов. Успешное строительство коммунистического общества — достойный вклад советского народа в дело укрепления социалистического содружества, упрочения мира и безопасности народов, в социальный прогресс человечества».

Несколько замечаний, сделанных выше, по брошюре о национально-освободительном движении наталкивают на мысль о том, что библиотечку издательства «Знание» следует не только обновлять, но и расширять в тематическом плане. Подобное издание не может поспевать за международными событиями — библиотечка вышла до Всемирного конгресса миролюбивых сил, до визитов Л. И. Брежнева в Индию и на Кубу, до декабрьского Пленума ЦК КПСС, и, естественно, эти вехи в международной жизни не нашли в ней отражения. Кроме того, существует много

проблем, которые не может обойти международник, агитатор или пропагандист, несущий в народ знания о мировой политике.

Представляется желательным, чтобы работа, начатая издательством «Знание», была продолжена, чтобы появилась новая библиотечка «В помощь международнику», которая касалась бы отдельных конкретных мировых проблем и позиции Советского Союза по этим проблемам.

По-видимому, было бы вполне оправданным издание отдельной брошюры об отношении Советского Союза к проблеме Ближнего Востока, которая порождает множество вопросов у советских читателей. Трагические события в Чили, вызвавшие бурную волну откликов в советском народе, подсказывают необходимость издания еще одной брошюры — об отношениях Советского Союза с народами Латинской Америки. Проблемы разоружения и сокращения вооружений и вооруженных сил, предложения Советского Союза в этих вопросах также могли бы стать темой одного из выпусков библиотечки международника. Конечно, это только несколько предложений, разрозненных и несистематизированных. Но, вероятно, составители библиотечки могли бы учесть и эти предложения в своих планах на 1974 год.

Издательство «Знание» сделало большое дело, дав агитаторам-международникам в руки ценное пособие. Библиотечка вооружает их основами теоретических познаний в области внешней политики нашей партии, дает им представление о том, как на деле осуществляется Программа мира, принятая XXIV съездом КПСС.

О. ОРЕСТОВ.



ОБОБЩАЮЩИЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Б. Краснобаев. Очерки истории русской культуры XVIII века. М. «Просвещение». 1972. 335 стр.

За последние полтора-два десятилетия значительно возросло количество книг и публикаций, освещающих самые разные стороны сложного процесса развития культуры народов СССР в прошлом и в настоящее время. Однако, несмотря на постоянный рост тиражей, потребность в литературе этого рода все еще велика, особенно в книгах, дающих обобщенную картину развития самых различных сторон духов-

ной жизни общества. Поэтому можно только приветствовать любую серьезную попытку создать подобную работу по истории культуры.

«Очерки истории русской культуры XVIII века» Б. И. Краснобаева как бы завершают издание серии книг по истории отечественной культуры периода феодализма¹.

¹ См. кн.: А. М. Сахаров и А. В. Муравьев. Очерки русской культуры

Как сказано в авторском предисловии, цель «Очерков» заключается в том, чтобы «помочь учителю в подготовке уроков по истории культуры XVIII в.». Однако нам представляется, что значение рецензируемой книги гораздо шире, особенно если учесть, что «академическая» история русской культуры этого времени пока еще не создана, хотя и имеется довольно много трудов по истории науки, просвещения, философии, литературы, изобразительного искусства, театра, музыки и других отраслей культуры, написанных отдельными учеными или коллективами авторов. Не преувеличивая важности выполненной Б. Краснобаевым работы по систематизации и обобщению большого количества исследований дореволюционных и особенно советских историков, литературоведов, искусствоведов и философов, можно сказать, что его книга, по сути дела, является одним из первых опытов создания обобщающей книги, характеризующей развитие основных отраслей русской культуры XVIII века.

Одна из трудностей при создании подобной работы, рассчитанной к тому же на широкого читателя,— правильный отбор узловых проблем и конкретного материала, характеризующего сложный и противоречивый процесс развития культуры в тот или иной исторический период.

Возникает вполне естественный вопрос: в какой мере отвечают этому требованию рецензируемые «Очерки»?

Книга Б. Краснобаева состоит из пяти тематических разделов, чрезвычайно насыщенных конкретным материалом («Общественная мысль», «Школа», «Наука», «Искусство и литература», «Книга и периодика»), и краткого заключения, в котором суммированы итоги развития культуры к началу XIX столетия. Из этого перечня видно, что автор сосредоточил свое внимание на рассмотрении важнейших областей духовной жизни русского общества. Это позволило ему полно и глубоко показать главные тенденции, характеризующие развитие отечественной культуры в XVIII столетии.

Думается, что в целом можно согласиться с произведенным Б. Краснобаевым отбором материала для характеристики процесса развития русской культуры в XVIII веке.

IX—XVII вв. М. 1962; В. В. Познанский. Очерки истории русской культуры первой половины XIX века. М. 1970.

Однако автору следовало бы во введении к «Очеркам» объяснить читателю, почему он ограничился рассмотрением вопросов истории духовной культуры и полностью игнорировал материальную культуру русского народа в XVIII веке. В этой связи также можно лишь пожалеть, что в рецензируемой книге отсутствуют данные по истории народного творчества, фольклора. Это в известной мере обеднило содержание «Очерков», лишило их автора возможности более выпукло и ярко показать влияние народного творчества на развитие различных отраслей русской культуры в XVIII веке, а также конкретно обосновать его правильную мысль о национальном, самобытном характере русской культуры этого времени.

Как справедливо отмечает Б. Краснобаев, каждый из очерков его книги в известной мере самостоятелен, однако это не мешает читателю воспринимать рецензируемое издание как довольно цельное повествование, объединяемое не только единством авторского замысла и общими идеями, но и методом подачи материала. Внутри каждого очерка изложение материала «по лицам» перемежается разделами, в которых дано проблемное освещение узловых вопросов каждой темы.

В центре внимания автора находятся три главные проблемы, сильно волновавшие в XVIII веке современников и нашедшие своеобразное преломление почти во всех сферах духовной жизни различных слоев населения России. Это оценка роли государственной власти в жизни страны и народа, пути решения крестьянского вопроса и борьба с православной церковью за утверждение научного мировоззрения. Постановка этих кардинальных вопросов обусловлена всем ходом исторического развития России в XVIII веке, для которого характерно зарождение и усиление буржуазных отношений в недрах феодально-крепостнического строя, усиление классовой борьбы крепостного крестьянства против феодального гнета. В то же время, как правильно отмечает Б. Краснобаев, выдвижение этих проблем на первый план было наглядным свидетельством того, сколь далеко шагнула в своем развитии русская культура в XVIII веке по сравнению с предыдущим временем.

Нам представляются заслуживающими особого внимания наблюдения Б. Краснобаева за развитием русской культуры в XVIII веке. **Общественная мысль**

XVIII столетия остро поставила проблему государственной власти. Это было во многом связано с утверждением абсолютизма и укреплением могущества Российской империи в результате преобразований Петра I. Публицисты, философы, ученые, художники, писатели, государственные и общественные деятели независимо от своих убеждений пытались дать ответ на вопрос, какой государственный строй был необходим для прогрессивного развития страны. Большинство из них идеализировало монархию в противовес деспотии. Просветители ожидали от «просвещенного монарха» справедливых законов, основанных на нормах естественного права, распространения просвещения, школ, книгопечатания, наук и художеств. Крестьяне надеялись с помощью царя получить облегчение от тягот помещичьего гнета. Новым для идейной жизни России XVIII века явилось то, что в этом столетии был совлен божественный ореол с царской власти. «Будь на троне человек», — писал Г. Р. Державин.

В XVIII веке впервые в русской общественной мысли поставлен крестьянский вопрос, который занял важное место в сочинениях многих публицистов и государственных деятелей, а также в работе Уложенной комиссии, «Вольного экономического общества», на страницах периодической печати, в деятельности правительства. С этого времени «крестьянская тема» прочно заняла свое место в литературе и живописи, театре и музыке, передав эту тенденцию XIX веку. В конце XVIII столетия первый дворянский революционер А. Н. Радищев выдвинул идею революционного свержения феодально-крепостнического строя для справедливого решения крестьянского вопроса.

XVIII век знаменовал победу светского начала в культуре, что расширило границы и возможности интеллекта и человеческих чувств. Знание освобождалось от средневековой схоластики и провиденциализма и превращалось в науку. Вновь созданная светская школа, а также развитие книгопечатания и рост числа периодических изданий содействовали подъему отечественной культуры.

Успехи в развитии культуры в XVIII веке Б. Краснобаев с полным основанием связывает с процессом формирования русской нации, что обусловило национальное единство культуры, ее основные черты и особенности на всей территории страны. В

свою очередь, развитие общественной мысли, образования, искусства и литературы способствовало консолидации русской нации. В сознании передовых представителей русской нации становятся определяющими идеи естественного равенства людей, уважения к человеческой личности, ее всестороннего развития путем правильного общественного обучения и воспитания. «Эту идею, — подчеркивает свою мысль автор, — утверждали портреты Никитина, Матвеева, Рокотова, Левицкого, Антропова, Боровиковского, Шубина, она звучала в поэзии Ломоносова, Державина, в журналах Новикова, в стихах и прозе Карамзина, Радищева, в творениях Баженова, Казакова, Камерона, Старова, Львова, в музыке Фомина, Бортнянского».

Наконец, необходимо отметить, что в оценке культурного наследия XVIII века автор рецензируемой книги постоянно следует принципу историзма. Это позволило ему избежать субъективных, односторонних оценок в таком важном вопросе, как соотношение «национального», русского и «иностранный» в отечественной культуре XVIII века. Так, не раз отмечая сложный, противоречивый характер развития различных отраслей культуры в XVIII веке, борьбу нового со старым, традиционным, Б. Краснобаев правильно указывает, что теперь «никто больше не утверждает, что русская культура XVIII в. — сколок с западноевропейской, что она подражательна, оторвана от русской почвы», ибо «внимательно прослежена ее органическая связь с предыдущими этапами истории культуры русского и других народов нашей страны». Далее он пишет: «Мы перестали с болезненной подозрительностью относиться к бесспорным фактам укрепления и расширения связей русской культуры с общемировой культурой, к фактам участия многих выдающихся европейских мастеров в создании нашей национальной культуры. Эти связи справедливо воспринимаются как естественные и необходимые. Они как раз и свидетельствуют о силе и самобытности русской культуры, которая не отгораживалась от лучших мировых достижений, творчески их использовала». Все содержание книги, на наш взгляд, весьма убедительно подтверждает этот тезис.

Примечательной чертой рецензируемой книги является то, что изложение конкретного материала в «Очерках» не имеет догматического характера: Б. Краснобаев

постоянно отмечает нерешенный или дискуссионный характер отдельных вопросов, освещаемых в его книге, недостаточность данных, имеющихся в распоряжении исследователей источников. Он не сглаживает внутренне противоречивый характер воззрений многих деятелей культуры (М. В. Ломоносова, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева, Г. Р. Державина и других). Это, а также наличие большого количества ссылок на публикации источников и труды ученых по соответствующему вопросу, на исполнение музыкальных и драматических произведений в советское время свидетельствует о том, что автор адресовал свою книгу тому любознательному читателю, который постоянно стремится расширять и пополнять свои знания.

К числу достоинств рецензируемого издания, по нашему мнению, относится и то, что оно написано живо, интересно. Наконец, следует отметить превосходное полиграфическое оформление книги (художник — В. П. Богданов).

Однако положительно оценивая полезную книгу Б. Краснобаева, нельзя не сказать и о ее некоторых недостатках. Как известно, развитие просвещения, науки, культуры наряду с другими причинами привело к формированию в XVIII веке новой категории населения — интеллигенции, которая вбирала в свои ряды выходцев из разных слоев населения и начинала играть важную роль в идейной и культурной жизни страны. В этой связи, думается, автору следовало бы уделить больше внимания формированию в XVIII веке русской интеллигенции как особой прослойки общества, выяснению роли отдельных классов и прослоек в этом длительном и сложном процессе, сконцентрировав материал по этому вопросу в особом разделе «Очерков», а не огра-

ничиваться беглыми замечаниями в различных разделах книги. Уместно заметить, что в историографии данной проблемы накоплен значительный материал. Некоторые замечания вызывает очерк по истории общественной мысли в России XVIII века, в котором не показано своеобразие русского варианта Просвещения. Вряд ли прав Б. Краснобаев, когда полностью исключил из этого очерка и других разделов книги материал о распространении в России XVIII века протеста против официальной церкви и абсолютной монархии в форме раскола и сектантства, охватившего значительные слои не только сельского, но и городского населения. Наконец, остается лишь сожалеть, что в очерке отсутствует характеристика общественно-политических взглядов такого крупного государственного деятеля, как Петр I, оказавшего сильное влияние на многие поколения, в том числе и на публицистов, деятелей науки и культуры XVIII века.

Наконец, нам представляется, что автору рецензируемого издания не вполне удалось найти меру в освещении истории науки и культуры в центре и на окраинах; в его книге преобладают данные о развитии культуры в Петербурге и Москве. «Периферия» представлена в ней очень слабо, хотя одной из новых черт в культурном развитии России было возникновение на окраинах своей интеллигенции.

Вряд ли есть необходимость останавливаться на более частных и мелких замечаниях. Они не могут поколебать общей положительной оценки книги Б. Краснобаева, которую с несомненным интересом и пользой для себя прочтут все те, кто интересуется отечественной культурой.

С. М. ТРОИЦКИЙ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ. Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Редакторы-составители В. Скобелев, Н. Страхов. Куйбышевское книжное издательство. 1972. 336 стр.

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ. Гуси-лебеди. Рассказы, повести, роман. Предисловие, подготовка текста и примечания Н. Страхова. М. «Советская Россия». 1973. 543 стр.

Сначала о первой книге. Этот тщательно составленный, хорошо прокомментированный сборник еще раз доказывает, насколько нужны и интересны издания, в которых «крупным планом» берется творчество одного литератора, в которых исследования литературоведческого плана сочетаются с публикациями текстов самого писателя, с живыми воспоминаниями о нем.

Когда разделы такого сборника составлены продуманно и правильно, они сливаются, органически дополняют друг друга. Первый раздел книги — это живой голос писателя. Здесь сатирически-обличительные корреспонденции 1906 года из глухого села Новый Письмерь в газету «Симбирские вести» перекликаются со статьями большевистской печати, предваряющими огромную «агитлитературу» революционных лет. Документальные очерки 1918 года о том, как приходила революция в глухие места России (цикл так и назывался — «В глухих местах»). Набросок статьи «Приемы художественного творчества И. А. Бунина», где знаток мужицкой жизни Неверов пристально, пристрастно анализирует рассказы Бунина, подчеркивая свое несогласие с позицией Бунина и свою влюбленность в этого художника.

Во втором разделе — статьи А. Ванюкова, Т. Никоновой и других авторов, посвященные отдельным произведениям Неверова, и статьи обобщающие (В. Скобелева, Л. Берловской, Н. Соколовой), в названиях которых вынесены такие обязывающие темы, как «Проблема гуманизма», «Народный характер». Хорошо, что в сборнике помещена статья исследователя драматургии гражданской войны, покойного Л. Тамашина, о пьесе Неверова «Анна», напечатана обстоятельная работа литературоведа и критика Фрица Мирау (ГДР) об интереснейших судьбах книг Неверова в Германии

20—30-е годов.

Обстоятельно составлен раздел воспоминаний. От воспоминаний (по преимуществу семейно-бытового плана) сестры писателя А. Панковой-Скобелевой до мемуаров писателя П. Дорохова. Приведены воспоминания сына Бориса Александровича, жены Пелагеи Андреевны, учительствовавшей в Поволжье по соседству с «учителем-писателем». Е. Никитина воскрешает атмосферу своих «субботников» 20-х годов, актриса М. Денисова рассказывает о работе над пьесой «Захарова смерть». Воспоминания о первой мировой и гражданской войнах, о поездке в 1921 году в Среднюю Азию — из этой поездки была привезена мука («Александр Сергеевич все больше и больше находил людей, которым «нужно дать», и приговаривал: «Ты жалеешь маленько, жалеешь!.. Каждый ведь человек»...» — пишет Н. Степной) и замысел повести о Мишке Додонове. Воспоминания о московских редакциях и о быте московских писателей в 20-е годы. Каждый текст прокомментирован тщательно и развернуто, и в справках, предваряющих публикации, и в постраничных примечаниях, и в приложениях много сведений совершенно новых, расширяющих наше представление о времени, в котором жил Неверов, и о нем самом.

Тщательный документализм — неотъемлемое качество исследовательской работы Н. И. Страхова, очевидное и в его составлении, в подготовке тома избранного Неверова, только что выпущенного издательством «Советская Россия». В лаконичном предисловии раскрыты новые грани творчества писателя. Среди известных повестей и рассказов публикуются произведения, затерянные в старой периодике. Комментарии не просто добросовестны — насыщены документальным материалом, рассказами о поисках забытых очерков, цифрами изданий и тиражей. Сорок четыре раза издавался «Ташкент — город хлебный» в Советском Союзе, не считая изданий в других странах. Вошла эта повесть, стоящая у истоков советской литературы, и в состав избранного — издания, адресованного прежде всего молодым поколениям, которым предстоит познакомиться с прекрасным писателем и с исследованиями о нем.

Е. Полякова.



ДИМИТРИЙ КАНТЕМИР. Описание Молдавии. Кишинев. «Картя молдовеняскэ». 1973. 224 стр.

В молдавском городе Сороки, близ древней крепости, чуть ниже цитадели по течению Днестра, стоит на берегу реки валуны, на котором высечено: «Здесь молдавский народ в 1711 году встретил русскую армию, вступившую на молдавскую землю согласно договору, заключенному Димитрием Кантемиром с Петром I для совместной борьбы против Оттоманской порты». Димитрий Кантемир (1673—1723), выдающийся молдавский государственный деятель и мыслитель, чье имя высечено на этом валуне рядом с именем Петра I, был также незаурядным ученым, писателем, автором многих книг по различным отраслям знания.

После неудавшейся попытки присоединения Молдавии к России в 1711 году Д. Кантемир вместе с четырьмя тысячами молдавских воинов перешел в Россию. Тогда же при заключении мирного договора оттоманская сторона требовала выдачи Кантемира, но Петр I, как свидетельствует историк Д. Полевой, ответил визирю: «Я дал ему слово сберечь его и не изменю, лучше уступлю туркам землю до Курска: мне остается еще надежда возвратить ее, но нарушение слова невозвратимо». Россия, в которой поработанные Турцией народы видели, по отзыву Энгельса, «единственную опору, свою освободительницу», дала убежище Кантемиру и его воинам, как бы предвещая вызволение Молдавии из-под оттоманского ига, наступившее лишь столетие спустя, в 1812 году.

В России Кантемир отнюдь не жил изгнанником, как пытались представить историки буржуазно-помещичьей Румынии. Доказательство тому — даже беглый перечень написанных им в эти годы обширных и глубоких сочинений: это и «Хроника древности романо-молдо-влахов», и «Книга системы, или О состоянии мухаммеданской религии», и «Описание Молдавии» (на латинском языке) — труд одновременно научный и литературный, продолжающий традиции молдавских летописцев. Эта книга Д. Кантемира — и подлинная энциклопедия Молдавии начала XVIII века, и волнующая поэма о родимом крае, сложенная вдали от него человеком мудрым и преданным. «Любовь к родине, — пишет автор «Описания Молдавии» — побуждает и властно диктует всякому, кто собирается описывать нравы своего народа, хвалить тот народ, к которому он принадлежит по рождению, и восхвалять жителей той страны, которая его родила... С другой стороны, любовь к истине препятствует и запрещает превозносить то, что по здравому размышлению подлежит осуждению». Замечание это, не претендующее на кредо, а как бы оброненное мимоходом, чрезвычайно характерно для слога книги и понимания той иерархии ценностей, на которые ориентировался автор, создавая свой труд. «Описание Молдавии» состоит из трех

частей: географической, политической и «Об устройстве церкви и образования в Молдавии». С захватывающим интересом читается и ныне этот сжатый свод знаний, начиная с легенды о происхождении наименования Молдавия и сведений о становлении молдавской государственности. Поэзией, фольклорными мотивами пронизаны описания рек и озер Молдавии, горных хребтов и холмов, перевалов и бродов, войсковых становищ и монастырей, национальных обычаев и письменности. И за всем этим — духовный облик народа с его стойкостью в испытаниях, жизнелюбием.

Вступительная статья, примечания и комментарии профессора В. Н. Ермуратского к «Описанию Молдавии» Д. Кантемира помогают читателю во всей полноте постичь идейную проблематику и прелесть художественной формы этого научно-литературного памятника.

Хочется добрым словом отметить работу ученых Молдавии, кишиневского издательства «Картя молдовеняскэ» (редактор — А. Лисовицкая), переводчика Л. Панкратьева, которые впервые осуществили полное издание книги «Описание Молдавии» на русском языке в непосредственном переводе с латыни. На хорошем уровне находится и ее полиграфическое оформление. Незначительный тираж (12 тысяч экземпляров) почти мгновенно разошелся на исходе 1973 года, в дни кантемировского юбилея.

Сквозь столетия, через языковые барьеры дошло до современного читателя, не оступив на сквознях времен, вдохновение Д. Кантемира, который по праву сказал о себе: «Душа не может обрести покоя, пока не познает истину, несмотря на расстояния и трудности, какие надо преодолеть».

Кишинев. **М. Хазив.**

★

КААРЕЛ ИРД. Размышляя о театре... «Искусство». 1973. 206 стр.

«Ванемуйне» — театр в старинном университетском городе Тарту. В театре идут спектакли для детей и взрослых, драматические, оперные, балетные, опереточные. «Ванемуйне» — сто четыре года. Тридцать четыре года его возглавляет талантливый актер и выдающийся режиссер, народный артист СССР Каарел Ирда.

Для человека, чуть ли не сутками напролет занятого своим театром и бесчисленными общественными обязанностями, книг у Ирда немало. Назовем три: «Постараемся поймать чудо» (1967), «Semper Idem» (1970) и та, что стала объектом данной заметки.

Первая и третья вышли под редакцией С. Дуниной, в переводе с эстонского В. Самойлова. В книгу «Размышляя о театре...» из таллинского сборника «Semper Idem» перешло несколько статей. Латинское название эстонской книги весьма символично: оно означает «Всегда одно и то же», но отнюдь не в смысле повторов, плоского однообразия.

Скорей, как сказал поэт: «Всегда, везде одно мечтанье, одно привычное желанье, одна привычная печаль!»

Для Ирда мечтанье, желанье, печаль — всё и вся — в его театре. В судьбах Театра вообще. В его будущем в частности. Вот почему в книге так много бесед с молодежью, дум о молодежи, воспоминаний о собственной молодости. Картины прошлого, возникающие на страницах книги, обращены к настоящему и будущему.

Знакомясь с нелегкой, тернистой дорогой, приведшей автора к вожденной сцене, читая о его борьбе коммуниста за рабочий театр в Эстонии, узнавая о его исканиях (и блужданиях) на нехоженых тропах оригинального и яркого творчества, читатель книги Ирда, особенно молодой, почерпнет много полезного для себя.

Интересны высказывания Ирда о профессионализме и гражданственном назначении театра, о воспитании в человеке Человека и о природе таланта. О человеческих дарованиях автор пишет с особым пристрастием. Для него, как для Станиславского, чем больше способностей дано человеку, тем больше должна быть и отдача. «Искра божия», по Ирду, — это не столько личное, сколько общественное достояние, за которое обладатель ее вдвойне и втройне ответствен перед собой и перед другими.

Каарел Ирда остроумен, ироничен, насмешлив. Я имела удовольствие убедиться в этом однажды, присутствуя на его репетиции. Она шла в стремительном темпе и приносила сразу же осязаемые результаты. Режиссер точно знал, чего он хочет, и умел добиваться намеченного. Ни одна его острота не произносилась для красного словца. Все было органично, все подчинено «производственному процессу». Так и в его книгах: вы можете рассмеяться над каким-нибудь неожиданным сравнением, остроумным замечанием и тут же восхититься тем, что в эту легкую, блестящую форму облечено серьезное содержание.

Оно значительно тем более, что от философских постулатов искусства до этических и профессиональных проблем современного театра, от анализа социального состава публики, предпочитающей те или иные жанры, до детального разбора пьес и спектаклей Брехта — все написано с предельной заинтересованностью и безупречным знанием дела. Примечательно, что даже попутно высказанные мысли оказываются деловыми, конкретными, имеющими практическое значение для сегодняшнего театра. Так, лаконичная характеристика «Катерины Измайловой» Шостаковича является образцом словесного выражения самой сути музыки.

«Размышляя о театре...» — сборник статей разных лет. А читаются эти, казалось бы, разрозненные вещи как цельное произведение искусства об искусстве и жизни. Об искусстве для жизни, для людей.

Дочитав эту книгу до конца, жаль с ней расстаться. Впрочем, такое же чувство ис-

пытываешь почти на всех спектаклях театра «Ванемуйне»...

Анна Илушина.



Е. ЖУКОВА. Когда настал XX век. М. «Знание». 1973. 206 стр.

К ленинской «Искре» привлечено внимание многих исследователей. Издано много трудов, защищены диссертации, опубликована переписка редакции «Искры» с ее агентами и корреспондентами...

Опираясь на документальные материалы и привлекая новые, автор книги «Когда настал XX век» Е. Жукова написала интересную книжку об истории ленинского издания, тесной связи его с широким кругом революционеров не только России, но и многих стран мира.

Подзаголовок книги «Хроника борьбы и побед» символичен, так как она воссоздает напряженную, полную испытаний и трудностей борьбу, которую вели на заре рабочего, социалистического движения большевики, создавая партию. Непрерывная слежка полиции, аресты, допросы, провокации — через все это прошли создатели и издатели «Искры». Точны и впечатляющие образы верных искровцев — Н. Баумана, И. Пятницкого, М. Литвинова, И. Бабушкина, многих других соратников Ленина.

Увлеченно пишет Е. Жукова о бесстрашном агенте «Искры» Иване Бабушкине. Перед нами проходят картины жизни, полной лишений, которую ведут рабочие орехово-зуюевских мануфактур, жадно тянущиеся к «вольному слову».

В борьбе с самодержавием, его мощным полицейским аппаратом, оппортунистами всех мастей ленинские идеи все глубже проникали в массы, и не только русского, но и европейского пролетариата. Автор характеризует интернациональные связи «Искры». В печатании, перевозке «Искры» в Россию немалую помощь оказывали социалисты Германии, Чехословакии, Польши, Франции, Швеции, Финляндии. Переправка нелегального издания русских марксистов в Россию стала, как это видно из настоящей книги, поистине интернациональным делом. Читатель знакомится с образами чешских, болгарских, немецких социал-демократов.

Нельзя без волнения читать страницы, посвященные смелой, находчивой работе транспортеров и агентов русской «социалистической почты», ее «ходки» из Варны в Одессу, через Германию, Австрию, Швецию, Египет, Персию...

Широко показана борьба с охранкой. Искровцам приходилось неутомимо изыскивать новые и новые способы распространения издания, вырываясь из провокационных сетей, расставленных жандармами.

Л. Пустыльник,
кандидат филологических наук.



ВЛАДЛЕН БАХНОВ. Тайна, покрытая мраком. Юмористические рассказы. М. «Советский писатель». 1973. 286 стр.

Электронный секретарь писателя честно отвечал на телефонные звонки, чем ставил своего «шефа» в неловкое положение. После соответствующего ремонта, проведенного дядей Васей за два билета в консерваторию, электронный помощник стал, к всеобщему удовольствию, убедительно врать.

Молодой человек становится владельцем машины времени. Побывав в следующем дне, он с удивлением узнал, что ему будет объявлен выговор за недостойное поведение. Вернувшись в «сегодня» и отругав ничего не понимающего директора за самодурство, хороший работник и в самом деле схлопотал выговор.

А как не посмеяться над осторожным бездельником, настолько привыкшим искать во всем подвох, что до него не доходят простые слова начальника: «Я вас уволил»?

Эти и еще тридцать историй составили новый сборник юмористических рассказов В. Бахнова «Тайна, покрытая мраком» — небольшую книжицу, населенную вызывающими улыбку и смех персонажами, украшенную отточенными афоризмами и наполненную веселыми вещами. Здесь и холодильник «Сочи», и диетическая столовая «Млечный Путь», и часы, которые показывают число, погоду и сколько дней осталось до зарплаты.

К недостаткам сборника в целом относится, пожалуй, отсутствие стройной архи-

тектоники. Книга состоит из нескольких разделов, но трудно уловить, по какому признаку рассказы объединены в группы. Даже собранные под грифом «фантастических пародий», произведения не сильно отличаются от всех остальных юморесок, в которых происходят такие же фантастические события и действуют посланцы других планет и говорящие лягушки. В то же время разбросаны по сборнику, например, рассказы о детях, никак не выделена юмористическая повесть «Удивительное — рядом». На шестнадцатой полосе «Литературной газеты» они печатались бы под рубрикой «Ненаучная фантастика».

При всей необычности описываемых событий, В. Бахнов не пытается создать какой-либо вымышленный мир, перевести действие в иную систему координат. Нет, его рассказы опираются на вполне бытовые реалии, но изображена в них не реальная действительность, а действительность гротеска, которая, изменив привычные для нас соотношения, показывает, к чему могут привести в конце концов всякого рода отклонения от законов морали.

Сатира В. Бахнова направлена в первую очередь против бездуховного существования, против бездельников и людей, остановившихся в своем развитии, не живущих, а прозябающих. И сделано это по-современному остроумно, хлестко, хотя в сборнике попадаются и такие сумбурные вещи, как «Без намеков» или же «Кем быть?» (на эту тему, но более элегантно написана и известная юмореска С. Гродзенской).

А. Хорт.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Государство и революция. 160 стр. Цена 18 к.

В. И. Ленин. Об изобретательстве и внедрении научно-технических достижений в производство. 240 стр. Цена 45 к.

Карл Маркс. Биография. Коллектив авторов. 730 стр. Цена 2 р. 1 к.

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924. Т. 4. Март—октябрь 1917. 460 стр. Цена 1 р. 38 к.

Века сыновья. Сборник очерков. Предисловие Н. Грибачева. 350 стр. Цена 80 к.

Документы внешней политики СССР. Т. 18. 718 стр. Цена 1 р. 75 к.

Ю. Жуков, Н. Курдюмов, В. Некрасов, Б. Стрельников. Время больших перемен. 155 стр. Цена 1 р. 30 к.

Из истории марксизма и международного рабочего движения. Сборник статей. 558 стр. Цена 2 р. 22 к.

В. Коношев. Такое голубое небо. Повесть о Надежде Крупской. («Пламенные революционеры») 397 стр. Цена 77 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Берестов. Семейная фотография. Стихи. 136 стр. Цена 30 к.

С. Бородин. Молниеносный Вязет. Третья книга эпопеи «Звезды над Самаркандом». 407 стр. Цена 91 к.

М. Галлай. Третье измерение. Документальная повесть и очерки. 336 стр. Цена 70 к.

А. Голово. Артем Гармаш. Роман. 631 стр. Цена 1 р. 46 к.

М. Ибрагимбеков. Немного весеннего праздника. Повесть, рассказы. 208 стр. Цена 31 к.

И. Исаков. Каспий, 1920 год. Из дневника командира «Деятельного». 302 стр. Цена 64 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Банланов. Пядь земли. Повести, рассказ и очерки. 575 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Берковский. Романтизм в Германии. Вступительная статья А. Аникста. 567 стр. Цена 1 р. 61 к.

Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. — Из Ясной Поляны в Чердынь. — Отрывочные воспоминания. — Лев Толстой — человек. Составление и вступительная статья А. Шифмана. 463 стр. Цена 1 р. 19 к.

М. Пруст. По направлению к Свану. Первый том эпопеи «В поисках утраченного времени». Перевод с французского Н. Любимова. 461 стр. Цена 1 р. 62 к.

С. Рассадин. Кайсын Кулиев. Литературный портрет. 158 стр. Цена 31 к.

И. Снегова. И все, что ты любишь... Избранные стихотворения. 400 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Тихонов. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 1. Стихотворения. 574 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Шкловский. Собрание сочинений. В 3-х томах. Том 1. Повести, рассказы. Вступительная статья И. Андроникова. 741 стр. Цена 1 р. 95 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Кешонов. Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского В. Солоухина. 527 стр. Цена 1 р. 15 к.

Б. Лавренев. Бессменная вахта. Неизданная публицистика. Составитель П. Лукницкий. 301 стр. Цена 81 к.

Г. Матовсян. Хлеб и слово. Повести. Перевод с армянского. 336 стр. Цена 74 к.

Б. Олейник. Стою на земле. Стихи. Перевод с украинского. 143 стр. Цена 69 к.

«ПРОГРЕСС»

Х. Байхауэр, Э. Шманке. Мир в 2000 году. Свод международных прогнозов. Перевод с немецкого. 240 стр. Цена 63 к.

М. Банашак, Я. Форхольцер. Человек и власть. Перевод с немецкого. 299 стр. Цена 1 р. 19 к.

В. Гайдучен. Прощание с ангелами. Роман. Перевод с немецкого. 413 стр. Цена 1 р. 31 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 30/1 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/III 1974 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02250. Тираж 175 000 экз. Зак. 393.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5, в комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01731

Цена 70 коп.

70636